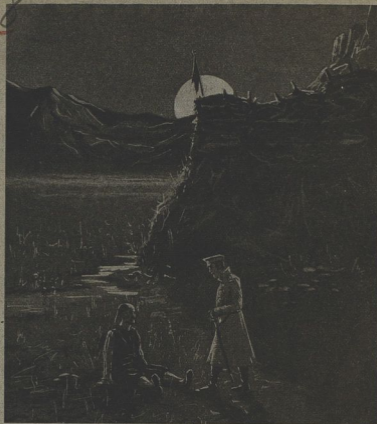


378  
Вас. И. Немировичъ-Данченко.

---



# Боевая Голгофа.

---

ИЗДАНИЕ ШЕСТОЕ.

Рисунки С. Ф. Плошинскаго.



С.-Петербургъ.

Книгоиздательское Т-во „Просвѣщеніе“. Забалканскій пр., с. д. № 75.

1912.

# Боевая Голгофа.

# „Для юнаго читателя“.

Въ эту серію вошли слѣдующія произведенія:

Н. Д. Телешовъ. — Разказы и сказки.

Г. Т. Сѣверцевъ-Полиловъ. — Сказки и были.

Е. А. Сысоева. — Исторія маленькой дѣвочки.

Вас. И. Немировичъ-Данченко. — Мужичья обитель.

В. Г. Танъ. — Восемь племенъ.

Г. Т. Сѣверцевъ-Полиловъ. — Кому лучше?

Вас. И. Немировичъ-Данченко. — Опрокинутыя вершины.

С. С. Караскевичъ-Ющенко. — Повѣсти и разказы.

Г. Т. Сѣверцевъ-Полиловъ. — Странички прошлаго.

Вас. И. Немировичъ-Данченко. — Боевая Голгоѳа.

Г. Т. Сѣверцевъ-Полиловъ. — Царскій духовникъ.

Вас. И. Немировичъ-Данченко. — Книга великой любви.



378

Вас. И. Немировичъ-Данченко.



# Боевая Голгофа.

Рисунки С. Ф. Плошинскаго.

ИЗДАНИЕ ШЕСТОЕ.



XI-  
37555

С.-Петербургъ.

Книгоиздательское Товарищество „Просвѣщеніе“.

Забалканскій пр., с. д. № 75.

1911.



2007085362

# Предисловіе.

---

Сантиментальная литература торжествующей добродѣтели и наказаннаго порока до того разошлась съ нашею дѣйствительностью, что теперь, даже такъ называемый въ каталогѣ книгъ „старшій возрастъ“, и тотъ смѣется надъ наивными авторами. Мы, — до сихъ поръ тщательно скрывая отъ пробуждающейся наблюдательности и жажды знанія настоящую будничную явь, воспитывая въ молодыхъ сердцахъ только мягкія чувства, — убили въ людяхъ волю, мужество и характеръ. Бороться съ кровожаднымъ Молохомъ войны — можно не только разсыропливая умъ въ красивой легендѣ вѣчнаго мира, въ сказкѣ побѣдоносныхъ слезъ и всепоборающаго смиренія. Вооруженный этимъ сомнительнымъ оружіемъ молодой боець въ первой жизненной встрѣчѣ окажется сраженнымъ. Онъ уступить всѣ свои позиціи, и, разумѣется, такому врагу какъ нельзя лучше обрадуются насильники и палачи. Тѣхъ же цѣлей можно достигать, не затуманивая страшной были розовыми миражами. Рядомъ съ посявомъ добрыхъ чувствъ, съ культурою мягкихъ сердець и любви къ вѣчному благу — рисуйте крѣпнущему уму правду нашей жизни, такую, какова она „есть“, а не „должна быть“. Думаю, что въ соединеніи съ нѣжнымъ, всепрощающимъ, добрымъ вы такимъ образомъ не убьете въ будущемъ работникѣ воли, смѣлости, характера. Въ доброй и мягкой (тамъ, гдѣ этому слѣдуетъ быть) природѣ вы воспитаєте бодрость и силу. И не повадно будетъ чернымъ дружинамъ вѣчнаго зла — глушить и убивать поднимающуюся на нихъ молодую жизнь.

Юности нуженъ подвигъ, героизмъ, неожиданность. Правда юности въ подъемѣ, въ восторгѣ, въ порывѣ, въ

борьбѣ. Потому то въ западныхъ литературахъ явился рядъ писателей, дающихъ молодому читателю „романы приключеній“. Они переводятся и на русскій языкъ, — и очень жаль. Чѣмъ создавать и выдумывать несуществующее, проще и лучше рисовать то, что дѣйствительно было и есть. Въдъ жизнь — не въ однихъ понизахъ, но и въ вершинахъ. Великаго достаточно и въ яви, нечего за нимъ охотиться въ ходульномъ царствѣ картонныхъ рыцарей и сверхъестественныхъ богатырей.

По отношенію къ дѣтской литературѣ мы признаемъ освященный временемъ обманъ. Обманъ дидактическій — самый скучный и пошлый изъ всѣхъ. Это не обманъ яркой сказки, чарующей наивною передачею недавней вѣры первобытнаго человѣчества. Не потому ли къ этимъ лимонаднымъ „розовымъ библіотекамъ“ съ такою ненавистью относится юношество.

Вѣдъ мы видимъ же его въ музеѣ и на выставкѣ хотя бы того же Верещагина, гдѣ суровая правда жизни встаетъ передъ зрителемъ во всемъ своемъ грозномъ ужасѣ. И почему то на печатныхъ страницахъ мы лицемѣримъ и прячемъ то, что будущій работникъ долженъ знать, къ чему надо загодя приготовиться.

# Оглавленіе.

## Часть первая.

	Стр.
Изъ за занавѣса . . . . .	3
Дома . . . . .	8
Первыя вѣсти . . . . .	13
Дорога . . . . .	23
По душѣ . . . . .	28
Тихій уголокъ . . . . .	34
Тамо съдохомъ и плакахомъ . . . . .	39
Перемѣна декорацій . . . . .	45
У сестеръ милосердія . . . . .	47
Встрѣчи . . . . .	54
Въ общинѣ . . . . .	59

## Часть вторая.

По дунайскому берегу . . . . .	64
Въ первомъ огнѣ . . . . .	74
Третья Плевна: наканунѣ . . . . .	80
„ „ ночь на аванпостахъ . . . . .	88
„ „ передъ боемъ . . . . .	94
„ „ между ранеными . . . . .	99
„ „ двинулись . . . . .	106
„ „ въ полосѣ обстрѣла . . . . .	115
„ „ отбитая атака . . . . .	121
„ „ адъ . . . . .	126
„ „ послѣ штыкового боя . . . . .	131
„ „ на смерть обреченные . . . . .	137
„ „ ночь въ редутѣ . . . . .	144
„ „ ночная тревога . . . . .	151
„ „ турки идутъ . . . . .	159
„ „ первый ударъ . . . . .	167
„ „ зеленое знамя . . . . .	182
„ „ послѣдній ударъ . . . . .	189
„ „ сраженные львы . . . . .	195
„ „ путь, проложенный штыками . . . . .	201



	Стр.
„Gloria victis“ . . . . .	213
Старые знакомые . . . . .	218
Передъ разлукой . . . . .	224
Передъ дебютомъ . . . . .	229
Въ виду новыхъ враговъ . . . . .	242

### Часть третья.

Болгарская осень . . . . .	252
Безсонная ночь . . . . .	261
Верховцевъ на зеленыхъ горахъ . . . . .	271
Въ офицерскомъ клубѣ . . . . .	277
Ночью на батареѣ . . . . .	286
Верховцевъ возвращается . . . . .	291
Выигрышъ въ 200,000 . . . . .	296
Ночью въ траншеѣ . . . . .	300
Въ госпиталѣ . . . . .	307
Зубковъ отъ кавалеріи . . . . .	320
Счастливый день . . . . .	327
Свиданіе . . . . .	331
На шипкѣ . . . . .	336
Начало конца . . . . .	346
Въ Кришинскомъ редутѣ . . . . .	351
Сонъ Мирской . . . . .	369
Воскресшіе мертвецы . . . . .	377

## Списокъ иллюстрацій.

---

	Стр.
Послѣ боя . . . . .	32
На берегу Дуная . . . . .	64
За мною дѣти! не отставать! . . . . .	128
Раненый турокъ . . . . .	159
Горгаловъ одинъ теперь на стражѣ редута . . . . .	201
Поѣздъ смерти . . . . .	236
Обозъ съ больными и ранеными . . . . .	249
Пострюченко вель его коня подъ уздцы . . . . .	276
Сонъ Мирской . . . . .	374
Воскресающіе мертвецы . . . . .	382

---



# Боевая Голгофа.



# Часть первая.

## I.

### Изъ-за занавѣса.

Изъ-за занавѣса на сцену доносился глухой говоръ толпы, шуршанье женскихъ платьевъ, стукъ передвигавшихся стульевъ, повизгиваніе настраиваемыхъ скрипокъ и кряхтящая октава контръ-баса. Здѣсь, у кулисъ, пахло газомъ. Душно, смрадно... На всѣхъ этихъ красивыхъ издали деревьяхъ слоями лежала пыль. Декоративная работа дѣлала вблизи отвратительными зеленыя и желтыя пятна, красныя блики, замѣнявшіе цвѣты... Коверъ на полу — весь въ дыркахъ... Мебель, казавшаяся прилично издали, тутъ точно вся въ липахъ. На нее страшно сѣсть. Позолота сошла. Жалко, скудно, убого... Пыль въ воздухѣ, — непривычные люди кашляли. Какіе-то безобразные холсты замѣняли небо... Двѣ-три лампы изъ стоявшихъ между кулисами чадили немилосердно. Стекла ихъ давно почернѣли — никому не приходило въ голову повернуть фитиль. Пожарный, дежурившій около, даже потемнѣлъ отъ копоти, — но не догадывался, въ чемъ дѣло. Солдаты, которые въ слѣдующемъ актѣ должны будутъ изображать храбрыхъ воиновъ, храпѣли въ одномъ углу, точно перекликиваясь съ храпомъ спавшаго въ другомъ бутафора. На столикѣ, у самыхъ кулисъ, вся покрытая желваками высохшихъ чернилъ, стояла дрянная стеклянная чернильница съ отрывкомъ гусиного пера. Зачастую этотъ «письменный приборъ» подавали ей величеству королевѣ Елисаветѣ для подписанія смертнаго приговора Маріи Стюартъ. Заплеванные окурки валялись вездѣ.

— Гдѣ же, наконецъ, Мирская? — наскაკиваетъ режиссеръ на горничную, которая изъ одной женской уборной перебѣгаетъ въ другую съ коробкою румянъ.

— У себя-съ...

— И давно?..

— Давно сидятъ... Онѣ ничего и не дѣлали-съ... Уставши.

— Да, вѣдь, ее вызывали... Всѣмъ театромъ.

— Онѣ были раздѣвши ужъ...

Режиссеръ подбѣжалъ къ двери уборной и постучалъ въ нее.

— Кто тамъ? — послышался извнутри утомленный голосъ.

— Я-съ... Неупокоевъ...

— Нѣтъ времени... Одѣваюсь...

— Пожалуйста, не задержите... Черезъ четверть часа начинаемъ...

Мирская сидѣла неподвижно... Кругомъ та же непроглядная обстановка. На столикъ, у большого зеркала, разбросаны коробки съ пудрой, ящики съ румянами, красками; фальшивые локоны валялись рядомъ съ головнымъ уборомъ, аляповатымъ вблизи, но издали сверкавшимъ всѣми своими гранеными стеклами, которыя должны были изображать изумруды, рубины, брилліанты... Мирская пока убавила огонь... Теперь, при свѣтѣ одинокой лампы подъ абажуромъ, стекла поблескивали тускло и некрасиво... Разсыпанная пудра на тетрадкѣ съ ролью, и въ ней же, въ этой бѣлой массѣ, подымавшейся кверху при всякомъ движеніи въ комнаткѣ, — большіе мѣдные браслеты, застегивающіеся повыше локтя. Все это сбрасывалось нетерпѣливо, быстро. Лишь бы поскорѣ избавиться отъ мишуры... Стала ненавистною, противной... На стулѣ, около, брошено яркое платье. Свѣтъ искрится на красныхъ полосахъ его, вспыхиваетъ желтымъ блескомъ на широкихъ извивахъ грубаго позумента и пропадаетъ въ углу, гдѣ изъ закрытой корзины откровенно выглядываютъ на свѣтъ Божій бѣлыя ботинки, вѣреръ, какой-то шиньонъ, плащъ, черное платье, все это перепутавшееся до нельзя... Одна изъ стѣнъ уборной — старая кулиса, изображающая пейзажъ... Зеленая вода, синее небо, сѣрая скала и деревья съ необыкновенными цвѣтами. Стѣна эта колышется порою, какъ занавѣска въ открытомъ окнѣ, подъ легкимъ напоромъ лѣтняго вѣтра... За нею, за этою стѣною, отчетливо и ясно слышатся голоса...

Мирская бросила руки на колѣни и неподвижно глядитъ въ темный уголь. Тонкіе, изящные пальцы едва-едва отдѣляются отъ свѣжей бѣлизны пеньюара, на которомъ они лежатъ теперь... Дѣвушка дышитъ съ натугой... Точно ей противень этотъ воздухъ, сырой и затхлый, пропитанный чадомъ лампы... Брошенные назадъ, за кресло, волосы падаютъ до пола, словно золотистый каскадъ сбѣгаетъ тамъ

внизъ съ нервной головки... Большіе синіе глаза полузакрыты... Изъ-подъ нихъ чуть мерцаетъ взглядъ дѣвушки. Между бровями легла темная складка, видимо мысль работаетъ; видимо что-то не даетъ ей покоя и отдыха даже въ эту непродолжительную минуту досуга. Мирская нѣтъ-нѣтъ да и вздрогнетъ. Будто ей холодно въ этой теплой комнаткѣ... Пальцы изрѣдка похрустываютъ, когда она перегибаетъ ихъ, не умѣя совладать съ своими мыслями... Она слышала, какъ режиссеръ бѣгалъ звать ее — на выходъ. До нея долетали послѣдними своими отзвучіями крики публики и гулъ аплодисментовъ; она ясно различала свое имя, но ей не хотѣлось оставлять покойнаго кресла, набрасывать противное красное платье съ золотыми позументами, опять видѣть опротивѣвшую рампу съ неизмѣнно-дымящими лампами, марево направленныхъ на нее биноклей, раскраснѣвшихъ лицъ, хлопающихъ рукъ... Еще недавно она съ восторгомъ выходила на вызовы... Сознавала себя царицей толпы въ эти минуты. Думала, что эта толпа живетъ ея жизнью, думаетъ ея мыслью, волнуется ея чувствомъ. Она кланялась, но кланялась какъ королева, сознающая свое могущество, пришедшая только отдать долгъ вѣжливости восхищеннымъ подданнымъ. Теперь ей было не до того... Сама не знала какъ — но ей до-нельзя опротивѣли и румяна, и фальшивые камни, и яркія балаганныя платья и мишурные галуны... Послѣ сценъ, проникнутыхъ отчаяніемъ, одушевленіемъ, восторгомъ и ненавистью, возбужденіе гасло — оставалось одно утомленіе... Утомленіе переходило въ отвращеніе ко всему этому жалкому міру ходуль и румянъ, скверныхъ декораций и дурныхъ нравовъ...

Она пришла въ не ко-двору міру поддѣльныхъ волосъ и поддѣльныхъ чувствъ. Была чужда этому царству холщевыхъ деревьевъ, картонныхъ домовъ, густо намазанныхъ премьершъ, комиковъ, всѣмъ своимъ комизмомъ обязаннымъ пестротѣ брюкъ и нелѣпости парика, драматическихъ любовниковъ, объясняющихся тирадами, гдѣ отсутствовалъ смыслъ. Все дышало ложью и напускнымъ одушевленіемъ. Чувство становилось ремесломъ, бѣлила и румяна — натурой... Героизмъ здѣсь не былъ настоящимъ, — какъ не были настоящими безобразныя, намалеванныя горы, намазанные и накрахмаленные люди... Одно только искренно, — зависть ко всему и ко всѣмъ, зависть къ красотѣ, къ уму, къ таланту, къ граціи и даже къ пошлостному успѣху. Зависть къ богатой соперницѣ, зависть къ минутной любимицѣ толпы, зависть къ случайной выходкѣ пьянаго комика, неожиданно вырвавшейся у равнодушныхъ зрителей рукоплесканія. При встрѣчѣ цѣловались, а за спи-



ною — клеветали другъ на друга. Лгали, покупали и продавали одинъ другого. Всѣ были друзьями, и потому вовсе не было дружбы!..

Мирская потянулась, дотронулась руками до лица и, замѣтивъ, что оно горитъ у нея ото всѣхъ этихъ воспоминаній, покрыла его слегка пудрою... Она знала, что уже пора одѣваться. Но теперь, въ эту самую минуту, ей невыносимо было опять перетянуть свои руки мѣдными браслетами, надѣть на себя эту смѣшную вблизи діадему, набросить красное платье... Она Богъ знаетъ что бы дала, только бы не выходить сегодня на сцену. Съ удовольствіемъ уступила бы и рукоплесканія и успѣхъ Мышкиной — только бы не быть у рамы, на глазахъ у всѣхъ... Но вѣдь нельзя было обрывать спектакля. Сегодня-то во всякомъ случаѣ слѣдовало кончить, и Мирская рѣшительно встала, ногою отодвинувъ назадъ кресло...

— Маша! — крикнула она горничную и прибавила огня. Уборная ярко освѣтилась, но не стала оттого пригляднѣе... Напротивъ, ея убожество такъ и било въ глаза.

Занавѣсъ, замѣнявшій стѣну, заколыхался. Притаившійся тамъ жеже-решеръ сообразилъ, что артистка собирается одѣваться. Послышался на мгновеніе какой-то шорохъ, и опять все стихло...

— Анна Александровна! вы звали? — вошла худенькая блѣдная дѣвушка.

— Да, я... Помоги мнѣ одѣваться.

— Тамъ уже музыка началась...

— Успѣю... Мой выходъ въ серединѣ акта...

Визгливое пѣніе смычковъ доносилось и сюда... Оно еще больше раздражало Мирскую. Этотъ площадный, заигранный вальсъ чуть ли не каждый разъ терзалъ ея уши. И музыканты его исполняли вяло, сонно, не глядя въ ноты, а такъ себѣ, только вода по струнамъ и дуть въ кларнеты... Вотъ нелѣпая нота контръ-баса такъ и съѣла въ ухо, и опять посвистываніе флейты, неистовый визгъ скрипокъ...

— Господи! И зачѣмъ они это! — невольно поморщилась она.

Сбрасывая съ себя пенюаръ, Мирская засмотрѣлась въ зеркало.

— Однако, какъ я похудѣла!..

Въ самомъ дѣлѣ, подъ глазами легли синія тѣни; щеки точно ввалились. Только одни глаза не теряли своего прежняго блеска, хотя выраженіе ихъ было далеко не столь увѣренное, смѣлое, бодрое, какъ прежде. Она ближе наклонилась къ зеркалу... Ей точно доставляло удовольствіе сознать, какъ она похудѣла...

— Сама хотѣла!.. — злорадно отвернулась она...

Хотѣла! Да, вѣдь, то, къ чему она стремилась, цѣль, къ которой шла, не имѣла ничего общаго съ этою дѣйствительностью... Вѣдь, не чадныя же лампы свѣтили ей въ лучезарномъ далекомъ, не размалеванныя деревья холщевыхъ кулисъ манили ее подъ свою прохладную тѣнь.

— Анна Александровна, можно?

— Это вы, Сашенька? — повеселѣла Мирская.

— Я... послышалось щелканіе дверной ручки...

— Что вамъ надо? ... Не шалите, голубчикъ. Я одѣваюсь.

— Братъ пріѣхалъ. Только сегодня изъ-подъ Плевны. Васъ хочетъ видѣть очень... Раненъ — но пустяки... скоро пройдетъ! Оцарапало только. Его съ донесеніемъ послали въ Питеръ. Онъ у насъ проездомъ до завтра.

— Нѣтъ, знаете, юноша, — лучше послѣ театра... Пріѣзжайте ко мнѣ чай пить. Только не жалуйтесь. Я сегодня зла... Очень зла, Сашенька...

Ручка отъ двери опять зашумѣла...

— Это вы, юноша, напрасно... Заперто...

— Такъ послѣ театра?

— Да.. Скучно, Сашенька... Какъ это вы здѣсь торчите!.. Я не понимаю. Тамъ дерутся, — настоящее дѣло идетъ, а здѣсь, вѣдь, — тоска, мертвечина... Маша, надѣнь чулки мнѣ — тѣ — знаешь?.. Да гдѣ бархатныя туфли?... Уѣзжайте, Сашенька...

— Анна Александровна!.. — заоралъ кто-то надъ самымъ ухомъ юноши. Оглянулся.

Въ двери къ Мирской стучался режиссеръ.

— Сейчасъ вашъ выходъ. Вы готовы?

— Да...

— Ну, такъ пожалуйста...

Въ дверяхъ Мирская вскользь подала руку юношѣ, и когда тотъ поцѣловалъ, дѣвушка незамѣтно обтерла ее объ атласъ платья... Быстро прошла къ кулисамъ и стала между двумя деревьями, готовая выйти по знаку помощника режиссера, слѣдившаго за выходами... На сценѣ уже бѣсновался Трохинъ и наивничала Мышкина. Сквозь промежутокъ кулисъ видна была только часть театра. И какія тамъ все скучающія лица были! Видимое дѣло — большинство сошло потому, что времени дѣвать некуда. Одни разговаривали подъ шумокъ спектакля; другіе, зѣвая, смотрѣли на Трохина. Дамы сидѣли неподвижно и тоже скучали... Все это сквозь мерцаніе газа и трепетаніе нагрѣтаго имъ воздуха... Въ противоположной сторонѣ кулисъ почесывался театраль-

ный мужикъ у занавѣса и суетился режиссеръ, подготавливая выходъ какому-то любителю... Наконецъ, Трохинъ, въ порывѣ комическаго неистовства, неожиданно сорвалъ съ себя парикъ и бросилъ его на землю. Скучавшая до тѣхъ поръ публика разразилась хохотомъ... Послышались аплодисменты, крики: «браво, Трохинъ!»...

Сіяющій Трохинъ раскланивался направо и налево, прижимая руки къ сердцу и улыбаясь...

А между тѣмъ Мирской въ этотъ самый смѣшливый моментъ нужно было выходить съ словами скорби и отчаянія... Монологъ ея, благодаря шутовству Трохина, былъ потерянъ.

— Вамъ! — подсказалъ ей иззади помощникъ режиссера.

Мирская на минуту зажмурилась, — а когда открыла глаза, — прямо въ лицо ей смотрѣли сотни глазъ... Десятки биноклей были подняты въ уровень ея плечъ и шей... И глаза, и бинокли досаждали ей въ эту минуту нервного раздраженія; она чувствовала, что ей некуда уйти отъ нихъ, некуда спрятаться, и еще пуще злилась.

А публика второй разъ вызывала Трохина.

## II.

### Д о м а.

Мирская радостно вздохнула, выходя на улицу.

Легкій холодокъ августовской ночи пахнулъ ей въ лицо и освѣжилъ утомленные нервы. Почувствовала себя сильнѣе и бодрѣе... Сѣрая громада театра, облитая луннымъ блескомъ, отходила назадъ; впереди выдвигалась узенькая улица съ жалкими фонариками, робко мигавшими сквозь тусклыя стекла... Въ деревянныхъ домикахъ провинціального городка уже не было огней. Изрѣдка только свѣтилось занавѣшенное окно, за которымъ, въ тѣсной коморкѣ своей работалъ безсонный труженикъ... Публика изъ театра еще не разъѣзжалась... Тамъ доигрывали какой-то водевилъ — были молчаливы улицы съ переулками, разбѣгавшими направо и налево въ тьму неглубокихъ овраговъ, точно имъ стыдно было показаться съ поделъповатыми домишками, съ грязью невылазной, въ торжественномъ сіяньи этой ночи...

Мирская пошла пѣшкомъ...

... Она дорожила минутами одиночества... Никто не мѣшалъ, никто не лѣзъ на глаза...

Она нарочно замедляла шаги, приостанавливалась, вдыхая въ себя эту почти уже осеннюю свѣжесть; а когда добралась до бульвара, — сѣла на одну изъ скамей, подъ чахлое дерево, на которомъ пыли было больше, чѣмъ листьевъ...

Откуда-то, со стороны, доносились разсѣянные звуки клавишей. Точно кто-то припоминалъ забытый мотивъ. Звуки эти таяли въ воздухѣ, пробуждая въ ея сердцѣ давно позабытыя ощущенія, давно уже заснувшую жажду чего-нибудь новаго, болѣе широкаго, свѣтлаго... Она также рвалась прежде, задыхаясь въ крѣпкой клѣткѣ семьи... Мирская весело выпорхнула на свѣтъ Божій, въ его тепло и прохладу; бодро принялась за дѣло; къ чему душа лежала, то скоро стало ей доступно и открыто. Она грезила о славѣ, и слава улыбнулась ей; она, въ порывахъ молодого задора, мечтала властвовать надъ толпою, и толпа преклонялась предъ нею; пока первыя упоенія успѣха кружили ей голову, — жилось легко и вѣрилось безгранично. Все постылое, холодное отошло назадъ... Но скоро и въ этотъ рай вползла змѣя. Вопросъ: къ чему это? сталъ тревожить молодую головку. Быстро тускнѣли сіяющія краски еще недавно обаятельнаго міра. На этихъ небесахъ погасали яркія звѣзды, поблекли цвѣты полей... Талантъ остался, порывы только примолкли, а сомнѣніе уже работало, срывая заманчивые, фантастическіе миражи, какъ вѣтеръ срываетъ съ голой, сѣрой скалы засвѣтившуюся подъ румянымъ отблескомъ заката тучку... Подъ красивою оболочкою, еще накануне такъ манившаго къ себѣ міра, оказались дырявыя кулисы, душная сцена, вонючія уборныя, подлая сплетни...

Мирская уже рѣшила, что она уйдетъ отсюда...

Уйдетъ, — но куда?

Тутъ — работа бесплодна, борьба мелка и требуетъ такого оружія, какимъ ея живая душа не располагала... Тутъ нужны другія силы...

Она поняла, что нынче со сцены не учатъ, а забавляютъ. Актеръ сталъ ремесленникомъ, артистъ уступилъ свое мѣсто клоуну, искусство — балагану. Серезныя, полныя глубокаго смысла пьесы — не по плечу исполнителямъ, скучны — для зрителя. Толпа ищетъ грубаго смѣха или пошлыхъ драматическихъ эффектовъ. И какъ декорачія здѣсь замѣняетъ природу, такъ и жизнь на сценѣ замѣнилась легкомысленною шуткой или ходульною мелодрамой. На мѣстѣ вдохновенныхъ писателей, изучавшихъ тайники человѣческаго сердца выросли карикатуристы, появ-

ше, что их публика скучает думать и тяготится чувствовать... Прежде наслаждались, поучались, нынче — убивают время. Прежде сцена была дѣломъ, теперь она стала антрактомъ между дѣлами.

Мирская задыхалась... Искала алтаря и попала въ кабакъ; культъ, которому служили многіе, не былъ ея культомъ. Боги эти міра были ей чужды, и присутствіе ихъ не шевелило ея сердца...

Но бросить одно дѣло можно, только найдя другое... Гдѣ же оно?

Мирская тщетно искала его. Въ томъ обществѣ, гдѣ она вращалась, и мужчина шелъ по торнымъ путямъ: въ канцелярію, въ острогъ, въ лавку, въ хозяйство... Другихъ не было. А если и были, то никто ихъ не видѣлъ. Женщинъ еще менѣе оставалось. Жена, актриса, писательница, учительница. Укладывайся въ одну изъ этихъ формъ, или всю жизнь не прикладывай ни къ чему рукъ. Она была знакома съ этими типами скучающихъ и ни за что не захотѣла бы ихъ нерадостнаго ничегонедѣланья...

Теперь — одна на пустомъ бульварѣ, дыша свѣжестью этой ночи, она невольно перебирала въ памяти все пережитое ею и, сама не помня который разъ, рѣшила, что такъ продолжать нельзя, что нужно оставить это, уйти на другое дѣло... И точно ненарокомъ — передъ нею мелькнула страница недавно прочитаннаго ею разсказа... Немудренъ былъ этотъ разсказъ. Не отличался ни талантомъ, ни яркостью красокъ... Очевидецъ рассказывалъ, какъ на дальнемъ югѣ дрались и умирали; какъ въ смрадныхъ госпиталяхъ цѣлые дни, недѣли и мѣсяцы, не слыша ласковаго голоса, лежали сраженные бойцы... Гибли «за великое дѣло любви», и для каждаго, кто захотѣлъ бы уйти отсюда, изъ этого міра «ликующихъ и праздно-болтающихъ», тамъ нашлась бы настоящая работа... Ничья сила, какъ бы крохотна она ни была, не пропала бы даромъ, и ничья жизнь не прошла бы бесплодно... Нужны и гиганты, и пигмеи. Карликамъ найдется дѣло, какъ оно находится великанамъ...

Ее, Мирскую, еще не тянуло туда... Ей казалось труднымъ, невыполнимымъ то, для чего туда ѣхали другіе... Она была слишкомъ добросовѣстна, чтобы по первому возбужденію расходившихся нервовъ бросить все и отправиться на эту ниву крови... Пожалуй, еще съ своею неподготовленностью сядетъ на шею настоящимъ работникамъ... Она не знала еще, что тамъ и ея слабыя руки будутъ на счету.

Но она уже невольно сопоставляла этотъ міръ скуки, казеннаго дѣла, мелкихъ интересовъ и будничныхъ заботъ съ тѣмъ, который смутно пока ей мерещился издалека. «Какова тамъ роль женщины?» —

задавала она себѣ тысячу разъ вопросы, но никто здѣсь не могъ отвѣтить на нихъ. Она видѣла, что большія барыни суетились, разносили на хвостахъ сплетни, волновались безъ толку, а дѣла отъ того никакого не выходило.

Она знала, что онѣ отъсюду собирали дѣвушекъ — какая бы ни пришла, все равно — наперебой записывали ихъ въ списки и затѣмъ, снабдивъ первымъ появившимся докторомъ, отправляли на югъ... Туда, гдѣ лилась кровь, гдѣ умирали и убивали... Но что было тамъ съ этими дѣвушками, что онѣ дѣлали, нужны ли были, нѣтъ ли — объ этомъ пока никто не зналъ. Газеты, занятые стратегическими соображеніями доморощенныхъ Наполеоновъ — по пяти копеекъ за строку или картинными описаніями боевыхъ эффектовъ, — сраженій, похожихъ на суздальскія картины, гдѣ на первомъ планѣ красуется зеленый генераль, и только между ногъ его лошади намалеваны красные и желтые солдаты, — газеты, захлебывавшіяся патріотическими восторгами, — ни однимъ словомъ не заикались пока о сестрахъ милосердія...

Можетъ быть, онѣ и не нужны тамъ... Можетъ быть... Но здѣсь тоска... Здѣсь смерть... а тамъ!.. тамъ, все-таки, живое дѣло, какъ бы на него ни смотрѣли моралисты. Тамъ люди, по долгу или за идею, а все же несутъ свои головы. Тамъ каждая ставка — жизнь. Тамъ играютъ по-большому... Поля битвъ, гдѣ ложатся сотни и тысячи, — все же не мѣщанская душная клѣтка съ будничными заботами и грошовыми интересами... Герои — не здѣсь, а тамъ... Лишенія — тоже не здѣсь... Мученики — да ихъ кругомъ ни одного не видать — а тамъ полнымъ-полно...

Мирская вспомнила и другое.

Она точно вчера переживала день объявленія войны... Какъ радовалось все ее окружавшее, и она знала — чему именно... Не рѣзнь же, не истребленію! Всѣ, въ комъ были живы надежды, въ комъ не погасла вѣра въ народъ, ждали, что, принявъ это крещеніе огнемъ и мечомъ, онъ начнетъ новую жизнь полноправнымъ гражданиномъ. Война открывала новые горизонты; въ ней бойцы завоюютъ счастье своей странѣ...

Значитъ тамъ, на тѣхъ, облитыхъ кровью, поляхъ — не только жизнь, но и смыслъ.

Начинается новая эра... Восходитъ новое солнце...  
А здѣсь?...

И Мирская, гадливо окинувъ и этотъ чахлый бульваръ, и эти тихія улицы, встала и быстро пошла далѣе.

Позади, гдѣ въ лунномъ блескѣ еще подымалась сѣрая громада театра, слышался грохотъ разѣзжавшихся дрожжекъ и крики кучеровъ. Мирская, сообразивъ, что спектакль окончился, вспомнила, что ее ждетъ одинъ изъ старыхъ друзей, возвращавшійся изъ-за Дуная въ Петербургъ. Она назначила ему именно этотъ часъ послѣ театра, когда она любила собирать вокругъ себя немногихъ близкихъ ей знакомыхъ. Нанявъ проѣзжавшаго мимо извозчика, она быстро добралась до гостиницы, гдѣ стояла со дня своего прѣзда въ этотъ городъ.

Дома она не нашла еще никого.

На столикѣ лежало нѣсколько конвертовъ. Одни изъ нихъ она разорвала, не читая: Мирская хорошо знала по почерку, отъ кого они и что въ нихъ. Другіе — прочла и, видимо, ничего пріятнаго они не принесли ей. Скомкала и бросила въ корзину подъ столъ.

— И все одно и то же! Какъ имъ не надоѣсть! . . .

На туалетномъ столикѣ ей лежалъ букетъ живыхъ цвѣтовъ. Мирская разсѣянно подошла къ нему. Ароматъ свѣжихъ розъ, тонкій и возбуждающій, носился около. Она поднесла цвѣты къ лицу и улыбнулась.

— Этотъ умѣе. Глупыхъ писемъ не пишетъ, а посылаетъ цвѣты, которые, по крайней мѣрѣ, не наскучатъ.

— Но, какъ бы опровергая свои же слова, утомленно опустила на диванъ и выронила букетъ . . . Очевидно, она и забыла о немъ, хотя мелькомъ взгляды ея, пробѣгая по комнатѣ, нѣсколько разъ останавливался на этихъ яркихъ, пышныхъ розахъ, которымъ недоставало только влажнаго блеска дико-растущихъ на волѣ цвѣтовъ. Очевидно, и эта комната, какъ и все здѣсь, была ей противна. Аляповатые трактирные обои стѣнъ, которые такъ и рѣзали глаза золотыми разводами, широкая бронзовая рамка плохого зеркала, старый коверъ на полу съ какими-то нелѣпыми звѣрями краснаго и зеленаго цвѣта, тяжелые занавѣсы и со-всѣмъ уже нелѣпо-голубыми портъерами прикрытый альковъ, точно также какъ и рваныя кулисы сцены, опротивѣли ей уже давно. Она не жила, а томилась въ этомъ уголкѣ. Она не могла безъ отвращенія выйти въ коридоръ, зная, что тамъ съ дѣловитымъ видомъ, будто отыскивая знакомаго, топчется какой-нибудь изъ ея безчисленныхъ поклонниковъ. Она и у себя въ номерѣ довольствовалась полусвѣтомъ, она, — любившая до сихъ поръ яркій блескъ огня, всюю; довольствовалась потому, что при сильномъ освѣщеніи ей еще ненавистнѣе рѣзала глаза эта аляповатая, мѣщанская позолота . . . На стѣнѣ красовалось четырехъ-угольное пятно. Мирская невольно улыбнулась, вспомнивъ, сколько труда стоило

ей убѣдить хозяина вынести изъ ея комнаты двухъ отвратительныхъ наядь, грубо намалеванныхъ въ темномъ, еще грубѣе намазанномъ, гротѣ. Хозяинъ, считавшій это произведеніе доморощенного Неффа чудомъ искусства, долго не соглашался *обезобразить* комнату.

Обношенные салфетки на столахъ, давно немытыя сторы, пыль по угламъ, все такъ и дышало трактиромъ. Мирская только ежилась, вспоминая, сколько сотенъ самаго разношерстного люда останавливалось ранѣе ея въ этой комнатѣ; какія, быть можетъ, отвратительныя сцены разгула и разврата совершались въ ея обманчивой тишинѣ... Тѣмъ не менѣе, дѣваться было некуда, поневолѣ приходилось довольствоваться номеромъ... Тутъ и пахло всегда какъ-то странно: чѣмъ-то затхлымъ, кислымъ. Мирская вылиwała на полъ духи, но они не помогали нисколько. Словно подъ-стать размалеваннымъ кулисамъ и пропитаннымъ запахомъ пота и скипидара уборнымъ было ея неприглядное жильѣ... Сидя здѣсь на диванѣ, она невольно жалась въ одинъ его уголь, точно инстинктивно желая занять какъ можно менѣе мѣста въ этой противной ей комнатѣ.

А цвѣты, валявшіеся у ея ногъ на полу, напрасно тратили свое благоуханіе; какъ вся ея жизнь, забытыя и заброшенныя, эти адыя розы словно еще пуще алѣли отъ стыда за сосѣдство съ этими нелѣпыми красками ковра... Во всемъ этомъ жильѣ, только они да первое, недовольное личико Мирской и напоминали природу, настоящую жизнь... И какъ нарочно — взгляды ея, скользившій по сторонамъ, изъ-подъ полусмежавшихся рѣсницъ, не видѣлъ ихъ, раскрывавшихъ ему навстрѣчу свои чудные ароматные вѣнчики...

Въ коридорѣ послышались шаги. Скоро кто-то стукнулъ въ дверь къ Мирской.

Она вздрогнула, выпрямилась, мелькомъ взглянула въ зеркало и поправила волосы.

— Войдите!

### III.

## Первыя вѣсти.

— Войдите, — еще разъ повторила Мирская и пошла къ дверямъ.

Молодой армейскій офицеръ съ подвязанной рукой всѣжалъ въ комнату. На старенькомъ сюртукѣ у него болтался какой-то орденочъ. Шпоры безтолково звякали.



— Голубушка, Анна Александровна!.. — только и могъ онъ проговорить, цѣлуя ея руки...

Раскрасѣвшись, она посмотрѣла на него, загорѣвшаго, огрубѣвшаго на болгарскомъ солнцѣ.

— Перемѣнился?..

— Да... Больше на мужчину сталъ похожъ... Прежде вѣдь вы дѣвченка-дѣвченкой были...

Она заглянула въ его глаза, подмѣтила ихъ новое, серьезное выраженіе, остановилась на складкѣ, которая легла между его бровями... «Должно быть, досталось ему тамъ... Выросъ...»

— Однако, вы похудѣли, юноша...

— Какъ не похудѣть-то!.. Тамъ не по-здѣшнему.

— Кормы-то, должно быть, плохи?

— Работы по горло, а что до изобилія плодовъ земныхъ, такъ и сухарю солдатскому радъ. На походъ-то — ресторановъ вѣдь нѣтъ...

— И серьезнѣе... Ишь складка-то на лбу. Въ первый разъ думать пришлось?

— Да!.. Есть надъ чѣмъ!.. Тамъ задумаешься — смерть близко ходить.

— А руку гдѣ вамъ попортило?

— Это вторая Плевна на память подарокъ сдѣлала.. Такъ, оцарапала немного...

Позади, ожидая очереди, стоялъ его братъ, еще моложе.

Этотъ едва-едва шестнадцать лѣтъ пережилъ и, видимо, очень сокрушался, что ему не тридцать. Морщилъ брови, старался казаться серьезнымъ, когда взглядъ такъ и бѣгалъ по угламъ, глаза такъ и смѣялись чему-то. Онъ пощипывалъ верхнюю губу, ужасно гордясь раннимъ пушкомъ; на словахъ прикидывался опытнымъ, много пережившимъ мужчиной, хотя дома безъ церемоніи игралъ съ молоденькой, лѣтъ восьми, сестренкой...

— Здравствуйте, старикъ! — протянула и ему руку Мирская. Онъ солидно пожалъ ее, хоть самому такъ и хотѣлось поцѣловать. Мирскую охватилъ порывъ шаловливаго кокетства.

— А поцѣловать-то хочется?.. А?..

Юноша прикинулся было серьезнымъ, да не выдержалъ — расхохотался.

— Ужасно хочется...

И онъ приникъ къ ея рукѣ.

— Ну, довольно... будетъ вамъ. Брысь!..

— Анна Александровна! Вы бы чайкомъ насъ угостили... — попросилъ офицеръ, поднимая буфетъ съ пола и съ наслажденіемъ нюхалъ его...

Мирская позвонила и приказала горничной подать чаю. Усадивъ гостей, она еще разъ оглядѣла, все ли у нея въ порядкѣ...

— Ну, рассказывайте... — обернулась она къ офицеру.

— Что же именно?

— Все рассказывайте. Какъ и что у васъ?

Онъ усмѣхнулся.

— У насъ-то много. Съ чего начать только?..

— Съ самого себя. Въ сколькихъ дѣлахъ вы были?

— Пока въ трехъ только...

— Ого!.. Да вы, Величковскій, совсѣмъ герой... А здѣсь почему мало?

Она указала ему на грудь.

— Здѣсь пока еще у штабныхъ фазановъ много... Намъ потомъ, да и то еще бабушка на-двое сказала.

— А страшно? — снисвничала она и покраснѣла.

Величковскій внимательно взглянулъ на нее.

— Знаете, это какъ-то странно выходитъ... Сначала и жутко и любопытно... а потомъ только жутко и совсѣмъ ужъ неинтересно... Пока не привыкнешь... А привыкнешь — и ничего... Да это все потомъ... Вы расскажите мнѣ, какъ вы здѣсь устроились. Поди, успѣхи? Фуроръ... Въ чаду живете?

Веселаго блеска въ глазахъ у нея какъ будто и не бывало. Улыбка сбѣжала съ лица; опять въ чертахъ его легло то утомленіе, которое такъ портило его въ театрѣ и здѣсь, пока она была одна.

— Да, успѣхи... Только знаете что, юноша?..

— Что? — взволновался онъ, глядя на нее.

— Я вотъ и живу въ трактирѣ, да и играю, какъ мнѣ кажется, тоже въ трактирѣ. Такъ вся жизнь какая-то трактирная выходитъ.

— Ну, это у васъ опять нервы расходились...

— Нѣтъ, не нервы...

— А ваши успѣхи... искусство?!

— Это не мои успѣхи... Это успѣхъ моихъ плечъ, груди, рукъ, — только не мой... А искусство? такъ до чего оно дошло теперь — лучше и не говорить... Весь этотъ годъ пересмотрите афиши — что мы играемъ? Ни объ одну серьезную пьесу не споткнетесь. Всѣ — какія-то смѣшливныя, глупыя, грубыя или мелодрамы... Знаете, Ве-

личковскій, такъ надоѣло, такъ надоѣло!.. Точно гниешь здѣсь... Вамъ этого не понять. Вы тамъ работаете, живое дѣло дѣлаете. У васъ каждую минуту кипитъ все кругомъ — хоть и бойня, все же и голова и сердце безотходно заняты... Потому — какая школа для характеровъ, какаѣ сцена для великодушія, отваги, любви къ человѣчеству!.. А здѣсь... Вѣдь вамъ, послѣ всего вами пережитаго, дико покажется все это... Вы будете сами задыхаться, сами вонъ попроситесь на Божій свѣтъ, на воздухъ...

— Ну, нѣтъ... Мнѣ послѣ этой школы, о которой вы съ такимъ восторгомъ говорите, дома очень пріятно... И вовсе не замѣчаю, чтобы здѣсь было скучно...

— Можетъ быть... Но мнѣ, понимаете, мнѣ кучно, гадко, отвратительно! — заторопилась она. — До того скверно, что я завтра откажусь — благо контракту скоро конецъ — и уѣду.

— Что же вы дѣлать-то станете?... Вѣдь вы сложа руки сидѣть не можете.

— Не могу...

— А тутъ хоть какое ни на есть, да дѣло.

— Отъ этого дѣла сломя голову за тридевять земель — въ тридесятое царство. Ахъ, какъ вы счастливы, Господи! Какъ бы я хотѣла быть мужчиной!

— Ну, тоже!

— Что тоже?... У васъ живое дѣло, вы — живые люди. А мы такъ себѣ, маріонетки какія-то... Куклы, глупыя куклы и больше ничего...

— Нѣтъ... Я вотъ знаю нѣсколькихъ у насъ тамъ...

— Какъ у васъ?... На войнѣ?

— Да... Сестры милосердія есть... Это мученицы... Солдату столько не выпадаетъ труда, сколько имъ...

Мирская вся обратилась въ слухъ... Она сама хотѣла труднаго, непосильнаго дѣла. Жизнь такъ и кипѣла въ ней — просила простора и воли... Ее именно тянуло къ необычайной работѣ, гдѣ она могла бы заморить себя, надломиться даже, только скорѣе, полнѣе, удовлетворить этой неукротимой, неистовой жаждѣ настоящаго дѣла; и чѣмъ оно тяжелѣе, тѣмъ лучше... Мирская даже и не спрашивала Величковскаго, боясь отвлечь его мысли въ другую сторону. Она предоставляла ему говорить... Бѣ лицо оживилось; яркій румянецъ уже игралъ на этихъ до тѣхъ поръ блѣдныхъ щекахъ, глаза смотрѣли почти весело... А молодой офицеръ, подъ живымъ впечатлѣніемъ недавно видѣнныхъ имъ

сценъ любви и самоотверженія, восторженно рассказывалъ объ этихъ простыхъ дѣвушкахъ, тамъ, на дальнемъ югѣ, скромно дѣлавшихъ великое дѣло... Онъ точно взялъ ее за руку и велъ за собою въ скорбный міръ госпиталей и перевязочныхъ пунктовъ, показывая ей невиданный доселѣ просторъ для всякой живой души, для всякой честной воли...

— Какъ хорошо... Какъ хорошо! — повторяла она про себя, глядя прямо въ разгорѣвшееся одушевленіемъ лицо рассказчика.

А когда онъ перешелъ къ отношеніямъ солдата къ сестрѣ милосердія, когда онъ сталъ передавать о благоговѣніи, съ которымъ простая душа встрѣчаетъ каждый шагъ самоотверженныхъ дѣвушекъ, о взглядахъ благодарности, съ которыми раненые, которые уже не могутъ говорить, обращаются къ сестрамъ, о робкихъ и ласковыхъ отрывочныхъ и безыскусственныхъ именахъ: «родная», «голубушка», «мать ты наша», «милая», какими солдатъ привѣтствуетъ труженицъ, Мирская уже не могла выдержать долѣе...

— Вотъ это и есть то самое, о чемъ я мечтала... Вотъ такая жизнь по мнѣ и только такая!.. Это настоящее...

Величковскій сталъ говорить ей о цѣлыхъ дняхъ и цѣлыхъ ночахъ безысходной, неустанной работы. Онъ точно самъ испугался успѣха сказаннаго имъ. Ему не хотѣлось взять на свою совѣсть какого-нибудь неосторожнаго шага, на который, какъ онъ зналъ, была способна Мирская... Ему вдругъ пришло на умъ охолодить ея восторги, и онъ пустился въ подробную, мелочную обрисовку трудностей дѣла, выпадающаго на долю сестры. Онъ сталъ даже преувеличивать. Изнанка госпиталей мрачными красками начала выясниться передъ Мирской... Смердные раны, переполненныя червями, которыхъ нужно очистить, вымыть и перевязать; черная работа, которую зачастую приходится дѣлать сестрѣ, не желающей оставить больного въ грязномъ бѣльѣ на грязной постели; полное отсутствіе отдыха въ горячіе дни послѣ большихъ сраженій; изморь, трудъ до обморока, до оступенія, безъ досуговъ... Грязь, грязь и грязь кругомъ... Дождливые дни, болгарская слякоть, отсутствіе палатокъ для сестеръ — конца нѣтъ этому!..

И вдругъ Величковскій остановился изумленный, пораженный... Слова его произвели дѣйствіе, противоположное его ожиданіямъ.

Мирская смотрѣла на него сіяющими глазами. На лицѣ ея такъ и отпечатлѣвалось выраженіе восторга. Точно человѣкъ нашелъ то, чего долго и напрасно искалъ, во что онъ уже потерялъ вѣру...

— Какъ это хорошо!.. какъ это хорошо...

— Что жъ тутъ хорошаго? — опомнился Величковскій.

— Когда вы ѣдете въ Петербургъ? — спросила она его вмѣсто отвѣта.

— Послѣзавтра...

— Вы меня возьмете съ собой?... Я васъ не стѣсню... Только по пути вы мнѣ расскажете остальное.

— Зачѣмъ же вамъ туда?..

— Вы и не говорите!.. Я рѣшилась — сейчасъ и окончательно рѣшилась...

— На что это?..

— Я отправлюсь туда къ вамъ. И вы, пожалуйста, не противорѣчьте, потому что все это будетъ напрасно... А вамъ все-таки большое-большое спасибо. Вы не повѣрите, какъ я заранѣе уже счастлива... Счастлива до того, что точно дышать нечѣмъ, воздуху мало...

— Вотъ тебѣ и на... А сцена, театр?..

— Ну ихъ!.. Пускай тутъ блистаетъ Мышкина. Я не для сцены... Не гожусь... Да что за сцена, когда тамъ умирають тысячи?... Нѣтъ — я туда... съ вами, если возьмете, безъ васъ, одна, — если откажете... Я съ сегодняшняго же вечера начну укладываться...

— Вамъ въ Петербургъ придется пройти большой искусъ.

— И пройду.

— Поучиться.

— И поучусь... Что жъ изъ того?... Даромъ, вѣдь, ничего не дается, тѣмъ болѣе, что такое хорошее дѣло...

— Анна Александровна, — умоляющимъ тономъ заговорилъ младшій Вличковскій: — а какъ же мы-то?..

— Что вы?

— Безъ васъ?

Она расхохоталась.

— Чѣмъ скорѣе здѣсь вы всѣ меня забудете, — тѣмъ лучше. На старую дорогу я не вернусь — новой попытаю!.. Вы знаете, до чего здѣсь все мертво? — обернулась она къ офицеру: — Когда у васъ были тамъ неудачи, тутъ наши барыни только судачили объ этомъ, и то больше въ тонѣ безплодныхъ сожалѣній. Общество и не шелохнулось даже. Такъ же мирно и безболѣзненно садились вечеромъ играть въ вистъ, съ такою же душевною ясностью аплодировали въ театрѣ разнымъ каскаднымъ пѣвицамъ, столько же пропивали на шампанскомъ. Словно это воюють гдѣ-то въ Австралиі или въ Патагоніи. Точно никому не больно это дѣло. До того не близко, что напоследокъ даже ужъ

и интересоваться перестали вовсе. Заглянуть въ газеты, прочтуть телеграммы и съ тѣмъ же волчьимъ аппетитомъ за столъ садятся. Противно смотрѣть стало на все это...

Когда всѣ ушли, Мирская опять точно застыла въ уголкѣ своего дивана...

Неподвижная, она долго сидѣла тамъ, безучастно слушая, какъ въ коридорѣ мало-по-малу замирали шаги, какъ трактирная суета становилась все тише и тише, такъ что даже отдаленный стукъ биллиардныхъ шаровъ сталъ доноситься въ ея комнату вмѣстѣ съ отголосками игравшихъ и дребезжаньемъ дрожекъ на улицѣ... Вошла горничная, приготовила постель, спросила о чемъ-то.

Мирская ей отвѣтила машинально и видимо невпопадъ, потому что та съ удивленіемъ оглянулась на нее.

Стало совсѣмъ тихо.

Такъ тихо, что даже скрипѣніе и шорохъ мыши подъ половицей дѣйствовали на нервы.

Все, о чемъ говорили сегодня, съ новою силою воскресало въ памяти. Намеки обращались въ ясныя, опредѣленные фразы; картина за картиной создавались и проносились передъ нею, вполне законченныя, вполне дорисованныя. Точно сегодня она пережила что-то особенное, крупное, такое, что должно будетъ оставить слѣдъ на всей ея жизни...

Въ будущемъ стало свѣтло...

Грудь ея дышала свободнѣе; вѣра въ счастье росла; хотѣлось только этого новаго скорѣе, скорѣе какъ можно... сейчас!

И далеко назадъ, въ безвозвратное прошлое, уходили дырявыя и полинявшія кулисы, чадная сцена, смрадные уборныя, плотоядные восторги зрителей и мелкія подлости закулиснаго міра...

Далеко, далеко назадъ!

Такъ далеко, что Мирской стало уже казаться, что она давно оставила сцену, что теперь съ нею она не имѣетъ ничего общаго... Точно что-то оборвалось разомъ. Никакой связи съ прошлымъ не оставалось. Совсѣмъ никакой...

Даже и вспомнить объ этомъ прошломъ не хочется совсѣмъ. Ну его!..

Впередѣ жизнь и свѣтъ! Скорѣй же навстрѣчу этому свѣту!..

Согрѣться въ его лучахъ, поработать на просторѣ, по душѣ потрудиться ближнему!..

## IV.

На другой день за полинявшими кулисами театра была великая смута.

Мирская объявила рѣшительно, что она уѣзжаетъ черезъ педѣлю. Ей не повѣрили. Она повторила еще рѣшительнѣе и серьезнѣе. Ей напомнили о недоплаченномъ жалованьѣ, котораго по контракту она лишалась. Мирская только засмѣялась. Да и въ самомъ дѣлѣ — какими-то грошами хотятъ ее удержатъ, когда тамъ, куда она теперь стремится, ее ждетъ настоящее, большое дѣло... Ей послѣ этого еще противнѣе стали закоулки и уборныя театра, еще невыносимѣе вся эта жизнь съ грошовыми расчетами, мелкими прижимками, низменными интересами...

Антрепренеръ, когда-то самъ трагикъ провинціального театра, вспомнилъ старое.

Онъ кинулся на квартиру къ Мирской, разыгралъ передъ нею одну изъ хорошо удававшихся ему когда-то сценъ, даже въ патетическомъ мѣстѣ на колѣни бросился и за голову схватился, воздѣвалъ руки кверху, потрясалъ ими, билъ себя въ грудь, изъ басовыхъ глухихъ нотъ «тѣни отца Гамлета» переходилъ въ высокія потрясающія проклятія Карла Моора, но увы, все это искусство не повело ни къ чему. Мирская неподвижно сидѣла въ уголкѣ своего дивана и съ видимымъ отвращеніемъ смотрѣла на «игру» бывшего трагика.

— Ну, довольно!.. — наконецъ потянулась она и зѣвнула. — Мнѣ все это ужъ надоѣло.

Трагикъ, только что вспомнившій, какъ король Лиръ проклиняетъ своихъ дочерей, и растрепавшій собственно по этому случаю волосы на головѣ, пріостановился.

— Кончено... Я сказала — не могу и разговаривать нечего.

— Да вы что? соляной столпъ, что ли?.. Неужели на васъ не дѣйствуютъ просьбы отца семейства... Вѣдь вы разоряете дѣтей моихъ...

У трагика гдѣ-то была жена и дѣти, но гдѣ — онъ и самъ этого не зналъ толкомъ.

— Вѣдь я — семьянинъ... у меня — малютки.

— Все равно. И безъ меня вы лавочки не закроете... Кстати, пріѣхала сюда Мольская — опереточная актриса. Пользуйтесь случаемъ, она вамъ сдѣлаетъ сборъ...

— А жалованья я вамъ все-таки не отдамъ, — перешель въ дѣловой тонъ антрепренеръ.

— И не отдавайте...

— Съ парши... то есть съ овцы хоть сѣна клокъ... — разо-злился онъ и заходилъ изъ угла въ уголъ.

Мирская даже не обидѣлась. Она опять улыбнулась ему и встала.

— Ну, прощайте... Не поминайте лихомъ... У меня еще про-пасть дѣла.

— Голубушка!.. Я объявляю: «Въ послѣдній разъ передъ отъ-ѣздомъ...» А?... Вамъ вѣдь все равно — одинъ разикъ только.

— Нѣтъ, ужъ на это не спекулируйте, пожалуйста... Я очень васъ буду просить объ этомъ. Я кончила совсѣмъ.

Не успѣлъ уйти антрепренеръ, какъ къ Мирской принесли записку отъ Величковскаго.

Свѣжеиспеченный герой увѣдомлялъ ее, что онъ остаетя здѣсь два дня, которые, вѣроятно, будутъ достаточны для приготовленія къ дорогѣ Мирской... «Все, значитъ, какъ по маслу», сообразила Мир-ская, и въ первый разъ ей стало хорошо и весело.

Она вышла пройтись, пользуясь тѣмъ, что до сихъ поръ для нея было заказано.

Цѣлые дни она проводила на репетиціяхъ въ театрѣ, вечера — тамъ же на спектакляхъ.

Солнечный свѣтъ она видѣла только изъ оконъ своей комнаты утромъ, когда вставала съ постели. Потомъ, проходя по улицамъ къ театру, ей уже было некогда — обдумываніе роли занимало всѣ ея мысли. Изрѣдка во время репетиціи, когда на сценѣ царитъ какой-то могильный полумракъ, она заглядывалась на широкую полосу свѣта, прорывавшагося сверху въ круглое окно у кровли театра, и ее тянуло въ толпу, на улицы, въ садъ, подъ зелень тихо колеблющихся вѣтвей; но не успѣвали еще разойтись ея мечты, какъ режиссеръ наскакивалъ на нее:

— Анна Александровна, что же вы?... Вамъ выходить.

И Мирская давила невольный вздохъ, начиная свою роль.

Теперь она вволю дышала этимъ солнечнымъ свѣтомъ. Радостное чувство свободы охватывало ее, и все кругомъ казалось ей лучшимъ, чѣмъ прежде. Бродя по аллеямъ городского бульвара, она только разъ увидѣла въ просвѣтѣ между деревьями сѣрый силуэтъ театра, и сердце ея невольно сжалось при мысли, что въ этотъ яркій солнечный день тамъ, подъ каменными сводами, жалкіе труженики возятся въ пыли и въ сумракѣ, дѣлая свое никому теперь ненужное дѣло...



— Анна Александровна! — послышалось изади.

Запыхавшаяся фигура одного из самых горячих ее поклонников мелькнула между деревьями. Лицо покраснело; потъ крупными каплями выступилъ на немъ.

— Что вы? — протянула ему руку Мирская.

— Помилуйте... Изъ театра бѣгу... Возможно ли это наконецъ?... Это Богъ знаетъ что такое... Какъ же такъ сразу, вдругъ...

— Да вы, милый человекъ, о чемъ же?

— Все о васъ... Что вы задумали дѣлать?

— Проѣхать въ Петербургъ...

— Не вѣрю...

— У васъ скучно...

— Не вѣрю...

— Еще кой-куда покачу... Поболтаюсь между людьми.

— Развѣ здѣсь не люди?... Не вѣрю-съ...

«Скажу ему правду... Ну-ка!» — мелькнуло въ головѣ Мирской.

— Я ѣду не туда...

— Куда же?

— Еще дальше, чѣмъ въ Петербургъ.

— Ну?!

— Вѣрно... Я ѣду за Дунай — сестрой милосердія.

Того точно варомъ обдало... Покраснѣлъ весь и оторопѣло хлопаетъ глазами... Видимо, ничего человекъ понять не можетъ.

— Вы — сестрой?

— Да... Что васъ такъ удивляетъ?

— Такая красивая... Да этого быть не можетъ... Вотъ глупости-то!.. Туда, знаете, кто ѣдетъ? — старыя дѣвы, уроды, нищія...

Ей стало гадко слушать дальше. Она не хотѣла спорить и убѣждать. Не докажешь, вѣдь, все равно ничего.

— Ну, прощайте... Не поминайте лихомъ.

— Нѣтъ, да вы это серьезно?... Можетъ, вы это такъ, хотите только прибавку къ жалованью выхлопотать... Такъ вы вашему квазимодо-антрепренеру прямо вопросъ поставьте. Что съ нимъ, со скотомъ, церемониться... А мы будемъ поддерживать васъ... Вы напрасно, право...

— Я вамъ говорю правду. Я дѣйствительно ѣду сестрой милосердія.

— Да когда же это вы успѣли рѣшить?..

— Вчера...

— А послѣдній прощальный спектакль?

— Не будетъ.

— Какъ же это?

— Я послѣзавтра утромъ съ почтовымъ поѣздомъ въ Питеръ.

— Вотъ-те и на! Значить, «прости навѣкъ!». И вамъ не жалко?

— Совсѣмъ не жалко.

— И насъ бросить не больно?

— Нѣтъ.

— Такъ съ легкимъ сердцемъ и двинетесь впередъ? Ну, давай вамъ Богъ!.. Смотрите только, турку не попадитесь. Онъ, турка, на этотъ счетъ подлый...

— Однако, какъ вы смѣшливо къ этому относитесь...

— Помилуйте, иначе-то какъ же? Пришла вамъ блажь въ голову, новое платье съ краснымъ крестомъ примѣрить захотѣли, и мы вамъ кланяйся за это... Сами пожалѣете, да будетъ уже поздно... Вздумали — куда! Легко сказать...

И почитатель «таланта» Мирской, наконецъ, раскланялся съ ней...

Къ вечеру рѣшеніе Мирской стало извѣстно всему городу. При этомъ онъ раздѣлился на двѣ половины. Дамы хвалили будущую сестру, но тутъ же соображали, что она «подвигомъ милосердія» хочетъ очистить свою репутацію и заставить забыть ея сценическую карьеру, а мужчины оказались болѣе недоувѣрчивыми. Они просто не вѣрили ни одному ея слову.

— Вретъ, шельма. Сестра милосердія! Хороша сестра! — вчера тру-ля-ля, а завтра — сестра!.. Нашла дураковъ!.. Кто ей повѣрить?..

Сочувственнаго голоса не слышалось нигдѣ.. Ниоткуда!

Или смѣялись, или смотрѣли какъ на раскаяніе...

А Мирская, между тѣмъ, становилась все веселѣе и веселѣе.

## V.

### Дорога.

Мирская забылась подъ мѣрный грохотъ поѣзда.

Еще на первыхъ порахъ дороги она безучастно глядѣла въ окно, за которымъ тянулась все одна и та же скучная гладь, мелькали все однѣ и тѣ же чахлыя, мелкорослыя, медленно поднимающіяся рощи.

скучныя грязно-сѣрыя деревни и изрѣдка бѣлая колоколенка сельской церкви съ густою кленовою чащею вокругъ... Желтиной подернуло листву березъ, красныя тоны легли по кленовымъ зарослямъ. Осень, тѣмъ далѣе къ сѣверу, тѣмъ ярче сказывалась — на умирающихъ поляхъ и чахоточныхъ деревьяхъ, точно пробѣгавшихъ на югъ мимо оконъ вагона.

Мирская хотя и смотрѣла на всю эту бѣдноту, но ничего не видѣла передъ собою. Ни гладей, ни роцъ, ни насыпей по обѣимъ сторонамъ дороги, ни полотна ея, ни сторожей, выходившихъ навстрѣчу поѣзду съ зелеными флагами... Мысли ея были далеко, далеко... Очнулась она было на одно мгновеніе, когда поѣздъ, пыхтя, гремя и свистя, точно прорвался по узкому желѣзному мосту, надъ схоронившейся въ глубокую лощину рѣченкой, и опять задумалась, равнодушно глядя на унылыя окрестности желѣзной дороги.

Она теперь уже не ощущала радостнаго чувства свободы... Оно точно заснуло, замерло, спряталось куда-то... Она слишкомъ много радовалась за эти два дня... Слишкомъ много, до того, что даже устала... Ее тѣшили и глупыя сплетни провинціального города, и самобичеваніе Величковскаго, который не могъ себѣ простить того, что онъ совратилъ ее въ сестры милосердія, и встрѣча въ вокзалѣ съ одной знакомой старушкой, которая нарочно пріѣхала съ иконой благословить ее «на вѣрную смерть»...

— Да я не умру!.. — пробовала было утѣшить ее Мирская.

— Ну какъ, матушка, не умрешь!.. Коли не убьютъ, такъ сама сляжешь... Это ужъ такъ... Ты бы загодя-то панихиды стала служить... Все оно спокойнѣе, коли безъ покаянія придется, такъ будто раньше спокаялась...

Пріѣхала даже губернская сановница и предложила пособіе.

— Какое пособіе? — переспросила у нея Мирская.

— Да вотъ... Не побрезгуйте... Вамъ мы рѣшили — десять рублей.

— Благодарю... Я сама имѣю достаточно средствъ.

— А мы уже и въ протоколь внесли... Какъ же такъ?... Я, право, не знаю.

— Это ужъ какъ вы хотите...

— Такъ я знаете что? — наплась та... — Я помѣчу эти деньги какъ будто пожертвованными вами...

Даже купецъ Зубковъ прислалъ ей голову сахару, фунтъ чаю и три рубля денегъ съ длиннымъ поминаньемъ, въ которомъ были вписаны

всѣ его сродственники и сродственницы, мирно почившіе въ свое время.

Мысли ея незамѣтно унеслись въ далекое прошлое...

Она забыла уже и душную сцену, и эту плотоядную толпу, рукоплескавшую ей... Передъ нею ея семейное гнѣздо, но еще болѣе душное, еще болѣе тѣсное... Она и теперь точно вздрагиваетъ, переживая свое бывшее. Ни воли, ни смысла въ ея тогдашней жизни. Сегодня какъ вчера, завтра какъ сегодня... Тѣ же робкіе, приниженные люди кругомъ, та же тяжелая рука и грозный голосъ отца... Никто не заговариваетъ съ нимъ первый. Пройтись по комнатамъ нельзя — сейчасъ же оборветъ... мать запуганная, бѣдная женщина... Она за всѣ двадцать лѣтъ семейной жизни своей убѣдилась въ томъ, что судьба дала ей крестъ, который она должна нести безропотно, хотя бы онъ пригибалъ ее къ самой землѣ... Сколько ужаса, бессмысленнаго ужаса въ этомъ прошломъ. Когда-то богатъ, отецъ Мирской разорился тогда, когда ей минуло шесть лѣтъ. Поступилъ на службу. Но онъ умѣлъ только приказывать самъ, а не подчиняться другимъ. Черезъ три года ему пришлось оставить свое мѣсто послѣ бурной сцены съ начальствомъ.

— Никогда больше не пойду на заднихъ лапахъ плясать! — объявилъ онъ женѣ, вернувшись домой.

Та еще ниже наклонила голову. Вѣдь не ея же мнѣнія спрашивалъ этотъ человекъ, всю свою жизнь не терпѣвшій около себя чѣй-либо чужой воли...

— Они меня разорили, хорошо — я сдѣлаюсь работникомъ, хозяиномъ. Слава Богу, никому кланяться не придется... Крестьяниномъ буду, если на то пошло... Въ самомъ дѣлѣ — тамъ настоящая самостоятельность... Работай на себя!..

— Ну, крестьяне-то зачастую... — осмѣлилась было возразить жена.

Онъ только посмотрѣлъ на нее, и она еще ниже наклонила свою голову.

— То мужики!.. А я дворянинъ... — обрѣзалъ Мирскій-отецъ. Въ эту голову если что западало, такъ ужъ прочно.

Не долго думая, Мирскій отправился въ Нижегородскую губернію, купилъ тамъ имѣннице разорившагося шалопая. Десятинъ полтора ста земли. На ней было двѣ-три крестьянскихъ избы; барскій домъ сгорѣлъ дотла. Къ зимѣ уже вся семья его переселилась въ одну изъ этихъ избы. Мирскій круто переламывалъ свою жизнь, когда находилъ это необходимымъ. Рѣшившись разъ, онъ до послѣднихъ мелочей от-

рѣшался отъ прошлаго и не вспоминалъ уже о немъ. Ничего оставить ему не было жаль; ни о чемъ ему не становилось больно. Семья его надѣла на себя крестьянское платье. Жена стала ходить съ нимъ на работу съ зарею — весной и лѣтомъ — на поле. Изъ прекрасной музыкантши скоро выработалась совсѣмъ загнанная деревенская женщина съ заскорузлыми огрубѣвшими пальцами. Она только плакала по ночамъ, когда думала, что мужъ ея не слышитъ... Но онъ слышалъ и великодушно позволялъ ей это... Дѣти — тоже были на работахъ. У кого на отчетности погребѣ, кладовая. Мирская, дѣвочка лѣтъ десяти, уже должна была лѣтомъ босикомъ ходить съ наемными деревенскими дѣвками и бабами, присматривая, какъ онѣ работаютъ. До окончанія страднаго дня никто не смѣлъ вернуться домой. Только самъ Мирскій и его жена обѣдали въ горницѣ отдѣльно. Дочери и сынъ — вмѣстѣ съ рабочими. Отецъ морилъ ихъ на тяжелой и недостаточной пищѣ. Экономизировались силы семьи такъ, что пятилѣтняя дѣвочка и та бѣгала за гусями, и она имѣла свое дѣло. Въ этой каторжной работѣ прошло три года. Мирской еще было легче сравнительно. Она уже умѣла читать, и сосѣдній мировой судья часто доставлялъ ей матери книги, тайкомъ отъ отца (онъ не терпѣлъ книгъ). Ихъ читала и дѣвочка... Жадно читала... Способная молодая головка страстно работала надъ каждою мыслью, надъ всякимъ заинтересовавшимъ ее положеніемъ... Это не давало ей огрубѣть умомъ. Напротивъ, какъ-то при этой обстановкѣ глубже ложилось на душу все прочитанное ею... Къ концу трехъ лѣтъ дѣла ея отца были въ блестящемъ положеніи. Онъ получилъ неожиданно громадное наслѣдство, но не измѣнилъ ни на волосъ жизни. Выстроилъ хоромы. Самъ уже позволялъ себѣ все — семья же работала, не разгибая спины. Одной женѣ своей онъ разрѣшалъ ничего не дѣлать, т. е. не ходить въ поле, а работать по дому. Онъ не взялъ даже прислуги. Полы мыли, бѣлье стирали, пищу ему и рабочимъ варили она и ея дѣти. Это онъ называлъ «ничегонедѣланіемъ». Когда онъ уѣзжалъ, весь домъ отдыхалъ. «Папа уѣхалъ!» — точно вѣсть радости разносилась съ конца въ конецъ. Тогда дѣти приодѣвались, и мать лихорадочно, быстро учила ихъ, наверстывая потерянное время. Учила тайкомъ... Отецъ и слышать не хотѣлъ о наукѣ. Мирскую она научила музыкѣ. Отецъ купилъ фортепьяно своей женѣ послѣ долгихъ намековъ съ ея стороны. На прямую просьбу она, разумѣется, бы не рѣшилась. Такимъ образомъ, когда все въ домѣ шло заведеннымъ порядкомъ, — самъ Мирскій шлялся по уѣзду, въ укромныхъ уголкахъ его устраивался съ пріятелями оргіи, напивался. Пьянымъ онъ иногда и до-

мой прїѣзжалъ. Тогда все живое хоронилось. Мирскій ни съ того, ни съ сего дѣлался звѣремъ. Онъ таскалъ жену за волосы, билъ ее, бросалъ полумертвою гдѣ-нибудь на порогъ и принимался за дѣтей. Съ каждымъ новымъ ударомъ — несмотря на молчаливую, безропотную покорность жертвъ — злоба въ немъ росла все больше и больше. Онъ скрежеталъ зубами, неистово бѣгалъ по комнатамъ, ожидая, не явится ли еще кто-нибудь или что-нибудь, на чемъ можно было бы сорвать свою злобу. Такіе припадки бѣшенства продолжались дней по пяти. И при этихъ-то условіяхъ росла Мирская. Она бы, разумѣется, совсѣмъ приникла, если бы не книги... Эти друзья спасли ее, — спасли такъ, что къ шестнадцати годамъ дѣвушка была уже готова: съ горячимъ протестомъ къ самодурству, съ безконечною ненавистью ко всякому насилию, съ злобой къ своему прошлому. Это прошлое она не могла вспомнить безъ ужаса... Въ немъ для нея, кромѣ святой женщины, ея матери, фанатически безмолвно несшей свой крестъ, не было ничего близкаго, родного... Она вырвалась отсюда — счастливая... Жизнь открывалась ей свободная, полная свѣта и правды!..

И этому свѣту, и этой правдѣ она широко раскрывала свою душу.

— Вашъ билетъ! — слышалось надъ нею.

Она съ трудомъ вышла изъ задумчивости. Первое время даже съ недоумѣніемъ взглянула на оберъ-кондуктора.

— Вашъ билетъ! — повторилъ онъ.

— Ахъ, да... — спохватилась она...

— На этой станціи всегда билеты спрашиваютъ, — опять попробовалъ было завести разговоръ ея сосѣдъ.

— Да...

— Вы изволите далеко ѣхать? — обрадовался онъ.

— Далекو.

— По своимъ дѣламъ?

Она кивнула.

— Такая молодая и по своимъ дѣламъ!.. Развѣ вамъ некому поручить ихъ?

— Некому.

— Помилуйте, да всякій сочтетъ за особенное удовольствіе...

Но Мирская его уже не слышала.

Поездъ подходилъ къ станціи. Когда онъ остановился, Мирская вышла на платформу.

— Ну, слава Богу, — встрѣтила она Величковского.

— Гдѣ вы-то, негодный человѣкъ, пропадаете?

— Товарищей встрѣтилъ. Теперь опять къ вамъ перейду.

— Пожалуйста, а то скучно.

— Нѣтъ, каковы люди-то!.. Я ихъ спрашивалъ, скоро ли къ намъ; а они — какъ бы вы думали, что отвѣчаютъ? — Мы, — говорятъ, — *pas si bêtes*, голову свою подставлятъ не согласны изъ-за пустяковъ!.. Это наше дѣло-то пустяки... А почему пустяки? — спрашиваю. — Ты, говорятъ, — прочти, что теперь пишется, тогда и увѣруешь. Вотъ тебѣ и великое дѣло!..

---

## VI.

### По душѣ!

---

Темнѣло...

Въ окно, вмѣстѣ съ клубами противнаго дыма отъ каменнаго угля, врвался холодный воздухъ. Чѣмъ дальше подвигался поѣздъ къ сѣверу, тѣмъ становилось замѣтнѣе приближеніе осени... Въ сумеркахъ медленно подступающей ночи — далеко-далеко на западѣ — чуть-чуть вздрагивала и узилась желтая полоса умирающаго дня, послѣдняя прощальная улыбка отгорѣвшаго солнца!.. Глаза невольно слѣдили за нею, и по мѣрѣ того какъ она гасла и блекла, тоскливое чувство прокрадывалось въ сердце Мирской. Сумракъ густился на поляхъ, сумракъ окутывалъ дали... Двѣ-три робкихъ звѣздочки мигнули въ небесахъ и затеплились надъ этой унылою неоглядною гладью, на которой теперь нельзя было замѣтить даже рощицы, села, церковки... Все утонуло въ маревѣ ласковой ночи, все словно приныкло къ землѣ, въ тихой дремѣ схоронилось въ нее...

А поѣздъ, гремя и пыхтя, выбрасывая клубы дыма съ золотыми искрами, уносился впередъ и впередъ, словно ему, этому желѣзному чудовищу, хотѣлось, во что бы то ни стало, поскорѣе убѣжать и отъ этихъ однообразныхъ полей, и отъ этой словно надъ чѣмъ-то тоскующей ночи... Вотъ онъ съ грохотомъ прорвался сквозь желѣзную колонаду висячаго моста; на одну секунду внизу мелькнула тихая рѣченка, медленно змѣившаяся въ крутыхъ берегахъ; тусклымъ стальнымъ блескомъ улыгнулись ея матовыя струи навстрѣчу поѣзду и опять — непроглядная сѣрая даль, и опять эта гладь неисходная... Только нѣтъ золотой полоски на западѣ; совсѣмъ отгорѣла и отцвѣла она... Небо слилось тамъ съ землею... Не разглядишь — гдѣ кончается одна и

начинается другое... Ярче замигали звѣзды, такъ замигали, словно чьи-то очи вверху роняютъ внизъ свои слезы... По болотнымъ мокринамъ потянулся блѣсоватый туманъ... Расползается по всему простору... Низко-низко стелется, ревниво, словно жаль ему приподняться надъ этою землею, открыть, что таится подъ его однообразными, облачными клубами...

Въ вагонѣ темно.

За зеленою шторой едва свѣтился огонекъ свѣчи, выхватывая изъ сумрака помятые цвѣты на женской шляпкѣ... Поближе вспыхивалъ огонекъ сигары, освѣщая кончикъ чьего-то носа, усы и бороду...

Мирской люба была эта ночь, такъ люба, что она не смѣняла бы ее на ярко-сіяющій день. Она оставалась опять одна безъ назойливыхъ распросовъ. Въ этой тьмѣ изрѣдка она замѣчала устремлявшійся на нее взглядъ Величковскаго. Ей было хорошо подъ влияніемъ этихъ добрыхъ, словно ласкавшихъ ее глазъ... Хорошо, потому что сквозь нихъ глядѣла на нее честная, преданная душа, такое хорошее чувство, что Мирской хотѣлось не отвести, а еще дольше удержать свой взглядъ на его лицѣ... И это лицо!.. Во мракѣ оно казалось еще мужественнѣе. Усы и брови выдѣлялись рѣзче...

Мирская вспоминала его рассказы о дальнемъ югѣ — и любовалась той простотой, съ которой Величковскій передавалъ ей все испытанное имъ... О подвигахъ онъ рассказывалъ такъ, какъ будто это все въ порядкѣ вещей, какъ будто иначе быть не могло... Ни рисовки, ни самоуслажденія. Мирская припоминала другихъ... Господи, какъ они ей были противны! Она говорила, что они тоже были правы — право это давали имъ перенесенныя страданія; но она не могла видѣть ихъ, слушать ихъ. Они, рассказывая, точно отходили въ сторону и смотрѣли на себя... Весь интересъ кровавой трагедіи съ десятками тысячъ жертвъ, съ стихійною безконечностью страданій, сосредоточивался на ихъ драгоцѣнныхъ особахъ. Они вездѣ были средоточіемъ, живящимъ или мертвящимъ началомъ, знаменемъ... Они брали редуты, — солдаты только шли за ними, они дѣлали походы, — солдаты только слѣдовали ихъ великодушному примѣру.

О Величковскомъ говорили другіе. Самъ онъ, въ своихъ рассказахъ, или молчалъ о себѣ, или упоминалъ вскользь. А между тѣмъ онъ дѣлалъ настоящее, не показное дѣло...

— Послушайте! — вдругъ прервала молчаніе Мирская. — Вы не спите?..

Сама видѣла вѣдь, что тотъ, глазъ не смыкая, смотрѣлъ на нее!



— Скажите мнѣ вотъ что: зачѣмъ въ томъ дѣлѣ, о которомъ рассказали мнѣ такъ мало, вы первый бросились въ редутъ?..

— То есть какъ зачѣмъ? — не понялъ Величковскій.

— Ну, да зачѣмъ? Развѣ безъ васъ ничего бы не сдѣлалось? Вѣдь вы пошли охотникомъ... вамъ идти не слѣдовало... Насколько я понимаю, начальникъ долженъ былъ показать примѣръ.

— Видите... Тутъ разсуждать нечего... Кому первому въ голову пришло — тотъ и бросайся... А до остальныхъ что за дѣло... И нельзя сказать, чтобы я не сознавалъ, что я дѣлаю... Только какъ-то быстро все... Мысли одна за другой, одна за другой... Не поймашь одну, а ужъ другая на мѣсто ея всплыла... Одна только отчетливѣе другихъ стояла... Видите ли — дошли до редута солдаты чудесно... Молодцами, стойко, хорошо... Много падало — люди не обращали вниманія на это, — а какъ выросъ передъ глазами сѣрый валъ бруствера — ну и шабашъ... Не то что паника, а такъ — колебаніе минутное... Дай этому продлиться — паника бы дѣйствительно началась; ну, и бросились бы назадъ, какъ стадо, не сознавая того, что при отступленіи не въ примѣръ больше ляжетъ народу... Тутъ человѣкъ не соображаетъ какъ-то, — а какъ вступить въ голову, — такъ и дѣлаетъ... А здѣсь еще изъ-за бруствера разгорѣлся огонь, лицъ не видно — только, точно змѣиные жала, штыки поблескиваютъ... Вижу я, что дѣло плохо... И бросился...

— А начальство?..

— Голубушка! батальонъ-то старикъ маіоръ велъ... Оно точно, что «военному умирать подобаешь»; правда и то, что смерть такая «славна и завидна»; да у этого маіора жена и шестеро дѣтей малолѣтокъ. Не нищими же ихъ оставлять! Добрался бѣдный до бруствера, — куда же ему первому на смерть? Я думаю, во весь путь головенки своихъ дѣтокъ видѣлъ и печальные глаза жены. Шелъ впереди все, но хмурый, сумрачный. Знаете, безъ этого боевого энтузіазма, о которомъ я въ книжкахъ читалъ... Напротивъ...

— Что напротивъ?

— Да видите ли... Видать, что человѣкъ долгъ исполняетъ, а душа у него къ этому не лежитъ... Точно нехотя. Солдатамъ обогнать себя не позволить, все впереди, — но не ободряетъ ихъ, въ голосъ этой обаятельной силы нѣтъ... Я вамъ говорю, что во весь путь, видимо, дѣтей да жену видѣлъ... Я разъ даже замѣтилъ, какъ у него, у бѣдняги, слеза скатилась... Еще опасново оглядѣлся, — не видали ли... Стыдно, знаете, въ такихъ случаяхъ... Самая скверная кличка тамъ —

трусъ, а эту кличку нѣтъ ничего легче получить. Стоитъ только какому-нибудь нахалу подмѣтить — и пустить въ обращеніе анекдотецъ о твоей чувствительности...

— Да развѣ это позорно?..

— Чувствительность-то? въ военное время?.. Еще и какъ!.. У насъ генераль есть... И лихой онъ, и самъ богатырь русскій, а знаете, что онъ сказалъ своимъ офицерамъ?..

— Вы, — говорить, — перейдя Дунай, забудьте, что у васъ въ Россіи остались жены и дѣти... Хорошій солдатъ не долженъ помнить объ этомъ... Вотъ онъ какой.

— Кто это?

— А Скобелевъ молодой... А въ другой разъ еще и того лучше. Взяли мы позицію безъ боя: турки уступили — видѣли, что защищать нельзя... Другой бы радовался, а Скобелевъ дернулъ себя за усы... «Жалко, — говорить, — что боя не было; мы бы расчесали этихъ мерзавцевъ»... А за что мерзавцы?.. Такіе же солдаты, какъ и наши. Приказали — и пошли... Чѣмъ они виноваты?.. Это называется настоящими боевыми инстинктами... Ну, а маіоръ, знаете, хорошимъ офицеромъ не былъ — все жену и дѣтей забыть не могъ... Передъ наступленіемъ — портреты ихъ мнѣ показывалъ, бѣдняга... «Если убьютъ — по міру семья, — самъ говорилъ. — Коли бы еще мальчики были, а то что изъ дѣвочекъ выйдетъ!.. Сами знаете»... Еще бы не знать!.. Не убьютъ, говорю... Вы впередъ не суйтесь только... «Соваться не буду, — отвѣчаетъ, — да и прятаться не стану: я не для этого двадцать лѣтъ жалованье получалъ»...

— Что же вы передъ брустверомъ-то остановились и отвлеклись въ сторону?.. — пошутила Мирская.

— Ну, вижу я, что маіоръ самъ не бросается, потому первому — вѣрная смерть. Солдаты тоже точно заколыхались, а я одинъ, *никому не дорогъ*.

Голосъ Величковскаго дрогнулъ. Мирская молча пожала ему руку.

— Никому не дорогъ, — повторилъ онъ. — Что же еще? Обернулся: «Помните присягу?» — говорю. Закрывъ глаза и бросился. Жутко, страшно было... Потому и глаза закрылъ... Лучше какъ не видишь, что штыкъ въ тебя... И рожи, знаете, эти — некровожадныя, нѣтъ... Не освирипѣли, а тоже полны ужаса... Въдъ въ чемъ трагизмъ, — увлекся Величковскій: — и тѣ, что защищаются, и тѣ, что нападаютъ, одинаково боятся, и чѣмъ больше боятся, тѣмъ безпощаднѣе колятъ — если не убѣгутъ раньше. Такъ и взяли редутъ...

— Что же вы-то, вы-то?

— А я, знаете, почувствовалъ, что-то точно ожгло меня въ плечо, а потомъ меня прикладомъ по головѣ... Упалъ, лицомъ внизъ... Такъ-таки ничего и не видѣлъ. Я думаю, мгновеніе не прошло — сзади точно волна накатилась — наши вскочили. Топчаты меня — ничего не чувствовалъ, а какъ очнулся — приподнялъ голову — смотрю кругомъ въ редутъ одни мертвые да умирающіе... Свалка уже дальше за редутомъ идетъ... Мертвые да умирающіе... Знаете — ужасно это... Сталъ вглядываться — шагахъ въ десяти отъ меня — майоръ нашъ... Навзничъ — глаза въ небо, шапка свалилась, волосы ко лбу прилипли... А животъ весь въ крови... И руки раскинулъ бѣдняга... Штыкомъ несчастнаго уложили... И много картинъ такихъ было. Въ одномъ мѣстѣ грудой навалены трупы, а изъ-подъ нихъ старается выползти раненый турокъ, — чуть приподымается на рукахъ, потянется-потянется — видитъ, что ничего подѣлать нельзя, и всхлипываетъ, да какъ!... Слышали бы это — во вѣкъ не забыли бы... Ужасно!..

— Ну, а потомъ?

— А потомъ меня подобрала... Свели на перевязочный пунктъ — стали лѣчить...

Величковскій полузакрывъ глаза, словно стараясь не видѣть картинъ, рисовавшихся передъ нимъ.

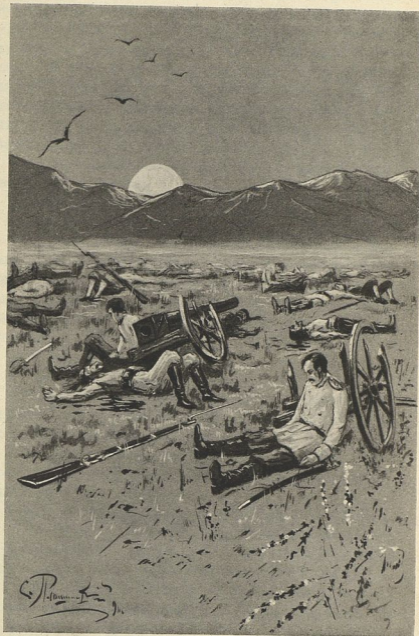
— Да, вотъ... А онъ говоритъ: «Жалко, что боя не было»... Оно, знаете, можетъ быть это въ военномъ отношеніи и замѣчательно, да какъ-то ужъ очень бездушно... И вѣдь какіе инстинкты развиваются! Вѣдь онъ увидѣть укрѣпленія не можетъ — у него сейчасъ въ мозгу представленіе: экая жалость, какъ хорошо бы эту твердыню штурмомъ взять... А вы понимаете, какая это игра — штурмъ?... Наступающіе пропасть теряютъ, пока до валовъ дойдутъ... А до-рвутся — никому за валами не дадутъ пощады. Съ обѣихъ сторонъ истребленіе всюю... А этихъ-то майоровъ съ дѣтскими пропадаетъ при этомъ немало...

— У Виктора Гюго я читала, какъ въ Ватерлоскомъ сраженіи умирали старая гвардія... Очень красиво выходило...

— Да, это у Гюго... У поэтовъ все такъ... Только правды въ этомъ описаніи ни на грошъ нѣтъ... Скверно это, а не красиво... И знаете, что всего досаднѣе?... — горячо заговорилъ Величковскій:

— Ну?

— А то именно, что настрадавшійся и намучившійся въ огнѣ господинъ — вернется съ бою, удѣлѣвъ, и самъ себя увѣритъ, что это



Боевая Голгофа.

Т-во „Прозвѣщеніе“ въ Спб.

Послѣ боя.

(Стр. 32.)



было и хорошо, и красиво, а потомъ и другихъ станетъ увѣрять... Ну, какъ же ему не повѣрить? И является шовинизмъ, и проповѣдуетъ человѣкъ, что въ бою онъ и лучше, и возвышеннѣе душой становится. А какое тутъ лучше, когда-мысль то и дѣло подсказываетъ: какъ бы не меня только — пускай другихъ... Самая подлая трусость, въ сущности... Въ первое дѣло, знаете, я съ восторгомъ пошелъ... Смѣло, «ура» такъ и рвется изъ груди, и «мальчики кровавые» въ глазахъ!.. Весело даже было... Рядомъ шелъ Вимбергъ — товарищъ у меня былъ. «Скорѣе бы, — говорить, — война кончилась!» «А что?» — спрашиваю и внутренне негодую... Вотъ-де трусь...

— Да я, — говорить, — накануне объявленія войны помолвленъ былъ... Невѣста осталась.

— Дождешься...

— Хорошо бы поско...

— И не кончилъ слова: что-то шаркнулось въ землю передъ нами, взрыло вверхъ цѣлую кучу песку, осколковъ; что-то мягкое, влажное, пахнущее варенымъ мясомъ, ударило меня въ лицо и расплзлось по немъ... Опомился — гляжу: лежитъ бѣдняжка Вимбергъ. Полголовы снесло осколкомъ гранаты и меня — мозгомъ забрызгало... Отвратительно... Правда?..

— Я иначе все это воображала...

— Мало ли что издали кажется.

Въ окна вагона уже ничего не было видно, кромѣ огнистыхъ искръ, уносимыхъ назадъ въ клубахъ дыма и пара. Темная ночь со всѣхъ сторонъ схватила жаждавшую покоя землю.

Иногда вдалекѣ мелькали огоньки села, и, глядя на нихъ, Мирская невольно думала о томъ уголкѣ, который они освѣщаютъ теперь своимъ скуднымъ, трепетнымъ свѣтомъ...

Сколько и тамъ горя, сколько и тамъ обманутыхъ ожиданій!..

Въ этой глухой и заброшенной деревушкѣ сколько сердець бьется при каждой вѣсточкѣ съ далекаго юга! Сколько жизней здѣсь связано съ тѣми, которые бьются тамъ за «великое славянское» дѣло...

— Ахъ, скорѣе бы кончилось все это! — проговорила и она, взволнованная рассказомъ Величковскаго...

Тотъ пожалъ ей руку...

## VII.

## Тихій уголокъ.

Въ Москвѣ Величковскій и Мирская на время простились.

Условились встрѣтиться на одномъ и томъ же поѣздѣ желѣзной дороги, отправляясь въ Петербургъ.

У Величковскаго въ Москвѣ были родные; у Мирской — семья добрыхъ друзей; старикъ докторъ съ женою и двумя сыновьями. Одинъ только что окончилъ университетъ, другой еще слушалъ лекціи на третьемъ курсѣ.

Она всегда останавливалась у нихъ. Хорошие люди любили ее какъ родную. Въ эту скромную и тихую, непритязательную семью она вносила блескъ и жизнь, чуждые труженикамъ. День ея пріѣзда былъ праздникомъ и для стариковъ и для молодежи, смотрѣвшей восторженно на нее, какъ на воплощеніе всевозможныхъ талантовъ и совершенствъ. Въ такихъ семьяхъ еще актриса, художникъ и писатель — кажутся чѣмъ-то высшимъ, не отъ міра сего. Артистъ является здѣсь въ яркомъ ореолѣ, искусство кажется служеніемъ великому богу, котораго знаютъ только призванные жрецы его... Сіяніе этого бога кидаетъ свой отблескъ и на лица его жрецовъ ..

Тутъ еще плачутъ надъ книгой и вѣрятъ ей...

Здѣсь литература и искусство не стали ремеслами.

Въ подлой оргіи поклоненія золотому тельцу безумная челядь биржевыхъ боговъ давно забросала грязью вѣчные идеалы, передъ которыми умиленно преклонялись цѣлыя поколѣнія лучшихъ людей, носителей свѣта и истины. Она низвела эти идеалы до уровня своихъ идоловъ и служеніе имъ сдѣлала продажнымъ ремесломъ... Только кое-гдѣ еще теплится робкое, благоговѣйное уваженіе къ старому культу... Но и эти послѣдніе язычники сторонятся отъ бѣшеной, буйной и пьяной толпы, ликующей въ царствѣ мѣднаго гроша, хмельно ликующей, какъ празднуетъ загрубѣлый и хищный, невѣжественный кулакъ свое вторженіе въ недоступныя ему до сихъ поръ палаты, съ непонятными ему чудными созданіями искусства, съ странной для него обстановкой жизни...

Мирская отдыхала въ этой семьѣ...

Здѣсь она начинала опять вѣрить въ свое дѣло... Цѣль ея жизни вновь очищалась отъ темной тучи нечистаго дыханья и грязныхъ помысловъ... Старое солнце поднималось и сіяло надъ нею; старое солнце озаряло и безпредѣльные горизонты голубыхъ небесъ и тонущія въ нихъ

серебряныя вершины горъ, словно дивныя алтари, возносящія къ нему свои безкровныя жертвы . . .

Она и теперь торопила извозчика, желая поскорѣе окунуться въ эту купель сілоамскую, откуда всякій разъ выходила здоровѣе, чище и сильнѣе . . .

Передъ нею потянулись знакомыя кривыя улочки, тѣсныя переулки съ небольшими домиками и садами, все это оригинальное предместье Москвы, никакъ не желающее сбросить свой старозавѣтный костюмъ и облечься въ казенный мундиръ вымощенныхъ и выглаженныхъ столичныхъ улицъ съ ихъ тѣсными четырехъ- и пяти-этажными казарменными домами, одинаково выстриженными подъ гребенку, съ ихъ торцовыми панелями, городовыми на каждомъ перекресткѣ, вывѣской, — аляповатой, яркой, кричащей во все свое лавочное горло, у каждого окна, съ ихъ шумомъ, суетой и движеніемъ, вращающимся въ заколдованномъ кругѣ практическихъ идей и мѣщанскихъ аппетитовъ.

Извозчикъ лѣнливо похлестывалъ свою лошаденку.

— Вамъ куда? . .

— А вонъ за сѣренькимъ заборомъ . . . Ворота . . .

И она пристально вглядывалась туда — не покажется ли кто-нибудь знакомый.

За сѣрымъ заборомъ стояло зеленое царство липъ и кленовъ . . .

Густое, зеленое царство . . . Царство мира, тѣни и прохлады . . .

Тѣсно ему было за этою ветхой оградой, такъ тѣсно, что оно точно рвалось наружу, хотѣло разбросать заборъ во всѣ стороны, перекидывалось сверху внизъ на улицу густыми сочными вѣтвями, заглядывающими въ глаза усталымъ прохожимъ, осыпающими ихъ лица бѣлыми лепестками цвѣтовъ весною . . . До того было тѣсно этому зеленому царству, что оно сплошь надвинулось и на небольшой домикъ, стоящій въ глубинѣ сада . . . Надвинулось, заполонило его окна, переплелось вѣтвями надъ крыльцомъ, забросило цѣпкіе сучья на кровлю . . . Точно отъ чего-то нескромнаго взгляда схоронился въ этой глуши шестиоконный домикъ съ мезониномъ . . . Вечеромъ, когда въ единственномъ окнѣ этого мезонина загорался огонь, — казалось, что въ зеленой чащѣ теплится и рѣбѣтъ затерявшаяся въ ней одинокая звѣздочка.

Этотъ уголокъ принадлежалъ старику доктору Малыгину . . .

Оригинальный человѣкъ былъ этотъ Малыгинъ.

Работалъ онъ всю свою жизнь, безъ отдыха, безъ ропота . . . Отказывалъ себѣ во всемъ, чтобы имѣть возможность помочь бѣднякамъ своего околотка. Въ женѣ онъ нашелъ добраго товарища. Непритяза-



теперь ей трудно было найти человека. Для нея весь мир заключался в семье и людях, окружающих ее, нуждающихся в ее помощи. Дети у них росли сильные, здоровые, славные... Да в такой семье и не могло быть иначе... Старый идеалист Малыгин — был молод душою настолько, что с губ его не срывалось никогда старого и безсердечного осуждения молодых увлечений. Он не старался связать крыльев своим детям, охладить их душу, оборвать великодушные порывы... Он знал, что зачастую порывы эти ведут не к добру, что в царстве мѣднаго гроша — первые взмахи сильных крыльев встрѣчаются ропотомъ и проклятіями, но онъ пуще всего боялся, чтобы изъ детей его не вышли тѣ практическіе и ловкіе дѣльцы, принципы и совѣсти которыхъ дѣликомъ укладываются въ тѣсныя рамки таблицы умноженія, для которыхъ вся жизнь является въ видѣ разъ навсегда строго опредѣленныхъ четырехъ правилъ ариѳметики... Дети знали это и берегли стариковъ... Они понимали, что всякій ударъ, разразившійся надъ ними, сломитъ кроткую мать, эту старушку съ молодыми, сіяющими глазами, съ теплымъ любящимъ сердцемъ... Когда дети были еще мальчиками — отецъ говорилъ:

— Они будутъ моими товарищами.

И онъ сдержалъ слово.

Сыновья дѣйствительно видѣли въ отцѣ друга и товарища. Не было уголка въ ихъ совѣсти, момента въ ихъ жизни, которыхъ бы не зналъ старикъ...

Въ эту идеальную семью именно и входила теперь Мирская...

Она добралась до самаго дома, не замѣченная подъ густою тѣнью старыхъ липъ, въ зигзагахъ аллей, переплетавшихся на этомъ сравнительно небольшомъ пространствѣ въ запутанный лабиринтъ... Поздніе осенніе цвѣты дышали ей навстрѣчу своимъ ароматомъ, зеленые вѣтви привѣтливо колыхались при ея приближеніи, точно привѣтствуя дѣвушку въ этой тихой и мирной обители... Въ густой чащѣ вверху щебетали неугомонные воробьи, задорно перекликались щеглы, уныло по-свистывала какая-то маленькая пташка... Солнечные блики отъ лучей, пробившихся сквозь листву, передвигались по дорожкѣ, исчезая на мгновеніе подъ тѣнью этой граціозной дѣвушки, которая точно старалась идти помедленнѣе, дыша запахомъ цвѣтовъ и любясь на эту скромную прелесть стараго сада...

— Анна Александровна, милая!..

И высокій, загорѣлый юноша, валявшійся въ травѣ съ книгою, вскопчилъ и опрометью бросился ей навстрѣчу...

— Вотъ это хорошо!.. Вотъ праздникъ!.. Старикъ-то какъ обрадуется...

Мирская покраснѣла и расцѣловалась съ нимъ какъ съ братомъ.

— Ну ужъ и ручки жъ я вамъ расцѣлую за это!..

— Довольно, довольно... ваши всѣ живы, всѣ здоровы?

— Что намъ дѣлается!.. Отецъ!.. Отецъ!..

— Ну? — слышалось изъ оконъ домика.

— Угадай? кто пріѣхалъ?..

Въ дверяхъ, открытыхъ въ садъ настежь, показался самъ Малыгинъ...

— Аничка!.. Вотъ обрадовала-то... Ай да молодецъ — барышня. Еще больше похорошѣла...

Старикъ, несмотря на свои шестьдесятъ лѣтъ, шелъ увѣреннымъ и бодрымъ шагомъ... Цѣлая масса густыхъ сѣдыхъ волосъ на головѣ, густая сѣдая борода придавали много красоты этому свѣжему румяному лицу. Держался онъ прямо, «по-военному», какъ шутя выражался онъ.

— Ну, мать будетъ рада... Она у меня уѣхала къ Троицъ-Сергію... пускай помолится, коли ей это по душѣ...

— А гдѣ же Александръ?..

Тѣнь пробѣжала по лицу отца. Онъ вздохнулъ, но тотчасъ же оправился и улыбнулся...

— Александръ молодчина. Сегодня ты его увидишь. (Старикъ ей говорилъ ты, и это чрезвычайно нравилось дѣвушкамъ.) Только удивишься...

— Вѣдь онъ ужъ окончилъ университетъ?

— А еще бы... Золотая медаль... Съ нами не шути... Ну, а теперь, — голосъ старика дрогнулъ, — теперь онъ въ защитники отечества...

— То есть какъ это...

— Вольноопредѣляющимся... Не такое, говорить, теперь время, чтобы байбачить дома... Что жъ, онъ правъ... Большое дѣло... Много и силъ требуетъ... Онъ еще, знаешь, спокойно сидѣлъ до плевенскихъ неудачъ, а тутъ, какъ второго іюля разнесся слухъ, что нашихъ опять побили — не стерпѣлъ. Объявилъ рѣшительно, что идетъ туда... Солдатомъ... Что жъ, пусть!

Мирская внимательно смотрѣла на старика... Тотъ бодрился. Только въ уголкѣ глаза что-то блестѣло влажное. Словно тамъ застоялась слезинка, да и улыбка выходила какая-то принужденная. Она взяла его за руку.

— Ты думаешь — я жалю... Все должны идти — такое время... Я даже радуюсь... Я даже сказалъ ему: «Смотри безъ солдатскаго Георгія не смѣй глазъ казать»... Сказалъ вѣдь, Семень? А?

— Сказалъ, сказалъ, отецъ, — успокоилъ его младшій сынъ. — Только что же ты мнѣ рѣшительнаго отвѣта не даешь...

Отецъ сморгнувъ что-то съ глазъ и отвелъ рукой въ сторону, точно хотѣлъ отдѣлаться отъ отвѣта.

— Въ самомъ дѣлѣ, отецъ. Самъ вѣдь говоришь: все должны идти...

— Петръ у меня, — обернулся старикъ къ Мирской, — идти хочеть — въ санитары, такъ что ли? Все гнездо разбѣгается.

— Ну, вотъ...

— Нѣтъ, ты погоди до завтрашняго дня... Завтра я сюрпризъ имъ готовлю.

И старикъ шутливо подмигнувъ Аннѣ Александровнѣ.

— Изъ нашей семьи и солдатъ и санитаръ пойдутъ, да... Въ томъ и сюрпризъ.

— Значить, ты согласенъ.

— Завтра, завтра, мой другъ... Погоди... Слѣшите, но медленно, — сказалъ римскій философъ... И солдатъ у насъ будетъ и санитаръ... Одинъ станетъ наносить раны, а другой ихъ врачевать... Ну, Аничка, я тебя въ мезонинъ... Пусть завтра утромъ тебя птицы тамъ разбудятъ. Онѣ рано у меня, разбойницы, просыпаются. Въ пять часовъ утра уже по всему саду орутъ. Особенно щеглы. Поправилось имъ у меня — выгнать не могу. Съ утра до ночи.

— Ну, пойдѣмъ въ мой монастырь...

И Мирская вошла въ домикъ Малыгина...

— А у насъ точно трауръ вездѣ.

— Развѣ что случилось? — встревожилась Мирская.

— Нѣтъ, я про Москву... Въ большомъ уныніи находимся все мы...

— Да... скверно, — подтвердилъ Семень.

— Куда ни придешь — вездѣ мрачныя лица, тоска. Ходятъ какъ въ воду опущенные, точно потеряли близкаго человѣка. Эта Плевна — ужасно на насъ на всѣхъ подѣйствовала... До войны думали шапками закидаемъ. А теперь, какъ наша не беретъ, совсѣмъ мы носы повѣсили. И чѣмъ хороша Москва, — вдругъ одушевился Малыгинъ, — въ Питерѣ все только и знаютъ, что ругаются, — а Москва на свой образецъ. Сколько теперь денегъ въ Красный Крестъ повалило, сколько пожертво-

ваній разныхъ . . . Нѣтъ семьи большой, откуда бы уже не уѣхали или не собирались уѣзжать сыновья — вольноопредѣляющимися. Старики и тѣ ѣдутъ — кто чѣмъ можетъ помочь . . . Докторами, санитарями . . . Да, и старики ѣдутъ! — раздумчиво проговорилъ Малыгинъ и опять какъ-то лукаво подмигнулъ Мирской. — И старики ѣдутъ . . . Вотъ мы какіе . . . Знай нашихъ . . .

### VIII.

## Тамо съдохомъ и плакахомъ.

А Москва дѣйствительно плакалась.

Люди ходили растерянными. Всѣхъ точно пришибло что-то . . . Сознаніе общенароднаго несчастья выражалось и въ лицахъ, и въ рѣчахъ. Точно каждый потерялъ дорогого друга, брата . . . Не было смѣха, самооплеванія, на которое такъ щедро наша быстро мѣняющаяся свое знамя толпа, не было швырненья грязью во вчерашнихъ боговъ. Нѣтъ — здѣсь боги оставались богами, — но пути къ нимъ оказывались иными . . . Дѣло, которому вѣрили вчера, было все такъ же дорого и близко, но каждый разомъ понималъ, что нужны еще болѣе великія жертвы для его торжества . . .

Еще недавняго огадѣлаго оранья по трактирамъ, пьянаго захлебыванія дешевыми услѣхами какъ не бывало.

Москва просыпалась разомъ . . .

Вчера — «шпакми закидаемъ». Вчера противникъ оказывался ползающимъ у ногъ. «Расчесать его» — становилось вопросомъ завтрашняго дня . . . Вчера не было такого уголка, гдѣ бы не пили за недавнихъ героевъ, не кричали «ура» . . . Толкуя про Константинополь, протягивали ладонь и говорили: «вотъ онъ — тутъ, бери его завтра — нашъ будетъ» . . .

Сегодня, когда этотъ завтрашній день наступилъ, но при совѣмъ неожиданныхъ условіяхъ — горлановъ не стало. Масса заняла ихъ мѣсто и масса эта вскипала и поднималась, какъ вскипаетъ и подымается грозовая волна набѣгающей бури . . . Масса несла свои деньги комитетамъ Краснаго Креста, масса выдѣляла вольноопредѣляющихся въ армію, масса готовилась къ жертвамъ еще болѣе великимъ — лишь бы

доставить торжества своему излюбленному, своему доброму, хорошему дѣлу...

Масса поднималась какъ волна — и какъ волна въ размывахъ своей гѣны выбросила куда-то далеко, очень далеко всю грязную накипь, всѣхъ малодушныхъ, всѣхъ своекорыстныхъ...

Остались твердые, увѣренные. Остались тѣ, что не умѣли драгъ горла и отступать не привыкли. Не по трактирамъ, а въ церквахъ стали говорить люди и молиться... «Спаси Господи люди Твоя» подхватывалось всюю тысячеголовою толпою предстоящихъ и въ могучихъ раскатахъ возносилось и гремѣло подъ куполами храмовъ...

Истинному ли Богу молились или ложному — все равно...

Главное, вѣрили и умѣли хотѣть... Хотѣли и дѣлали...

Старики — ветераны крымской кампаніи, нажившіе себѣ во время сидѣнья въ севастопольскихъ траншеяхъ ревматизмы и всяческіе недуги, крихтя, надѣвали старые мундиры и шли проситься въ армію. Молодежь, оставившая военную службу и долго уже работавшая на иныхъ поприщахъ — опять вернулась къ старому и, услышавъ, что первые комплекты офицеровъ выбиты — бросилась пополнять убывающіе ряды. Правда, рядомъ съ ними потянулась и выгнанная челядь и неистовые бурбоны, когда-то выброшенные за бортъ офицерскими судами — но они оставались въ меньшинствѣ... Ко всякому великому и честному дѣлу всегда вмѣстѣ съ лучшими людьми пристають и худшіе... Это законъ, его не обойдешь...

На нѣкоторыхъ лежало впечатлѣніе какого-то внутренняго гнета... Точно что-то постыдное было совершено ими... Они потупляли глаза, держались въ одиночку...

Это были наиболѣе увѣренные въ успѣхъ и тѣмъ горше разочаровавшіеся.

Они понимали, что и ихъ голоса въ цѣломъ морѣ народнаго энтузіазма играли немалую роль. Они науськивали — предполагая слабость противника...

Въ войнѣ они видѣли — одно торжество правды... За ея шумихой имъ не грезились — стоны и вопли ея жертвъ, страданія и муки, которымъ нѣтъ мѣры и имени... Разъ столкнулись съ живою дѣйствительностью — и почувствовали себя преступниками, убійцами...

«Мы звали, мы кричали «Распи!»...»

Напрасно соображеніе подсказывало, что кричавшихъ были массы... Напрасно исторія недавнихъ ужасовъ говорила, что иного исхода не было...

На скамьѣ подсудимыхъ можно бороться съ обвиненіями, которыя бросаетъ вамъ въ лицо прокуроръ... Съ прокуроромъ, засѣдающимъ въ нашемъ сердцѣ, — борьба не по силамъ...

Въ самые радостные моменты — щемить... Самый беззавѣтный смѣхъ ни съ того, ни съ сего, — такъ себѣ — вдругъ смѣняется болною тоскою, точно внутри человѣка встало что-то тревожное, смутное...

Такіе — тоже шли... Шли, чтобы заставить замолчать этого внутренняго обвинителя...

«Мы кричали — мы должны идти за тѣми, кто умираетъ тамъ на кровавой нивѣ...»

Разумѣется — не всё.

Были и такіе, которые очень спокойно переживали кризисъ, которые, рѣшивъ разъ, что такъ думали и ошибались всё — не ставили себѣ въ вину безтолковаго оранья и безшабашныхъ криковъ... Были и такіе, что въ разгарѣ общенароднаго несчастья, какимъ является война, считали барыши и металы жребій на одежды распятого... Такіе, что въ моментъ вселенскаго траура, когда свѣдѣнія о неудачахъ и пораженіяхъ заставляли трепетать исполненныя болью сердца, — ѣхали на дальній югъ съ цѣлью наживы, дешевой наживы на счетъ безмолвно умирающей на своихъ боевыхъ постахъ арміи... Но о нихъ промолчимъ пока. О такихъ мерзостяхъ и говорить не надо...

Мирская здѣсь еще болѣе радовалась своей рѣшимости ѣхать. Тутъ она видѣла, что не одна въ полѣ останется. Барыни, до сихъ поръ славившіяся своими куриными мозгами и куриными наклонностями, вдругъ точно прозрѣли. Красный крестъ сестры милосердія сманилъ многихъ изъ теплыхъ насиженныхъ гнѣздъ. Напрасны были опасливые протесты матерей, убѣжденія мужей, отцовъ, — волна вскипала беззавѣтно и вздымалась высоко, очень высоко... Даже моллюсковъ со дна морского подняла она къ звѣздамъ небеснымъ...

Въ первый же день здѣсь Анна Александровна — оправилась и очнулась совсѣмъ...

Новизна дѣла уже не пугала ее... Тяжесть труда радовала... Чѣмъ труднѣе будетъ эта крестная ноша, тѣмъ лучше...

Первый разъ за все послѣднее время — русская женщина, тщетно бившаяся въ охватывающемъ ее со всѣхъ сторонъ омутѣ ничегонеделанія, почувствовала подъ ногами что-то твердое... Вышла на тяжелый путь, но все-таки путь...

Пусть же растутъ — крутыя скалы, пусть острые кремни горныхъ тропинокъ рѣжутъ ногу, пусть узловатыя корни деревьевъ переплета-

ются на дорогѣ, пусть колючія вѣтви хлещутъ въ лицо... Видна завѣтная вершина... На ней сіяетъ день... Въ долинахъ еще густится мракъ. Туманъ всползаетъ отсюда по горнымъ склонамъ. Впередъ же, впередъ!.. На высоту, къ этому ярко сіяющему дню, навстрѣчу животворящему солнцу!.. Спите спокойно вы, оставшіеся въ долинахъ... Пусть тьма не тяготитъ васъ, пусть не раскрываются ваши очи... А тѣ — что не проглядѣли жениха въ полуночный часъ — ему навстрѣчу бѣгутъ бодрою и радостною толпою...

Тамъ тифъ госпиталей, тамъ убійственный трудъ, тамъ бѣдность, лишеніе; болѣзни и смерть...

Но скорѣй, скорѣй навстрѣчу имъ... Безбоязненно бьется смѣлое сердце, радостно улыбаются прекрасныя уста...

— Вотъ и я! Господи! Вотъ не ожидалъ-то... Анна Александровна!

И навстрѣчу ей бросился весь красный отъ волненія — старшій изъ сыновей Малыгиныхъ.

— Ну? — встрѣтилъ его отецъ.

— Въ четырнадцатую... къ Радецкому...

Старикъ порывисто обнялъ его, прижалъ къ груди... Вехлипнулъ было, но тотчасъ же оправился.

— Ты не подумай... Я это не отъ малодушія... Напротивъ, я радъ... Понимаешь — радъ.

— На Шипку? — съ завистью переспросилъ младшій.

— Туда...

— Значитъ ужъ теперь не кандидатъ университета — а рядовой!.. Рядовой Малыгинъ...

— Ты у меня смотри молодцомъ... Безъ Георгіевскаго крестика и не думай... Теперь женщины и тѣ идутъ... Намъ и Богъ велѣлъ, — точно самъ себя успокаивалъ бѣдный отецъ.

— А какъ же меня-то? — добивался младшій.

— Сказалъ тебѣ — завтра...

И старикъ Малыгинъ опять принялъ таинственный видъ, уже нѣсколько дней удивлявшій его семью.

Онъ по утрамъ уѣзжалъ куда-то, писалъ какія-то письма, а вечеромъ хмуро молчалъ или порывисто смѣялся, точно желая заставить замолчать что-то говорившее въ душѣ его.

Вечеромъ, подъ густыми липами и кленами, долго шла одушевленная бесѣда.

Молодежь переживала тѣ великодушныя порывы, которые даютъ

цвѣтъ и блескъ ея жизни. Безъ нихъ — она была нерадостна и темна, какъ нерадостны и темны — убогая келья монаха, запертое логовище преступника . . .

— Стоить жить теперь! . . . Стоить жить . . . Отраднo чувствовать себя — спицей въ колесницѣ . . .

— Погоди, чѣмъ кончится . . .

— Не каркай, отецъ . . . Посмотри, какъ встали всѣ . . . Точно одинъ человекъ . . . Знаете, великое счастье быть русскимъ! — оглядывалъ онъ всѣхъ сіяющими глазами — Какое мы дѣло дѣлаемъ. Чуждое корысти, святое, честное — навѣки нерушимое! . . . Шире — дорогу, разступись, міръ Божій! . . . Русь идетъ! . . . Русь карающая и милующая . . . Отецъ, ты помнишь это:

Въ мысляхъ — воля, въ сердцахъ — пламя,  
Ты боецъ — страны родной.  
Подымай высоко знамя.  
На коня и смѣло въ бой.

Брось мудренныя загадки,  
Мечь рѣшить туманный споръ.  
На коня — и безъ оглядки —  
На коня — и на просторъ! . . .

— Ахъ — дорогой мой . . . Мечи никогда не рѣшали споровъ . . . Не въ сѣдлѣ — разгадка всего . . . Разумѣтся, за великое дѣло идемъ теперь . . . Кто же не знаетъ этого . . . За великое, большое дѣло . . . Только коли ужъ на стихи пошло — я тебѣ напомню другіе . . . Послѣ франко-прусской войны были они написаны . . .

Какъ много пало благородныхъ —  
Какъ много честныхъ смерть взяла . . .  
Рѣзнѣ конецъ . . . Въ поляхъ бесплодныхъ  
Убитыхъ жертвъ гнѣютъ тѣла . . .

А по заброшеннымъ дорогамъ,  
Отъ слезъ поникнувъ и молитвъ,  
Народъ въ смиреніи убогомъ  
Идетъ къ полямъ великихъ битвъ.

И тѣ поля, что побѣдитель  
Своею славою зоветъ —  
Сель разоренныхъ робкій житель  
Народъ слезами обольетъ . . .

Изъ рода въ родъ пойдутъ сказанья,  
Сберутся гучи божьихъ грозъ



И мечь воскреснетъ въ день возстанья,  
Въ день новыхъ битвъ и новыхъ слезъ...

И много сгибнетъ благородныхъ,  
И воцарится всюду мгла,  
И будутъ гнить въ поляхъ бесплодныхъ  
Убитыхъ мстителей тѣла...

— То не такая война была, отецъ... Это не война у васъ — это послушаніе, подвигъ передъ Господомъ... Мы точно на паломничество идемъ... Это — крестовый походъ...

— А что вышло изъ крестовыхъ походовъ?

Тихій лепетъ вѣтра въ густой чащѣ деревьевъ, отрывочныя фразы одушевленнаго говора, тяжелый размахъ крыльевъ проснувшейся птицы... Все это настраивало Мирскую на иной ладъ. Той тоски непомѣрной, какая еще недавно въ вагонѣ желѣзной дороги заставляла ее томиться, терять вѣру въ будущее, какъ не бывало...

Мирская была счастлива...

Счастлива, какъ никогда прежде...

Утромъ старикъ дѣйствительно удивилъ семью.

Когда всѣ собрались за чаемъ — дверь его кабинета вдругъ отворилась.

Мальгинъ показался въ военномъ докторскомъ мундирѣ — съ перевязью Краснаго Креста на лѣвой рукѣ...

Молодежь бросилась къ нему. Старушка жена — смотрѣла на него сіяющими глазами. Она была посвящена въ эту тайну...

— Погодите!.. Семень, ты просился все санитаромъ въ дѣйствующую армію. Я говорилъ тебѣ, что изъ нашей семьи пойдутъ и солдаты и санитары, и сдержалъ свое слово.

— Отецъ, а я...

— Погоди! — строго остановилъ его старикъ... — Александръ на смерть идетъ... Госпитальное дѣло я тоже знаю... Тутъ та же смерть, только не подъ бой барабана, не подъ знаменемъ — а подъ стоны раненыхъ, въ смрадномъ баракѣ госпиталя... У тебя старуха мать. Въ семьѣ долженъ хоть одинъ работникъ остаться... Я не могу уже считаться такимъ. Старъ, — скоро и *ad patres* отправлюсь. Пока сила есть — но не на долгіе годы ея хватить. Ты меня, Семень, прости... Я разсудилъ, что отправить тебя значитъ лишить семью послѣдней опоры... Ну, а чтобы ты не мучился, а созналъ, что ты одинъ остался —

подавъ просьбу и зачислился въ Красный Крестъ... Послѣзавтра я и отправляюсь съ Александромъ... А ты ужъ тутъ поработай... — Мать тоже одобрила...

— Все, что ты дѣлаешь — хорошо, — отозвалась та, любуясь своимъ старикомъ.

Младшій сынъ, какъ виновный, наклонилъ голову...

## IX.

### Перемѣна декорацій.

Грохотъ пушекъ на св. Николаѣ и отголоски кровавыхъ битвъ на Шипкинскомъ перевалѣ — потрясли Россію съ конца въ конецъ... Не было такого угла, гдѣ бы чутко не прислушивался народъ къ словамъ коротенькихъ телеграммъ о ходѣ боя... Отстоятъ ли Шинку или нѣтъ? — слышалось вездѣ, и каждому словно наяву рисовались голые утесы Балканскихъ горъ, голые утесы, накалившіеся отъ солнца, утесы, на которыхъ уже третій день бьются нѣсколько богатырей противу безчисленныхъ полчищъ Сулеймана...

Сегодня Москва точно очнулась отъ кошмара.

Нѣтъ болѣе сумрачныхъ и хмурыхъ. Кто вчера еще волновался смутнымъ опасеніемъ за будущее, кого душилъ позоръ неожиданныхъ поражений — сегодня точно просіялъ... Наполнились церкви, молебны служили на площадяхъ, потому что въ храмахъ не было мѣста. Къ хорамъ пѣвчихъ, когда первые звуки «Спаси Господи люди Твоя» неслись къ безоблачному сегодня небу, присоединилось пѣніе громадной толпы, могучее, сильное... Вѣра въ успѣхъ дѣла, энтузіазмъ сказывались повсюду... Толпа ходила цѣлый день по улицамъ. Многія фабрики закрылись на сегодня, и массы рабочаго люда хлынули въ центръ города... Въ общемъ восторженномъ порывѣ — пропадали незамѣтно отголоски многочисленныхъ нищихъ; страдальческія, голодныя лица особенно часто за послѣднее время появлявшихся на тротуарахъ оборванныхъ и исхудалыхъ людей, чахлахъ женщинъ, безмолвно протягивавшихъ къ прохожимъ грудныхъ дѣтей, лежавшихъ у нихъ на рукахъ, — сегодня точно пропали, распустились въ толпѣ... Никто не заботился о томъ, чѣмъ будутъ сыты эти многочисленные муравьи, оставшіеся безъ хлѣба послѣ закрытія разныхъ промышленныхъ и фабричныхъ заведеній, не сумѣв-

нихъ повести свои дѣла или не осилившихъ кризиса. Никому въ общемъ порывѣ патриотическаго восторга не была больна ихъ тяжелая участь... Назойливымъ попрошайкамъ подавали, разумѣется, бросали гроши въ бездонную пасть голода и спѣшили скорѣе очнуться въ совершенно иномъ мѣрѣ — мѣрѣ смутныхъ надеждъ и широкихъ ожиданій... Самые яркіе свѣтильники въ Москвѣ и тѣ закрыли глаза на тяжелыя картины, появлявшіяся тутъ же, бокъ о бокъ. Имъ было не до того. Отъ свѣтильниковъ этихъ — ждали громкихъ ободряющихъ рѣчей, — шумиха войны придавала этимъ послѣднимъ удивительный блескъ... Тутъ нечего заботиться о мысляхъ — чувство слушателей было напряжено настолько, что достаточно было одного намека на нашихъ богатырей, на доблестную солдатскую шинель — и громы аплодисментовъ и раскатъ «ура» заканчивали нежданно оборвавшійся и еще не успѣвшій закруглиться періодъ оратора, слушавшаго прежде всего самого себя...

— Чортъ знаетъ что такое... — выразился по этому поводу старикъ Малыгинъ... — Мы являемся великими тогда, когда надъ нами громъ грянетъ. Несчастье выносимъ легко и бодро, а минутами счастья пользоваться не умѣемъ. Подъ грозой крѣпнемъ, а въ хорошее время распускаемся, тратимся на ненужную болтовню... Въдь еще вчера не ораторствовали, а дѣло дѣлали... Сегодня — прохожу я по Никольской — толпа народа, на ступеняхъ стоитъ какой-то купчина и несетъ окоlescную... А кончилъ, давай деньги швырять. Опъ, знаете, предусмотрѣлъ, шельма! Крупныхъ при немъ не оказалось — все болѣе гривенниками, да пятаками усердствовалъ.

Волна народныхъ восторговъ росла сама по себѣ, въ самой себѣ почерпая силы. Толчокъ извиѣ, вызвавшій ее, замѣнился уже иными импульсами. Масса сама возбуждала себя...

Никому не было жутко... Никто не предвидѣлъ завтра новаго отлива, новыхъ и еще несравненно болѣе жестокихъ разочарованій...

А на дальнемъ югѣ готовился третій приступъ на Плевну... Задумывали битвы, въ темномъ чревѣ судьбы зачались новыя пораженія... А между тѣмъ, сознавая недостаточность нашихъ силъ, призывали на помощь новыя арміи... гренадерскій корпусъ изъ Москвы, гвардію изъ Петербурга.

Главнокомандующій предложилъ принцу Карлу румынскому перейти Дунай... Сорокатысячная армія союзниковъ двинулась впередъ.

Нисколько не уступая въ легкомысліи Москвѣ — Бухарестъ тоже весь закипалъ хвастовствомъ и бахвальствомъ. Трусливые до тѣхъ поръ румыны шли *спасать* русскихъ и *выручать* Россію. Маленькая, но ве-

лика Румынія готовилась какъ Давидъ сразиться съ Голиафомъ Турціи . . . Пращемъ были ея солдаты . . . Румыны обѣщали возвратить свободу народностямъ Балканскаго полуострова. Въ Бухарестѣ уже сочинялись условія, которыя будутъ предписаны разбитой Турціи. Какъ въ Москвѣ по Никольской, точно такъ же въ Бухарестѣ по Калеа-Могошой горлавила толпа, и въ неистовствѣ легкомысленнаго восторга тонули безъ отзыва опасливыя предупрежденія многихъ истинныхъ патриотовъ . . . Увы! ихъ слушаютъ только въ годину неудачъ и испытаній, въ головокругительныя минуты дешеваго успѣха ихъ не знаютъ вовсе.

## X.

## У сестеръ милосердія.

Въ большой приѣмной, казенной наружности, пахнетъ масляной краской . . . Голыя стѣны, голая подъ дубъ жесткая мебель, большой столъ . . . Все это желто, плоско, скучно . . .

Мирская порывисто ходитъ изъ угла въ уголь . . .

Она уже съ полчаса здѣсь . . . вмѣсто начальницы общины къ ней все является какая-то древняя старушка въ костюмѣ сестры милосердія.

— Да вы *рѣшительно рѣшились* . . . Такъ, и рѣшились совѣмъ? — допрашиваетъ она.

— Рѣшительно, рѣшительно . . . Я ужъ отвѣчала вамъ . . .

— Вотъ видите, у васъ духъ гордыни какой . . . А вы станьте-ка въ уголь, сложите ручки вотъ такъ да и помолитесь: «Духъ же смиренномудрія, кротости и любви даруй ми, Господи! . . .». Оно и будетъ хорошо . . . Такъ вы рѣшились?

Мирская замолчала.

— Вы знаете, наша работа черная . . . Вонъ у васъ руки какія. А вѣдь вамъ за ранеными ходить придется, а ужъ обѣтъ примете — хоть и не монашескій, все же оставить нельзя. Хочешь не хочешь — дѣлай дѣло . . . Тутъ у насъ все, голубушка . . . И за больными походи, и поголодай, и похолодай, и въ грязи сама поваляйся. А вы поди къ мягкому да сладкому привыкли. А у насъ мягкаго да сладкаго не полагается. Да . . . Такъ какъ же вы . . . рѣшительно . . .

— Боже ты мой, сколько же вамъ говорить.

— Ну если рѣшительно, нечего дѣлать, пойду скажу... Только вы еще подумайте, я пожалуй погожу...

Наконецъ, Мирскую позвали къ начальницѣ.

— Вы что умѣете дѣлать?

— Ничего...

— И не учились?

— Нѣтъ, за ранеными ходить сумѣю.

— Ну вотъ что, недѣлю у насъ поработаете, а тамъ васъ и отправимъ... Привыкнете перевязки дѣлать, раны обмывать... У насъ главное дѣло — слушаться нужно.

— Согласны вы слушаться? — вмѣшалась та же старушка.

— Согласна...

— Ну вотъ это хорошо... Слушаться, что прикажутъ. Что начальница прикажетъ, что докторъ велитъ, что старшая сестра... Такъ вы ужъ, пожалуйста, слушайтесь.

— Буду, буду...

— Ну, теперь пойдете въ больницу!..

— Пойдемте! — повторила за начальницей и старушка.

Мирская пошла за ними.

Въ длинныхъ и темныхъ коридорахъ пахло карболовой кислотой, лѣкарствами. Откуда-то доносились стоны. Воображеніе рисовало Мирской больного, который корчится тамъ теперь въ послѣдней агоніи... Сердце въ ней въ эту минуту точно упало... Въ первый разъ возникъ вопросъ: по силамъ ли будетъ ноша?... Хватитъ ли ее на этотъ океанъ страданій?... Не окажется ли она просто-напросто гнилой бабенкой, замечтавшей подвигъ и струсившей при первой встрѣчѣ съ его дѣйствительностью...

Въ концѣ коридора — окно. Скупое смотрѣлъ въ него сѣрый мгlistый день... Точно мерещилось тамъ что-то... Не днемъ казался этотъ туманъ съ смутными очертаніями какого-то дома...

«По силамъ ли?... Еще не поздно отказаться...»

«Что же я это?..»

И Мирская точно очнулась.

«Чего это я... Вѣдь не выдержу — умру на работѣ... нервы выдержать, а если силы не хватитъ — туда и дорога...»

«Какъ бы то ни было, а во всякомъ случаѣ впереди лучше, чѣмъ позади... Душный воздухъ уборныхъ провинціального театра, прокотившаяся чадомъ лампъ сцена, плотоядные зрители въ первыхъ рядахъ...»

«Да что же можетъ быть хуже?»

«И главное — тамъ вѣдь не было цѣли... Ради чего, для кого?..

А тутъ...»

Впередъ же, смѣлое сердце!.. Прямо глядите, нѣжныя очи, прямо въ лицо — будущему... То счастье, — выше личнаго счастья, то дѣло — совсѣмъ въ небеса ушло, въ недосягаемо-прекрасную высь, въ синеву эту бездонную... Все мелкое, пошлое, эгоистическое гдѣ-то далеко-далеко, внизу, — такъ далеко, что и не увидишь его теперь, не различишь... Устанутъ крылья?... Что жъ, пускай устаютъ. Падать, — такъ падать съ неба... Не задыхаться же всю свою жизнь въ этомъ топкомъ, зловонномъ болотѣ... Впередъ же, смѣлое сердце! Прямо глядите, нѣжныя очи, прямо въ лицо — будущему...

Пусть пока это будущее хмуру; пусть все его заволокли тучи; пусть тамъ слышны громовые раскаты; пусть молніи бороздятъ тьму, густящуюся подъ тѣми тучами... Все равно... Въ громъ и бурѣ рождается жизнь. Весна расцвѣтаетъ при блескѣ молній... Грозы разгоняютъ царство сна и покой зимы... Гремите же, небесныя! Сверкайте же, гнѣвныя стрѣлы божества пробуждающаго!.. Благо странѣ, надъ которой грянете вы, благо людямъ — все смрадное безобразіе ихъ темничныхъ угловъ озарите вы!..

Впередъ же, смѣлое сердце... Прямо глядите, нѣжныя очи, прямо въ лицо будущему!..

Въ палатѣ \*\*\* общины работаютъ сестры милосердія.

Докторъ только покрикивалъ на нихъ издали, точно заранѣе приучалъ дѣвушекъ къ тому послушанію, о которомъ Мирской такъ много и вчера и сегодня наговорили всюду, куда она ни показывалась.

Точно всѣ эти дѣвушки только и шли на подвигъ только для того, чтобы приучиться къ послушанію.

Точно помощь раненымъ была школою дисциплины и — больше ничѣмъ.

— Ну, вотъ, посмотрите... Поучитесь...

— Эй, вы!.. Сестра, пожалуйста-ка сюда! — крикнулъ Мирской докторъ, сумѣвшій сразу оцѣнить и это миловидное личико, и эти нѣжныя, изящныя приемы...

— Вы что? къ намъ?..

— Да...

— Подучимъ васъ, подучимъ... Очень скоро привыкнете...

Поди, вась пугали-то сколько, — а дѣло вѣдь совсѣмъ простое. Самое простое... Вы дѣлали когда-нибудь перевязки...

— Нѣтъ, не пробовала.

— Юлія Артемьевна! Покажите новенькой, какъ все это у насъ дѣлается.

«А надоѣло-то мнѣ какъ все это!» — такъ и видѣлось въ лѣнивыхъ чертахъ доктора и въ утомленномъ тонѣ его голоса. — «Такъ надоѣло!.. Такъ надоѣло...»

Юлія Артемьевна была очень пикантная особа.

Она была въ щегольского покроя костюмѣ сестры милосердія. Въ ушахъ — брилліанты. Перевязку она накладываетъ очень ловко и умѣло, но въ то же время старается это дѣлать красиво, — что ей удается вполне. Она точно въ салонѣ, каждый изгибъ ея тѣла граціозенъ, каждое движеніе — будто на нее глядятъ восхищенные пети-метры...

— Видите ли, душенька, здѣсь у насъ работа совсѣмъ грязная... — причитала старушка рядомъ, старательно обмывая раны заживо-гниющаго больного...

— Вотъ, возьмите-ка губку. Помогите...

У Мирской на первыхъ порахъ закружилась было голова... Обнесло ее... Но она храбро взялась за дѣло... Поднявъ нечаянно глаза, она встрѣтилась съ взглядомъ больного.

Въ немъ, въ этомъ болѣзненномъ, жалкомъ взглядѣ, было столько благодарности, что Мирской разомъ пришлась по сердцу эта «грязная» работа...

— Поскорѣй, поскорѣй работайте!.. Поскорѣй! — покрикивалъ на нихъ докторъ, сложивъ руки сидѣвшій около...

## XI.

Природа, наконецъ, смиловалась надъ Сѣверной Пальмирой.

Туманъ поразогнало; подсохли улицы; стекла оконъ, стѣны домовъ, кровли перестали плакать.

Осеннее солнце высушило слезы. Сегодня тепло, свѣтло...

Въ Лѣтнемъ саду, около Балашевского ресторана, сидитъ толпа. На эстрадѣ военный оркестръ напрасно силится создать какую-то увертюру. Крикливые звуки трубъ и рѣзкіе диссонансы кларнета такъ и садятся

въ уши посѣтителей . . . Впрочемъ, эти послѣдніе — нетребовательны . . . Напротивъ, истые петербуржцы сегодня чрезвычайно счастливы. Сквозь пожелтѣвшую листву золотые лучи заходящаго дня широкими разводами ложатся на песокъ аллей, вытянутыхъ въ струнку, точно кому-то вздумалось сдѣлать инспекторскій смотръ и этимъ старымъ деревьямъ, и этимъ богинямъ, южный мраморъ которыхъ здѣсь точно посинѣлъ отъ холода . . . Посинѣли отъ холода и приставные носы голыхъ олимпійцевъ . . . Только старые, корявые стволы липъ и березъ точно оживились подъ прощальною улыбкою солнца . . . Медлитъ оно разстаться съ ними. Напослѣдокъ вѣдь — скоро морозная ночь скуетъ ихъ снизу до верху . . . И они — эти старые великаны — краснѣютъ подъ алымъ сіяніемъ заката . . . Будто подъ этой корявой, морщинистой оболочкой, сквозь тысячи невѣдомыхъ артерій побѣжала молодая кровь, согрѣвая дряхлые стволы и вѣтви . . . Въ концахъ вѣтвей словно изъ-подъ пальцевъ выступаетъ эта кровь, окрашивая пожелтѣвшую листву красными бликами . . . Это — румянецъ чахоточнаго, оживляющій осунувшееся, посинѣвшее лицо накануне смерти, это — капли крови, выступающія на блеклыхъ устахъ его въ послѣднихъ усиліяхъ и конвульсіяхъ жизни . . .

Величковскій за однимъ изъ столиковъ.

Вокругъ — все старые друзья . . . Въ хрустальныхъ бокалахъ рубиновымъ блескомъ играетъ вино; золото заката точно тонетъ и искрится въ золотой влагѣ хереса.

— Что же ты не пошелъ? . . . Вѣдь до войны-то сколько кричалъ! . . .

— Ну вотъ, Величковскій! . . . Развѣ всѣ такіе идеалисты, какъ ты? . . . *Pas si bête, mon cher!* . . . Слуга покорный . . . Дѣлу этому я сочувствую и теперь . . . Но подставлять за него шею — я не согласенъ. У меня, братъ, здѣсь и домъ, и имѣньице по Выборгской дорогѣ. Хорошо тому геройствовать, у кого ничего нѣтъ . . .

— Зачѣмъ же ты носишь военную форму?

Въ тонѣ Величковскаго послышались настолько необычныя нотки, что его собесѣдникъ повнимательнѣе взглянулъ на товарища.

— Ты будто обидѣлся? . . . Экій ты сталъ нервный! . . . Не прикажешь ли мнѣ въ чиновники идти? . . . Мы — парадные . . . Мы слишкомъ дорого обходимся государству . . . Да, наконецъ, мой отецъ, дѣдъ, прадѣдъ, всѣ были военными. Понятно, что я не могу измѣнить традиціямъ.

— А если васъ позовутъ туда, — тоже?

— Тогда пойдѣмъ . . . Только едва ли. Еще пѣхота потребуется, —



а насъ не побезпокоятъ. Что мы тамъ будемъ дѣлать? Впрочемъ, и изъ нашихъ тамъ не мало уже.

— Да, при штабахъ...

— Всякому свое... Кто на что себя способнымъ чувствуетъ. Бросимъ этотъ разговоръ, впрочемъ; мы на этой почвѣ не сойдемся...

— Знаете, что мнѣ странно! Да, впрочемъ, говорить не хочется.

— Что, что такое?

— Видите ли. Всѣ вы народъ — ничего — добрые товарищи, никакого гнуснаго дѣла не сдѣлаете, — а между тѣмъ не знаешь, за кого принять васъ... Шальные ли вы, съ вѣтру ли болтаете, или это такъ отъ краснаго вина да отъ хересу — въ головѣ зашумѣло...

— Экъ, братъ, ты тамъ одичалъ!..

— Не одичалъ, а вы-то поймите, какъ все это безобразно... Тамъ у насъ голодь... Дохнемъ мы, вошь насъ ѣстъ, въ грязи спимъ; бываютъ недѣли — сухой нитки на насъ нѣтъ... Бой начнется — безъ отдыха. Мы и умираемъ, умираемъ безмолвно — съ солдата беремъ примѣръ... А вы здѣсь — о насъ такое представленіе имѣете, какъ будто тамъ все не настоящее, балетное. И турки балетные, и пушки балетныя... Точно тамъ мы порхаемъ, а на досугѣ, въ антрактѣ между *pas de deux* и какимъ-нибудь *danse orientale*... Въдь это, господа, не опереточныя сраженія подъ звуки вальса съ электрическимъ освѣщеніемъ — а настоящій моръ... Лютый моръ...

— Экъ тебя напугали! Я увѣренъ, что издали только и страшно.

— Отчего же ты говоришь: *pas si bête*? отчего же ты самъ не идешь туда... Да, впрочемъ, если ты и поѣдешь, — тебѣ трудно не будетъ. Разъ въ мѣсяць пошлютъ тебя изъ штаба на позицію. Доѣдешь ты до отцовъ-командировъ, вкусно пообѣдаешь у нихъ съ шампанскимъ, пожалуй, даже издали съ безопаснаго кургана полюбуйшься на зрѣлище, какъ люди умираютъ, и торжественно, побѣдителемъ вернешься назадъ въ главную квартиру за полученіемъ должной mzды. Пожалуй, ты правъ — для тебя это будетъ балетомъ... Для насъ иначе выходитъ... Мы на другомъ положеніи, и знаешь ли что?..

— Ну?..

— Только не обижайся, а я скажу тебѣ правду...

— Пожалуйста, не стѣсняйся!

— Я своимъ армейскимъ положеніемъ на ваше штабное не помѣняюсь...

— Ну, братъ, это еще бабушка на-двое...

— Дослушай... Я туда поѣхалъ дѣло дѣлать, а не карьеру себѣ

создавать... Я не покраснѣю, когда вернусь домой. На моей душѣ чужая смерть не лежитъ. Я кричалъ, — я и голову несю. А вотъ видишь ли — ты и тебѣ подобные какъ до манифеста о войнѣ распинались, а... И неужели же совѣсть замерла у насъ настолько?

— Ну, ну... пошелъ!...

— Выпьемъ-ка... По старой дружбѣ... Позовуть и — мы пойдемъ... И умирать сумѣемъ.

— Позвольте, господинъ офицеръ!...

Сидѣвшіе обернулись. У стола стоялъ упитанный телець съ бокаломъ въ рукахъ. Въ глазахъ — счастливое выраженіе чловѣка, у котораго въ мозгу заиграло вино вовсю...

— Перевязка у васъ на рукѣ — ранены?...

— Что вамъ угодно?...

— Ранены? — спрашиваю.

— Ранень...

— Ну, вотъ... За здоровье героя, урра!... Господа, встаньте, пью за здоровье героевъ... Разомъ... Теперьчи при всей полной формѣ и на Шипкѣ... Пожалуйте ручку!

— Зачѣмъ вамъ?...

— Дозвольте поцѣловать, потому что, можетъ, вы самой этой рукой сколько супостатовъ уничтожили... Урра!...

Вокругъ стала собираться толпа...

— Что такое, что такое?... — спрашивали вновь приходящіе...

— Да вотъ офицеръ купца ударилъ... — уже создавалась легенда.

— Ну?...

— Извѣстно, съ войны... Духъ въ себѣ этотъ чувствуетъ.

Величковскому едва удалось распротиться и уйти отсюда...

На другой день было засѣданіе славянскаго комитета.

Одинъ изъ пріятелей Величковскаго потащилъ его туда...

— Тамъ твои нервы улягутся... Ты самъ увидишь — тамъ настоящіе люди. Искренніе, преданные. Не на улицахъ же встрѣчаются они... Посмотри — завтра ты совсѣмъ оправившись... Услышишь умныхъ — истинныхъ дѣятелей... Тамъ, братъ, — не одни слова въ ходу — дѣло дѣлають.

— Поди тоже о выѣденномъ яйцѣ больше.

— Погоди иронизировать... Мы на пустыя сожалѣнія не расхо-

дуюсь. Слезами себя не изводимъ. Я за тобою самъ заѣду. Будь готовъ. Завтра у насъ дѣлаетъ докладъ одинъ славянинъ. Только что вернулся. Онъ, братъ, все время агитируетъ. Теперь за деньгами прѣхаль. Снабдимъ мы его капиталомъ и пусть отправляется съять сѣмя доброе...

— Да чего же тутъ съять? Подыматься надо... Время проповѣди кончилось.

— Онъ и поѣдетъ подымать... Геніальная, смѣлая голова. Увлекательное краснорѣчіе!...

— Не вѣрю я этимъ господамъ, которые къ намъ сюда за деньгами жалуютъ.

— Погоди, я тебѣ говорю, до завтра... самъ увидишь.

— Знаешь, неприятно каждый разъ убѣждаться въ томъ, что у васъ тѣхъ боговъ, которымъ поклонялись вчера, сегодня сбрасываютъ съ пьедесталовъ и ломаютъ... Вѣдь это только самоѣды сѣкутъ своихъ идоловъ... А мы ничѣмъ не лучше. Гдѣ наши идеалы?

— Идоловъ и мы сбрасываемъ. Идолы — не идеалы, еще менѣе боги...

— Не хочется мнѣ, право, ѣхать-то туда.

— Ну, вотъ... Говорю тебѣ — встрѣтимъ людей, которые твердо держатъ свое знамя... Мы не потеряли бодрость и въ нынѣшнихъ смутныхъ обстоятельствахъ вѣрно правимъ рулемъ.

— Кто же у васъ у руля-то?

— Завтра, завтра всѣхъ покажу тебѣ — будь спокоенъ

## ХП.

### Встрѣчи.

«Нѣтъ, вонъ скорѣй отсюда! Опять туда — на боевыя позиціи, на голодовку, на смерть — только бы поскорѣе!» — думалъ Величковскій, выходя изъ засѣданія славянскаго комитета. Тамъ пришлось ему навидаться и послушаться такихъ неожиданностей, что у молодого офицера голова пошла кругомъ отъ всего этого сумбура.

Люди тамъ будто во снѣ бродили.

Все это было безтолково, суетливо.

Дѣло и кровное дѣло стояло на виду, — а они препирались, запо-

дозрѣвали другъ друга чуть не въ мошенничествѣ, подставляли ноги одинъ другому и громко торжествовали неудачи своихъ соперниковъ, — забывая грозную эпопею, все шире развертывающуюся на дальнемъ югѣ.

И какіе люди выступали защитниками, апостолами, герольдами славянскаго дѣла!

Голова могла кругомъ пойти отъ всего этого хаоса, жи, личностей, попрековъ, предразсудковъ... Запла рѣчь о южныхъ славянахъ, — и передъ Величковскимъ такъ и выросъ московскій профессоръ.

— Боже мой, да эти свѣтильники меньше насъ знаютъ объ освобождаемыхъ племенахъ!

Оказывалось, что всѣ ихъ свѣдѣнія не выходили изъ предѣловъ гильфердинговскихъ изданій. Изъ ораторовъ двое-трое только побывали въ Болгаріи, да и то въ качествѣ разныхъ вѣдомствъ генераловъ, которымъ и не къ лицу видѣть народъ. Больше по городамъ останавливались и по торгашамъ судили о крестьянствѣ. А другіе еще лучше — сплошь по Каницу, — благо нѣмецъ выручилъ наше невѣжество...

И къ чему эта болтовня теперь? кому нужна она?...

И передъ глазами Величковскаго разомъ поднялись суровыя вершины Балканъ... Прислоняясь къ ихъ сѣрымъ утесамъ, стоять тамъ на стражѣ сѣрые солдаты, вперяя утомленные взгляды въ смутную синеву долинъ, гдѣ пока торжествующій врагъ собираетъ силы для новыхъ роковыхъ ударовъ. Тамъ молча умираютъ... И только послѣ боя, когда утомленные дружины располагаются на политой кровью землѣ, располагаются между мертвыми и ранеными, и между осколками гранатъ и брошеннымъ оружіемъ, когда тихая южная ночь окутываетъ все и всѣхъ своимъ серебристымъ паромъ, когда яркій мѣсяцъ съ недосыгаемой высоты одинаково свѣтитъ бойцамъ того и другого племени, — только тогда разгорается бесѣда, и долгая-долгая унылая пѣсня повѣдываетъ вершинамъ чужихъ горъ и темнымъ ихъ ущельямъ про далекую страну полей и равнинъ, гдѣ въ великомъ убожествѣ своемъ, въ глухихъ дѣревняхъ ждетъ — не дождется народъ вѣстей изъ этого горнаго грознаго края...

— Ба! Давно ли ты здѣсь... Дружище!...

И кто-то обнялъ Величковскаго...

— Похудѣлъ, обросъ бородой, возмужалъ... Узнать нельзя!

— А, непосѣда, здравствуй! — искренно обрадовался Величковскій... — Вотъ не ожидалъ...

— По сему случаю — направо!..

— Куда это?..

— Сіе пристанище для гладныхъ и жаждущихъ называется «Медвѣдь»... Выпьемъ бутылку шипучки и потолкуемъ.

Оба зашли въ ресторанаъ.

— Ты изъ арміи?

— Да... А ты, Верховцевъ, все въ Питерѣ?

— Нѣтъ, я только что съ Волги. Все лѣто былъ въ развѣздахъ...

— А теперь?

— А теперь къ вамъ. Посылаютъ на войну корреспондентомъ.

— Много у насъ ихъ. Ловятъ раненыхъ офицеровъ, выпрашиваютъ, — а потомъ и воспѣваютъ... Скоробрешками мы ихъ зовемъ.

— Это, братъ, ничего... Позади сидѣть я не стану, да и задачу корреспондента понимаю нѣсколько иначе. Видишь ли, другъ, война — великое дѣло. Тутъ народъ идетъ какъ на экзаменъ — все обнаружится, что въ немъ есть хорошаго, и дурное наверхъ всплыветъ во всемъ своемъ отталкивающемъ безобразіи. Для самосознанія это куда хорошо. Разомъ къ одному знаменателю сведутся всѣ недуги. Корреспондентъ, — это бинокль, сквозь который общество смотритъ туда. Благодаря ему, оно видитъ свои язвы, своихъ богатырей и своихъ настоящихъ враговъ. Достаточно быть правдивымъ и не бояться сильныхъ людей, — а при этомъ условіи и безъ особеннаго таланта будешь полезенъ.

— Кто же тебѣ позволитъ писать такъ во время войны?

— Кончится ваша кампанія — начнется наша... Мы не простимъ ни одной подлости, ни одной мерзости не забудемъ. Мы откроемъ глаза слѣпымъ и взбудоражимъ спокойныхъ. Мы крикнемъ кличь на всю Россію: вставайте, откройте глаза! посмотрите, какіе Лазари смердящіе завелись между вами, какая зараза зрѣтъ у насъ! Мы не скроемъ ничего и ничего не примемъ на вѣру... Повѣрь — мы сдѣлаемъ свое дѣло — назло насмѣшкамъ, которыя теперь сыплются на насъ.

— А вѣдь достается?

— Нѣтъ такой паршивой собаченки, которая бы не лаяла. Это — ничего. Потомъ стануть насъ слушать. Въ концѣ концовъ — будущее наше. А кстати о страданіяхъ солдата кто расскажетъ вамъ? Кто станетъ говорить о доблестяхъ и подвигахъ народа? Знаешь ли, дружище, на иностранцевъ только пока и возлагаютъ надежды, а ты прочти-ка: у нихъ что ни генераль, то и герой. Солдата не видать

совсѣмъ. Точь-въ-точь суздальская картина. Сидитъ впереди зеленый генералъ на красной лошади, а между его ногами едва замѣтные проходятъ желтые солдатики. Развѣ это — правда?.. Героизмъ-то настоящій развѣ между этими властными?..

— Разумѣется нѣтъ.

— Ну, вотъ... Мы и рисуемъ настоящихъ страстотерпцевъ, мучениковъ... Повѣрь — безъ насъ многое было бы скрыто, многое бы не всплыло наверхъ... Я вотъ теперь прямо съ Волги — пошатался тамъ. Оздоровѣлъ, нервами окрѣпъ, — потому что кругомъ настоящіе цѣльные люди были. Народъ!.. Онъ великій и сильный. А пріѣхалъ сюда — опять можить начало... Ну, къ этому же народу, надѣвшему сѣрую шинель, — и поѣду... Авось и мы не будемъ тамъ послѣдними. Къ чему-нибудь и пригодимся.

— Положеніе тамъ для васъ не совсѣмъ удобное. Будь ты иностранцемъ, тебя бы съ распростертыми объятіями принимали; ну а русскому — нѣтъ...

— Мнѣ кажется, это потому, что наши себя держать не умѣютъ.

— Нѣтъ, просто въ штабныхъ людяхъ сказывается презрѣніе къ своему общественному мнѣнію... Плевать имъ на него...

— Знаю, что будетъ не разъ очень скверно... Ну, для дѣла-то и рискнуть этимъ можно. Толцые и отверзется вамъ. Да и тянетъ туда, и знаешь, почему тянетъ?

— Ну?

— До войны я думалъ о ней, волновался, сочувствовалъ... Что же теперь — когда началось дѣло — поджать хвостъ да и засѣсть у себя въ кабинетъ?... Нѣтъ, звалъ другихъ — иди самъ. Я и думаю — не только корреспондентомъ быть тамъ, а работать — какъ солдатъ работаетъ... Послужить дѣлу — перомъ, и словомъ, и руками.

— Ну, а съ редакціей сошелся?

— Въ редакціяхъ теперь всякаго берутъ. Являются съ похмелья какіе-то шальные авантюристы, изъявляютъ желаніе ѣхать и писать — имъ сейчасъ же деньги въ руки, и ступай. Они обыкновенно доѣзжаютъ до Москвы — не далѣе! Деньги спустятъ, пропьютъ дотла и шишутъ опять: «помогите»...

— Трусоваты они у насъ, вотъ что жаль...

— Не привыкли... У васъ воспитаніемъ нервы приготовлены къ боинѣ... А тутъ — ни съ того, ни съ сего — иди на смерть.

— Я не обвиняю... А только смѣшно. Во время второй Плевны

англичанинъ корреспондентъ вздумалъ отъ гранатъ прятаться за... виноградный кустъ. Присѣдаетъ тамъ и вѣтки передъ собою въ кучѣ держитъ. Хорошъ щитъ! Даже казаки расхохотались... А другой иностранецъ выстрѣлилъ себѣ изъ револьвера въ каблукъ, а потомъ и отписалъ въ газету, что слегка раненъ... Есть и такіе: еще ранѣе перехода черезъ Дунай уже ходили по лагерямъ съ столь испуганнымъ выраженіемъ лица, что разные глубокомысленные генералы принимали ихъ за шпионовъ. Одного такъ-таки и не пустили, потому что — физиономіей неприличенъ. «Чортъ его знаетъ что у него на умѣ», — выразился о немъ нашъ генераль. — Можетъ быть, онъ и хорошій человекъ, а можетъ быть и лазутчикъ... Ты Мирскую помнишь?

— Еще бы... Я ее въ \*\*\* видѣлъ на сценѣ, да и такъ знакомъ.

— Какъ тебѣ кажется, гдѣ она?

— Гдѣ-нибудь въ провинціи играетъ... Ея роль намѣчена.

— Нѣтъ... Мирская здѣсь.

— Зачѣмъ?

— Она сестрой милосердія. Вмѣстѣ и поѣдемъ... Знаешь, это такая дѣвушка... Такая...

И Величковскій покраснѣлъ до корней волосъ.

— Такая, которую...

— Я очень люблю... Ужъ такъ и заканчивай, дружище. Чего же тутъ краснѣть.

— Мало что люблю... Обожаю... Она для меня все... И мать, и сестра... Хорошая, искренняя.

— Экъ ты! — даже и говорить-то сталъ не по-человѣчески — обожаю!...

— Знаешь что, Верховцевъ: будь другъ — поѣдемъ къ ней!

— Ну, вотъ!

— Пожалуйста, голубчикъ!

— Я-то съ чего! Поѣзжай одинъ!

— Одному мнѣ не ловко; она подумаетъ Богъ знаетъ что. Будь товарищемъ!

— Ладно... Когда: завтра? послѣзавтра?

— Нѣтъ — сейчасъ.

— Вотъ ужъ и сейчасъ!

— Все вѣдь равно, никуда не собирался.

— Никуда-то никуда... Ну, да ужъ Богъ съ тобой!

## XIII.

## Въ общинѣ.

Густой садъ, окружавшій \*\*\* общину сестеръ милосердія, весь подернулся желтиной... Желтые листья печально вздрагивали точно отъ холода на вѣтвяхъ; желтые листья, осыпавшіеся на дорожки, хрустѣли подъ ногами Величковскаго и Верховцева, когда они шли къ высокому, красному, монументальному зданію, на порогъ котораго, видно отдыхая, сидѣло нѣсколько сестеръ милосердія... На высокой колокольнѣ церкви тускло блестѣлъ серебряный крестъ; вокругъ ея верхушки летали цѣлыя стада голубей... Ожирѣвшіе на осеннемъ кормѣ воробьи, нахохлившись, сидѣли на перилахъ, только изрѣдка почирикая навстрѣчу молодымъ людямъ... Точно монастыремъ вѣяло отъ этихъ каменныхъ стѣнъ, отъ этихъ келій, отъ этихъ пустынныхъ дорожекъ безлюднаго сада...

— Однако, въ невеселомъ уголкѣ помѣстилась она.

— Самое подходящее мѣсто... Подумаешь, какіе контрасты: яркая, залитая свѣтомъ, душная сцена театра, грохотъ рукоплесканій, вызовы — и эта пустыня безмолвная, едва шепчущія вѣтви умирающаго на зиму сада и усталыя сестры милосердія вдалекѣ. Ты посмотри — этотъ высокій домъ направо — онъ опустилъ лѣниво шторы и точно спитъ въ царствѣ этой печальной осени. Я давно замѣчалъ, что осень виднѣе на окраинахъ города, чѣмъ въ его центрахъ... Тамъ въ свѣтлый солнечный день и не отличишь осени отъ лѣтняго времени...

— Ей, Мирской, очень къ лицу теперь это молчаніе общины и эта умирающая красота...

— Ну, вотъ... Она вся жизнью кипитъ, насколько я ее помню.

— То было давно... Теперь она другая.

— Позвольте узнать, гдѣ сестра милосердія Мирская?

— Мирская?... Она въ палатахъ.

— Въ какихъ палатахъ?

— Да тутъ, около, — тифозный госпиталь. Вчера она начала дежурство въ немъ, сегодня только на минутку пошла туда. Мы за ней пошлемъ... А вы подите къ ней...

И сестра объяснила, гдѣ живетъ дѣвушка.

По мосткамъ, скригѣвшимъ подъ ногами, Верховцевъ и Величковскій добрались до небольшого деревяннаго домика, совершенно спрятав-



шагося въ пожелтѣвшую чашу березъ. Какая-то баба съ подоткнутымъ подоломъ и съ ушатовъ въ рукахъ вышла имъ навстрѣчу.

— Что, тутъ живетъ сестра милосердія Мирская?

Баба сначала чуть не поды ноги вылила имъ помои, потомъ постояла-постояла, недоумѣло посмотрѣла на Величковскаго и пошла назадъ. Въ самыхъ дверяхъ обернулась...

Величковскій повторилъ вопросъ.

— А вы ахвицеръ будете?

— Да...

— Что же вамъ? дѣло какое есть?

— Да ты скажи, ежели знаешь... О чемъ еще тутъ разговаривать?

— Намъ не разговаривать нельзя. Потому, ежели вы не родственникъ, такъ — отъ воротъ поворотъ. У насъ гостямъ шляться тоже не велятъ.

— Да мы родственники...

— Ну, ежели родственники, такъ здѣсь вотъ... — указала она на маленькое крылечко.

Въ чистой, выбѣленной известкой комнатѣ — двѣ кровати, столикъ и два табурета. Точно въ тюрьмѣ или монастырѣ. Большой образъ; передъ образомъ лампадка теплится... На кроватяхъ чуть не доверху сложены кучи больничнаго бѣлья... Сѣрый маленькій котенокъ, спавшій свернувшись у печки, поднялся, замурлыкалъ и давай опять укладываться поудобнѣе.

— Совсѣмъ обитель...

— Нѣтъ, вонъ книжка какая-то...

— Должно быть, тоже подходящая къ обстановкѣ. Что это? «О христіанскомъ добротолубіи».

— Неужели она читаетъ это?

— Нѣтъ. Тутъ съ нею еще какая-то сестра живетъ.

Скоро въ коридоръ послышался веселый голосъ Мирской.

— Вотъ не ждала гостей!... да и Верховцевъ. Милый, пришелъ меня увидѣть въ новой роли?..

Ни малѣйшаго утомленія не было въ этомъ свѣжемъ, молодомъ лицѣ. Только глаза смотрѣли серьезно, да на лбу легла едва замѣтная морщинка... Сѣрое платье сестры милосердія не скрадывало красивыхъ формъ молодого тѣла. Дѣвушка внесла съ собою въ эту комнату столько очарованія, тепла и жизни, что и Верховцевъ и Величковскій почувствовали себя какъ нельзя лучше. Точно они давно уже сидятъ тутъ. Освоились разомъ.

— Напоить васъ чаемъ?

Оба отказались.

— Что вы на меня такъ смотрите? . . .

— Вы очень хороши въ этой роли. Точно всегда играли ее. Да, я думаю, тяжело на первыхъ порахъ?

— Нѣтъ, нельзя сказать этого. Нужно только, знаете, преодолѣть брезгливость. Мы вѣдь всѣ бѣлоручки, — а тутъ гнойныя раны, несовсѣмъ чистая работа надъ больнымъ . . . Только это скоро дается. Иногда во взглядѣ больного столько благодарности свѣтитса, что благоговяешь грязную работу . . . Все же это дѣло . . . Настоящее дѣло . . .

— Скоро я ѣду, Анна Александровна, — предупредилъ ее Величковскій.

— И я тоже . . . Помните: вмѣстѣ.

— Я и зашелъ предупредить васъ . . . Кстати . . . Верховцевъ вѣдь туда же.

— А вы зачѣмъ?

— Описывать васъ. Тогда я говорилъ о васъ, будучи рецензентомъ театральнымъ, — а теперь я рецензентъ батальный, и опять вѣроятно придется посвятить вамъ нѣсколько теплыхъ строкъ.

— Не о чемъ будетъ. Наша работа не видная, скучная, неэффектная. Изо дня въ день. Вотъ если, чего не дай Богъ, васъ ранятъ — милости просимъ . . . Знаете ли вы — первый разъ въ жизни я чувствую, что жизнь моя полна, совсѣмъ полна, что мнѣ ничего не нужно . . . Сколько счастья, довольства собою . . . Въ самыя лучшія минуты — моихъ сценическихъ успѣховъ — я не испытывала этого . . . Бывало, придешь въ уборную, бросишься въ кресло — и щемитъ тебя за сердце, и припоминаешь насмѣшливые взгляды, перемигиванія . . . А тутъ — завидовать нечему, смѣяться не надъ чѣмъ. Да и работа такая, что оглядываться некогда. Ночью придешь — свалишься, проспшишь до утра какъ убитая, а утромъ — опять за дѣло. Я эти три дня была между тифозными умирающими . . . Чего навидалась, чего слышала!

— А заразиться тифомъ не боитесь?

— Ну, вотъ еще. Такое дѣло. Что тутъ бояться? Тамъ еще хуже будетъ.

— Да . . . Вамъ въ самое дурное время придется окунуться туда . . . Наступаетъ осень . . . Она ужасна въ Болгаріи. Сырая, холодная, гнилая.

— Тогда-то мы и понадобится!.. А теперь—еще такъ себѣ, ничего.

Когда Верховцевъ и Величковскій вышли отсюда, оба долгое время молчали.

«Въ этихъ, повидимому, слабыхъ дѣвушкахъ — побольше силы и мужества, чѣмъ въ насъ», — думалъ Величковскій, вспоминая тѣхъ, кого онъ оставилъ тамъ, далеко, въ Болгаріи... Да, гораздо болѣе. Что за особенная доблесть — среди бѣлаго дня, на міру, идти на смерть подъ распущенными знаменами, одушевляясь могучимъ восторженнымъ крикомъ развернутыхъ батальоновъ... А вотъ по-ихнему, часъ за часомъ, день за днемъ, сегодня какъ вчера и завтра какъ сегодня, — въ одной и той же смрадной обстановкѣ госпиталя, съ одними и тѣми же гнойными язвами, на одной и той же мучительной работѣ!..

А Петербургъ опять принимался плакать.

Свинцовое небо уже низко-низко опустилось надъ посѣрѣвшими улицами, поблекшими домами... Крупныя капли дождя посыпали сверху; туманомъ стало заволакивать дали... Заплакали камни мостовой, заплакали стѣны и кровли; слезы потекли по стекламъ оконъ...

Петербургская осень уже вступала въ свои права...

Противная, гнилая...

---

#### XIV.

### Отъѣздъ.

---

Храпя и свистя, прорѣзываетъ поѣздъ желѣзной дороги мокрую тьму...

Мимо — города и села, мимо рощи, луга и болотины — мимо...

Желѣзное чудовище уносить съ собою туда, на далекій югъ, много новыхъ жертвъ...

Рука въ руку сидятъ рядомъ молодая жена съ мужемъ, переведеннымъ изъ гвардіи въ дѣйствующую армію... Она съ большимъ вниманіемъ всматривается въ эти милыя черты. Слѣдить за ними... Слѣдить, можетъ быть, въ послѣдній разъ... Въ Твери выйдетъ она, — а его поѣздъ унесетъ дальше... Свидятся ли они?...

Этимъ только что улыбнулось счастье — жить бы да жить.

И страшно ей становится, когда она представляетъ себѣ *его*, *дорогого*, *милаго*, стоящимъ среди бѣлаго ада безпощадной битвы... Свистъ картечи, грохотъ орудій, трескъ разрывающихся гранат... Голова идетъ кругомъ отъ этого ужаса...

— Слава Богу... Наконецъ-то! — говорить про себя Мирская.

— Черезъ недѣлю — вы уже на мѣстѣ, — такъ же беззаботно утѣшаетъ ее Величковскій, сидящій рядомъ. — Не оставайтесь только во Фратештахъ или Зимницѣ...

И Верховцевъ тутъ же; всѣ вмѣстѣ двинулись они.

Но Верховцеву — не до ужасовъ.

Всю жизнь ненасытный бродяга мечталъ объ этой грезѣ, всю жизнь онъ думалъ, что быть подхваченнымъ ея вихремъ и унесеннымъ подъ самыя облака въ лабораторію грома и молніи — высокое счастье... Ему не больно пока чужія страданія — онъ ихъ не видитъ. Въ ушахъ еще стоятъ трескучія фразы, въ груди не улеглись патріотическіе порывы, страсть къ захватамъ, инстинкты звѣря, прикрывающагося евангельскими завѣтами любви къ ближнимъ...

Онъ уже видитъ себя стоящимъ безтрепетно передъ мѣдными жерлами орудій... Огонь и смерть выбрасываютъ эти адскія пасти ему навстрѣчу, пули низутъ воздухъ кругомъ...

«Милый, дорогой мой! Что я буду дѣлать безъ тебя?»

Внезапно слышится рыданіе женщины, и молодая жена еще тѣснѣе никнетъ къ офицеру, у котораго давно уже улеглись на душѣ боевые восторги...

И опять эта мать въ черномъ съ такою же дѣвочкою возникаетъ въ воображеніи на холодныхъ сырыхъ улицахъ плачущаго города... И опять кажется, что вслѣдъ за нею черный флеръ заволакиваетъ дали...

Какая молитва спасетъ васъ... Чье благословеніе станетъ щитомъ передъ вами, когда вы пойдете противъ цѣлаго ада, гремящаго вамъ навстрѣчу? Чьи могучія слезы, какъ цѣлебный бальзамъ, упадутъ на ваши раны, истекающія кровью, и вернуть васъ семьѣ и жизни? ..

Нѣтъ, въ этомъ стихійномъ торжествѣ безумства и отваги — молитвы неслышны, благословенія развѣиваются вихремъ злобы и гнѣва, слезы безсильны...

Одна смерть царитъ тамъ величаяя...

Все склоняется передъ нею... Все ей одной молится...

Но, не слушая ничьихъ молитвъ, идетъ она, царственная, оставляя за собою сожженные города, разоренныя села, вытоптанныя поля, залитую кровью землю и тысячи, десятки тысячъ, сотни тысячъ труповъ...

## Часть вторая.

---

### I.

#### По дунайскому берегу.

---

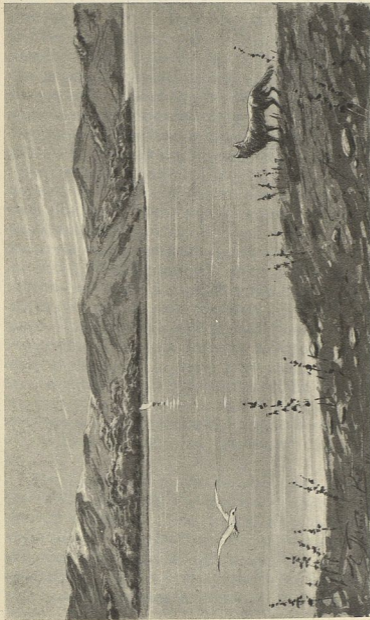
Солнце только встало...

Его не видать еще за далекими крутыми горами, у самого берега Дуная сторожащими зеленую Добруджу, но тумана уже как будто и не бывало...

Рѣка чиста... Медленно и величаво струится она, огибая отвѣсные выступы турецкой стороны... Далеко-далеко — у вражьиых отмелей, тамъ, гдѣ бѣлая пѣна прибоя кажется едва замѣтною серебряною нитью, плещется парусъ рыболова... Такъ мирно и спокойно кругомъ подъ безоблачнымъ небомъ, такъ тихо на цвѣтущихъ берегахъ, что самая мысль о враждѣ, о злобѣ людской кажется ужасно дикой въ эти первые часы южнаго утра...

Еще прохладой дышать рощи, подступившія къ самой водѣ, прохладой дышитъ рѣка, вся млѣющая, вся еще несогрѣвшаяся отъ холодныхъ поцѣлуевъ ночи. Да и ночь не совсѣмъ ушла. Такъ и кажется, что она прячется въ темныхъ оврагахъ, въ синихъ ущельяхъ, подъ скалами и обрывами горъ... Но трава уже вся осыпалась брилліантами; вѣнчики цвѣтовъ поднялись къ небу и ждуть тепла и свѣта съ его голубого простора... На верхушкахъ тополей уже горятъ лучи. Точно золотистое пламя свѣтится тамъ извнутри густой листвы...

Сѣрый волкъ медленно идетъ къ водѣ... На зеленыхъ лугахъ румынской сторонки ничего, кромѣ серебряныхъ щитовъ озеръ, оставшихся отъ дунайскаго разлива, да орѣшниковъ, круглящихся шапками тамъ, гдѣ неистовый топоръ челоуѣка пощадилъ ихъ, словно эти одинокіе бойцы разбитой рати, оставаясь здѣсь, должны свидѣтельствовать, какъ могуча, хороша и тѣниста была роща, къ которой они при-



Босіана Голгови.

## На берегу Дуная. (Стр. 64.)

Т-во «Просвіщеніє» въ Спб.



надлежали... Волку нѣтъ дѣла ни до этихъ луговъ, ни до этихъ озеръ, ни до орѣшниковъ... Добрался до Дуная, сползъ къ самой водѣ, — напился и легъ тутъ, жмурясь и вздрагивая, словно и ему, одинокому хищнику, нужно это благодатное солнце, это тепло прекраснаго, свѣтзарнаго юга... Гдѣ-то далеко-далеко послышался скрипъ — волкъ только перевелъ ушами... Вѣрно черномазый румынъ тащится съ своею каруцой по воловьимъ дорогамъ — воловьимъ потому, что проложились онѣ не волей человѣка, не онъ велъ воловъ за собою, а самъ шелъ за этими медлительными, лѣнивыми животными. Низко склонивъ подъ тяжелымъ ярмомъ головы и покачивая громадные рога, поворачивали волю на ровномъ мѣстѣ вправо, влево — такъ и легла безпричинными извивами капризная тропинка. За каруцой тянется дѣйствительно обожженный солнцемъ валахъ. Бѣлая рубаха широко раскрыта на груди, поросшей черными густыми волосами, крѣпкой какъ бронза и темной какъ она; изъ-подъ громадныхъ поповскихъ рукавовъ видны такія же сильныя мускулистыя руки; на жилистой, обугленной шеѣ крѣпко сидитъ смѣло очерченная, обугленная голова... Привольно по сторонамъ расползлись кудрявые усы... Кудрявые волосы изъ-подъ войлочной шляпы низко падаютъ на лобъ, подъ смолеными бровями котораго гордо глядятъ агатовые глаза... Не валаха испугался волкъ, — потому что хищникъ сталъ чего-то беспокоиться. Сѣрая шерсть оцетинилась на хребтѣ; уши заходили и подались впередъ; носъ, влажный и холодный, вздрагиваетъ и тянется кверху, вынюхивая что-то... Хвостъ пугливо зажался между ногами... Не румына испугался старый хищникъ; онъ вѣдь хорошо знаетъ, что у валаха ружья нѣтъ и въ заводѣ, а острый ножъ, висящій у него на поясѣ вмѣстѣ съ огнивомъ, трубкой и табакомъ, не страшень издали... Валахъ также приостановился и прислушивается...

Далеко-далеко — какія-то искры блестятъ въ воздухѣ... Бѣлое движется подъ ними... Еще и не опредѣлилось это бѣлое, а волка какъ будто и не бывало... Разомъ исчезъ въ темную балку и схоронился тамъ въ густомъ лознякѣ, придавивъ по дорогѣ нѣсколько сурковъ, довѣрчиво выползшихъ навстрѣчу дневному свѣту изъ своихъ сырыхъ норокъ... Валахъ съ каруцой, только что было выѣхавшій на дорогу съ своей воловѣй тропинки, засуетился — отводитъ воловъ въ сторону...

— Э, дракули [черти]! — ругается онъ, негодуя на ожидающее его препятствіе... — Чего добраго, еще заставить везти чего-ни-



будь, — мелькають у него неопредѣленные опасенія... — Нѣтъ, слава Богу... Это не наши — а русскіе... Эти если и возьмутъ каруццу, такъ хорошо заплатятъ. Все, что спросишь, то и дадутъ... У нихъ совѣсть есть... А къ нашимъ бы попался — и каруццу и воловъ бы забрали... А вечеромъ — каруццу на дрова, а воловъ на паприкашъ да на чорбу... Ищи тамъ — жалуйся! Расправы на нихъ нѣтъ — время военное...

«Да, время военное, — разсуждалъ про себя валахъ, — скверное время. И съ чего это наши тоже полѣзли въ драку? Сколько времени жили съ турками въ дружбѣ... Мы къ нимъ на ихъ берегъ, они къ намъ... Хорошіе люди... И выгодно было... Они всегда хорошо платили... Если они воровали у насъ, такъ вѣдь и мы у нихъ, тоже... Я помню, самъ пять буйволовъ утащилъ изъ-подъ самыхъ Черноводъ. Съ этого и жить пошелъ... Нѣтъ, турки хорошіе люди... Въ Букарештѣ точно одурѣли всѣ... Теперь съ этой войной разорились совсѣмъ. Кукуруза осталась непроданной. Сѣна тоже некому сбыть... Дороги на Дунай нѣтъ... Толкуютъ бояре въ своихъ палатахъ, — а мы потомъ разсчитывайся за нихъ... Теперь, говорить, всѣхъ въ ополченіе запишутъ.. Я не хочу!.. Уйду куда-нибудь... Уйду просто на турецкую сторону. Хаджи-Мустафа сейчасъ меня приметъ. Переживу у него до замиренья, — а тамъ и вернусь — скажу, въ плѣну былъ, съ берега сняли...»

Кстати припомнилось ему, что за нѣсколько дней — ночью, когда уже всѣ спали въ его избѣ, кто-то постучался въ окно. Онъ всталъ, отворилъ и наткнулся на Хаджи-Мустафу...

— Что у тебя три головы на плечахъ, что ли?.. Велѣно ловить мусульманъ. Тебя въ тюрьму запрутъ...

— Ты не выдашь... Я къ тебѣ по дѣлу.

— Какое дѣло? говори скорѣй!.. Въ домъ тебя не зову... У меня солдаты стоятъ.

— Хорошее дѣло... Разбогатѣть можешь... Купцомъ станешь...

И Хаджи-Мустафа поручилъ ему сообщить туда, — на ту сторону въ Силистрію — все, что узнаетъ онъ о передвиженіи русскихъ... Куда пойдутъ русскіе, зачѣмъ; не станутъ ли строить на берегу чего-нибудь, рыть землю... Не привезутъ ли сюда пушекъ... Если уйдутъ, — тоже дать знать...

— У турокъ денегъ мало! — сообразилъ практической ру-

— На это деньги есть... Вот тебѣ охранный листъ... Если тебя схватятъ у насъ — покажи! сейчасъ поведутъ къ шагѣ...

— Въ тюрьму?

— Зачѣмъ?... Еще какъ благодарень будетъ... А теперь прощай... Нынче опасно... Какіе у тебя солдаты?...

— Такъ, двое пришли...

— Сначала двое — а скоро много будетъ... Мы ожидаемъ, что они сюда двинутся... Русскіе?

— Нѣтъ, наши...

— Ну, эти не опасны... Помни, нынче у насъ много золотыхъ лиръ — кошельками отсыпаютъ за хорошія новости...

И Хаджи-Мустафа исчезъ въ темнотѣ... Изба стояла у отвѣснаго берега... Скоро валахъ услышалъ какой-то плескъ, а нѣсколько минутъ спустя въ яркомъ отсвѣтѣ луны, словно замершемъ на медленно струящемся Дунаѣ, показалось что-то черное... Валахъ всмотрѣлся — Хаджи-Мустафа переплывалъ Дунай на соргѣ, которая никому не могла внушить подозрѣній...

Никакой мысли о томъ, что онъ задумывалъ измѣну своей родинѣ, не приходило въ голову валаху... Во-первыхъ, для него, безземельнаго работника на чужихъ поляхъ, родина — суровая мачеха, она хороша для жидовъ, для бояръ, для горожанъ, а ему — Турція лучше, потому что, переправляясь на ту сторону, валахъ не одинъ разъ видѣлъ, какъ турки живутъ обильно и счастливо на своей землѣ, не вѣдая бояръ и помѣщиковъ: отдастъ десятину каймакаму и знать ничего не хочетъ; а тутъ самъ посѣй, да половину отвали землевладѣльцу, сборщику податей, да общинѣ — самому ничего не останется... Къ тому же онъ вѣдь не о своихъ станеть говорить туркамъ, а о русскихъ, — а они какіе же свои? Турки ему ближе: Онъ ихъ понимаетъ, носится съ ними постоянно, а эти бродяги пришли откуда-то съ сѣвера и объявляютъ себя друзьями Румыніи... Хороши друзья!.. Нечего сказать... Втравили въ войну...

Очевидно, это идутъ вдоль берега русскіе...

Ихъ не мало...

Искры сверкаютъ на ихъ штыкахъ... Точно рѣка струится и солнце играетъ на ней. Бѣлыя рубахи въ пыли совсѣмъ. Сѣрые ранцы назадъ... Да, русскихъ здѣсь не мало... Ишь какъ вытянулись...

Валахъ взошелъ даже на каруццу...

Ого!.. Не одни солдаты... Это что блеститъ вдали?... Такъ и

есть — мѣдныя пушки... Назадѣ отброшены ихъ холостыя жерла...  
Бодро везутъ кони...

А тамъ опять солдаты... И еще орудія... Конца и краю нѣтъ  
этой силѣ... Хаджи-Мустафа дорого заплатитъ за нее... Стоитъ  
только выслѣдить, куда это все двигается и сколько всѣхъ... На-глазъ  
хоть...

Вотъ изъ рядовъ выѣзжаетъ кто-то... къ нему... видимо — къ  
нему... Валахъ схватился за воловъ и давай тянуть ихъ въ сто-  
рону...

— Эй!.. руманешти! постой!..

— Нушти, нушти! — заторопился валахъ.

— Чего тутъ нушти?... Каруцца... Понимаешь! каруцца.

— Штіу [понимаю].

— Ну, такъ вотъ — ты намъ каруццу подь офицерскія вещи...

А мы тебѣ хранковъ дадимъ.

Румынъ замахалъ головой... Понялъ, дескать.

— Ишь молодецъ, — я зналъ, что ты у меня сообразишь...

— Патро поль [четыре полуимперіала]... — И валахъ давай вы-  
считывать на пальцахъ: уно поль, дуо, треи, патро. Шти?

— Ну, это ты врешь... Четыре полуимперіала. Ты вотъ этого  
не хочешь ли? — поднесъ онъ къ самому носу валаха кулакъ внуши-  
тельныхъ размѣровъ, такъ что черномазый погонщикъ отодвинулся.

— Давай по-божецки... Бери одинъ поль и шабашъ. Идетъ,  
что ли?

— Треи поль...

— Бери одинъ... Чего тутъ! — И верховой, сойдя съ сѣдла,  
схватился за каруццу.

Валахъ сообразилъ, что, отправившись съ отрядомъ, онъ узнаетъ  
многое, что ему нужно, и согласился.

Солдатъ повель воловъ, а валахъ, повидимому, совершенно равно-  
душно, нимало не интересуясь ничѣмъ, пошелъ за нимъ. Между тѣмъ  
все это время онъ упорно считалъ ряды, орудія, коней...

— Эхъ вы!.. Мамалыжники, кукурузники! — ласково подтал-  
кивалъ его солдатъ...

— Нушти [не понимаю].

— Сидите вы подь своей Карлой румынской какъ есть во всемъ  
своемъ полномъ невѣжествѣ... Только у васъ и свѣту въ окнѣ...  
Табакъ это у тебя какой?... — ткнулъ онъ его въ кисетъ, висѣвшій  
на поясѣ.

— Давай-ка на цыгарку!

И солдатъ безцеремонно всунуль пальцы, корявые и узловатые какъ древесный корень, въ мѣшокъ къ валаху.

— Что бы вы безъ насъ были?.. Такъ, ничего...

Отрядъ этотъ еще вчера вышелъ изъ Ольтеницы...

Въ рядахъ солдатъ шелъ и вольноопредѣляющійся Малыгинъ — нашъ московскій знакомецъ.

Теперь его трудно было бы отличить отъ запыленныхъ товарищей. Та же бѣлая запыленная рубаха, тотъ же тяжелый ранецъ за плечами, то же загорѣлое, потное лицо, та же обношенная кепка на затылкѣ...

— Что, баринъ, — добродушно обращается къ нему молодой солдатъ, идущій рядомъ локоть къ локтю, — тяжелъ походъ съ непривычки?

— Ничего.

— Ну тоже, я такъ полагаю, ружьемъ плечо отдало?.. Давайте-ко ружье сюда. Я его понесу. Мы носильщиками были — привычны.

— Спасибо, ужъ я самъ.

— Давай, баринъ, давай!..

— Нѣтъ, Семеновъ, не надо... Самъ сумью... Не такъ это трудно, какъ кажется.

— Ну, несите, коли хотите нашу солдатскую службу по всей правилѣ сполнять.

— Что, Малыгинъ, тяжело? — нагналъ его офицеръ, котораго слои пыли сдѣлали неотличимымъ отъ солдатъ.

— Ничего... бываетъ и хуже.

— То есть будетъ. Дайте только на ту сторону перебраться. Настоящее начнется тамъ.

— По Рассеѣ, ваше благородіе, куда хуже... — вмѣшался Семеновъ.

— Почему это?

— Первое дѣло — нонѣ дождь, а второе — песокъ... А тутъ грунта твердая, не хлипкая, какъ у насъ.

— А вотъ погоди еще... И пески будутъ...

Отрядъ шелъ сдвоенными рядами...

Поднялись въ три часа ночи — теперь восемь; пять часовъ шли безъ привала, пользуясь прохладнымъ утренничкомъ. Привалъ былъ назначенъ въ селѣ Рушь де-Жіено, въ томъ береговомъ селѣ, куда двигался съ своей каруцой и валахъ, встрѣченный солдатами... А тамъ подѣ

вечеръ еще небольшой переходъ верстъ въ двѣнадцать и ночлеги . . .

Солдаты шли молча — притомились.

Солнце уже высоко поднялось надъ горами Добруджи и засверкало въ медленно текущихъ струяхъ лѣвиваго Дуная . . .

Стало припекать . . . Затылки у солдатъ запотѣли; кепки точно сами собою сдвинулись назадъ, открывая бѣлые лбы, совсѣмъ не похожіе на почернѣвшія подъ южнымъ солнцемъ лица. Отъ ранцевъ за спиною такъ и несло жаромъ — скоро нагрѣлись . . . Ноги уже не такъ бодро стучали по твердому грунту береговой полосы; малкіелевскій сапогъ — словно деревянный — давалъ себя чувствовать . . . Пѣсни, еще недавно весело звучавшія по зарѣ, точно погасли . . . Кое-гдѣ пробовали онѣ вспыхивать, но не разгорѣвшись въ утомленныхъ рядахъ, глохли и глохли, пока совсѣмъ не умолкали. Унтеръ-офицеры пробовали было запѣвать тоже — да ужъ ни съ чѣмъ не сообразно выходило. Имъ, разумѣется, хорошо было — безъ ружей шли. Командиры, которые получше знали солдатъ, сошли съ коней, замѣшались въ ряды и, перебалтываясь съ сосѣдями, пѣшкомъ шли впередъ, разминая одеревенѣвшія въ сѣдлѣ ноги . . . Лодыри — покачивались на лошадяхъ, по самую морду тоже покрытыхъ пылью . . . Впереди еще шли кое-какъ — и ряды были правильны и солдаты, выбранные посильѣе, подвигались бодро, даже въ ногу. Полковой командиръ покачивался въ сѣдлѣ, и его, толстаго, затомило солнцемъ — дремалось ему, хотя коротенькія окорока-ноги неумѣло держались въ стременахъ, поминутно выскакивая оттуда. Въ такихъ случаяхъ все тѣло полковника сваливалось точно на сторону; открывая глаза, онъ порывисто схватывался за гриву лошади и оглядывался на солдатъ . . .

— Бодрѣй, бодрѣй, ребята! . . . Молодцами, дѣти! . . . Разъ-два, разъ-два . . . Правой, правой, правой . . .

Но усталъ брала свое, и командиръ опять начиналъ клевать носомъ, наѣзжая на луку сѣдла и опять схватываясь за гриву. Добрый конь поматывалъ головой, отхлестывался хвостомъ отъ оводовъ и слѣпней, залетавшихъ ему подъ брюхо. Хорошо видимо кормятъ на полковыхъ харчахъ . . . даже съѣлся началъ. Тонкія струйки крови сочатся по бокамъ и по шеѣ . . .

За первыми, двигавшимися въ порядкѣ, еще хранилась кое-какая правильность рядовъ на десять . . . Тутъ толпою шли въ сторонѣ офицеры — солдаты тянулись, не разстраивая короткихъ шеренгъ. Зато чѣмъ дальше, тѣмъ порядка становилось меньше . . . Около Малыгина

уже люди шли такъ себѣ; кто куда попало, а позади расплозились по полю — и помину нѣтъ о какой-нибудь стройности... А тамъ дальше за интервалами двигаются орудія, гремя на своихъ зеленыхъ лафетахъ и сверкая на солнцѣ ярко вычищеною мѣдью... Тутъ уже по сторонамъ привалились и отставшіе: кому сапоги ноги натерли, кто недавно боленъ былъ — еще не оправился и потому раньше другихъ усталъ, а кому такъ полодырничать захотѣлось. Еще на открытомъ мѣстѣ отставшихъ было мало; зато подъ тѣнистыми орѣшниками густо сидѣли и лежали солдаты... Нѣкоторые, какъ легли, — такъ и заснули на животѣ, лицомъ въ холодную, кипящую жизнью траву. Насѣкомыя залѣзали и въ ротъ, и въ носъ, путались въ волосахъ и снова падали въ траву, — видимо будучи не въ силахъ одолѣть могучаго солдатскаго сна...

— Афремъ!.. Эй, Афремъ!.. Пора, вставай, — расталкивалъ одинъ изъ отставшихъ товарища.

— Ну, чего еще! — подымался онъ.

— Вставай! говорю... Вона куда ушли — погляди-ко...

— Вечеромъ нагонимъ... Будетъ время-то... Все равно.

И опять опрокидывался въ траву...

По временамъ на отставшихъ наскакивали офицеры, гоняли ихъ, — но такъ себѣ, точно исполняя формальность, для очистки совѣсти. Солдаты именно смотрѣли такъ. Приподымались при появленіи офицера и потомъ опять падали въ траву... «Этотъ поручикъ добрый!» — рѣшались они. — «Завсегда только кричить, — а чтобы зла отъ него — ни Боже мой!»

— Съ лодырями ничего не подѣлаешь, — рѣшалъ офицеръ и обращая вспять, догоняя свою часть.

Малыгинъ давно уже въ своей ротѣ. Онъ угнѣлъ скитаться съ ея интересами, съ людьми, окружавшими его. Съ солдатами сошелся подружески, — не такъ, какъ другіе вольноопредѣляющіеся, которыхъ тянуло къ офицерамъ. Малыгинъ, не давая себѣ поблажки ни въ чемъ, дѣлалъ все что же самое, что дѣлала и его рота...

Теперь, глядя на синій Дунай, стараясь высмотрѣть что-нибудь на томъ завѣтномъ берегу, что сѣрѣлъ за ослѣпительно сверкавшимъ просторомъ рѣки смутною полосой, однообразной внизу и только кверху всхолмливавшейся, Малыгинъ чувствовалъ новыя, неизвѣданныя еще ощущенія...

Вотъ та сторонка, куда идутъ теперь умирать сотни тысячъ народа!.. Идутъ добровольно — не всѣхъ же гонить туда ненавистное приказаніе; кому и въ охоту... Чудилось Малыгину на этой сѣрой

однообразной полосѣ — темныя пятна. Деревни, вѣрно... Садами окутанныя, сползали онѣ къ самой водѣ, потому что отъ бѣлой линіи прибоя прямо и подымались эти смутныя, неопредѣляющіяся за дальностью разстоянія пятна... Что тамъ теперь?.. Можетъ быть, въ этотъ самый спокойный теплый день тамъ льется кровь: начинается беспощадное истребленіе... Можетъ быть, въ этой прелестной тишинѣ глушатся стоны и вопли, предсмертные крики жертвъ, мольбы ихъ и кровожадный хохотъ палачей, торжествующихъ свою дешевую побѣду надъ беззащитной слабостью и безоружной нищетою... Можетъ быть!..

А какъ красива эта даль — какъ красива, несмотря на впечатлѣнія, навѣваемая ею!.. Не оторвался бы отъ нея... Вонъ по Дунаю зеленые острова пошли. Царство тѣни и вѣчной прохлады. На сырой, недавно изъ-подъ разлива освободившейся, почвѣ ихъ плодится и множится всякая дичь, — благо теперь некому тревожить ее между этими враждебными одинъ другому берегами. Вотъ вдоль того, турецкаго берега лѣниво движется пароходъ какой-то... Струйка дыма неподвижно замерла въ горизонтальномъ направленіи... За пароходомъ баржи... На нихъ, должно быть, везутъ войска куда-то впередъ тоже, какъ идутъ туда Малыгинъ и его товарищи... Все впередъ и впередъ...

Вонъ — позади этого берега — еще туманиѣ, смутнѣе и неопредѣленнѣе, точно въ воздухѣ повисли какія-то вершины. Между ними и берегомъ — точно воздухъ; совсѣмъ на небесахъ рисуются они... Маревы ли это, или Балканы подошли поближе къ берегу своими отрогами... А то, быть можетъ, просто далекія облака приняли эту форму горныхъ вершинъ и дразнятъ пытливый взглядъ...

Внизу положится парусъ валашскаго рыболова... Вотъ и самъ онъ свѣсилъ съ борта своей лодченки и выметываетъ себѣ сѣть, пользуясь тѣмъ, что легкій, едва замѣтный вѣтерокъ нечувствительно, не колыхнувъ ни разу, несетъ себѣ его лодку впередъ и впередъ... На минуту онъ поднялъ глаза наверхъ, на откосъ, по которому двигаются солдаты, замѣтилъ офицеровъ на коняхъ, приподнял шляпу, хотя про себя крикнулъ имъ: «Дракули [черти]!» и опять, уже ничѣмъ не отвлекаясь, занялся своимъ мирнымъ дѣломъ... На днѣ его лодки серебрится что-то. Малыгинъ взглянулъ повнимательнѣе — видимо, уловъ богатый. Мерещится чешуя выметанной туда рыбы...

И невыразимо дикимъ показался на одну минуту весь этотъ походъ Малыгину — такъ спокойно скрипитъ каруцца валаха, такъ ровно подвигаются впередъ ея волю, направо и налѣво помахивая своими рогатыми башками, такъ мирно этотъ рыболовъ выметываетъ свои сѣти,

такъ лѣниво движется рѣка, такъ привѣтливо зеленѣютъ луга... При чемъ же тутъ эти заряженные ружья, эта звенящая мѣдь грозныхъ орудій, эти суровые ряды свернутыхъ въ походныя колонны солдатъ?.. Къ чему?..

Развѣ небо даетъ мало тепла и свѣта? Развѣ Дунай остановился въ своемъ теченіи? Развѣ стихіи враждуютъ между собою? Въдѣ въ этомъ году, также какъ и въ прошломъ, — изобиліе урожаемъ плодородныхъ полей; также наливаются и зрѣютъ благословенные виноградники юга...

Въ первый разъ Малыгину показалось нѣсколько странной принятая имъ на себя миссія.

— Зачѣмъ? къ чему?..

Но, словно въ отвѣтъ этимъ думамъ — назойливымъ и неотступнымъ, глухой гулъ пронесся далеко-далеко. Точно бѣлое, пронизанное свѣтомъ, облачко еще ранѣе поднялось отсюда на высоту... Солдаты вздрогнули и разомъ подтянулись... Гулъ удара замеръ, но зато на смѣну ему явилось что-то странное, какой-то дрожащій стонъ, разсѣкающій воздухъ... Точно громадный стальной бичъ, вздрагивая, рѣжетъ разстояніе между тѣмъ и этимъ берегами. Ближе, ближе... Ряды солдатъ въ одно мгновеніе стали правильны. Локоть о локоть идутъ. И только у всѣхъ глаза налѣво... Туда, откуда приближается этотъ страшный звукъ.

Та-та-та-та! надъ самыми головами... И вдругъ что-то точно ахнуло во все свое чугунное горло и зарылось въ песокъ, перелетѣвъ черезъ головы походной колонны...

— Ишь, подлая!..

— Что это? — поблѣднѣли лица молодыхъ солдатъ.

Правильны стали ряды... Точно на ученѣ... Отставшіе повставали и догоняютъ своихъ... Озабоченно, хлопотливо догоняютъ... Полковой командиръ впереди побагровѣлъ, подтянулъ поводья лошади и ни съ того, ни съ сего заоралъ: «Смирно!»... Еще и нѣсколькихъ секундъ не прошло, — а ужъ вся колонна вытянулась точно на смотру. Офицеры на своихъ мѣстахъ... Солдаты отбиваютъ шагъ — точно теперь въ этомъ самая суть...

— Что это? — перебрасывается по рядамъ.

Толстяка полковника не узнать — оправился.

— Не робѣй, ребята!.. У нихъ артиллеристы сволочь... Ишь перелеты да недолеты... Молодцами... — Понастроилъ батарей... Оттуда и палить онъ...



Еще бѣлое облачко точно вскинулось тамъ же... Новый громадный чугунный шмель жужжить въ воздухѣ... Всплескъ воды въ Дунай на высоту... Бухнулось, видимо, въ воду — проклятое... Брызги на солнцѣ загорѣлись на мгновеніе брилліантовымъ блескомъ.

— Недолетъ!..

— Музыканты, впередъ! — командуетъ полковникъ.

Громкій маршъ окончательно разбудилъ спавшую окрестность...

Мѣдныя трубы точно старались перекричать одна другую...

А справа граната за гранатой падали то въ Дунай, то далеко въ зеленыя поля румынскаго берега...

## II.

### Въ первомъ огнѣ.

— Вотъ оно... Настоящее... Начинается... — думалъ про себя Малыгинъ, напряженно вглядываясь въ тотъ берегъ.

Дѣйствительно напряженно... Казалось, весь организмъ его, вся жизнь перешла въ глаза... Каждымъ нервомъ смотрѣлъ... Всѣ его мысли и ощущенія замерли на одну минуту... «Вотъ оно» — смутно шевелилось въ головѣ, а что «оно» — едва ли бы онъ самъ отвѣтилъ себѣ. Такъ какіе-то обрывки впечатлѣній, лохмотья идей... Кружатся вихремъ... Сердце бьется сильно-сильно... Сквозь рубаху слышно... Съ болью даже отдаетъ въ груди...

Другіе солдаты точно такъ же... Словно глаза хотятъ проглядѣть. Одинъ спотѣнулся — а все-таки не отвелъ взгляда.

— Кому-то сегодня, Господи! — тихо было сказано, а всѣ услышали... Услышали, и нѣсколько человѣкъ разомъ, точно по командѣ, перекрестилось...

Полковникъ тоже пристально смотреть туда... И уже на луку не наѣзжаетъ... Инстинктивно передвинулъ бинокль на лѣвую сторону... Къ чему? — развѣ онъ защититъ?.. А зачѣмъ страусъ прячетъ голову — развѣ это спасетъ его?.. Такъ само дѣлается. Зачѣмъ солдаты крѣпче жмутъ локти къ боку?.. Вѣдь «ружья вольно» такъ неудобно держать... Вѣдь отъ безобразнаго чугуннаго осколка не защититъ лѣвая рука?

И чего смотрѣть туда? все равно ничего не размотришь...

Сѣрое марево берега... Тутъ онъ поближе подошелъ, рѣка сузилась. На немъ сѣрыя очертанія, едва-едва замѣтныя... Точно муравьиныя кучи... Рядомъ стоять... Между кучами темныя щели... Вонъ изъ одной такой щели вскинулось опять бѣлое облачко... Крикнуло на томъ берегу — гулъ пошелъ кругомъ... Летитъ сюда...

— Перелетъ былъ... Не долетъ тоже... Теперча гляди въ оба...

Что-то взвизгнуло и впилося въ землю у самаго коня полкового командира... Пылъ, комки земли — прямо въ лица всѣмъ... Обдало и застонало: заныло въ сторону, — видимо осколки туда полетѣли.

— Плачеть!.. Должно чью-нибудь смерть несутъ... — замѣтилъ молодой солдатикъ рядомъ съ Малыгинымъ... Этотъ оглянулся на говорившаго... Совсѣмъ растерялся бѣдняга... И лицо бѣлое-бѣлое и синіе круги подъ глазами... Малыгинъ смотрѣлъ на него и въ то же время удивлялся — какъ сталъ наблюдателемъ, ничего не пропустить... Не пропустилъ даже и того, что второй отъ него солдатъ какъ-то съежился и третью правую руку о холстину грязной рубахи... Точно она у него чешется... А вотъ тотъ впереди... носокъ вытягиваетъ — самъ точно аршинъ проглотилъ — на ученъѣ такъ не пройдетъ вѣрно. Навѣрно не пройдетъ...

Еще бѣлое облачко изъ тѣхъ муравьиныхъ кучъ... Еще выстрѣлъ, и новая граната летитъ... только звукъ ея тихій какой-то... Шипитъ, проклятая!..

Одинъ изъ солдатъ прыснулъ.

— Ты что? — строго оглянулись на него сосѣди.

— Да вишь она что кричитъ...

— Что?..

— «Вижу, вижу, вижу» — кричитъ.

Но тутъ смѣшливый солдатикъ оборвался и присѣлъ къ землѣ. Присѣли и другіе... Невольно на мгновеніе присѣли... Еще бы надъ самыми головами точно металлическій колоколь раскололся или чудовищная громадная струна лопнула... осколки полетѣли во все стороны...

— Честь имѣю съ шрапнелью поздравить! — подлетѣлъ къ полковнику молоденькій адъютантъ съ радостнымъ лицомъ, точно его сейчасъ по головкѣ погладили...

— Да, это шрапнель... Ишь, проклятые, чѣмъ угощать вздумали...

— Они еще сейчасъ... Вы только посмотрите... Сейчасъ еще бацнутъ...

— Да вы-то чему радуетесь?

— Какъ же, полковникъ!.. Первый огонь...

— Такъ какъ, братъ: вижу, вижу, вижу — а самъ присѣлъ... — подтрунилъ старый унтеръ надъ смѣшливымъ солдатикомъ.

— Я и присѣлъ для того, чтобы она не увидѣла... — нашелся тотъ... И самъ расхохотался...

Засмѣялись и остальные, только какъ-то нервно... Точно торопились смѣяться, точно думали, что черезъ минуту ужъ нельзя будетъ смѣяться. Оттого и смѣхъ вышелъ надтреснутый... Люди съ очень больною грудью смѣются такъ...

— Что, Малыгинъ, страшно? — крикнулъ офицеръ.

— Не знаю пока, ей Богу!.. — совершенно искренно отвѣтилъ Малыгинъ, который теперь положительно затруднился бы отвѣтить, что онъ чувствуетъ... Никакъ не опредѣлишь...

— А вы, братцы, турецкимъ гостинцамъ ужъ очень низко кланяетесь... Что вы шею-то въ дровахъ нашли, что ли... Не слишкомъ гните ее — въ оглоблю вѣдь не согнете... А виноватаго — смерть вездѣ отыщется...

— Это точно, вашескорodie! — послышалось въ рядахъ.

— Ну, то-то... Иди, какъ будто тебѣ дѣла нѣтъ.

— Гдѣ полковникъ? гдѣ полковникъ?.. — слышалось позади.

— Раздайся, ребята!.. Раздайся!.. Гдѣ командиръ?..

И молодой артиллерійскій офицеръ, пришпоривая лошадь, тяжелую и неуклюжую, проѣзжалъ сквозъ ряды впередъ...

— Вамъ что? — обернулся къ нему ротный.

— Да хотимъ за любезность — любезностью отвѣтить туркамъ.

— Вотъ это ладно... — встрепенулись солдаты... — Они намъ оттуда: «Здорово, молодцы», а мы имъ: «Рады стараться» — совсѣмъ другой разговоръ пойдетъ...

— Господинъ полковникъ! Батарейный проситъ позволенія открыть огонь по тому берегу. А то вѣдь они насъ во весь путь стануть преслѣдовать...

— Мнѣ и самому въ голову приходило... Да хватятъ ли наши снаряды?.. Вѣдь тутъ версты три пожалуй?

— Три не будетъ!.. Мы подроємъ хобота у орудій... Какъ-нибудь... Нужно же показать имъ, что и мы не съ пустыми руками... Тутъ вотъ ксати оврагъ... Туда можно людей спрятать, чтобы лишнихъ потерь не было...

— Ну, что же?.. Съ Богомъ! Снимайтесь съ передковъ!..

— Сейчасъ, сейчасъ... Сейчасъ начнутъ наши! — съялъ офицеръ, пробираясь назадъ.

— Ну, слава Богу... Все веселѣй...

— Стой! — слышалась команда. — Господа ротные командиры, отведите людей вонъ въ тотъ оврагъ...

Сказано — сдѣлано... Солдаты спрятались... Смѣшливый, тотъ сейчасъ же кувыркомъ и заходилъ на рукахъ вверхъ ногами.

— Ты что это, Семенюкъ? — засмѣялся офицеръ.

— Туркамъ, вашескородіе, на салогі жалуюсь... Очень ужъ товаръ плохъ...

— Онъ въ чистую хочетъ... Турка ему ноги оторветъ, Семенюка на костыли и въ Рассею.

— Нѣтъ, врешь, я это имъ показываю, какія-такія у насъ ноги есть... Сейчасъ къ нимъ въ Кискинтинополь самый...

Край оврага унизали головы въ грязныхъ кепкахъ... Лежа на животахъ, солдаты съ живѣйшимъ интересомъ слѣдили за тѣмъ, что сдѣлаетъ наша «антилерія»...

Мѣдныя жерла орудій теперь направлены туда, на муравьиныя кучи... Рѣжущимъ глаза блескомъ сверкаетъ на пушкахъ солнце, уже поднявшееся высоко-высоко надъ дальними, въ золотистый паръ окутавшимися горами Добруджи... Черная куча людей возится у орудій. Подрываютъ хоботъ, берутъ дистанціи. Вотъ одинъ бѣжитъ отъ заряднаго ящика, держа въ рукахъ что-то черное, коническое... Вонъ другой... Полковникъ — верхомъ — суетится тутъ же...

— Эхъ, не долетитъ... — волнуется онъ... — Я увѣренъ, что не долетитъ...

— А вотъ сейчасъ увидимъ... Ну, прочь отъ орудій!.. Готово?

— Есть!..

— Первое...

Оглушительно гаркнулъ мѣдный звѣвъ, и тяжелое мѣдное чудовище откатилось, словно застоявъ, металлическимъ дрожащимъ стономъ... Дымъ отнесло назадъ. На секунду окутало солдатъ и потомъ развѣяло по полю...

— Ну, что?..

— Сейчасъ... Недолетъ... Саженьяхъ, надо полагать, въ двухстахъ отъ берега... — заявилъ офицеръ, слѣдившій за полетомъ гранаты въ бинокль.

— Скверно!.. Еще подрывать хобота!.. Сколько можно...

— У нихъ пароходъ у берега... Отходить въ сторону... За островъ пятится...

— Не любить!..

— Второе!..

— Теперь у самаго берега!..

Третья — была всего удачнѣе. Простымъ глазомъ видно было, какъ тамъ — у этихъ муравьиныхъ кучъ — взрыло землю. Точно камешекъ въ пылъ ударился.

— У самой амбразуры...

— Четвертое!..

Странное дѣло... Все это совсѣмъ не правилось Малыгину... Хладнокровное истребленіе издали. Совсѣмъ иное рисовалъ онъ себѣ... За что мы бьемъ тѣхъ? за что они насъ?.. Ничего другъ другу не сдѣлали... Такъ же они сидятъ себѣ за валами и направляютъ на насъ свои пушки... Не чувствуя вовсе вражды, не зная, въ кого они стрѣляютъ... А этотъ день сегодня!.. Какъ нарочно — такой мирный, тихій... Чуть-чуть стелется стенная трава по валашской равнинѣ, мягко стелется, медлительно гонитъ свои зеленые волны, такъ же медлительно, какъ Дунай свои... Жаворонокъ взвился вверхъ и распѣваетъ тамъ, утонувъ въ теплѣ и свѣтѣ... Вонъ сурокъ мелькнулъ на песчаномъ обрывѣ и, тяжело переваливаясь, точно тыкаясь мордочкой въ землю, суетливо убрался въ свою темную норку... Сѣрый коршунъ раскинулъ, широко раскинулъ могучія крылья — и хищно высматриваетъ что-то сверху... Но онъ понятенъ. Ему ѣсть надо... А тутъ... Ради чего какой-нибудь Абдуль или Гассанъ оттуда стрѣляетъ по Семенюку, который уже совсѣмъ вошелъ въ роль и, повязавъ сверхъ кепи платокъ, показываетъ, какъ деревенская баба пужается турецкаго орудія... Нетребовательные слушатели смѣются надъ наивнымъ остроуміемъ Семенюка, офицеръ даже ему «цыгарку» далъ, и солдатъ, совсѣмъ ошастливленный, ничего лучшаго не желаетъ, находя свое положеніе въ данную минуту прекраснымъ... «Ужасно это не похоже на настоящую войну», не унимался Малыгинъ, слѣдя за бѣлыми облачками, вскакивавшими на томъ берегу... И ничего страшнаго, рѣшительно ничего... Точно въ театрѣ — сидишь себѣ въ спокойномъ креслѣ — а передъ тобой слышатея выстрѣлы...

— Ай... Убили!.. Голубчики!..

Что-то влажное, мягкое, остро-пахнущее, брызнуло прямо въ лицо Малыгину...

— Милые!.. Конецъ мой... — тише и тише звучалъ голосъ.

Едва отеръ глаза Малыгинъ отъ чужой крови. И вздрогнулъ весь, и сразу жутко и холодно стало ему...

— Носилки!.. — нервно кричить офицеръ. — Санитары!.. Гдѣ санитары?..

— Носилки!.. Носилки! — слышится кругомъ, уносясь дальше, утихая...

— Кого это? Кого тронуло?.. — словно въ отвѣтъ растеть оттуда сюда.

— Семенюка, братцы... Ахъ, ты Господи!.. Вотъ не думаль, не гадалъ...

Наконецъ, Малыгинъ очнулся... Шагахъ въ десяти — Семенюкъ лежитъ навзничъ. Лицо зеленовато-блѣдное... Въ глазахъ — ужасъ; ноздри какъ-то вверхъ вздернулись, такъ что круглый, добродушный носъ смѣшливаго солдата заострился, побѣлѣлъ на концѣ. Кепи откатилось назадъ, а волосы — мокрые — прилипли ко лбу... Ротъ полуоткрытъ, скорѣе даже оскаленъ; сквозь зубы проступаетъ и всплываетъ кровь... Рука правая съ растопыренными пальцами застыла надъ лицомъ, точно онъ защищается ею, — лѣвая откинулась въ сторону и царапаетъ сѣрую, сухую землю обрыва... Царапаетъ, впиывается въ нее, точно до чего-то дорыться хочетъ... Судорожно царапаетъ — не чувствуютъ боли эти разомъ посинѣвшіе пальцы...

Во всю грудь какое-то красное мѣсиво... Такъ и хлещетъ оттуда кровь... Перервало ремень отъ ранца, который безобразно торчитъ по сторонамъ... Рубаха не рубаха, мясо не мясо... Точно конецъ разбитаго ребра выставился наружу...

— Живо носилки!.. Скоты этакіе!.. Ребята, накройте его!..

Въ Малыгинѣ все точно застыло... Только глаза видятъ; глаза видятъ и ухо слышитъ... И тѣ, и другіе не могутъ оторваться отъ Семенюка. Совсѣмъ не могутъ. Точно прикованы къ нему. Взглядъ до послѣдней детали подмѣчаетъ все... Въ этой растопыренной рукѣ, которой онъ, Семенюкъ, точно защищается отъ чего-то невидимаго, только большой палецъ закатъ къ ладони, придерживая сигару, подаренную несчастному офицеромъ. «И чего онъ ее держитъ?..» Сигара еще курится, и легкій, синеватый дымокъ вьется вокругъ искривившихся пальцевъ...

Вонъ что-то хочетъ сказать Семенюкъ — не можетъ. Только губы вздрагиваютъ, да ротъ открывается порою, какъ у рыбы, когда ее выбросятъ на сухой берегъ, выхвативъ изъ привѣтливой синѣющей глубины тихой рѣченки... Точно зѣваетъ Семенюкъ, и съ каждымъ зѣв-

комъ что-то хриплое вырывается изъ горла, и новая кровь вскипаетъ на его груди.

Капли пота проступили у него на щекахъ, одна оставила грязный слѣдъ и покатила къ уху, края котораго тоже будто посинѣли...

Когда принесли носилки и подняли Семенюка, онъ и въ воздухъ царапалъ воображаемую землю... Положили его на бѣлую холстину — онъ удивленно какъ-то взглянулъ на чистое, сѣвшее надъ нимъ голубое небо... Выраженіе ужаса сбѣжало съ лица... Рука, царапавшая воздухъ, повисла...

Смѣшливаго солдата не стало...

### III.

## Третья Плевна: наканунѣ.

— Капитанъ Ивковъ?

Молодой офицеръ, спавшій подъ солдатской шинелью въ насквозь промокшей палаткѣ, съ трудомъ приподнялъ отяжелѣвшія вѣки.

Опывшая сальная свѣча въ бутылкѣ тускло освѣщала чье-то бордатовое лицо, просунувшееся въ палатку. Съ рѣсницъ, съ усовъ, съ бороды его капала вода. Она же сбѣгала съ чернаго капюшона резинового пальто, капюшона, надвинутого на глаза.

— Кто это?

— Ординарецъ генерала Скобелева съ приказаніями.

— Войдите сюда.

И Ивковъ всталъ, потягиваясь.

— Нѣтъ, я васъ затоплю совсѣмъ. Я весь мокрый.

— Ничего, входите... И здѣсь, вѣдь, не лучше. Солома подомной насквозь промокла, пальто тоже хоть выжми.

Какъ нарочно, капля упала сверху прямо на тускло мерцавшую свѣчку... свѣтильня зашигѣла и погасла.

— Экая гадость! Алексѣй!

— Чего изволите? — принеслось откуда-то сбоку.

— Давай огня.

Лежавшій головой на сѣдлѣ, прямо на мокрой землѣ, солдатъ вскочилъ, выхватилъ изъ рукъ своего товарища фонарь и стремглавъ бросился въ палатку, наткнувшись у самаго входа на ординарца.

Вдали то и дѣло громыхали пушечные выстрѣлы, словно распозавшіеся въ туманѣ; звукъ ихъ дробился и таялъ въ однообразный гулъ, то усиливавшійся, когда слышались новые удары, то замиравшій, но медленно, глухо... Иногда нѣсколько ударовъ сливались въ одинъ, и вся окрестность вздрагивала и стонала тогда, словно жалуясь на что-то низко, низко нависшему небу... Жаловалась и стонала! Хотя ни жалобы, ни стоны не дошли бы теперь по адресу... Небо заволокли свинцовыя тучи, словно лохмотьями висѣвшія внизъ, такъ что мокрые концы этихъ обрывковъ касались верхушекъ холмовъ, заползали въ вырытыя здѣсь траншеи... Иногда тучи совсѣмъ опускались и окутывали сплошь грозныя редуты, бруствера которыхъ пропадали въ однообразной мглѣ... Порою, въ этихъ окутанныхъ тучами редутахъ — багровымъ блескомъ вспыхивали огнистыя пятна, гремѣлъ медлительно раскатывающійся громъ и съ дикимъ ревомъ вылетала чугунная молнія, бороздя впереди цѣлый океанъ такого же густого тумана. И въ эти минуты казалось, что это не орудія выбрасываютъ изъ-за своихъ земляныхъ валовъ огонь и смерть въ заранѣе намѣченныя цѣли, а сама туча гремитъ и низлетъ молніями ночную тьму...

— Чѣмъ угощать васъ? — обратился Ивковъ къ вошедшему, съ котораго буквально текла вода.

— Дайте, ради Христа — глотокъ коньяку... Насквозь меня пробрало.

— Алексѣй!.. Есть у насъ коньякъ?

— Никакъ нѣтъ... Спиртъ есть.

— Все равно... не хотите ли чаю?

— Какой тутъ чай... еще по всей позиціи пробѣхать надо.

Ординарецъ глотнулъ спирту...

— Обтереться даже нечѣмъ. Нигдѣ сухой тряпки нѣтъ.

— Что новаго скажете?

— Вамъ сниматься. Сейчасъ же отправляйтесь и займите аванпостами первую горку. Знаете ее?..

— Какже.

— Не собьетесь въ туманѣ?

— Нѣтъ, мѣста знакомыя. Ну-съ, завтра?

— Да, рѣшено окончательно... Съ полудня двинемся.

— Что-то будетъ?

— Многихъ не досчитаемся... Я за генерала боюсь... Точно шальной лѣзетъ на каждую рогатину.

— Что онъ теперь?



— Веселье... Всегда передъ боемъ перестаетъ хандрить. Заперся теперь съ начальникомъ штаба. Велѣлъ лошадей сѣдлать. Вѣрно самъ двинется... Ну, прощайте!.. Отправлюсь въ Казанскій полкъ.

— Алексѣй, одѣваться! Живо! фельдфебеля послать, — вѣстовой... Разбудить солдатъ!

— Опять Плевень эту брать, что ли? — фамильярно спросилъ денщикъ.

— Да...

— То-то я вижу, не терпится вамъ... Куда жъ утромъ щито нести?

— Какія тутъ щи. Положи мнѣ галеть въ сумку; да спирту налей въ плетенку.

— Вы, ваше-скородіе, не то чтобы очень, — нерѣшительно мялся солдатъ.

— То есть о чемъ же ты?

— Не больно суйтесь, неровень часъ... Я все-таки щей сварю и принесу.

— Ты вотъ что. Видишь письмо?

— Точно такъ-съ.

— Если буду убитъ, — отошли. Слышишь? Я на тебя надѣюсь... А этотъ пакетъ отдай брату. Онъ распорядится. Мои деньги бери себѣ.

— Что это, ваше-скородіе, только накликаете, — дрогнувшимъ голосомъ замѣтилъ Алексѣй.

— Я твоей службой доволенъ... Прощай, братъ, поцѣлуемся! Денщикъ заплакалъ и ушелъ изъ палатки, стыдясь своего порыва.

Ивковъ вынулъ изъ сумки бархатный футляръ и открылъ его. При скудномъ свѣтѣ едва замѣтны были чистыя, изящно очерченныя линіи женскаго профиля.

— Какъ она грустно смотритъ здѣсь... Точно чувствуетъ... Прощай, моя Лиза!.. — И онъ приникъ губами къ холодному стеклу портрета. — Прощай, моя милая, прощай, моя радость!..

Черезъ десять минутъ рота была уже выстроена... Въ туманѣ пропадали середина и конецъ сѣрыхъ неподвижныхъ шеренгъ. Свѣтъ двухъ или трехъ ручныхъ фонарей дробился на штыкахъ, влажныхъ, точно они и теперь уже были облиты кровью. Одинъ фонарь, свѣтя съ верхушки чьей-то палатки, выхватывалъ изъ мрака какое-то усатое, щетинистое лицо... Тихій говоръ разносился кругомъ изъ низенькихъ, дождю и вѣтру открытыхъ тантабри. Съ нимъ сливались и нѣсколько пѣсенъ, вполголоса запѣвавшихся кое-гдѣ... Въ эту холодную, мокрую

ночь и гѣсня дѣлалась мокрой, не могла разгорѣться... Точно всю ее пропитали слезы; казалось, будто слезы текли изъ каждаго ея слова, капали съ каждаго ея звука... Въ неподвижныхъ рядахъ выстроившейся роты слышались только шорохъ унтеръ-офицеровъ, повѣрившихъ солдатъ, скрипъ влажнаго ремня о влажный стволъ ружья, плюханье воды, въ которую попадалъ сапогъ проходившаго мимо фельдфебеля, да звонъ прикладовъ и манерокъ... Лицъ не было видно: ихъ порою освѣщала фонарь, но какъ только унтеръ-офицеръ шелъ дальше, новыя лица являлись передъ нимъ серьезные, влажныя, нахмуренныя, а прежнія уходили во мракъ, заполонявшій все, что еще жило и дышало здѣсь... Казалось, что этотъ рядъ лицъ не существовалъ въ дѣйствительности вовсе. Онъ проступалъ на темно-сѣромъ фонѣ отъ дѣйствія скупыхъ лучей тускло мерцавшаго сквозь закоптѣлыя стекла огонька и опять исчезалъ...

Ивковъ, выйдя изъ палатки, попалъ прямо въ лужу жидкой грязи...

Куда ни ступалъ онъ, всюду было мокро. Казалось, что только вчера еще воды потопа обнажили долго затоплявшуюся ими мѣстность, и вся она, насыщенная влагой, испаряла ее, выдѣляла на свою поверхность при самомъ слабомъ давленіи, не позволяя разгорѣться кострамъ, сырыя полѣнья которыхъ не давали огня, а только шипѣли и курились густымъ, чернымъ дымомъ... Дымъ этотъ безсиленъ былъ пронизать туманъ, проникнуть сквозь него, добраться до чистаго воздуха... Онъ какъ кровля разстилался надъ самымъ костромъ и вѣлъ глаза всякому, кто только приподымался въ уровень съ этими черными клубами.

— Что, Сидоровъ, все готово? — обернулся Ивковъ къ фельдфебелю. — Здравствуйте, Харабовъ!

Офицеръ, молоденькій, тщедушный, робкій, въ каждомъ своемъ движеніи словно обнаруживавшій нерѣшительность, пожалъ руку Ивкову.

— И Доронovichъ собрался?

— Здѣсь! — отозвался другой офицеръ. — Ну и погода, капитанъ!

— Повѣсь лень въ воздухъ, — вымокнетъ лучше, чѣмъ въ водѣ.

— Вотъ насъ сегодня вымочутъ, какъ лень.

— А завтра — расчешутъ.

— Доронovichъ не можетъ быть безъ остротъ. Что вы, Харабовъ, такой мрачный?

— Стъ бабушки письмо получилъ, — подтрунилъ другой.

— Все не отъ бабушки, а отъ невѣсты... — поправилъ Харабовъ.

Ивковъ улыбнулся, вспомнивъ, что и у него тоже подъ мокрымъ сукномъ пальто, на груди приютился въ бархатномъ футлярѣ милый

образъ дорогой женщины, къ которой всякую свободную минуту, когда онъ оставался одинъ, неслись его помыслы...

— Завтра по диспозиціи мы выступимъ въ полдень.

— Да...

— Не мы, значитъ, первыми въ огонь!

— Нѣтъ... мы поддержимъ ярославцевъ. Что жъ, пора и двинуться.

— Скверная ночь ждетъ насъ... До утра придется на аванпостахъ.

— Ей Богу, все равно. Тамъ или здѣсь. Одинаково мокро.

Бивакъ былъ разбитъ на вершинѣ холма. Когда рота двинулась, ей пришлось спуститься внизъ прямо въ сырую холодную лощину. Ивкову казалось, что онъ сходить въ рѣку, такъ густъ былъ туманъ, заполонившій дно глубокаго оврага... Попадавшая подъ ноги трава мягко, безъ шелеста, приликала мокрая къ мокрой землѣ и точно плакала подъ тяжестью сапогъ, точа въ ночномъ мракѣ свои невидимыя слезы. Что-то заливалось за воротникъ, крупными каплями осаждалось на лицахъ, скользило по этимъ лицамъ въ мокрыя бороды и крупными слезинками падало внизъ на мокрыя шинели. По ложамя ружей вода, сбѣжавъ вдоль приклада, заливалась въ рукава солдатъ, до самаго локтя, заставляя нить и безъ того ноющія кости...

— Эхъ ты, Плевень, Плевень! — слышалось въ рядахъ.

— А ты думалъ съ бабой на печи?

— Тутъ не обабишься.

— Дай, Господи, цѣлымъ уйти!..

Все это говорилось какъ-то урывками. Скажется и, никѣмъ не поддерживаемое, падаетъ, гаснетъ, гложнетъ. А тамъ черезъ минуту еще кто-нибудь выцѣдитъ слово. Большая часть солдатъ молчала — не до того было. Не одна эта сырая и холодная ночь донимала ихъ. Они знали, что завтра большой и рѣшительный бой. Всѣ знали, что изъ трехъ двое выбудутъ вонъ. Завтра большей части товарищей не досчитается рота. Не то чтобы она трусила, — нѣтъ. Но и одушевленія здѣсь не было, — того одушевленія, которое рисуютъ реляціи и романисты. Шли солдаты потому, что какъ же не идти? Другіе идутъ; приказано, значитъ надо идти. Правда, утромъ капитанъ долго имъ объяснялъ, что они одни изъ первыхъ пойдутъ завтра въ огонь, что это великая честь, которую умѣетъ понимать и чувствовать русскій солдатъ... Но русскій солдатъ слушалъ, не понимая и не чувствуя, въ чемъ тутъ великая честь. Солдатъ слушалъ, нисколько не одушевляясь, а думая,

что завтра вотъ опять придется схватиться съ туркой и что рѣдко кто уцѣлѣетъ... Еще лѣзли въ голову неотвязныя мысли. Кто вспоминалъ о родимой деревушкѣ, которая теперь тамъ далеко на сѣверѣ, вся схоронившись въ лѣсной глуши, живетъ себѣ прежней жизнью, совсѣмъ чуждою и этой бойни, и этой чести, которую умѣетъ чувствовать русскій солдатъ... И вѣдь ему только и больно, что этой захоластной деревнѣ — ничемъ его отсутствіе. Поди и думать о немъ перестали, и подлянка Машка, что такъ рыдала въ послѣднюю ночь на его плечѣ, вѣрно вышла замужъ за Алешку Сивоногого. Не ждать же ей, когда кончится война и вернется изъ похода рядовой Сергѣй Сергѣевъ! Да и вернется ли? Можетъ быть, завтра придется встрѣтить слѣдующую ночь на землѣ, лежа навзничь, раскинувъ руки... Можетъ быть, завтра широко раскрытые глаза уже ничего не будутъ видѣть въ ночномъ туманѣ, и грудь не шелохнется, и они не смежатъ своихъ неподвижныхъ вѣкъ, когда подлый воронъ опустится на посинѣлое лицо и, черными цѣпкими когтями держась за него, станетъ долбить и выклевывать эти открытые, но не зрячіе глаза.

— Эхъ ты, жизнь солдатская!.. — слышится уже въ рядахъ, — и каждому вѣдомо, на какой молчаливый вопросъ, заданный сердцемъ, отвѣтило скорбное восклицаніе. Каждому ясно, что эти молодцы завтра безтрепетно пойдутъ на смерть и муку, но вовсе при этомъ не будутъ ощущать высокой чести первыми сложить свои головы... Не одушевленіе, а покорность судьбѣ сказывалась въ нихъ... Сердце такъ же ровно билось подъ сѣрыми шинелями, шагъ былъ такъ же мѣрнень и спокоенъ...

На пути лежало шоссе, которое шло на Плевну изъ Ловчи. Когда голова колонны добралась до шоссе, дорога стала гораздо легче, хотя и тутъ приходилось спотыкаться о выбоины, попадать въ ухабы. Подъ ногами чувствовался твердый грунтъ, а это служило немалымъ облегченіемъ. Въ десяти шагахъ, въ непроницаемомъ царствѣ тумана, нельзя было бы разсмотрѣть эту, на полверсты растянувшуюся, роту. Слышался только топотъ нѣсколькихъ сотъ ногъ, звонъ манерокъ, звяканье штывовъ о штывы, когда шедшій впереди солдатъ слишкомъ заваливалъ ружье назадъ, и оно встрѣчалось съ ружьемъ шедшаго ему въ затылокъ товарища. Еще рѣже слышались голоса.

— Такъ ли мы ѣдемъ? — обратился Дороновичъ къ Ивкову.

— Другой дороги нѣтъ.

— Какъ бы не попасть къ туркамъ.

— Нѣтъ, я помню мѣстность... Какъ будто посуше стало?..

— Нѣтъ. Такъ кажется... Я весь насквозь...

— Эко диво! На мнѣ уже три дня сухой нитки не было.

Гулъ пушечныхъ выстрѣловъ здѣсь сталъ уже гораздо слышнѣе; удары рѣзко отдѣлялись отъ ихъ отзвучій, порою доносилось отдаленное шипѣніе снарядовъ; иной разъ казалось, что въ недосыгаемой высотѣ, — тамъ, надъ этимъ моремъ холоднаго тумана, — кто-то тяжело дышитъ короткими, частыми вздохами. Это далеко въ сторонѣ пролетали на наши позиціи турецкія гранаты.

— Ишь, наша... Это наша... — стали оправляться солдаты.

Въ гулѣ артиллерійской перестрѣлки послышался рѣзкій металлическій звукъ... Видимо батарея была очень недалеко.

— Здорово оно мясо жреть? — отозвался изъ рядовъ старый солдатъ.

— Кто оно?

— А орудіе самое... Издали свою плепорцію ловить... Не уйдешь... У ей пасть завидушая.

— Раздайся, ребята, раздайся!.. — налетѣлъ иззади донецъ, стоя въ стременахъ и наклоняясь впередъ. — Раздайся, ребята... Генераль ѣдетъ!.. Раздайся!

— Куда ты? — обернулся Ивковъ, когда казакъ доѣхалъ до него.

— Генераль позади ѣдетъ, ваше благородіе.

— Какой генераль?

— На позицію... Къ Скобелеву...

— Да какъ его зовутъ-то?

— А Бо зныть.

Ивковъ остановилъ роту. Солдаты сбились по краямъ шоссе, открывъ широкій проѣздъ для кареты генерала. Вотъ, позади показалась она, подвигаясь въ туманѣ впередъ, какъ чудовищный паукъ. Сходство съ наукомъ дѣйствительно было удивительное. Кони впереди, сливавшіеся во что-то неопредѣленное, казались ногами, быстро уносившими толстое, неуклюжее туловище-кузовъ, съ двумя тускло свѣтящимися на выкатъ глазами-фонарями кареты. Чудовищный паукъ докатился до солдатъ, покрывая своимъ грохотомъ, по ухабамъ и выбоинамъ, всѣ остальные звуки.

Скоро ноги паука точно устали, задвигались медленнѣе, потомъ и остановились совсѣмъ. Глаза громаднаго паука засвѣтились на одномъ и томъ же мѣстѣ, точно глядя неподвижно въ густую мглу, не упадетъ ли по пути какая-нибудь легковѣрная добыча...

— Здорово, ребята!..

Въ туловищѣ паука открылся какой-то клапанъ и выбросилъ извнутри маленькаго, быстрого въ движеньяхъ генерала.

— Здорово, ребята... Обмякли?

— Обмякли, ваше превосходительство!

— А ноги еще ходятъ?

— Ходятъ.

— И руками болтать можете?

— Можемъ, ваше превосходительство.

— Ну, и чудесно!.. Выпить бы хорошо теперь, а?

— Чего ужъ лучше!

— А водки-то нѣтъ, — вотъ горе-то. Горе вѣдь, ребята!

Солдаты видимо веселѣли.

— Куда ползете?

— На аванпосты! — подошелъ Ивковъ, прикладывая руку къ козырьку.

— Эко ночь скверная!

Генераль не радъ уже былъ, что выползъ изъ своего паука. Сырость стала живо понимать его, усы обмокли, на рѣсницахъ тоже осѣло что-то влажное, стекла очковъ потускнѣли, а потомъ и совсѣмъ вспотѣли, такъ что генераль снялъ ихъ прочь.

— Подлая ночь!.. Ну, братцы, — обернулся онъ къ солдатамъ, — завтра потрудиться надо. Богъ пошлетъ побѣду — и войнѣ конецъ... Всѣмъ потрудиться надо. И солдату, и офицеру одинаково... Да вамъ что же говорить! — сами молодцы, знаете!.. Не первый разъ... Какого полка?

Ивковъ сказалъ.

— А... да васъ уже въ Ловчѣ обстрѣляли... Дѣло знакомое — турка колотить... Какъ вы его гнали, ребята, отъ Ловчи-то?... Живо онъ отъ васъ ноги убиралъ? А?

— Живо, ваше-ство... Чего ужъ живѣй!

— Ну вотъ.

— Енъ, ваше-ство, рачкомъ отъ насъ уходилъ.

— Какъ рачкомъ?..

— Такъ, рачками они съ горы поползли.

— Ха-ха... Рачками... А вы его штыками, молодцы, подбодряли?

— Подбодряли! Какъ не подбодрить, ваше-ство!

— Ну, такъ и слѣдуетъ... Вотъ, вы и завтра такъ подбодрите его... А холодно! Прощайте, капитанъ... Какъ васъ звать?

— Ивковъ.

— А моя фамилія иностранная... Ея не запомните, все равно...

Трудная. Генераль Горшковъ!..

Ивковъ улыбнулся. Солдаты повеселѣли. Не понимая, какая великая честь — первыми попасть въ огонь, они разомъ отозвались на приглашеніе *потрудиться*, удачно опредѣленное генераломъ съ иностранной фамиліей.

— Чудной генераль! — говорили солдаты, когда громадный паукъ, опять поглотившій его, съ грохотомъ расплескивая грязь по сторонамъ, покатилъ впередъ и исчезъ въ густомъ туманѣ холодной ночи и съ своимъ грузнымъ туловищемъ, и съ своими тускло блестящими глазами.

#### IV.

### Третья Плевна: ночь на аванпостахъ.

Шоссе то взбѣгало на верхушки холмовъ, то опускалось внизъ на дно лоцинь, по которымъ плылъ густой туманъ. Рота уже два часа шла, взбираясь на высоту, гдѣ рѣзче и опредѣленнѣе слышались удары орудій. Они то приближались къ намъ, то отъ насъ уносились впередъ, въ то же царство тумана, одинаково скутывавшаго теперь и своихъ и чужихъ. Только съ каждымъ новымъ холмомъ эти удары становились все громче и громче. Когда рота спускалась внизъ, на самое дно этого моря мглы, глуше звучали выстрѣлы, и проносились они какъ-то высоко-высоко вверху. Казалось Ивкову, что бредеть онъ по сырому и холодному дну холоднаго моря, и далеко-далеко въ высотѣ, на поверхности этой стихіи, гремятъ враждебныя орудія, слышится грохотъ битвы, только однимъ глухимъ эхомъ долетающій къ нему внизъ... Въ темнотѣ, на днѣ этого моря, онъ наталкивается на какихъ-то громадныхъ, чудовищныхъ амфибій, точно простирающихъ къ нему свои склизкія, присасывающія студенистыя щупальцы. Подходя къ этимъ амфибійамъ, онъ узнавалъ въ нихъ: или окутанныя туманомъ деревья, или скалы, вокругъ которыхъ гуще ложилась мгла, точно ей нужно было что-нибудь твердое, за что она могла бы уцѣпиться и потомъ уже распозаться во всѣ стороны... Еще черезъ полчаса дороги, наверху одного изъ безчисленныхъ холмовъ, окружающихъ Плевну, такъ и сѣлъ въ уши солдатъ металлическій трескъ близкаго выстрѣла. Немного спустя издалика, от-

куда-то со стороны послышалось злобщее отвѣтное шипѣніе и, словно метеоръ, просвистала сверху и съ хищною злобой впиалась въ рыхлую и мокрую землю турецкая граната.

— Первая! — послышалось въ рядахъ.

— Небось, братъ, теперь часто стануть... — И дѣйствительно, не успѣлъ солдатъ договорить, какъ опять вздрагивающее шипѣніе пронеслось въ высотѣ, и вторая граната еще стремительнѣе, еще злобнѣе впиалась въ неповинную землю.

— Сейчасъ и батарея наша видна... Это ёнъ по батареѣ палить... Ёнъ всегда по батареямъ палить.

Дѣйствительно, не успѣли солдаты сдѣлать и ста шаговъ, какъ впереди — на какомъ разстояніи именно нельзя было опредѣлить въ туманѣ — словно раскрылось и сейчасъ же опять смежилось чье-то громадное пламенбующее око. Тотчасъ же грохнула мѣдная часть орудія... Видимо, рота шла прямо черезъ батарею. Вонъ направо и налево по скату, защищенные небольшими валиками, стоятъ зарядные ящики... Отъ нихъ къ батареѣ и отъ батареи къ нимъ то и дѣло перебѣгаютъ солдаты.

— Живо, живо, ребята! — покрикиваетъ кто-то на нихъ... — Живо!..

Солдаты бѣгутъ...

— Это еще кто идетъ? — послышалось оттуда.

— Рота \*\*\* полка... На аванпосты, — пояснилъ Ивковъ.

— А... милости просимъ... Вамъ придется стать въ верстѣ передъ нами.

Направо и налево отъ шоссе — тутъ, за нѣсколько дней передъ этимъ, выросла грозная профиль толстаго земляного бруствера, въ узкія амбразуры котораго смотрѣли крупныя орудія, смотрѣли на одинъ изъ слѣдующихъ холмовъ, гдѣ въ такія же амбразуры разѣвали свои стальные пасти еще болѣе крупныя турецкія орудія... Какъ крѣпко привязанные желѣзными цѣпями къ несокрушимымъ столбамъ великаны, пушки эти только злобно перекликались и издали грозили одинъ другому... Не имѣя возможности подойти другъ къ другу поближе, онѣ въ лютой ненависти своей перебрасывались осколками чугуна... Казалось, если бы спустить ихъ съ цѣпей, мѣдныя руки переплелись бы съ стальными, и въ этихъ бѣшеныхъ объятіяхъ непримиримой вражды были бы раздавлены металлическія груди сидящихъ на цѣпи великановъ.

Надъ головами то и дѣло пролетали непріятельскія гранаты. Одна изъ нихъ, когда Ивковъ подошелъ къ батарейному командиру, съ оглу-



шающимъ визгомъ влетѣла въ амбразуру и разсыпалась на нѣсколько уродливыхъ осколковъ.

— Кто раненъ? — заботливо крикнулъ батарейный, когда прошелъ первый моментъ столбняка, невольно охватившаго всѣхъ.

— Слава тебѣ Господи! — слышалось отовсюду.

Солдаты крестились, сознавая себя цѣлыми.

— Ваше высокоблагородіе! — жалобно простоналъ кто-то около того мѣста, куда впиалась передъ разрывомъ граната.

— Такъ и есть, кого-то тронуло... — И онъ пошелъ туда.

— Кого ранило?... — повторилъ онъ, ничего не различая въ густомъ туманѣ.

— Ранило! ваше высокоблагородіе! — отвѣтилъ тотъ же печальный голосъ.

— Да кого?... Зовутъ какъ?

— Орудію ранило!

— Слава Богу — люди цѣлы!

— Орудію ранило... Нашу орудію...

Граната, оказалось, передъ разрывомъ успѣла разбить лафетъ орудія... Раненое орудіе пока отнесли въ сторону. Утромъ будетъ доставленъ новый лафетъ, и раненая пушка выздоровѣетъ, чтобы опять откликнуться на чудовищныя угрозы стальныхъ великановъ, тамъ, далеко, тщетно бѣснующихся на своихъ крѣпкихъ, несокрушимыхъ цѣпяхъ.

Спустя нѣсколько минутъ рота сходила внизъ, а черезъ полчаса аванпостная цѣпь была раскинута въ верстѣ отъ батареи съ раненымъ орудіемъ... Теперь, оборачиваясь назадъ, солдаты видѣли свою батарею, потому что тамъ, гдѣ она должна стоять, то и дѣло раскрывались и снова смыкались въ туманѣ невидимыя вѣки, и огневые глаза на мгновеніе взглядывали во тьму сырой и холодной ночи... Гранаты нашей батареи то и дѣло пролетали надъ головами аванпостной цѣпи, ободряя солдатъ, скучавшихъ ничегонедѣланіемъ и долгимъ стояніемъ на одномъ и томъ же мѣстѣ.

На высотѣ, далеко-далеко, едва замѣтная, раскрывались такія же огнистыя очи... Казалось, два многоголовыхъ сказочныхъ змѣя легли одинъ противъ другого и въ стихійной игрѣ своей перебрасываются цѣлыми обломками скаль, съ ужасною силою направляя ихъ одинъ на другого, и для того на секунду открывая свои сверкающія злобой очи...

Скоро враждебныя батареи словно утомились.

Точно закрылись ихъ мѣдныя пасти, и уже не раскрывались впереди и позади аванпостной цѣпи чудовищныя огневые очи... Туманъ сталъ

еще гуще . . . Онъ давилъ сверху, окутывалъ внизу, вмѣстѣ съ воздухомъ проникалъ въ легкія и перехватывалъ дыханіе. Казалось, что люди захвачены въ черную тучу и куда-то унесены ею . . . Какъ-то сталъ моросить дождь, но онъ не могъ прибавить влажности этой совсѣмъ уже влажной атмосферѣ, онъ не могъ сдѣлать шинели и лица солдатъ болѣе мокрыми. Капли дождя, ничѣмъ не задерживаемыя, легко скатывались по мокрому платью внизъ и падали въ лужи, потому что подавшаяся подъ ногами человѣка земля источала изъ себя мутную холодную воду, проникавшую черезъ скверный сапогъ . . . Холодъ пощипывалъ обмокшія ноги, холодъ пощипывалъ руки . . . А до свѣта было еще далеко . . . Еще часа два осталось до этого зловѣщаго завтра, которому громъ орудій былъ только прелюдіей . . . Еще два часа осталось до этого «завтра» со всѣми его ужасами . . . «Завтра» унесетъ съ собою тысячи жизней; завтра здоровые сильные люди лягутъ на эту мокрую землю — изорванные, искалѣченные, пробитые насквозь. Завтра этотъ зловѣщій туманъ огласится воплями муки, криками смерти, бѣшенными проклятіями, кровожаднымъ ревомъ братоубійственной бойни . . . Завтра убійство и злодѣйство будутъ подвигами; завтра надъ этими холмами и лощинами, во всемъ своемъ грозномъ и отвратительномъ величіи, подыметъ изъ глубокихъ, изъ самыхъ черныхъ нѣдръ облитой кровью земли тѣнь перваго великаго преступника — Каина, чтобы еще разъ ужаснуться дѣлами рукъ своихъ, — еще разъ увидѣть, какъ далеко пошли его послѣдователи . . . Завтра тысячи семей на далекомъ сѣверѣ, тысячи семей на благословенномъ югѣ останутся осиротѣвшими . . . Завтра — пиццета, горе будутъ праздновать свою великую побѣду . . . Отъ завтрашняго дня будутъ считать свое происхожденіе десятки тысячъ преступленій . . . Воровство, грабежъ, развратъ . . . Всѣ эти дѣти голодной бѣдности будутъ зачаты въ холодномъ чревѣ ихъ блѣдной матери смерти! Завтра! . . .

Темна эта ночь . . . Тяжелъ и густъ этотъ туманъ, но взглядъ солдата, скользя по востоку, не ищетъ съ отрадою первыхъ лучей среди его темничнаго мрака . . . Тихи эти редуты, замеръ говоръ ихъ защитниковъ . . . За валами мертвымъ сномъ спятъ пока сѣрые люди, а кто не спитъ — старается позабыться, не думать о томъ, что будетъ . . . Въ лощинахъ, на мокрой землѣ лежатъ солдаты, которые съ разсвѣтомъ должны будутъ двинуться впередъ на эти сѣрые валы, на эти грозные редуты . . . Прислоненныя къ брустверамъ, неподвижны ружья . . . Ни мѣсяцъ, ни звѣзды не кидаютъ своихъ лучей на ихъ острия жала . . . Не блестятъ ихъ штыки, — точно они и теперь уже облиты кровью . . .

Молчать орудія — имъ надобно реветъ. Будто и имъ нужны силы для этого неизбежнаго, неустраимаго «завтра». Завтра ихъ мѣдныя пасти накричатся до хрипоты, разгорятся отъ бѣшенства... Завтра на эти мокрыя лощины, на эти мокрые холмы, станетъ падать иной дождь — дождь свинца, еще болѣе пагубный, чѣмъ тотъ, который древле похоронилъ богатые города Содомъ и Гоморру... Гдѣ тѣ праведники, ради которыхъ будутъ пощажены обреченные смерти люди?..

Не траурный ли покровъ — эти густыя черныя тучи? не слезы ли неба — эти мелкія капли дождя?.. Точно звѣзды, робкія, мечтательныя звѣзды, плачутъ надъ людскимъ безуміемъ, и слезы ихъ, проникая сквозь черный трауръ небесныхъ тучъ, падаютъ на лица солдатъ, падаютъ на землю, падаютъ на эти пока молчаливые валы...

Аванпостная цѣпь стояла по трое — звеньями...

Тихій говоръ слышался порою среди этого мрака, но погасаль тотчасъ же...

Говорить было некогда.

Зорко нужно присматриваться... Вся жизнь переходитъ въ глаза... Въ этой сырой тьмѣ немудрено лукавому врагу пробраться къ самой цѣпи, а тамъ одно мгновеніе, и солдаты будутъ перерѣзаны. Чутко слушаетъ ухо молчаніе ночи; чутко работаетъ мозгъ надъ случайными звуками, едва-едва доступными слуху. Не шорохъ ли это?.. Не топотъ ли коня?.. Не крадущіеся ли шаги?.. Не ползетъ ли, какъ змѣя, кто-нибудь изъ этой черной балки прямо на бодрствующую цѣпь?.. Нѣтъ... Это капли дождя шумятъ въ травѣ... А можетъ быть и заяцъ прошмыгнулъ въ кукурузѣ, чуть-чуть всколывавъ ея мокрую листву... Нѣтъ, это издали подходитъ Ивковъ, провѣряя цѣпь — всѣ ли на своихъ мѣстахъ.

А глазъ старается пронизать эту тьму...

Туманъ постоянно обманываетъ его. Зрѣніе напряжено до того, что часовому начинаетъ чудиться... Въ однообразномъ маревѣ тумана точно что-то сгустилось; въ темной массѣ выдѣлилось еще болѣе темное пятно... А глазъ до боли всматривается въ него, обходитъ по его контурамъ... Зрительные нервы работаютъ надъ галлюцинаціей... Нѣтъ, это не пятно... Это силуэтъ какой-то... Силуэтъ этотъ все рѣзче становится на краяхъ, все отчетливѣе и отчетливѣе отдѣляется отъ тумана... Отдѣляется и растетъ. Онъ движется, колышется... То будто нагибается... Пропадетъ и опять покажется ближе и ближе.

— Это врагъ ползетъ... — подсказываетъ возбужденный мнительный мозгъ.

— Врагъ и есть...

Думаешь про себя солдатъ и тихонько беретъ ружье... Прикладъ твердо уперся въ плечо. Зорко взять прицѣль. Силуэтъ окончательно выросъ въ туманѣ. Еще мгновение и огнистая струя пронизываетъ туманъ, и въ молчаніи ночи гремитъ выстрѣлъ, будя окутавшіеся въ мглу и заснувшіе лоцины, холмы, ущелья и овраги.

— Чу... Должно турка замѣтили...

И въ слѣдующемъ звенѣ гремитъ другой выстрѣлъ... Третій, четвертый, пятый... По всей цѣпи, то взбѣгая на холмы, то опускаясь въ лоцины, быстро развивается трескотня выстрѣловъ. По всей цѣпи — беспорядочная, нервная, порывистая стрѣльба знаменуетъ собою возбужденную чуткость и подозрительную мнительность часового, поддавагося опасеніямъ и фантомамъ мрака... И долго гремитъ стрѣльба, потому что, увѣрившись — изъ того, что сигналъ его подхваченъ остальными, — въ близости врага, первый выстрѣлившій соображаетъ: «значить и другіе замѣтили» и повторяетъ выстрѣлы и повторяетъ какъ можно скорѣе, безъ прицѣла. «Пожалуй... уже близко... Пусть знаетъ, что мы видимъ, авось испугается и уйдетъ...» Иной разъ такая безплодная пальба разгорается на часъ, на полтора...

И у турокъ въ аванпостной цѣпи то же самое...

И тамъ нѣтъ-нѣтъ да и всполошатся... Даже отсюда видно, несмотря на туманъ.

Блеснетъ огонекъ, другой... Вонъ бѣгутъ огоньки... Вверхъ и внизъ... Линіей прихотливой, капризной, пропадающей изъ глазъ въ лоцинѣ, чтобы сейчасъ опять взбѣжать наверхъ. Оттуда сыплются къ намъ пульки, шипя уходятъ въ мокрую землю, словно воду каплютъ на раскаленное желѣзо... Словно мелкія змѣйки злобно впиваются въ почву свои невидимыя жала...

Но мало-по-малу тухнетъ перестрѣлка, какъ больной, теряющій силу; смолкаетъ трескотня... Изъ сплошной — одиночная... Расстоянія, промежутки между выстрѣлами все меньше и меньше... И опять зловѣщее молчаніе ночи, и опять ея черная дума надъ тѣмъ, что будетъ завтра... И опять только слезы невидимыхъ звѣздъ проникаютъ черезъ траурный покровъ тучъ и падаютъ на злополучную землю...

## V.

## Третья Плевна: передь боемъ.

Къ разсвѣту туманъ сталъ еще гуще...

Зари не было совсѣмъ. На востокъ замерещились какіе-то сѣроватые тоны... Тьма медленно уходила съ заплаканныхъ полей и холмовъ, точно ей трудно было двигаться въ этой густой мглѣ, будто эта мгла была сильнѣе ея... Въ лощинахъ и балкахъ, въ глубокой тѣсинѣ рѣки Тученицы еще стояла ночь. Ее точно удерживали эти сырыя пустынные низины... Роптавшая въ оврагѣ вода одна оглашала безлюдье, окружавшее пока турецкіе редуты... Земляные валы ихъ совсѣмъ закутались въ тучи... Свинцовое небо еще ниже нависло надъ унылыми высотами. Тучи спускались внизъ, чтобы отдохнуть на голыхъ вершинахъ, прежде чѣмъ отправиться дальше — туда, куда сегодня уйдетъ много неповинныхъ душъ въ далекое плаваніе съ невѣдомыми бурями и неизвѣстными берегами... Около батарей вмѣстѣ съ туманомъ неподвижно стоялъ пороховой дымъ... Ему нельзя было прорваться вверхъ, сквозь эту тяжелую мглу, онъ и остался на землѣ, зловѣщій и удушливый... На аванпостахъ совсѣмъ скверно... За ночь земля до того наплакалась, что липкая глина ея стала какимъ-то жидкимъ мѣсивомъ... Она задерживала шаги солдатъ, словно не желая отпустить ихъ впередъ — туда, гдѣ ихъ ждала гибель неминуемая... Слезы сырой осенней ночи пропитали платье до рубашекъ... Солдаты ежились, переступали съ ноги на ногу, пробовали схватываться — авось согрѣешься, но потомъ становилось еще хуже, еще невыносимѣе... Садиться приходилось въ ту же липкую грязь, ложиться въ нее же... Кое-кому удалось заснуть... Заснулъ и Ивковъ, но проснулся съ разсвѣтомъ въ лужѣ холодной воды... Подъ тяжестью его тѣла просочились наверхъ мутныя слезы земли.

— Эге... — замѣтилъ, улыбаясь, Дороновичъ... — Этакъ вы на вѣки-вѣчные ревматизмъ благопріобрѣтете...

— Все равно... Не сегодня — такъ завтра... Знаете вѣдь, какая бойня намъ достанется сегодня.

— Да ужъ турку не сдобровать.

— Ну, а намъ дешево обойдется? Вѣдь помните подъ Ловчей, сколько насъ было?

— Увы — на половину офицеровъ...

— А, сегодня, пожалуй, и остальные... Мертвымъ ничего... Каково живымъ-то будетъ, искалѣченнымъ?

— У меня никого нѣтъ.

— Вы человѣкъ счастливый... А у меня...

И Ивковъ не договорилъ, а дотронулся только до праваго бока, точно желая убѣдиться, тутъ ли портретъ...

— А у васъ что? — переспросилъ Дороновичъ.

— Такъ... Не то страшно, что убьютъ... Семи не бывать — одной не миновать, дѣло извѣстное... Насъ вѣдь давно называютъ пушечнымъ мясомъ — туда и дорога... Скверно только то, что позади насъ остается нищета, одиночество...

— Свѣтъ не безъ добрыхъ людей...

— Гдѣ они эти добрые люди? Нѣтъ, батюшка, богатымъ людямъ и умирать ничего... А вотъ намъ, армейцамъ...

— Что это позади?..

Глухой гулъ доносился изъ тумана. Словно оттуда надвигалась стѣна какая-то... Это еще не былъ топотъ тысячи ногъ, шаги сливались... Казалось, что земля колеблется тамъ, покрывая всѣ остальные звуки.

— Должно быть, наши двигаются...

— Да ужъ лучше идти, чѣмъ стоять въ этомъ туманѣ...

Когда совсѣмъ разсвѣло, туманъ немного порѣдѣлъ... Не то чтобы стало ясно, а такъ, впереди намѣтились очертанія холмовъ... Позади стоявшій брустверь батареи сѣрою трапеціей вырѣзался въ туманѣ. Скаты горы подъ ней, покрытые кукурузой, казались какими-то пушистыми, махровыми, точно въ листьѣ манса засѣла клочьями еще болѣе густая мгла... Силуэты людей то сливались съ нею, то выдѣлялись, опять принимая въ этомъ маревѣ фантастическіе размѣры.

— Ого... Двигаются...

— И очень много ихъ... Тутъ цѣлая бригада, пожалуй...

Дѣйствительно, отъ бруствера батареи весь скатъ горы внизъ покрылся людьми. Черныя, туманныя фигуры ихъ медленно двигались внизъ, наполняя всю окрестность ровнымъ гуломъ своихъ шаговъ. Чуткое ухо могло бы уловить и шелестъ кукурузы, и легкій трескъ виноградниковъ, ломавшихся подъ ногами...

— И батарея снимается?..

— Кажется... Переходимъ на слѣдующую позицію вѣрно.

— Нѣтъ, не должно быть... Наступленіе начинается послѣ полудня.

— Да вѣдь вы нашихъ развѣ не знаете?.. Мы раньше передви-  
немся...

Въ ровномъ гулѣ шаговъ и шелестѣ порослей слышались уже иные звуки... Отрывками доносилась команда, звенѣли орудія, выносившіяся вмѣстѣ съ отрядомъ... Ржаніе коней сливалось иной разъ съ отрывистымъ — «рады стараться» и «здравія желаемъ», перебѣгавшими по всей этой медленно шедшей впередъ массѣ. Вѣрно какое-нибудь начальство проѣзжало впередъ, привѣтствуя то ту, то другую роту... Когда туманъ еще болѣе порасчистило, Ивковъ, оглянувшись назадъ, увидѣлъ, что въ амбразурахъ сѣраго бруствера уже совсѣмъ не видать орудій. Значить, и эти — ближайшія — снялись... Топотъ все громче и слышнѣе. Внизу, въ лощинѣ, отдѣляющей ту гору, гдѣ стоитъ аванпостъ, отъ той, на которой высится теперь мертвый брустверь вчерашней батареи, кишмя-кишатъ солдаты... Кажется, что туда могучимъ напоромъ прорвалась рѣка и бѣшено мчится впередъ, сворачивая встрѣчающіяся на пути скалы и смывая земляныя осыпи, мѣшающія ей вспѣннымъ волнамъ... «Здравія желаемъ» и «рады стараться» уже отчетливо гремитъ внизу; вотъ оно вспыхнуло уже на самомъ востокѣ.

— Кто бы это былъ?...

— А вонъ видите...

— Смутно что-то...

Нѣсколько человѣкъ верхами быстро вѣзжали на гору... Словно услышавъ движеніе цѣлыхъ массъ къ себѣ навстрѣчу, турецкій редутъ на второй зеленой горкѣ бросилъ сюда пробную гранату; будто дрожка отъ холода въ этой сырой и мгlistый день, граната шлепнулась въ жидкое мѣсиво глины и обдала грязью Ивкова и Дороновича.

— Ишь, подлая, гдѣ упасть вздумала!.. Мѣста ей не было... Хорошо еще, что не разорвалась...

Другая щелкнула впереди — тамъ, гдѣ на клочкѣ, сравнительно, сухой земли въ густую чащу переплелись виноградники. Словно ошалѣвъ, оттуда выскочилъ заяцъ и со-слѣпу наткнулся на Ивкова...

Офицеръ поблѣднѣлъ и вздрогнулъ.

— Это, кажется, заяцъ?..

— Онъ самый... подлець... Нашель время... Да вѣдь вы не суевѣрны же?

— Разумѣется, нѣтъ... Глупость это.

А самому еще холоднѣй стало, и въ головѣ — словно пульсъ забился — стала шевелиться безотвязная мысль: «скверное предзнаме-

нованіе, совсѣмъ скверное... и прямо на меня, ни вправо, ни влѣво...»

— Оно дѣйствительно неприятно, хотя смѣшно вѣдь... Невинный заяцъ — и вдругъ изъ него дѣлають вѣстника смерти!.. Знаетъ ли онъ о той роли, которую ему назначило суевѣріе царей природы...

«И она приходила прощаться съ тобою... Сегодня ночью приходила!»

Вспомнилъ Ивковъ сонъ, видѣнный имъ. Бѣлокурая головка выдѣлилась изъ этого густого тумана и нѣсколько разъ наклонилась къ нему сегодня ночью... Когда онъ проснулся, ему казалось, что на лицѣ у него еще осталась теплота ея дыханія, влажные слѣды ея прощальныхъ слезъ. Даже теперь, зажмуривъ глаза, онъ, казалось, ощущалъ все это...

— Вѣдь во снѣ не я у нея былъ, а она ко мнѣ пришла... Интересно, видѣла ли она меня сегодня?... Вѣдь говорятъ передъ смертью...

— Да это Скобелевъ и есть...

И Дороновичъ быстро пошелъ по цѣпи посмотрѣть, все ли въ порядкѣ.

Бѣлая фигура генерала на бѣлой лошади была уже близко... Видно было лицо — озабоченное, нахмуренное. И холодно ему было, а все же онъ не хотѣлъ снять своего традиціоннаго костюма. Носъ посинѣлъ, на русой бородѣ осѣла влага... Скобелевъ, покусывая усы и морща лобъ, слушалъ ѣхавшаго рядомъ офицера, который изрѣдка указывалъ ему на клочекъ бумажки, бывшей у него въ рукахъ, — должно быть, кроки. Взглядъ генерала разсѣянно блуждалъ по сѣрымъ скатамъ, по неопредѣленнымъ очертаніямъ холмовъ, мерещившихся впереди, и только доходя до темнаго силуэта редута, уже выяснившагося передъ нимъ, упорно останавливался на немъ и точно хотѣлъ проникнуть въ эту толстую массу земли, рассмотреть, что тамъ за ней находится; потомъ онъ опять обращался на окрестности редута и скользилъ по нимъ.

— Вы знаете, душенька, теперь толковать нечего... Разсуждать поздно... Велѣли, и возьмемъ!..

— Дорого обойдется...

— Даромъ и прищъ не вскочить... Какая рота?... — остановилъ онъ коня передъ Ивковымъ.

Тотъ откозырялъ и отвѣтилъ.

— Хорошій полкъ... Сегодня, капитанъ, дѣло серьезное... Господамъ офицерамъ придется лично подавать примѣръ. Всѣ семейные?..

— Почти, ваше превосходительство.

— Ну, на сегодня, капитанъ, вы объ этомъ позабудьте... Хо-



рошій солдатъ знаетъ только одно — идти впередъ, не оглядываясь, когда ему приказываютъ это... Слышите?

Ивковъ приложился къ козырьку.

— Ваши на аванпостахъ?

— Точно такъ.

— Соберите ихъ и примкните къ своимъ. Полкъ идетъ за мной.

— Что, ребята, устали? — обернулся онъ къ солдатамъ.

— Устали, ваше-ство.

— И холодно?

— Точно такъ, ваше-ство.

— Скоро согрѣмся... Жарко будетъ. Передъ дѣломъ еще потолкуемъ съ вами... Ну, душенька, — обернулся онъ опять къ офицеру, сопровождавшему его, — такъ мы съ вами вдвоемъ сдѣлаемъ рекогносцировку. Пока я не вернусь — не стрѣлять, я буду впереди.

И Скобелевъ отправился къ турецкимъ позиціямъ, не сходя съ лошади и не отрывая взгляда съ сѣраго профиля грознаго редута, вѣчавшаго пологій скатъ холмовъ впереди, только рука нервно отбрасывала по сторонамъ русые бакены, да брови хмурились, выдавая волненіе генерала...

— Видите ли эти черточки... Лѣсенками!... Это у нихъ траншеи... Тутъ защита въ нѣсколько ярусовъ... Дѣло будетъ жаркое... Тяжелое дѣло...

— Дай Богъ успѣха, генералъ.

— Съ наличными силами я возьму эти редуты, но утвердиться на нихъ, отбить турокъ — удастся только, если во-время придутъ подкрѣпленія...

— А, можетъ быть, турки уйдутъ, не будутъ пытаться отнять назадъ.

— Едва ли... Здѣсь — ключъ позиціи... Это сердце плевенской защиты... Разъ мы здѣсь — Османъ не можетъ держаться въ Плевнѣ — ему нужно уйти. Нѣтъ, онъ сдѣлаетъ навѣрно нѣсколько энергичныхъ попытокъ отбить эти редуты. Не дуракъ же онъ!..

Полки стали на сравнительно сухомъ мѣстѣ въ виноградникахъ.

Тишина на позиціяхъ... Ея не нарушалъ даже гулъ орудій, потрясавшій по временамъ воздухъ, отяжелѣвшій отъ тумана.

Клубы порохового дыма застилали даль...

Молча смотрѣли солдаты впередъ на турецкія твердыни...

— И зарылся же онъ, братцы!..

— Въ нору засѣлъ...

- Не возьмемъ...
- Возьмемъ — не возьмемъ, а долбануть надо.
- Приказано — значить, возьмемъ...
- Эхъ!..
- И чего это турка бунтовать вздумалъ... И ему неспокойно, и намъ бѣда...
- Что и говорить!..
- Только ёнъ солдатъ хорошій...
- Обстоятельный...
- И ружье у ево — первый сортъ... Съль себѣ за валомъ и стрѣляй!..
- Ружье у ево — что говорить! — шарманка!..
- Ишь, земли наворотилъ.
- Къ сапѡгамъ пристааетъ земля, держать... пущать не хотить...

Опять ниже и ниже стали опускаться тучи... Сѣрая клочковатая масса совсѣмъ окутала солдатъ... казалось, что вмѣстѣ съ нею они двигаются куда-то далеко, далеко... на сѣверъ... на милую родину, гдѣ ждетъ — не дожидется семья своего кормильца...

Тихо проносятся тяжелыя тучи... Одна за другою и каждая обнимаетъ этихъ обреченныхъ, каждая словно не можетъ оторваться отъ этого холма... Приникаетъ къ нему, обхватить влагой эти сѣрыя фигуры, прокрадется холодомъ въ сердца, и безъ того измученныя, и тихо, точно съ сожалѣніемъ снимаясь, плыветъ себѣ на сѣверъ за Дунай — далеко, далеко, кропя слезами пустынные поля...

## VI.

### Третья Плевна: между ранеными.

У доктора Хохлова руки по локоть въ крови.

Со всѣхъ сторонъ несутъ раненыхъ; врачи сначала пробовали ихъ считать — потомъ бросили. За третью тысячу перевалило, а дѣло еще только въ самомъ началѣ. Легкихъ и не перевязываютъ — обойдутся и такъ, возятся только съ тяжелыми — да и тѣхъ передъ каждымъ врачомъ лежатъ десятки... Пока онъ работаетъ надъ однимъ, длинная вереница санитаровъ доставляетъ еще нѣсколькихъ. Тишина

стоит надъ перевязочнымъ пунктомъ. Раненые еще молчатъ; только къ вечеру они почувствуютъ острые боли; только когда смеркнетъ этотъ сырой туманный день, — надъ шатрами госпиталей, вокругъ нихъ на мокрыхъ низинахъ, въ лазаретныхъ фургонахъ, на тряскихъ арбахъ — подыметя стонъ, и, словно вой вѣтра по оголеннымъ полямъ, станетъ онъ на цѣлыя версты разноситься вокругъ этого побоища. На бивакахъ среди утомленныхъ и уже, разумѣется, не по своей винѣ уцѣлѣвшихъ солдатъ, въ палаткахъ штабныхъ генераловъ, въ деревняхъ, оставленныхъ населеніемъ и занятыхъ войсками, — нигдѣ не будетъ спасенія отъ этихъ молящихъ о состраданіи криковъ. Покажется, что туманъ рождаетъ ихъ; они, какъ этотъ же туманъ, станутъ давить заплаканныя поляны... Иной, вслушиваясь, сказалъ бы, что это старая земля стонетъ и мучится передъ своею запоздалою смертью. Не такой ли крикъ преслѣдовалъ Каина, когда, закрывъ лицо свое, онъ бѣжалъ все впередъ и впередъ, уходя отъ мѣста, гдѣ впервые пролилась кровь человѣческая?... Не такой ли стонъ слышался ему, когда, замурясь, онъ все-таки видѣлъ передъ собою покорный и кроткій взглядъ брата?

Сунулся было сюда, на перевязочный пунктъ, питерскій хлыщ-докторъ изъ нѣмцевъ.

— Сколькихъ вы перевязали? — наткнулся онъ на Хохлова.

— А вамъ-то что?

— Я долженъ донести генералу Косинскому. Генераль интересуется... Генераль послалъ узнать... Что прикажете доложить его превосходительству?

— Пусть пришлетъ побольше врачей... Не хотите ли заняться сами? Снимите-ка бѣлыя перчатки. Видите, рукъ мало...

— Но генераль... Это что такое? — и врачъ изъ нѣмцевъ побѣлѣлъ.

— Граната.

— Какъ граната?... Зачѣмъ... Какая граната?... Да развѣ онъ сюда падаютъ?... Господи, опять... — И онъ присѣлъ, пугливо озираясь.

— А это пули посвистываютъ.

— Казакъ, казакъ!.. Коня!.. — Ошалѣвъ, онъ наткнулся было на раненаго, потомъ влетѣлъ въ походную аптеку. Наконецъ, казакъ съ конемъ попался ему на глаза. И щеголеватый нѣмчикъ въ бѣлыхъ перчаткахъ, кое-какъ вскочивъ въ сѣдло, помчался назадъ, съ каждымъ шагомъ оглядываясь, не догоняютъ ли его свинцовыя пчелы, что, казалось, кружатся вездѣ, преслѣдуя бѣднаго доктора медицины, специали-

ста по женскимъ болѣзнямъ и еще болѣе по подхалимству, неизвѣстно зачѣмъ попавшаго сюда. «Вотъ — адъ!» — шепталъ онъ про себя. — «Господи, помоги мнѣ!» — замолился онъ, какъ можно ближе прикивая къ шеѣ лошади и чувствуя какой-то нестерпимый зудъ въ спинѣ, точно свинцовая пчела кружилась вотъ тутъ, около, готовая сейчасъ впиться въ его бѣлое выхоленное тѣло...

Раненые молчали... Только изрѣдка казавшійся мертвымъ солдатъ вдругъ вскакивалъ въ носилкахъ, когда зондъ врача глубоко проникалъ въ его рану. Раненый вскрикивалъ отъ ужаса и боли и, схвативъ врача за руку, напряженно вглядывался въ лицо ему... Но скоро мускулы несчастнаго слабѣли, и онъ какъ снапъ падалъ назадъ... Часто для того, чтобы больше уже не подыматься никогда... никогда... Вонъ они въ сторонѣ лежатъ, эти, — спокойные, недвижные... Имъ уже не больно, и зондъ врача можетъ, сколько угодно, впиваться въ ихъ тѣло. Ни одна жилка не шевельнется у нихъ; въ раскрытыхъ глазахъ уже не мелькнетъ выраженіе безконечной муки... Они уже плывутъ къ неизвѣстнымъ берегамъ, хотя скорбныя души, оставившія ихъ тѣла, кажется, пока еще витаютъ въ этомъ туманѣ, дѣлая его еще болѣе тоскливымъ, тяжелымъ...

Доктору Хохлову некогда... Онъ перевязалъ добрую сотню. Руки заостенѣли, въ виски стучить кровь. Пули то и дѣло пощелкиваютъ въ фургонъ Краснаго Креста, стоящій тутъ же въ ожиданіи печальнаго груза, который нужно доставить еще далѣе на второй перевязочный пунктъ, гдѣ опять нѣсколько человѣкъ отправятся въ плаваніе къ неизвѣстнымъ берегамъ, скинувъ съ себя, какъ жалкую ветошь, свои продыравленные, разсѣченные, никому теперь ненужныя, тѣла. Докторъ Хохловъ и не обращаетъ вниманія на этихъ свинцовыхъ шмелей. Онъ озабоченно хмуритъ свои сѣдые брови, что вовсе не дѣлаетъ суровымъ его добродушное лицо съ мягкимъ круглымъ носомъ и щетинистыми усами... Онъ не понукаетъ свою молодежь, та и безъ того не покладаетъ рукъ. Вонъ одинъ изъ врачей совсѣмъ потерялъ силы. Упалъ ничкомъ — лицомъ въ заплаканную, холодную землю и не видеть и не слышитъ ничего...

— Эй, Кострюковъ! — подходитъ къ нему товарищъ.

— Оставь!.. Дай очнуться!

— Глотни-ко.

И врачъ протягиваетъ къ лежащему флагу съ коньякомъ. Тотъ съ усиленіемъ приподымаетъ отяжелѣвшую голову, съ усиленіемъ подноситъ горлышко ко рту и, сдѣлавъ глотокъ, медленно садится на землю.

— Ну-ко еще! Что съ тобой?

— Да вторую сотню перевязываю... Спасибо... Теперь опять оправился...

Одинъ изъ врачей самъ попалъ въ носилки, и его уже отправили назадъ. Наклонился, перевязывалъ, а въ это время пролетавшій надъ нимъ свинцовый шмель впился какъ разъ ему въ спину, когда онъ приподнялся, чтобы спросить что-то у фельдшера. Точно палкой стукнуло. Ошеломило на минуту, а потомъ ощущение чего-то мокраго, теплаго, ползущаго по тѣлу. Дотронулся, на пальцахъ свѣжая кровь.

Вдали стоялъ неумолкаемый грохотъ; стихійный бой шелъ тамъ, не смолкая съ самаго утра. Прислушиваясь, ухо отличало въ немъ и залпы грозной батареи, и трескотню ружейной перестрѣлки, и глухіе отдаленные отголоски «ура», которое такъ звучитъ вдохновенно или злобно, а сюда доносится слабымъ стономъ... Къ этому «ура» прислушиваются раненые, и на минуту оживляются ихъ измученныя лица...

— Наша, должно быть, беретъ... Это наши ихъ гонять. Дорвались вѣрно... Ишь голосать...

— Съ той стороны слышно... Тамъ Владимирцы работаютъ... Шибко идутъ.

— Должно, въ штыки пошли. Поди, народу растеряли.

— Я тоже, какъ въ штыки пошли, — упалъ... Все шелъ, какъ въ плечо раненъ былъ, а тутъ она въ колѣно вдарила.

Легко раненые, нервно прислушиваясь къ чужому «ура», порой схватывали на минуту оставленные ружья и уходили къ своимъ частямъ... Стадное тянуло. Свои въ штыки идутъ, свои дерутся. Ужли жъ здѣсь оставаться... Слава Господу! только чуть тронуло, можно еще поработать.

— Куда ты?... Оставайся! Сейчасъ рану посмотрю, — удерживалъ такихъ Хохловъ.

— Вонъ ихъ смотри!.. Я иду, куда мнѣ надо! — грубо обрѣзывалъ раненый и уходилъ въ огонь, чтобы сейчасъ же, еще не дойдя до боя, вернуться, но уже распластавшись на окровавленной холстинѣ носилокъ, всюду на мокрой землѣ оставлявшихъ черныя зловѣщія слѣды.

Перебаты ружейнаго огня вдалекѣ становились еще слышнѣе и слышнѣе... Скоро они покрыли и голоса врачей, и говоръ легко раненыхъ, и стукъ лазаретныхъ фургоновъ. Напрасно раненые вперяли туда внимательные взгляды, они ничего не могли разобрать въ этомъ стихійномъ грохотѣ. Порою казалось, что это старуха-земля, уже вдоволь насмотрѣвшаяся всякихъ ужасовъ и попривыкнувшая къ нимъ,

вздрагивала и вскрикивала, авось хоть ее услышитъ небо... Но небо было сегодня далеко, далеко. Между его голубымъ, ласковымъ просторомъ и этою окровавленной землею лежали грузныя, сѣрыя, непроницаемыя, равнодушныя тучи. Крики, оглушительный грохотъ перестрѣлки терялись въ нихъ, не долетая до святыхъ ангеловъ, которые, какъ всегда, безмятежныя и спокойныя, носились въ солнечныхъ лучахъ надъ этимъ моремъ однообразной мглы.

— Тебя это на батареѣ? — обратился одинъ раненый къ другому.

— Да... стрѣлять нельзя... Платформы намокли... Орудія опрокидываются... Совсѣмъ бѣда!

Грохотъ перестрѣлки казался порою голосомъ бури. Эти редуты стояли какъ несокрушимыя скалы посреди разъяренного океана. Съ бѣшенымъ ревомъ налетали на нихъ оцетинившіяся штыками толпы людей, какъ вспѣнныя волны, и, разбивъ свои бѣлые гребни о подножіе гранитныхъ скалъ, откидывались назадъ, разсѣивались по крутымъ хребтамъ новыхъ волнъ, шедшихъ имъ на смѣну. Казалось, въ своемъ недвижимомъ спокойствіи вѣчно будутъ стоять эти утесы, и такъ же вѣчно налетать и дробиться о нихъ бѣшенныя волны.

— Мы сегодня окажемся безсильны, насъ мало!

И спокойный до сихъ поръ Хохловъ съ отчаяніемъ взглянулъ на свою молодежь.

— Господи, что дѣлаютъ штабные врачи?

— Да они теперь развѣзжаютъ съ приказаніями и суются какъ можно чаще на глаза къ начальству.

— Ну, господа, за работу, за работу!

И сжавъ на минуту виски покрытыми кровью руками, Хохловъ опять принялся за дѣло, стараясь быстротою его навестать слабость наличныхъ силъ... Хохловъ былъ замѣчательною личностью, его хорошо знала вся 16-я дивизія, какъ потомъ узналъ 4-й корпусъ. Въ минуты, когда кругомъ все теряло голову, онъ сохранялъ полное спокойствіе и самообладаніе. Въ одномъ дѣлѣ подъ Плевной къ нему снесли около четырехсотъ раненыхъ... Работало всего трое врачей... Турки упорно поддерживали свои атаки; — наши начали было отступать. Скоро перевязочный пунктъ оказался въ самомъ опасномъ положеніи — чуть не на боевой позиціи. Хохлову прислано приказаніе отойти съ тѣми, кого онъ успѣетъ захватить. Понятно... Если ударъ турокъ будетъ удаченъ — еще часъ, и докторъ Хохловъ въ ихъ рукахъ... А тамъ нестерпимыя муки, смерть. Что было дѣлать? Спасаться самому, исполняя приказъ, и унести десятка три раненыхъ? Погибнуть осталь-

ные. Хохловъ зажалъ въ кулакъ полученный приказъ и никому не сказалъ ни слова. Весь этотъ часъ онъ проработалъ, не поднимая головы; черезъ часъ турки были отбиты... Хохловъ разорвалъ приказъ и зарыдалъ отъ волненія, которому только теперь далъ волю.

Оставь онъ раненыхъ и отойди, они бы истекли кровью... Да и когда бы ихъ стали собирать потомъ!?

— Это что такое здѣсь?

Хохловъ поднялъ голову, чуть не столкнувшись съ конемъ, фыркавшимъ надъ нимъ.

— Кой чортъ тутъ мѣшаетъ?..

— Будьте поосторожнѣе, докторъ!.. Смотрите, съ кѣмъ вы разговариваете.

— Видите, дѣла сколько, чего вы лѣзете!

— Да что у васъ здѣсь такое? — недоумѣвалъ штабный генераль, поправляя очки.

— Кажется, ясно — перевязочный пунктъ!

Пули опять стали посвистывать.

— Да, у васъ тутъ не совсѣмъ безопасно, — и онъ сталъ кланяться направо и налево, точно встрѣчая знакомыхъ.

— Не совсѣмъ...

— Какъ же вы смѣли здѣсь избрать пунктъ, подъ огнемъ.

— Уйдите вы, ради Христа!.. Гдѣ же его расположить!

— Версты двѣ позади...

— Интересно, — сколько бы раненыхъ тогда донесли до меня. И теперь масса ихъ тамъ валяется.

— Гдѣ генераль Скобелевъ? Я посланъ къ нему.

— На второмъ редутѣ.

— Кто у него былъ тамъ?

— Я, ваше-ство, — приподнялся раненый офицеръ.

Генераль началъ его разспрашивать, внимательно записывая въ книжку свѣдѣнія, сообщавшіяся имъ.

— Вы сами бы туда съѣздили, — предложилъ ему Хохловъ.

— Благодарю васъ! Мнѣ еще умирать не хочется. Да и вамъ я не совѣтую возиться здѣсь... Не ваша это обязанность.

— Кто какъ понимаетъ свои обязанности!

Въ суматохѣ, кипѣвшей вокругъ перевязочнаго пункта, трудно было разобрать что бы то ни было. Какой-то уполномоченный Краснаго Креста, молодой человекъ, — скакалъ во всю прыть, сопровождая фургонъ, который тоже мчался, рискуя каждую минуту или потерять ко-

леса, или опрокинуться въ оврагъ. Съ уполномоченнаго давно слетѣла шапка; она болталась на шнуркѣ, позади, за шеей; волосы вскочились и налипли на лобъ; въ глазахъ смятеніе полное... Иной разъ, когда фургоны попадали въ влажную талину, когда грохотъ его смягчался жирною почвою, извнутри раздавались крики и стоны, еще болѣе усиливавшіе смятеніе молодого человѣка.

— Скорѣй, каналья! — торопилъ онъ кучера, размахивая надъ его головою нагайкою.

Тотъ тоже въ слѣпомъ страхѣ нахлестывалъ лошадей, а извнутри, гдѣ койки качались, подбрасывая раненыхъ, стучая ихъ то о потолокъ, то объ полъ, то другъ о друга, расшатывая раздробленные кости, размочаливая изодранные пулями и осколками гранатъ мускулы, — еще болѣе усилились крики, переходя въ какой-то вопль.

— Что вы, князь, съ ума сошли?! — налетѣлъ на уполномоченнаго Хохловъ.

— Раненыхъ привезъ. Взялъ и привезъ. Съ самаго мѣста въ карьеръ. Взялъ и привезъ...

— Да васъ разстрѣлять мало!..

— Собралъ и привезъ, — оторопѣло повторялъ молодой человѣкъ. очевидно, не сознавая, что онъ, гдѣ онъ, что ему говорить и что онъ отвѣчаетъ.

— Собралъ и привезъ... Вотъ они — берите! Сорокъ тутъ... А я еще поѣду.

И опять вдругъ сорвался.

— Ну, каналья, назадъ! — налетѣлъ онъ ни съ того, ни съ сего на кучера. — Назадъ, подлець!

— Стащить его съ лошади! — приказалъ Хохловъ.

Оторопѣлаго уполномоченнаго стащили съ сѣдла. Онъ все-таки опять порывался назадъ — взять, схватить съ мѣста въ карьеръ привезти сюда...

Изъ раненыхъ половина оказалась уже мертвыми... Остальные потерпѣли болѣе или менѣе тяжелое поврежденіе.

— Видите, что вы надѣлали!..

— Помилуйте! Я налетѣлъ... взялъ... въ карьеръ.. Сюда...

— Убирайтесь вы совсѣмъ отсюда... Лучше будетъ... Вотъ непрошенные помощники!

А издали несли все новыхъ и новыхъ раненыхъ.

Бой еще только начинался...

Гремѣло у Гривицы, гремѣло у Кришина. Окуренные облаками по-



рохового дыма турецкіе редуты казались неприступными... Сотни орудій выбрасывали гранаты на нихъ. Но онѣ не попадали въ цѣль. Зато дождь свинца оттуда уже давно устлалъ трупами мокрые скаты холмовъ.

## VII.

### Третья Плевна: двинулись.

Ивковъ съ своей ротой оставался пока въ глубокомъ резервѣ.

— Вѣрно сегодня въ дѣло не пойдешь? — обратился къ нему Харановъ.

— Почему вы это думаете, юноша?

— Да уже полдень, а насъ не требуютъ...

Оба стали прислушиваться къ адскому треску залповъ, свисту гранатъ, обрывкамъ ярыхъ криковъ, доносившихся сюда... Не хотѣлось говорить, слушая эту грозу, не хотѣлось ни о чемъ думать, — легче казалось такъ... Не поддашься по крайней мѣрѣ впечатлѣніямъ, которыя и изъ храбраго человѣка сдѣлають труса... Станетъ рисовать на память милыхъ и дорогихъ людей, уютную обстановку иной — спокойной и не тревожимой никакими бурями — жизни, пахнетъ на тебя такою тишиною далекихъ мирныхъ полей, такъ ласково знакомые голоса начнутъ за тысячи верстъ шептать тебѣ на ухо, что — чего добраго — потянетъ схорониться вонъ въ ту темную балку, гдѣ столько навалило камней, гдѣ такія чудятся безопасныя убѣжища... А разъ поманитъ схорониться — до конца боя не успокоишься. Въ гущѣ кукурузы, въ каждомъ оврагѣ будетъ тебя подстерегать соблазнъ... Точно кто-то властный, помимо твоей воли, тянетъ тебя туда, къ себѣ, въ спокойное захолустье, куда не долетаютъ пули, надъ которыми высоко, высоко проносятся гранаты, тая въ себѣ смерть для другихъ... Не для тебя!.. И хорошо вѣдь сознаешь, какъ ты подлъ въ эту минуту; будешь карать и клеймить себя именемъ труса, мерзавца, негодяя... Передъ глазами станутъ мелькать измученныя лица товарищей, въ ушахъ зазвучатъ ихъ насмѣшливые, упрекающіе голоса... Вонъ они падаютъ, обливаясь кровью... Первый, второй, третій... Наконецъ некому командовать: офицеры перебиты; живъ ты одинъ, — иди же, иди скорѣй!.. Вѣдь солдаты, какъ робкое стадо, разбѣгутся безъ пастуха... Чего же ты медлишь, завтра тебѣ легче будетъ пустить себѣ пулю въ

любовь, чѣмъ встрѣтить ихъ взгляды... Да легче... А все-таки какъ ни ясно сознание, какъ ни мало привлекателенъ этотъ завтрашній день, — а съ ногами ничего не подѣлаешь. Подогнулись, отяжелѣли. точно свинцомъ налились — и ни съ мѣста. Встать силишься — а точно тебя гвоздемъ прибило къ этой землѣ; не замѣчаешь даже, какъ сыро здѣсь, какъ подъ тебя просочилась вода... Оттого-то опытные люди такъ избѣгаютъ этихъ предательскихъ овраговъ...

— Вонъ Харабовъ радуется, что насъ не требуютъ еще, — улыбнулся Ивковъ Дороновичу.

— Ну! вы, юноша, радоваться-то еще погодите... Слишкомъ рано...

— Я не то чтобы...

— Вонъ — видите — кто-то къ намъ скачетъ... Ишь, сломя голову несется...

Ивковъ обернулся туда... Туманъ нѣсколько разяснѣлъ уже. Видны были впереди сѣрые холмы, пологіе, пустынные. По одному изъ нихъ дѣйствительно во весь карьеръ несется молодой казачій офицеръ; пригнувшись къ лукѣ сѣдла.

— Да это Дукмасовъ?

— Онъ и есть... Точно сломать голову себѣ собирается.

— Ну, значитъ, Скобелевъ послалъ. Сейчасъ вѣрно двинемся.

Быстро, быстро заколотилось сердце въ груди, словно птица чѣмъ-то испуганная въ своей клеткѣ. Потомъ впереди, не такъ скоро будутъ смѣняться мысли, впечатлѣнія, воспоминанія, какъ теперь, — въ ожиданіи этого момента. Ни на чемъ голова остановиться не можетъ. Только что схватишься за одну идею, только что остановишься на ней — а тутъ новая вдругъ ее заслонить, точно облако ночью — набѣжавшее на робко мигающую звѣздочку... А за этимъ облакомъ — другое, третье... Вотъ уже ни одной звѣзды не видно, — пропали... Пропалъ и блѣдный мѣсяцъ; только тихій свѣтъ его проступаетъ сквозь эти быстро сѣгущія, никакого слѣда не оставляющія облака... Вотъ онъ гуще и гуще... Пропалъ и этотъ свѣтъ; послѣдній лучъ погасъ; въ головѣ ни искры... Бѣжить что-то черезъ мозгъ, какія-то тѣни проходятъ по немъ, тьма, сумбуръ, хаосъ... А сердце еще быстрѣе колотится въ груди, — еще тревожнѣе испуганная птица бьется въ своей маленькой, но крѣпкой клеткѣ. Настежь откройся она — разомъ бы вспорхнула и унеслась... куда? Да такъ — далеко, далеко. Можетъ быть, навстрѣчу этому всаднику, стремглавъ летящему сюда, а можетъ быть, — назадъ, туда въ родныя поля, въ родную тихую глушь...

— Генераль приказаль подвигаться резервамъ впередъ... Поскорѣе...

Даже и взглянуть не успѣлъ, кому отдалъ приказаніе... Взмахнулъ нагайкой.

— Хорунжій! — крикнулъ ему вслѣдъ Дороновичъ.

— Второй редутъ берутъ... Штыковой бой тамъ... Нужно... — А что *нужно* — уже не слышать; добрый донецъ уже унесъ всадника къ другому резерву.

— Вѣрно поддержать атаку нужно?

— Вотъ вы печалились, — улыбнулся Ивковъ Харабову.

— Я... ничего... готовъ, — совсѣмъ смутился тотъ.

— Видите, и насъ не забыли... Да вы не пугайтесь раньше времени.

— Да это вѣдь не трусость... — досадливо отвѣтилъ Харабовъ. — Я вовсе не боюсь...

— Ну, то-то... Будьте панишкой... Вонъ — видите — Дороновичъ какимъ козыремъ...

— Да вѣдь мы, капитанъ, сегодня безъ козырей сыграемъ? — сострилъ Дороновичъ.

— Какъ?

— Солдатомъ возьмемъ... Всякая двойка на счету будетъ...

— А страшно, дяденька? — допрашиваетъ молодой солдатъ у старика, который *волей* пошелъ на войну: старое вспомнилось, Севастополь всталъ въ памяти и потянуло съ сытаго, насиженного мѣста.

— Чего страшно... На печи умирать страшнѣй... Тутъ смерть веселая... Праведная кончина, сказано...

А у самаго — несмотря на то, что охотой пошелъ сюда, никте вѣдь не гналъ — мелькають въ памяти головки племянницъ, дочерей сосѣдняго швейцара... Мелькають неотлучно. Старикъ Парфеновъ былъ швейцаромъ въ Питерѣ у важнаго барина, а мужъ его сестры правилъ ту же высокую должность въ подвѣздѣ рядомъ; дѣвченки («махонькія, бѣленькія» — шепчетъ воспоминаніе) то и дѣло бѣгали къ ласковому дядѣ въ его каморку, гдѣ и одному повернуться тѣсно. «Одна, должно, и теперь нечесанная ходитъ», вспомнилъ онъ младшую замарашку, которую, зазвавъ къ себѣ, обыкновенно собственноручно мылъ — очень ужъ личико у ней въ грязи всегда, словно копытю его подергивало... И запахъ своей конурки почувялъ старикъ. «Вернусь ли? Поди Марья Ивановна теперь забыла меня — къ другому хозяину ластится...» Марья Ивановна занимала не послѣднее мѣсто въ воспо-

минаніяхъ питерскаго швейцара... Когда-то онъ, отворяя двери запоздавшему барину, вышелъ за подъѣздъ на тротуаръ... Такъ себѣ, безъ всякой мысли... Посмотрѣлъ вверхъ, внизъ... Что это около ногъ трется?... «Ишь ты, подлая, голодная вѣрно.» Парфеновъ поднялъ жалкую, маленькую кошченку, которая мяукала и толкала головой въ его подбородокъ... «Ишь — такъ и есть голодна; отоцала...» Взялъ ее къ себѣ въ каморку, называлъ ее Марьей Ивановной и вмѣстѣ съ племянницами сосредоточилъ на жалкомъ котенкѣ всю нѣжность своего сѣраго крестьянскаго сердца... И самому ему теперь странно: на бой идетъ, смерть тамъ въ каждомъ атомѣ воздуха, смерть подкарауливаетъ отовсюду, стережетъ какъ врагъ... А тутъ кошченка въ головѣ, какая-то Марья Ивановна лѣзетъ на умъ вмѣстѣ съ бѣлокурами головенками дѣтей... Странное существо человѣкъ. Этому бы Парфенову, — хотя бы въ оправданіе описаній нашихъ баталистовъ, хотя бы для осуществленія реляцій, нарисованныхъ самыми яркими красками, — о вѣрѣ и отечествѣ думать, пламенѣть враждою, желать сокрушить поганого турка, — вѣдь самъ же охотой пошелъ, значитъ, чувствовалъ, — а тутъ, въ самый драматическій моментъ, вдругъ облѣзлая Марья Ивановна съ обрубленнымъ хвостомъ и мокрымъ теплымъ носомъ... Онъ даже почувствовалъ, — точно она его толкаетъ этимъ носомъ въ мозолистую руку, — ну же, поласкай же... погладь...

— Дѣло не въ томъ, чтобы не трусить, — пояснилъ свою мысль Харабовъ, идя рядомъ съ Дороновичемъ, — жизнь всякому дорога... А лишь бы головы не потерять и честное свое дѣло сдѣлать... Не такъ ли? Вопросъ въ самолюбіи... Или въ сознаніи обязанностей...

— Такъ, по-вашему, людей не испытывающихъ боязни нѣтъ?

— Нѣтъ.

— А Скобелевъ?

— И Скобелевъ, какъ и всѣ, боится. Но на его отвѣтственности солдаты. Что такое генералъ? Это первый изъ солдатъ. На него всѣ глаза — онъ примѣръ... Какъ же не боится? Подъ Ловчей около него я былъ. У него и голосъ не дрожить — говоритъ, какъ всегда, шутить и остроумно шутить, вездѣ самъ впереди — а губы бѣлыя со-всѣмъ стали... Этого не спрячешь... Я вотъ тоже боюсь, — смерти боюсь, раны боюсь, страданій боюсь, а долгъ свой надѣюсь исполнить...

Туманъ все болѣе и болѣе рѣдѣлъ... Разъяснило до того, что въ сѣрой дымкѣ даже далекіе холмы подняли свои окутанные темнымъ маревомъ редуты. Они курились теперь. Казалось, что на эти вершины опустились тучи и испаряются кверху — такъ сѣрые валы редутовъ

были окутаны пороховымъ дымомъ отъ безостановочной палбы изъ орудій. Старого дыма было столь много, что новые выстрѣлы, казалось, не прибавляли его . . . Слышались только удары — а тучка все оставалась такой же непроницаемой и такъ же курилась вверхъ . . . Позади наши редуты и батареи прятались въ такіе же точно клубки тумана . . .

Солдаты шли молча . . . Слишкомъ серьезный моментъ былъ для того, чтобы разговаривать . . . За ночь надумались, наговорились. Только молоденькій паренекъ все добивался: «Что почувствуешь, какъ она самая вдарить?» Когда старикъ, раненый подъ Балаклавой, потомъ вторично въ Севастополѣ, удовлетворилъ его любознательность, малорослаго крѣпыша со вздернутымъ пуговкою носомъ одолѣла новая мысль: «Какъ же это на смерть да безъ покаянія — ни поца, никого и отысповѣдаться некому?» . . . Парфеновъ и на это нашелъ готовый отвѣтъ: кто умретъ на полѣ брани — тотъ прямо въ царствіе небесное — безъ разговору . . . Все равно что на духу былъ, и какіе грѣхи за тобою — все простится, потому ты за вѣру . . .

— Ды я, дяденька, не своей охотой . . .

— Чего?

— Да за вѣру . . . Не своей охотой я . . . Нась двое съ братомъ, ему надоть бы идти — да онъ жанатъ, ну тятенька меня и погналь . . . Я не *своей* охотой за вѣру-то . . .

— Все равно зачтется . . .

Успокоенный этимъ паренекъ задумался, что теперь дома . . . Хлѣбъ-то убрали давно; каковы сѣна нонѣ? Опрошлый годъ *большое* разореніе было — даже лишнюю коровенку свезли въ городъ — потому кормить нечѣмъ было, сѣна Богъ не далъ, такъ луга какими-то плѣшинами вышли . . . Ну а теперь все получше должно быть . . . А Матрена-то, подлая, поди съ сусѣднымъ парнемъ связалась безъ него, — не станеть же ждать, когда вернется суженый! . . . И дѣвка знатная, первый сортъ дѣвка — столько ребятъ наплодитъ — оно ничего, что маленько корява, сказываютъ корявое дерево-то еще и получше бываетъ, крѣпче . . . И на топоръ не такъ поддается . . . Да вотъ топоръ — пуцай-ко братанъ такъ нарубить — какъ онъ рубилъ . . . Небось — велотѣть . . . Супротивъ него никто не могъ. Какъ звизданеть — такъ желѣзо по самый корень въ бревно уходитъ — иной разъ едва его выдыбишь оттуда . . .

— Братцы! . . . — И паренекъ споткнулся прямо носомъ во взрытукъ чѣмъ-то землю.

— Вотъ тебѣ и на! Что же это? . . .

— Ты Богу молись, парень... Счастливъ. Ишь она передъ тобой вдарила...

Граната взрыла землю и легла въ ней, не разорвавшись... Парень, съ видимымъ любопытствомъ поглядѣвъ на нее, колупнулъ пальцемъ... Ишь она, какая!..

— А что, дяденька, ежели ее теперь по затылку-то да прикладомъ кокнуть... Ахнетъ?

— Костей не соберешь... Ее вѣдь съ этого самого рветъ.

— Ишь ты... круглая... словно бы еловая шишка, большая только... Я и не примѣтилъ, какъ она это...

— Еще бы она тебѣ показалась... Ишь ихъ сколько летитъ... Вонъ она — видишь?

Граната грохнулась въ сторону, взрыла кверху цѣлый снопъ земли и каменьевъ, лопнула и, словно разсѣянные, осиротѣвшія дѣти, осколки запѣли и застонали, разлетаясь впередъ — въ разбросанные цѣпи новыхъ, надвигавшихся оттуда резервовъ.

— Вотъ она какая... Поеть...

— Это, братъ, не поеть... Отпѣваетъ... Потому — желѣзо, а тоже чувствуетъ, что смерть несетъ...

Тутъ ужъ рота Ивкова вступила въ полосу недавняго боя. Направо и налево валялись еще неприбранные трупы. Только мало еще; видимо, что не были убиты наповаль — ранеными, тяжело ранеными ползли сюда — и, потерявъ послѣднія силы, замерли, сохранивъ и въ лицѣ и въ положеніи рукъ тотъ моментъ послѣдней мучительной агоніи, что наши художники обыкновенно упускаютъ, рисуя мертвыхъ на славныхъ поляхъ недавнихъ, кровавыхъ битвъ... А другого и пуля догнала, когда онъ думалъ уже, что совсѣмъ вырвался и только поплатился ранкой или оцарапаннымъ лицомъ... Иззади нагнала — ударила въ затылокъ, онъ и упалъ лицомъ внизъ — прямо въ сырую землю... Упалъ и руки разбросилъ, точно въ послѣднее мгновеніе своей жизни хотѣлъ обнять этотъ холодный прахъ, изъ котораго онъ вышелъ и въ который уже возвратился... Но тутъ еще было ихъ мало... Они пока возбуждали любопытство паренька, только одно любопытство; онъ даже шевельнулъ одного прикладомъ — очень ужъ сознательно смотрѣли широко раскрытые глаза изъ-подъ сломаннаго и отъ пота потускнѣвшаго козырька его кепки... И раны не видно... Зато раненыхъ здѣсь было множество. Ихъ несли, они сами шли навстрѣчу медленно подвигавшейся впередъ цѣпи... Эти уже стонали, напряженно глядявались въ лица здоровымъ, шедшимъ на нихъ солдатамъ, точно хо-

тѣли что-то распознать на нихъ и, поровнявшись съ цѣпью, приостанавливались.

— Голубчики! — стоналъ раненый, обводя глазами потерявшую правильность линію разбросанной цѣпи...

— Родные... Милые... Смертушка моя... Силь моихъ нѣтъ...

Другіе точно со-слѣпа брели на цѣпь; солдаты сторонились, давали имъ дорогу, и по лицу раненыхъ видно было, что они даже не замѣтили, прошелъ кто мимо или нѣтъ.

Шли иной разъ съ страшными ранами. У другого грудь насквозь, а онъ идетъ, идетъ, хрипитъ, кровь выплевываетъ вмѣстѣ съ пѣной, — а идетъ; — и еще быстрее, чѣмъ шелъ бы здоровый, — словно спѣшитъ куда-то, за чѣмъ-то, словно времени нѣтъ подождать, — словно это что-то готовится уйти отъ него. И дѣйствительно, — жизнь, за которой онъ гнался, быстро уходила отъ него, — такъ быстро, что онъ не могъ добѣжать, чтобы опять за нее схватиться, за это «что-то», оставлявшее его тѣло, отступавшее передъ нимъ, и тѣмъ быстрее, чѣмъ больше онъ торопился... Вотъ — въ послѣднихъ усиліяхъ — онъ еще скорѣе перебираетъ ногами, протягиваетъ впередъ руки, словно желая зацѣпиться за что-то; но оно уже далеко, слишкомъ далеко; повидимому, и гнавшійся за нимъ солдатъ созналъ всю невозможность разстоянія, образовавшагося между ними... Созналъ и падаетъ на землю, а грудь, въ послѣднихъ своихъ конвульсивныхъ движеніяхъ, сочитъ кровавую пѣну и сквозь уже оскаливающіеся зубы умирающаго, и сквозь маленькую, чернѣющую на ней, на этой груди, дырку...

Обойдутъ и этого солдата, — и все впередъ, впередъ... Что за дѣло до нихъ? жалость молчить, — не до нея теперь, когда скоро, вотъ-вотъ сейчасъ, сію минуту, самому придется такъ же обернуться и такъ же гнаться за чѣмъ-то убѣгающимъ отъ тебя... Что имъ за дѣло до этого поблѣвшаго, какъ мѣлъ, солдата, у котораго гранатою оторвало правую ступню, — не совсѣмъ оторвало... — Она болтается, оставляя кровавые слѣды по всему пути, который проходилъ несчастный, опираясь на плечо здороваго товарища правою рукою, а лѣвою на ружье; обломанный штыкъ его видимо побывалъ сегодня на роковой работѣ... Оторванные челюсти, раздробленные лица, какія-то безобразныя комья вмѣсто рукъ... У иного изъ рукава не видно кисти — такъ только кровь течетъ оттуда, словно онъ втянулъ въ рукавъ свою руку и выжимаетъ оттуда, невидимо для другихъ, напоенную кровью губку... Идутъ одни, — идутъ, опираясь на товарищѣй... Несутъ на носилкахъ, на полотнищахъ отъ палатокъ, на шинеляхъ. На скрещенныхъ

ружьях сидят раненые, руки которых, казалось, застыли на плечах здоровых товарищей... Крики, стоны, мольбы... И темь дальше, темь громче, темь ближе к бою — темь гуще толпы раненых... Господи, какая это страшная картина! Легче самому быть раненым, легче самому заманить их, темь слушать, темь видеть все это. Господи, дай покойный сонь темь, кто накликаль все это несчастье, все это море зла, кто сломаль плотину, спасавшую еще вчера здоровых и сильных людей отъ него, отъ этого кроваваго моря!.. Теперь они захлебываются въ немъ и тонуть... Пошли спокойный сонь темь, кто твориль это по невѣдѣнію, потому что иначе казнь будетъ слишкомъ тяжка для нихъ!.. Совѣсть не заснетъ... Совѣсть припомнитъ каждый моментъ этихъ страданій, и за каждый — сотни ядовитыхъ жалъ вопьются въ сердце, еще не утратившее способности чувствовать и ощущать...

И еще, и еще они навстрѣчу цѣлыми толпами... Конца имъ нѣтъ... Скаты холмовъ покрыты этими двигающимися людьми... Кажется, что всѣ они въ какомъ-то странномъ раздумьѣ. Сосредоточенные, идутъ назадъ, обдумывая что-то, не замѣчая, что творится вокругъ нихъ.

Стали попадаться и убитые... Сначала рѣдко, потомъ чаще. Вотъ поляна, на которую, очевидно, былъ направленъ огонь изъ нѣсколькихъ пунктовъ; вся она переполнена мертвыми. Нѣкоторые еще вздрагиваютъ, царапаютъ землю... Но солдаты быстро проходятъ мимо. Въ ротѣ у Ивкова есть уже раненые и убитые; далекія гранаты вывели нѣсколько человекъ изъ строя. Пули падаютъ здѣсь наизлѣтъ, уже ослабѣвъ, но и онѣ поцарапали кое-кого. Хабаровъ съ тою же робкою улыбкою идетъ впереди своей части, смущенно поглядывая на солдатъ, сосредоточенныя лица которыхъ кажутся ему необычайно серьезными. Солдаты, проходя мимо мертвыхъ, сами прибавили шагу, — точно не хотятъ поддаваться впечатлѣніямъ этого проклятаго мѣста... Они такъ же безмолвно пропускаютъ черезъ свою цѣпь раненыхъ, не останавливаясь ни на одну минуту. Вонъ какой-то полковникъ лежитъ — разбросилъ руки... Около него револьверъ и кошелекъ съ деньгами. И тотъ, и другой не тронуты. Кажется, что полковникъ мертвъ. Ивковъ съ участіемъ взглянулъ на это блѣдное лицо, съ нахмуренными черными бровями и сильно сжатыми глазами, — такъ сжатыми, что рѣсницы пропали подъ морщинами вѣкъ... И челюсти сжаты — сжаты до такой степени, что усы оцетинились... Грудь пробита насквозь. Ивковъ подвинулся ближе.



— Какой это полковник? Совѣмъ не знаю его...

— Генеральнаго штаба... — уронилъ Харабовъ съ сожалѣніемъ замѣчая въ лицѣ еще не сбѣжавшее выраженіе муки.

Ивковъ наклонился и сейчасъ же опять приподнялся.

Мертвый или лучше казавшійся такимъ открылъ глаза. Воспаленный взглядъ ихъ остановился на лицѣ капитана. Раненый, казалось, отгадывалъ — знакомый или незнакомый передъ нимъ. Посмотрѣлъ, посмотрѣлъ и опять закрылъ глаза.

— Полковникъ!...

— Оставьте меня. Спокойно... Идите куда... вамъ... приказано.

— Ребята... двое сюда... положите полковника на шинель и отнесите на перевязочный пунктъ... Только осторожно.

Раненый опять разжалъ вѣки, но медленно, точно это стоило ему большихъ усилій.

— Спасибо... Только не надо... Людей мало... Всякій на счету... я все равно... навывлетъ... Оставьте. Идите, идите... впередъ... приказываю не трогать меня, слышите... — И полковникъ закрылъ глаза опять.

Ивковъ, стоя надъ нимъ, думалъ — исполнить его приказаніе или нѣтъ...

— Капитанъ, — усиливался говорить раненый, — помните... я вамъ приказываю. Тамъ люди нужны... Около меня деньги... Видите... — Онъ говорилъ, уже не открывая глазъ.

— Вижу, полковникъ.

— Возьмите... Отдайте брату...

— Фамилія?...

— Ковалевъ... скажите — убить... безъ страданій... Какъ наши дѣла... Правду... правду...

Харабовъ низко-низко наклонился къ нему... Точно осѣнило что-то молодого офицера.

— Побѣда, полковникъ, побѣда... Вездѣ побѣда... Плевна наша... Турки бѣгутъ.

Ковалевъ широко раскрылъ глаза... теперь взглядъ ихъ былъ полонъ какой-то восторженной благодарности.

— Руку... руку... подняться...

Харабовъ быстро приподнялъ голову умирающаго.

— Побѣда... Слава Богу... спасибо... дѣло сдѣлано... какъ свѣтло теперь... Не даромъ... Спасибо, ребята! — вдругъ крик-

нуль Ковалевъ совершенно здоровымъ, громкимъ голосомъ, радостно глядя на солдатъ.

«Рады стараться!..» понеслось впередъ изъ этихъ рѣдкихъ разбросанныхъ рядовъ, понеслось впередъ, и когда послѣднй звукъ этого отклика замеръ, на рукахъ у Харабова лежало уже неподвижное тѣло. Казалось вмѣстѣ съ добрымъ откликомъ солдатъ — унеслась далеко-далеко и душа Ковалева, остановивъ на лицѣ его — медленно, медленно жизни, сбѣгавшую улыбку. Тихо опустилъ его голову молодой офицеръ. Около лежала солдатская шинель, брошенная кѣмъ-то, Харабовъ накрылъ мертваго съ головою, надвинувъ уголь шинели на глаза Ковалева.

— Пусть не видитъ пораженія... пусть и мертвый вѣритъ въ побѣду, ради которой легъ здѣсь.

Скоро между цѣбью и этимъ силуэтомъ подъ сѣрой шинелью выросло уже большое разстояніе... топотъ шаговъ замеръ... Шель мимо раненый. Холодно ему стало отъ потери крови, отъ тумана, отъ усталости... Приподнялъ съ головы полковника сукно.

— Мертвый...

Снялъ съ него шинель, набросилъ на себя, медленно двинулся далѣе на перевязочный пунктъ.

И опять мертвыя очи спокойно смотрятъ вверхъ; уже не сжаты ихъ неподвижныя вѣки, только на рѣсницахъ отлагаются отъ сырости, царящей въ воздухѣ, мелкія блестящія капли влаги; не слезы ли чьи-то? Дождевой червякъ, отвратительный, склизкій, гадкій, холодный, заползъ подъ ладонь Ковалеву... Какъ бы онъ отдернулъ ее, если бы былъ живъ... Что онъ видитъ въ этихъ сѣрыхъ небесахъ, зачѣмъ такъ пристально смотреть въ эти тучи, перебѣгающія по нимъ... Плывите, плывите, тяжеля, сумрачны... Вы уносите съ собою многія тысячи, десятки тысячъ такихъ благородныхъ душъ. Не онѣ ли заставляютъ васъ такъ низко опускаться надъ молчаливою землею. Не онѣ ли въ послѣднй разъ взглядываютъ на эти сырые, холодныя поля.

## VIII.

### Третья Плевна: въ полосу обстрѣла.

Сѣрый скать...

Наверху — громадный редуть... Два большихъ земляныхъ горба

образовали амбразуру, въ которую, точно вытягивая шею, смотреть теперь на медленно подвигающихся солдатъ стальная пасть дальнѣйшаго крупновскаго орудія... Смотритъ молча, точно оно устало выбрасывать смерть, точно въ его металлической груди уже не хватаетъ голоса, чтобы крикнуть на весь этотъ просторъ свое роковое проклятіе, свою громовую угрозу.

Молчитъ стальная пасть, молчатъ такія же, выглядывающія изъ другихъ амбразуръ.

Подъ валами какія-то груды, точно лохмотья набросаны тамъ. Отъ грудъ сюда къ подножью ската ползуть умирающіе, лежатъ мертвые... Сколько этихъ грудъ у редута, у каждой амбразуры! и стальная пасть точно сторожитъ ихъ... молча сторожитъ, протягивая надъ ними свое зловѣщее горло... Точно вытянулись изъ-за редута и удивленно высматриваютъ окрестности эти орудія, — удивленно высматриваютъ; такъ и кажется — вотъ, вотъ они повернутъ направо, налево... стальные мускулы этихъ длинныхъ шей сократятся и кровожадные пасти опять спрячутся за валы.

Неподвижны эти груды... Но не вездѣ... Вотъ одна точно шевелится. Тихій стонъ оттуда. Вонъ кто-то силится вылезти изъ-подъ груды; видно, какъ изъ-подъ нея выдвигаются чьи-то руки и судорожно царапаютъ землю... Но напрасно напрягаются ихъ мускулы. Не вытянуть имъ за собою тѣла, застрявшаго подъ страшной тяжестью...

Дѣйствительно страшной...

Это десятки-сотни неподвижныхъ труповъ... И бритыя, и стриженныя головы, и изношенныя кепи, и красныя фески, и зеленыя куртки съ малиновой тесьмой, и наши солдатскія шинели — все перепуталось. Вонъ изъ одной такой неподвижной груды выдралась вверхъ рука... Тотъ, кому принадлежитъ она, лежитъ подъ другими трупами. Только одна рука наверху... Не мертвая рука, нѣтъ... должно быть, онъ живъ еще... Ужасъ, ужасъ ужасъ, рука эта шевелится. Пальцы то сжимаются въ кулакъ, то разжимаются. Ивову, проходящему мимо, кажется, что эта страшная рука манитъ его... Она зоветъ и другихъ... Куда? Не въ такія же ли груды... Не въ царство ли смерти? Кто изъ идущихъ не взглянетъ на эту высунувшуюся вверхъ и одиноко торчащую руку, каждаго она манитъ: «Приди ко мнѣ скорѣй!.. Скорѣй!.. Приди!..» Кому очередь? Кто послушается этого зова?.. Вонъ изъ-подъ другой груды слышатся стоны, точно кого-то завалило землею: края рва осыпались, ихъ такъ и покрыло сползнемъ. И кричить кто-то и бьется подъ этою сѣрою массой, залѣзающей ему въ ротъ,

въ уши, въ носъ, въ глаза... И кричитъ, и бьется, напрягая хриплую грудь... И крики его, доносясь вверхъ, кажутся только печальнымъ стономъ вѣтра въ одинокой трубѣ оставленнаго жильцами дома... Но крики все слабѣе и слабѣе... Видимо грудь устала, — не хватаетъ силы... Еще нѣсколько минутъ и вѣтеръ уже далеко отлетѣлъ отъ одинокаго дома.

Отчего молчитъ этотъ редутъ? Отчего онъ не броситъ на приближающихся ливень свинца? Отчего чернымъ куревомъ не окаймитъ его валы перебѣгающая дробь ружейныхъ выстрѣловъ? Вѣдь вонъ ружья смотрятъ въ отверстія и промежутки между зубцами бруствера. Масса ружей... Острыя жала штыковъ торчатъ наружу... Отчего же они неподвижны?

Навстрѣчу изъ редута раненый офицеръ прихрамываетъ.

— Давно ли взяли? — спрашиваетъ его Ивковъ.

— Часа три... Вотъ бой былъ!.. Адъ... Но солдаты, солдаты! Господи, что за герои! — На глазахъ у него проступили слезы.

— Что мы, офицеры!.. Вотъ гдѣ истинная... честная душа!..

— Какимъ полкомъ занять редутъ?

Раненый назвалъ.

— Думалъ остаться въ редутѣ, да рана... Хоть пустая, а мучить... Тамъ скверно... Штыковой бой былъ... До сихъ поръ корчатся по угламъ... Плѣнныхъ нѣтъ... Оставшихся всѣхъ переколотили...

Ивковъ со своею ротой обошелъ редутъ... На валахъ его въ туманѣ рисовались сѣрыя фигуры русскихъ часовыхъ. Изъ-за бруствера смотрѣли утомленные лица недавнихъ бойцовъ.

— Гляди, ребята!.. — крикнули оттуда наступавшимъ. — Гони его, турку-то! Мы поработали — теперь вашъ чередъ. Поддержите?

— Мы поддержимъ, небось, мы съ нашимъ удовольствіемъ!..

— Мы его во-какъ! — откликнулся и парень съ вздернутымъ носомъ, почему-то радостно глядя, какъ спокойно на турецкихъ валахъ торчатъ себѣ русскіе.

— Ишь ты... купоросъ! — не выдержалъ одинъ солдатикъ съ вала, взглянувъ на смятую фигуру парня. — Новый еще.

— Онъ у насъ, братъ, храбрый, — отозвался и Парфеновъ. — Онъ у насъ, братъ, богатырь!

— Оно и видно... Ишь хвостъ-то трубой распустилъ... Пѣтухъ настоящій.

— Какой это хвостъ, дяденька? — наивно обернулся парень къ Парфенову.

— А нешто его, хвостъ-отъ, по-собачьи между ногъ зажать?

— Зачѣмъ между ногъ? у солдата хвостъ всегда долженъ на-карауль дѣлать... А ты какъ думалъ?

— Гляди, парень, какъ бы тебѣ турка поганая носа не попортила.

— Не попортить!.. — огрызнулся парень: — у меня носъ не казенный.

— То-то... ты бы его за голенище... Все спокойнѣй.

Рота уже миновала редутъ... Вонъ онъ позади стоитъ со своими сѣрыми валами, съ своими удивленно вытягивающимися въ амбразуры орудіями. Чаше здѣсь падаютъ гранаты... рвутся уже въ живыхъ рядахъ. Вонъ осколокъ одной нагналъ стремглавъ скакавшаго офицера. И конь, и всадникъ клубкомъ покатались внизъ, однимъ сѣрымъ клубкомъ — не разобрать бы, гдѣ кончается лошадь, гдѣ начинается человекъ... Вотъ докатились до дна оврага... Спустия минуту выльзаетъ оттуда помятый офицеръ и, прихрамывая, медленно ползетъ наверхъ.

— Лошадь, подлецы, убили!.. — возбужденно кричитъ онъ навстрѣчу Ивкову, хотя тотъ его не спрашивалъ объ этомъ. — Каково это?.. Третьяго дня только купилъ, Султаномъ назвалъ... Двадцать полунперіаловъ далъ за нее... А теперь — на-ко. На чемъ я поѣду?.. Ишь, подлецы... И вѣдь прямо въ...

Офицеръ торопится говорить, точно боится, что его не дослушаютъ, — и дѣйствительно не дослушали. Хотѣлъ что-то сказать, но вдругъ какъ-то нелѣпо вскинулъ руками, перевернулся, удивленно взглянулъ на Ивкова, крикнулъ еще нежданнѣе и, какъ спонъ, упалъ внизъ... Пуля догнала несчастнаго и перебила ему спинной хребетъ.

Солдаты перекрестились.

Они уже вступили въ полосу обстрѣла.

Пули жужжали вотъ-вотъ у самыхъ головъ. Прожужжить такая свинцовая ичела и ударится о землю — съ такимъ же звукомъ, какъ зачастую весной майскій жукъ со-слѣну шлепается въ слѣну, въ листья деревъ, въ мокрую землю... Пули жужжать, стонуть... плачутъ, — назойливо, надобдливо плачутъ...

— Фюить, фюить, фюить! — посвистываютъ пролетающія около самыхъ ушей солдатъ, которые невольно клонятъ головы... Странное дѣло: робкій, тщедушный Харабовъ оказался ни съ того, ни съ сего

впереди. Гдѣ его робость дѣлась? — идетъ не бравирюя, но спокойно, серьезно. Солдаты съ удивленіемъ смотрятъ на него. Поручика считали бабой, — и вдругъ эта баба заткнула за поясъ молодца Дороновича, который почему-то ужъ очень поблѣднѣлъ и совсѣмъ неестественнымъ тономъ шутитъ съ солдатами, спрашивая ихъ: что — они знакомую, что ли, встрѣтили?.. Чего низко такъ кланяются?.. Солдаты прекрасно понимаютъ этотъ неестественный тонъ офицерской шутки и, изъ сожалѣнія, пропускаютъ ее мимо ушей, не отвѣчая. То и дѣло въ рядахъ слышатся крики... Рота уже оставила нѣсколькихъ назади... Корчатся они, бѣдные, тамъ, вопять и молятъ, — но некому слушать ихъ стонъ, ничей голосъ не отвѣчаетъ на ихъ мольбы.

Все громче зловѣщее жужжаніе. Кажется теперь, что весь воздухъ переполненъ пчелами. Откуда, изъ какихъ невидимыхъ ульевъ несутся эти рои? Солдаты стали чувствовать себя скверно. Этотъ свистъ, этотъ шелестъ, это жужжаніе угнетаютъ ихъ, не даютъ раздуматься, не позволяютъ окрѣпнуть. Вонъ кое-кто уже точно на ноги отяжелѣлъ, — медленно идетъ; трудно ему, чѣмъ товарищамъ, — точно въ голенища сапогъ свинцу налили: поднять нельзя... Едва отниметъ ногу отъ земли... Цѣпь уже разбилась на двѣ. Менѣе рѣшительные — позади. Тутъ-то и Дороновичъ, которому тоже трудно на каждомъ шагу, кажется, оторвать отъ земли ногу и переставить впередъ. И въ зубахъ какой-то холодъ чувствуется. Точно они простужены, и зудъ вмѣстѣ съ болью пробѣгаетъ по ихъ конечностямъ, заставляетъ бить дробь... По пути попался оврагъ. Что это — нѣсколько человѣкъ уже лежатъ тамъ... Дороновичъ накинулся на нихъ, ругается, какъ никогда прежде не ругался, и этою направленною на трусовъ руганью старается ободрить себя; но чѣмъ громче ругань, — тѣмъ зубы все болѣе и болѣе невпопадъ щелкаютъ лихорадочно, тѣмъ тяжелѣе становятся ноги...

Вонъ впереди, изъ-за гребня слѣдующаго пригорка, выѣхалъ на бѣломъ конѣ кто-то; за нимъ на рысяхъ несутся нѣсколько офицеровъ и сзади два-три казака. Въ рукахъ у одного голубой значекъ съ краснымъ осмиконечнымъ крестомъ... На бѣломъ конѣ оказывается генералъ — въ бѣломъ весь... красивый, веселый.

— Ай да, молодцы!.. Ай да, богатыри! Ловчинскіе? — кричитъ онъ издали возбужденнымъ нервнымъ голосомъ.

— Точно такъ, ваше-ство.

— Ну, ребята... Идите доканчивать. Тамъ полкъ отбитъ отъ редута... Вы вѣдь не такіе... А?... Вы вѣдь у меня всѣ на под-

борь... Ишь красавцы какіе... Ты откуда, этакій молодчинище?.. — остановилъ онъ лошадь передъ курносымъ парнемъ.

— Зъ Вытебской губерніи, ваше-ство.

— Да отъ тебя одного разбѣгутся турки...

— Точно такъ, ваше-ство, — разбѣгутся.

— Ты у меня, смотри... чтобы послѣзавтра я тебя безъ Георгія не видѣлъ... Слышишь?... Вы только глядите — не стрѣлять безъ толку. Иди вплоть до редута, не трата пороху... Въ стрѣльбѣ толку нѣтъ. Стрѣлять хорошо, когда ты за валами сидишь и отбиваешься... Слышите?

— Слышимъ, ваше-ство.

— То-то. Въ кого ты будешь стрѣлять, когда они за брустверомъ? Имъ отъ твоихъ пуль не больно. До нихъ надо штыками дорваться. Слышите?... А ты, кавалеръ, не изъ севастопольцевъ? — обернулся онъ къ Парфенову. — За что у тебя Георгій?..

— За Малаховъ, ваше-ство...

— Низко кланяюсь тебѣ! — И генераль снялъ шапку. — Покажи молодымъ, какъ дерется и умираетъ русскій солдатъ. Капитанъ, послѣ боя представьте мнѣ старика. Я тебѣ именного Георгія дамъ, если живъ будешь...

— Радъ стараться, ваше-ство...

— Экіе молодцы!.. Пошелъ бы я съ вами, да нужно новичковъ поддержать... Вы-то ужъ у меня обстрѣленные, боевые... Прощайте, ребята... увидимся въ редутѣ. Вы меня дождетесь тамъ?

— Дождемся, ваше-ство.

— Ну, то-то, смотрите: дали слово, держать надо... Прощайте, капитанъ.

Доѣхалъ генераль до оврага — видитъ, лежитъ въ немъ офицеръ... Еще нѣсколько шаговъ сдѣлалъ — офицеръ смущенно поднялся и откозырялъ... Генераль чуть замѣтно улыбнулся.

— Что, поручикъ, отдохнуть прилегли?

— Сапоги... ноги... — забормоталъ Дороновичъ, весь красный, чувствуя теперь только стыдъ и ни искры трусости.

— Вы отъ той роты?

— Да-съ...

— Экій вы рослый, да бравый какой... Солдатамъ будетъ любо, глядя на васъ, въ огонь идти. Вы ихъ молодцомъ поведете. Догоните поскорѣй своихъ, да скажите вашему командиру, что я ему приказываю послать васъ впередъ съ охотниками, — слышите?..

Генераль перешель въ серьезный тонь.

— Офицеръ не смѣетъ трусить... Солдатъ можетъ, ему еще про- стительно... Но офицеру нельзя... Идите сейчасъ... Ведите въ бой свою часть... Ваша фамилія?

— Дороновичъ.

— Ну, вотъ что... Я хочу услышать, что вы первымъ вошли въ редутъ. Слышите? — первымъ... Тогда и я забуду этотъ оврагъ и ваши сапоги... Слышите?... забуду и никогда не вспомню... Помните — вы подадите примѣръ... Прощайте! — и генераль, наклонясь, подалъ поручику руку. Тотъ съ глубокой благодарностью по- жалъ ее.

— Общаюсь вашему превосходительству...

— Вѣрю, поручикъ... До свиданія въ редутъ!

Еще одно мгновенье Дороновичъ посмотрѣлъ вслѣдъ генералу и тотъ- часъ же бросился догонять своихъ...

## IX.

### Третья Плевна: отбитая атака.

Рота Ивкова соединилась со своими.

Теперь весь полкъ, разсыпавъ цѣпи, шелъ на подмогу нашимъ, которые давно уже дрались подъ валами редута, казавшагося недоступ- нымъ.

Отъ роты Ивкова десятка три солдатъ осталось позади ранеными и убитыми. Парень, струсившій было на первыхъ порахъ, теперь точно ожилъ, какъ поговорилъ съ генераломъ. Увѣрился почему-то, что уми- рать не страшно, и ставить себѣ единственную цѣлью не отставать отъ Харабова, все такъ же идущаго впереди.

Въ полосѣ обстрѣла и остальные солдаты хорошо себя держатъ. Въ цѣпи то и дѣло падаютъ люди, — остальные быстро перебѣгаютъ впередъ, точно тамъ, ближе къ туркамъ, должно быть легче. Точно свин- цовый дождь тамъ не такъ густъ, какъ здѣсь... По оврагамъ, балкамъ, въ рывинахъ, завалилось и лежитъ уже не мало потерявшихся, сма- лодушествовавшихъ. Ихъ не поднимаютъ. Эти лучше сдѣлали, что ушли; въ бою такіе — не помощники, только еще испортятъ дѣло, сѣя въ рядахъ остальныхъ панику. Нѣкоторые просто легли себѣ на



землю, точно раненые, и не двигаются, хотя тутъ еще опаснѣ лежать, чѣмъ идти впередъ... Вонъ двое: одинъ къ другому привалился; шальная пуля угодила одному изъ нихъ въ лобъ. Лежавшій рядомъ съ испугомъ приподнялъ голову, взглянулъ въ лицо убитаго, а отползти силы не хватаетъ — остался тутъ же рядомъ и только жметъ ближе къ мертвому, точно тотъ защититъ его.

Далеко уже вѣютъ знамена. Внимательно слѣдятъ за ними взгляды солдатъ, молчаливо идущихъ въ черныхъ колоннахъ. Плохо слышна въ этомъ грохотѣ орудій, въ этой трескотнѣ залповъ команда офицеровъ, да теперь едва ли и нужна она. Дѣло дошло до того момента, когда все само собою движется, стихійно; масса распоряжается, а не лица, не тѣ или другіе начальники. Солдаты сами направляются куда нужно. Полотнища знаменъ, совсѣмъ мокрая, кажутся окровавленными; бѣлые Георгіевскіе кресты наверху гордо колышутся надъ мѣрно подвигающимися впередъ рядами.

Ивковъ еще разъ вынулъ портретъ въ бархатномъ футлярѣ, поцѣловалъ его и спряталъ. Теперь всѣ счеты его были покончены. Этимъ онъ простился съ *ней*, разстался, быть можетъ, чтобы уже никогда больше не увидѣть кроткихъ голубыхъ глазъ, ласково смотрѣвшихъ на него за минуту назадъ... Онъ молча шелъ въ своей цѣпи, какъ вдругъ споткнулся... Подъ ноги попалось тѣло молоденькаго юнкера... Безусое лицо какъ-то наивно, испуганно, удивленно смотрѣло на него снизу. — Что это такое? — точно спрашивалъ неподвижный взглядъ. — Что это такое? Отчего я не могу шевельнуться? Отчего не дышитъ грудь? Отчего я не вижу ничего предъ собой? — Проходя мимо, знаменщикъ наклонился къ нему:

— Эхъ, знакомый былъ, хорошій парень! }

Полотнище знамени заколыхалось надъ мертвымъ, точно благословляя его. Бѣлый крестъ опустился надъ нимъ, но ни креста, ни знамени не видѣлъ этотъ удивляющійся взглядъ... ни креста, ни знамени, ни этихъ суровыхъ, смягченныхъ состраданіемъ, лицъ, ни этого сѣраго неба, которое все еще хмурилось на сѣрую землю.

За гребнемъ этого холма солдаты невольно дрогнули.

Казалось, адъ открывался тамъ съ грохотомъ залповъ, съ молящими воплями своихъ безчисленныхъ жертвъ, съ визгомъ гранатъ, точно прорывавшихся сквозь живое мясо, словно шипѣвшихъ и курившихся въ чьей-то крови... Не успѣлъ Ивковъ встать на гребень, какъ одного звена его цѣпи будто не бывало. Трехъ солдатъ выхватилъ

разорвавшийся снарядъ и далеко-далеко унесъ со своими осколками ихъ послѣднюю мысль, послѣднее желаніе.

— Некогда раздумывать, ребята... За мной!

И Ивковъ кинулся внизъ, по скату, который весь былъ усыпанъ мертвыми и умирающими. Здѣсь еще никто не подбиралъ раненыхъ — некогда было и некому. Люди корчились, протягивали руки навстрѣчу новымъ полкамъ и молили о чемъ-то проходившихъ мимо товарищей, — но когда же слушать ихъ? чѣмъ помочь?.. Иные привставали, чтобы тотчасъ же упасть на влажную, залитую ихъ же кровью, землю. Раненые кони бились тутъ же, силились подняться на ноги и опять опрокидывались, покрывая на минуту стоны людей своимъ предсмертнымъ хрипѣніемъ... Каждому было дѣло только до себя; нервы молчали, замерли, — къ счастью, что замерли: иначе, увидѣвъ весь этотъ ужасъ, свѣжіе полки бросились бы назадъ — и ни одного солдата не осталось бы на этомъ скатѣ. Ни одного живого. Подъ скатомъ — лощина, за лощиной противоположный скатъ, на немъ грозные валы редута, которые то и дѣло обкуриваются дымомъ отъ залповъ... Порою дымъ отходитъ назадъ, и тогда видны мелькающія надъ валомъ красныя фески...

По тому противоположному скату лѣзятъ разсыянные солдаты какого-то полка. Они какъ-то вдругъ массами появились изъ лощины; точно муравьи поползли вверхъ. Видимо передъ рѣшительнымъ штурмомъ отдыхали тамъ, собирались съ силами. Густая внизу масса солдатъ рѣдѣетъ кверху, разбивается на кучки, быстро бѣгущія впередъ. Кучки разбиваются на одиночныхъ, опередившихъ своихъ товарищей... Эти одиночные зачастую вдругъ останавливаются, какъ-то дико вскидываютъ руками и падаютъ внизъ. Вонъ она — эта подлая желтовато-сѣрая насыпь; вонъ онъ — этотъ проклятый валъ!.. Сколько еще жизней потребуетъ онъ?.. Масса все ближе и ближе; разстояніе сокращается между ея отдѣлившимися кучками и этою сѣрою насыпью. Быстро, быстро бѣгутъ люди. Изъ отставшихъ отдѣльные солдаты вдругъ, точно ни съ того, ни съ сего, выносятся впередъ, быстро перебѣгаютъ разстояніе, отдѣляющее ихъ отъ тѣхъ, которые идутъ впереди, еще моментъ, и эти, только что казавшіеся отсталыми, уже смѣло цѣпляются вверхъ по скату. Вотъ обрывки какого-то «ура», «Ура» вспыхнуло направо, перекинулось налево, загремѣло въ центрѣ... Чу, кровожадная, злобѣщая дробь барабана. Еще быстрее двигается снизу вверхъ боевая колонна... Вотъ цѣлыя тучи дыма заслонили редутъ; гора точно дрогнула и разсыялась съ громовымъ трескомъ... За этимъ залпомъ перебѣгающіе выстрѣлы, новое облако дыму, новый залпъ...

Какой-то, должно быть, офицеръ, на лошади выѣхалъ изъ лоцины, за нимъ солдаты бѣгутъ. Смѣло онъ шпоритъ коня; добрый степнякъ чуть не въ карьеръ выноситъ его на крутизну ската... Еще одна минута, и всадникъ вмѣстѣ съ конемъ катится обратно въ эту же самую лоцину, изъ которой только что выѣхалъ.

— Возьмутъ, капитанъ, возьмутъ наши! — бодро кричитъ Ивкову Дороновичъ.

— Еще бы не взять!.. — радостно отвѣчаетъ тотъ, слѣдя, какъ разстояніе между наступающей черной массой солдатъ и сѣрою насыпью вала все сокращается и сокращается.

— Еще бы не взять! Одинъ ударъ только, и кончено.

— Какъ кстати въ барабанъ-то ударили... Ой!..

И Харабовъ схватывается за лѣвую руку...

— Что съ вами?.. — подбѣгаютъ къ нему.

— Ничего... Слегка оцарапало... Пустяки.

— Сейчасъ, сейчасъ возьмутъ!..

Вонъ черныя фигуры солдатъ все ближе и ближе; вонъ нѣсколько копошится у самаго вала, видимо остановились и своихъ сзываютъ... А залпы оттуда слѣдуютъ за залпами. Редутъ точно живое чудовище навстрѣчу ободрившимся солдатамъ грохочетъ во всѣ свои мѣдныя и стальные пасти, какъ дикобразъ оцетинивается штыками... Близо, близо, у самаго вала наши. Могучее «ура» еще шире, какъ пламя, взрываемое вѣтромъ, раскидывается по всему этому скату...

— Господи!.. Вотъ подлецы-то! — съ ужасомъ вскрикиваетъ Ивковъ.

— Что? что такое?

Капитанъ, молча, показываетъ направо... Трусливая кучка солдатъ, отставшая отъ своихъ въ то время, какъ эти почти уже добѣжали до валовъ, залегаетъ и открываетъ по туркамъ огонь... Къ нимъ присоединяется все больше и больше солдатъ... Что-то недоброе предчувствуется въ этомъ... «Ура» мретъ, не разгорѣвшись вовсю; солдаты, бывшіе у самыхъ валовъ, тоже подхватываютъ огонь и давай подстрѣливать, тратя на это свою энергію... Ружейный огонь льется, не умолкая... Наконецъ, уже всѣ остановились... Кучка трусовъ заразила всѣхъ паникою... Очевидно, впередъ уже не подадутся. Нельзя идти стрѣляя, нельзя стрѣлять на ходу... Стрѣльба во время наступленія — одинъ изъ признаковъ трусости... Вотъ-вотъ пойдутъ назадъ, — нельзя же лежать подъ огнемъ... Назадъ еще хуже, чѣмъ

впередъ, больше потерь будетъ, а все-таки уже ни на шагъ не по-  
двинутся...

Полкъ разбился о редутъ...

Какъ будто волны, отхлынули оттуда солдаты и бѣгутъ внизъ... Сначала задніе подались... Вскочили залегшіе первыми труссы и — стремглавъ въ лощину, за ними и остальные. Не всё... то и дѣло кое-кто спотыкается, падаетъ и остается на мѣстѣ; устиляется мало-по-малу скатъ неподвижными тѣлами. Сколько уже чернѣетъ такихъ! какая масса ихъ... Толпа разбилась на единицы... Она уже чужда внутренней связи; это люди, почти не узнающіе другъ друга... Самые храбрые отступаютъ молча, хмуро, въ одиночку. Только кучка трусовъ слѣпо бѣжитъ назадъ, крича что-то идущимъ навстрѣчу новымъ подкрѣпленіямъ. Эти новые тоже поддаются паникѣ и оборачиваютъ тылъ... А мертвыхъ все больше и больше... Вонъ одно мѣсто ската совсѣмъ почернѣло. Должно быть, не одинъ десятокъ тамъ плотно улегся другъ къ другу... Не одинъ десятокъ... Сжавъ зубы, Ивковъ подается внизъ — быстро подается. Солдаты тоже понимаютъ, въ чемъ дѣло.

— Ахъ ты, Господи! — шепчетъ Парфеновъ, — только бы еще однимъ разомъ и конецъ дѣлу...

— Эка бѣда какая... Безъ всякаго толку — спужались...

— Стадо!.. Подлое стадо!.. — озлобленно бормочетъ Ивковъ, боясь, чтобы и съ его ротой не случилось то же самое.

Вотъ передовыя кучки бѣгущихъ навстрѣчу...

— Куда вы? — заскрипѣлъ на нихъ зубами Ивковъ. — Труссы! Подлецы! Негодяи!

Всѣ пріостановились было... Только одинъ совсѣмъ уже перепуганный солдатикъ со-слѣпу бѣжитъ прямо на капитана...

— Труссы!.. У редута были — ушли... Срамъ!..

Харабовъ молча идетъ впередъ, сознавая всю бесполезность упрековъ. Нельзя за себя отвѣчать въ такую минуту... Самый храбрый человѣкъ можетъ струсить...

— Ваше высокоблагородіе, — ни съ того, ни съ сего набрасывается на него бѣгущій солдатикъ. — У самаго турецкаго редута былъ... У самаго вала, ей-Богу... Только бы скакнуть — и конецъ... Я подъ валомъ первый стоялъ, — чуть не плачетъ онъ. — Только бы скакнуть, а тутъ кричатъ: «Назадъ, назадъ, назадъ!». Ну, всѣ и побѣгли... Ахъ ты, Господи!.. всѣ и побѣгли...

Солдатикъ, весь красный, весь разгорѣвшійся, отчаянно жестикулируетъ.

— Кабы дружно было... — подтверждаетъ другой и не оканчиваетъ: пуля догоняетъ бѣглеца и укладываетъ его на мягкую землю...

— Что жъ вы срамились, ребята? — корить ихъ Парфеновъ. Солдаты взглядываютъ только въ лицо ему и быстро бѣгутъ мимо.

— Это еще что за стыдъ!.. — слышится чей-то громовый голосъ позади. — Это что за таборъ бѣжить? Смирно!.. Изъ-подъ редута бѣжать... Срамъ! Не хочу я командовать такую сволочью!.. Идите къ туркамъ... Вы не солдаты!.. Ружья побросали, скоты!.. — продолжаетъ тотъ же новый голосъ.

Ивковъ оглядывается, — навстрѣчу бѣгущимъ тотъ же генералъ на бѣлой лошади.

— За мной! Я вамъ покажу, какъ бьютъ 'турокъ... Стройся!.. За мною, ребята, я самъ васъ поведу. Кто отъ меня отстанетъ, стыдно тому... Живо, барабанщики, наступленіе!..

Громкая дробь барабана покрыла и грохотъ залповъ, и ревъ орудій, то и дѣло выбрасывавшихъ снопы огня и клубы дыма изъ амбразуръ турецкой батареи...

## X.

### Третья Плевна: адъ.

Медленно цѣпь подвигалась впередъ. Сухія, нахмуренныя лица солдатъ уже поводило гнѣвомъ... Стиснутые зубы, злобщій огонь, загоравшійся въ ихъ глазахъ, мало предвѣщали хорошаго защитникамъ редута. Шли въ одиночку, молча... Звено отъ звена сохраняло правильные интервалы. Руки крѣпче стискивали холодныя дула ружей; послѣ недавняго возбужденія сердце билось спокойно, въ головѣ, казалось, не было и мысли объ опасности. На падавшихъ товарищей уже не обращали вниманія, — ни о чемъ не думалось... Свинцовыя пчелы, густыми и шумными роями наполнявшія воздухъ, мало производили впечатлѣнія, совсѣмъ мало. Не потому, чтобы инстинкты жизни замерли — нѣтъ, просто заостенѣли всѣ... Чему быть, тому не миновать. «Дорваться бы скорѣй!» только одно и шевелилось въ мозгу этихъ обстрѣлявшихся уже людей, жадно смотрѣвшихъ на сѣрую профиль редута, которую опять окутывало туманомъ. «Дорваться бы скорѣй!»... И когда шальная пчела жалила товарища рядомъ, когда онъ, какъ подко-

шленный, падалъ на мокрую землю, не сожалѣніе шевелилось у уцѣлѣвшихъ — нѣтъ, сказывалась только жажда расплаты, дикая злоба подымалась въ груди, дикая, холодная, отъ которой сердце не билось ни скорѣе, ни медленнѣе, отъ которой и правильный шагъ цѣпи не прибавлялся. Передъ нею была лощина. Ивковъ озабоченно поглядывалъ въ нее; цѣпь его шла отлично, лучше ни одинъ бы тактикъ и не пожелалъ, но въ темномъ оврагѣ придется дать отдыху минутъ пять-десять не больше. Какъ бы все это настроеніе не измѣнилось, какъ бы всѣ эти сухія, озлившіяся лица не подернулись колебаніемъ, нерѣшительностью, какъ бы изъ цѣпи одни не выбѣжали впередъ — это подало бы поводъ остальнымъ сохранить свое положеніе позади, а потомъ со-всѣмъ отстать.

— Братцы! Посмотрите, что они дѣлаютъ съ нашими, — обернулся генералъ, не сходявшій съ лошади.

Гуль прошелъ по цѣпи, переброясь назадъ въ слѣдовавшія за нею звенья, сообщился колоннѣ, которая уже, выставивъ нѣсколькихъ солдатъ на гребень пройденной Ивковымъ горы, сама осталась позади за гребнемъ въ прикрытіи.

— Посмотрите, какъ эта сволочь нашихъ раненыхъ мучить.

Гуль все росъ и росъ... Холодный потъ выступалъ на лицахъ солдатъ. Парфеновъ, глядя на то, что совершалось около валовъ зло-вѣщаго редута, заплакалъ навзрыдъ.

Изъ-за этой сѣрой насыпи выбѣжали турки, поодинокѣ разсыпались на скатѣ... Вонъ они наклоняются къ нашимъ раненымъ. Какіе-то крики застыли, всколебавъ на минуту холодный воздухъ. Крики эти растутъ... мольба въ нихъ, бѣшенство... Раненые видимо старались уползти, торжествующій врагъ позволялъ имъ это, чтобы, смѣясь, тотчасъ же настигнуть ослабѣвшихъ, исходившихъ кровью людей. Вонъ одинъ изъ нашихъ раненыхъ приподнялся, невѣрною рукой выстрѣлилъ въ подбиравшагося къ нему низама. Тотъ пригнулся на минуту, потомъ выпрямился, кинулся къ стрѣлявшему, и въ одно мгновеніе такой дикій вопль, вырванный невозможною болью, донесся къ нашимъ, что генералъ рѣшилъ тотчасъ же воспользоваться этою минутой озлобленія.

— Ребята, безъ отдыха, впередъ!.. Бѣгомъ на этихъ скотовъ... Спасемъ уцѣлѣвшихъ и накажемъ негодаевъ... Я самъ поведу васъ... Слышите!.. Поручикъ Дороновичъ, ведите охотниковъ!.. Займите вонъ ту траншею...

Быстро пробѣжали лощину — ни одного отсталого не было...

Какъ былъ тихъ и безлюденъ этотъ оврагъ до того, такимъ и остался.

Дороновичъ уже далеко впереди. Пригнувшись, охотники взбѣгаютъ по скату вверхъ... Гора вздрагиваетъ отъ бѣшеныхъ залповъ... Точно валы эти трещать, разсѣдаясь на своихъ песчаныхъ насыпяхъ, точно лопаются и крошатся довременные граниты. Не доходя до редута — узенькая траншейка; оттуда гремитъ перебѣгающая дробь выстрѣловъ, кайма сѣраго дыма отъ нихъ, поднимаясь кверху, заслоняетъ собою редуть... Скоро не она одна заслонила его, заслонилъ и туманъ, опять сгустившійся кругомъ. Редута не видно... Его только слышно... Гроза бушуетъ въ этой сѣрой тучѣ. Точно злые духи сорвались съ адскихъ цѣпей и торжествуютъ въ глубинѣ этой мглы, смѣшанной съ пороховымъ дымомъ, свое близкое торжество, точно самъ царь тьмы въ гнѣвѣ и грохотѣ бури сходить сюда на кровавую тризну... Возбужденному мозгу могло бы показаться, что планеты сталкиваются, и, охваченныя огнемъ, разлетаются на тысячи кусковъ, когда сквозь оглушительный трескъ перебѣгающей перестрѣлки гремятъ навстрѣчу нашимъ цѣпямъ дружные залпы, сливая свой бѣшенный громъ съ яростнымъ ревомъ стальныхъ орудій!.. Цѣпья тучи пуль несутся навстрѣчу храброй горети охотниковъ, снопы картечи сметають съ чернаго ската все, что встрѣчается на пути; гранаты изъ дальнихъ редутовъ, вливаясь въ сырую землю, рвутся къ ней на осколки, острые края которыхъ точно высохли и разгорѣлись отъ жажды. Наверху тоже не ладно: тамъ лопаются шрапнели, точно чудовищныя струны трескаются въ воздухѣ подъ чьей-то могучей рукой. Лужами стоитъ кровь... Въ этихъ черныхъ лужахъ барахтаются умирающіе; предсмертные вопли тонуть въ грозовомъ ревѣ бури... Навстрѣчу идущимъ солдатамъ бѣгутъ, точно со-слѣпа, раненые. Бѣгутъ, наталкиваются на нихъ, хватаются за товарищя, цѣпляются, точно въ этомъ вся ихъ надежда...

Дороновичъ ничего уже не видитъ... туманъ кругомъ, въ туманѣ бѣсятся остервенѣвшіе духи ада. Онъ только и помнитъ одно — обѣтъ, данный имъ генералу... Да нельзя и забыть... Въ одинъ изъ самыхъ страшныхъ моментовъ, когда, казалось, нельзя было вздохнуть, чтобы не подавиться картечью, въ вихрѣ этой бѣшеной бури пролетѣлъ мимо него генералъ... Только на одно мгновенье онъ увидѣлъ эту характерную фигуру, съ разбросанными русыми бакенами, съ раздувающимися ноздрями, съ мягкими въ обычное время, но теперь точно хотѣвшими оставить свои орбиты разгорѣвшимися глазами, смѣло глядѣвшими туда, въ самую темень, откуда рвалась гроза навстрѣчу. Вихремъ налетѣлъ,



Боевая Голгофа.]

Т-во „Просвѣщеніе“ въ Сиб.

**„За мною, дѣти! не отставать!“**

(Стр. 128.)





услѣвъ кинуть въ цѣпь охотникамъ: — «За мною, дѣти! не отставать! Вспомните замученныхъ товарищей!» Точно обожгло солдатъ. «Ура» вспыхнуло, но не то нерѣшительное, которое съ часъ назадъ слышалось изъ рядовъ отступившихъ потомъ солдатъ... Нѣтъ, это совсѣмъ иное... злобѣщее, бѣшеное, точно хриплымъ глоткомъ хотѣли перекричать этотъ трескъ ружейнаго огня, этотъ ревъ стальныхъ частей...

— Помните, ребята, назадъ дороги нѣтъ... За мной!.. — кидаетъ, въ свою очередь, Дороновичъ, не замѣчая, что по лѣвому плечу его уже просочилась и бѣжитъ алая струйка.

«Не забывайте замученныхъ» во-время брошено. Точно искра въ порохъ упала... такую злобою вспыхнуло оно въ солдатской душѣ... «Помните замученныхъ... Урра!..» все бѣшенѣй и бѣшенѣй разбѣгается кугомъ... Цѣпь позади, спотыкаясь, падая, хочетъ нагнать охотниковъ; резервы сами двигаются, не ожидая команды... Раненые не остаются позади; они тутъ же въ рядахъ — развѣ кость перебита, идти нельзя... Одинъ худой, весь зеленый солдатъ, у котораго въ груди засѣла уже пуля, хрипло оретъ «ура», давится кровью, выплевываетъ ее и опять еще громче, еще болѣе остервенѣло кидаетъ свой вызовъ тучѣ тумана и порохового дыма, окутавшихъ злобѣщій редуть.

Вихремъ налетѣлъ генералъ на другую окраину боя, подѣ самой турецкой траншеей скользнулъ на добромъ арабскомъ конѣ, бросилъ флангамъ грозовой привѣтъ и вынесся впередъ, самъ обезумѣвшій отъ гнѣва, отъ злобы, отъ жажды крови... Шпоры впиваются въ бѣлую кожу коня, рвутъ ее, нервно подергиваются губы; подѣ глазами легли черныя полосы... Воздуху! воздуху! дышать нечѣмъ... Впередъ! бей ихъ, друзья... Никому не будетъ пощады. Мсти за своихъ!.. Загѣвайте громче свою бранную пѣсню, кровожадные барабаны, — громче, чтобы заглушить въ немногихъ робкихъ душахъ послѣдній шопотъ жалости, послѣдную жажду жизни... Громче направляйте барабаны эту злобой охваченную толпу... Гуще падай туманъ на облитые кровью скаты, — гуще, темнѣе, чтобы никому не былъ виденъ ужасъ, творящійся здѣсь... Чтобы жало штыка встрѣчало вражью грудь, а очи враговъ не видѣли другъ друга...

— Не останавливаться!.. Впередъ! — хрипло кричитъ Дороновичъ уже въ занятой имъ траншеѣ... — На плечахъ у бѣглецовъ воровись въ редуть, ребята... За мной, друзья! — И почти тутъ же тяжелый прикладъ солдата опускается на черепъ обезумѣвшаго отъ ужаса турка...

— Впередъ, охотники!.. Впередъ! — выбѣгаетъ Дороновичъ изъ траншеи... — Впередъ — редутъ недалеко...

— Сюда, охотники!.. — въ вихрь бури слышенъ чей-то голосъ. — Сюда... Здѣсь они, проклятые, здѣсь... Сюда, друзья!.. За мной, дѣти... Однимъ ударомъ возьмемъ...

Но послѣднія слова его тонуть въ свистъ картечи, въ разъяренныхъ запахахъ оттуда, отъ которыхъ самый воздухъ, кажется, сможетъ оттолкнуть нападающихъ.

Ивковъ, Харабовъ — всѣ тутъ... Какіе-то офицеры изъ другихъ частей... Все перемѣшалось, все одною бѣшеной толпой несется къ редуту... Тысячи побѣжали на скатъ — сотни уже упали... Сотни упадутъ сейчасъ, — до вала добѣгутъ десятки... Что нужды? — лишь бы дорваться... Скорѣй, скорѣй въ этотъ туманъ, откуда несется громкое «ура», откуда слышенъ ободряющій голосъ генерала... Скорѣй, скорѣй! — Что нужды!.. Изъ лощины выбѣгаютъ новыя тысячи... Опять онѣ таютъ на скатѣ, и снова десятки добѣгаютъ къ валу... Тутъ ужъ все перепуталось, ничего не разберешь — стихія бѣснуется на просторѣ: пламя рвется вверхъ, вода затапливаетъ землю, прорвавъ и размывъ жалкія плотины...

— Сюда, охотники! Сюда, друзья! — точно ловчій въ рогъ сзываетъ на травлю озлившуюся стаю собакъ... Покорныя зову, всѣ онѣ уже тутъ, — добѣжали къ сѣрой насыпи и ливень свинца оттуда. Кажется, что редутъ этотъ дышитъ картечью.

На минуту разбросило туманъ, вѣтромъ повѣяло съ сѣвера; но его холодный воздухъ не освѣжилъ эти разгорѣвшіяся лица, — не пахнулъ свѣжестью въ эти разгорячившіяся груди... Скорѣй, скорѣй! рвутся отсталые... Въ свирѣпой злобѣ своей, царапая землю, на мѣсто боя ползутъ раненые... Умирающіе, приподымаясь на рукахъ, орутъ «ура», выбрасывая въ этотъ предсмертный крикъ послѣдніе отблески угасающей жизни... Уже на штыкахъ красныя полосы... кровь бѣжитъ по дуламъ ружей, кровь на рукахъ, на лицахъ... Не разберешь — гдѣ своя, гдѣ чужая... Тщедушный, робкій Харабовъ неузнаваемъ: выросъ, голова закинута назадъ, голосъ звучитъ металлическими нотами; рука такъ схватилась за шнагу, что, почти ломаясь, впивается вся рукоять; онъ бодро, смѣло и стройно ведетъ своихъ; Парфеновъ не отстаетъ отъ него. Старику почудилась Балаклава... Малаховъ курганъ, какъ живой, выросъ передъ глазами. Вспомнилъ онъ тогдашнюю тоску сдачи послѣ рокового боя — и хрипло бросаетъ свое «ура» прямо въ лица врагамъ, уже стоящимъ на валахъ, уже оцетинившимся шты-

ками. Въ сгустившуюся массу врывается картечь, расчищая улицы... И въ эти промежутки вбѣгаютъ новые бойцы... А изъ ложины поднимаются новыя и новыя тучи... Молодой парень тоже вспомнилъ старое, взялъ ружье за дуло и чиститъ себѣ путь прикладомъ.

— Алла, Алла! — такъ же бѣшено несетса съ валовъ... Какой-то мулла, въ зеленой чалмѣ и зеленомъ халатѣ, вскочилъ на самый брустверь и выкрикиваетъ оттуда свои проклятія... Въ упоръ кладетъ его Парфеновъ, и замирающее «Алла» опять подхватывается обреченными на смерть таборами.

— Еще немного, ребята, — за мной!..

Генераль врывается на насыпь редута, скатывается оттуда внизъ, подымается опять, весь покрытый грязью, облѣпленный ею, и хрипло зоветъ за собою солдатъ... На немъ лица нѣтъ — что-то черное, кровавое, бѣшеное... Харабовъ, Дороновичъ и Ивковъ уже на валахъ. Вскипаетъ послѣдній актъ этой трагедіи, — послѣдній и самый ужасный... Штыковый бой уже начался по окраинамъ... Въ амбразуру, откуда орудіе, напослѣдокъ, прямо въ густую толпу, выбросило картечь, вскочилъ генераль... штыкъ ему навстрѣчу, — уже коснулся груди... Но парень со своимъ ружьемъ тутъ какъ тутъ. Тяжелый прикладъ съ глухимъ звукомъ встрѣчаетъ високъ низама, и генераль уже впереди, не видя, кому онъ обязанъ своимъ спасеніемъ, не зная даже, какая опасность ему грозила... Звѣрь сказывался въ немъ, звѣрь и въ этихъ врывающихся сюда толпахъ... Звѣрь, попробовавшій крови; звѣрь, не дающій никому пощады... Никакой правильности въ этомъ бою. Въ одномъ мѣстѣ мы напали на турокъ — они подались; въ другомъ — обратно... Здѣсь мы бьемъ, тамъ бьютъ насъ. Боевая линія изломана такимъ образомъ, что часто мы съ тылу бьемъ турокъ, часто турки выбѣгаютъ намъ въ затылокъ...

## XI.

### Третья Плевна: послѣ штыковаго боя.

Редутъ взять.

Земляныя насыпи, стальные орудія, сѣрыя шинели солдатъ, лица ихъ и руки забрызганы кровью... Кровь стоитъ лужами внутри редута — лужи и внѣ его. Кровь испаряется въ туманъ, точно дѣлая

его еще тяжелѣй. Сапоги побѣдителей уходятъ въ кровь. Жажущіе отдыха послѣ устали безпощадной бойни — садятся, ложатся въ кровь... Кажется, что и сверху падаетъ она съ дождевыми каплями... Кажется, что эта мгла насквозь пропитана ею...

Защитники редута почти все остались здѣсь...

Кому удалось выбраться изъ-за этой земляной насыпи, тотъ улегся на скатахъ холма... Вонъ весь склонъ его покрытъ этими разбросанными, исковерканными тѣлами.

Внутри повернутся негдѣ.

Точно нарочно набили этотъ редутъ мертвецами. По угламъ ихъ груды... Изъ-подъ нихъ, порою, прорывается болѣзненный стонъ... На одну изъ этихъ грудъ съ ужасомъ уже смотритъ Парфеновъ; старику помнится, что сюда, словно испуганное стадо, сбились бросившіе оружіе турки... На колѣняхъ стояли, кричали «аманъ»... передъ старикомъ — до сихъ поръ эти умоляющія лица, эти руки, простертыя къ побѣдителямъ, эти покорно склонявшіяся подъ солдатскіе приклады головы... И онъ въ жару, вмѣстѣ съ другими, кололъ, и онъ убивалъ просившихъ пощады... Парфеновъ недоумѣло оглядывался — неужели никто не уцѣлѣлъ? нѣтъ, все синія куртки лежатъ... Истребленіе бушевало здѣсь, не зная предѣла... Милости не было никому... Страшно становится Парфенову... онъ оглядывается на своихъ: видимо и другіе чувствуютъ то же самое.

Нѣтъ ни въ комъ этого торжества побѣды, радостнаго ликованія уцѣлѣвшей толпы. Молча сидятъ на брустверахъ... Дымки закуренныхъ трубокъ курятся кое-гдѣ. Не слышно говора... Вонъ паренекъ — новичокъ въ ратномъ дѣлѣ — остановился надъ громаднымъ туркомъ, раскинувшимся въ кровавой лужѣ, и вглядывается въ его лицо, — пристально вглядывается, точно хочетъ допроситься чего-то. И на него пристально смотритъ турокъ — только неподвижнымъ, полнымъ ужаса взглядомъ... Разбросалъ руки — и смотреть; и оба они — мертвый и живой — не могутъ отвести глазъ одинъ отъ другого.

Посмотрѣлъ Парфеновъ въ другую сторону — вонъ Дороновичъ безсильно прислонился къ банкету бруствера: некому перевязать ему рану; кровь обильно течетъ изъ нея. Вонъ опять робкій и смущенный Харрабовъ, съ котораго уже сбѣжало оживленіе боя, наклонился надъ умирающимъ Ивковымъ и, приставивъ ухо къ его рту, прислушивается къ послѣдней волѣ своего ротнаго командира...

Ивковъ умираетъ... По крайней мѣрѣ, такъ ему кажется...

онъ не чувствуетъ никакой боли, — нѣтъ, только не можетъ ни пошевелинуться, ни высказаться; шепчетъ тихо, тихо... Порою передъ его глазами все заволакиваетъ какое-то облако; оно опускается на него, давить его, перехватываетъ дыханіе... потомъ эта мгла проясняется; въ облакъ проступаетъ голова Харабова, и Ивковъ опять начинаетъ говорить ему; потомъ опять черты уцѣлѣвшаго офицера точно вздрагиваютъ, колеблются, все лицо его колыхнется, дѣлается смутнымъ, неопредѣленнымъ, точно плаваетъ въ туманѣ, уходитъ въ туманъ, и опять Ивкову дышать нечѣмъ, опять это облако заслоняетъ все...

— Портретъ взять у васъ — да?

— Да! — едва слышно шепчетъ Ивковъ... — Куда вы уходите?... побудьте около меня!

— Я не ухожу, я здѣсь...

— Неправда, вонъ вы опять подымаетесь...

— Я слышу васъ, капитанъ... Говорите! я не пророню ни одного слова.

— Портретъ... верните къ ней... слышите меня?...

— Слышу, слышу...

— Скажите — вѣрно Богъ не судилъ... Пусть будетъ... счастлива... Тамъ у Алексѣя... письма! Какія деньги есть — денщику... Алексѣю... Возьмите его къ себѣ... Рота моя, рота...

— Хотите видѣть кого?

— Роту мою... Ахъ, вы опять уходите!.. Какую это тучей заволакиваетъ?..

Харабовъ на этотъ разъ дѣйствительно отошелъ... Онъ сзывалъ солдатъ... Быстро окружили они своего умирающаго командира... Харабовъ опять наклонился къ нему.

— Прощайте... товарищи... люблю я васъ... больно мнѣ расставаться съ вами...

Харабовъ передалъ этотъ попотъ... Солдаты крестились... слезы сбѣгали по суровымъ, одеревенѣвшимъ лицамъ. Парфеновъ наклонился и поцѣловалъ руку умирающему...

— Прощайте... служите вѣрно... наша смерть нужна — великому дѣлу... Прощайте...

Молча, еще тѣснѣе сдвинулись солдаты кругомъ, не отрывая взглядовъ отъ лица Ивкова... Онъ тоже видѣлъ ихъ по временамъ... Всѣ эти сѣрыя фигуры точно стоятъ въ тучѣ, колышатся, приподымаются, опускаются опять, наклоняются къ нему. Кажется, вотъ, вотъ близко — нѣтъ опять медленно уносятся вверхъ, заволакиваются мглою...

— Гдѣ Дороновичъ?..

— Раненъ въ плечо и въ грудь...

— Попрощайтесь съ нимъ... пожмите ему руку... Дайте мнѣ вашу руку...

Харабовъ взялъ его за руку.

— Крѣпче, крѣпче держите меня... Не пускайте меня... Не пускайте... Эта туча и меня уносить... Харабовъ, не отдавайте меня ей... Не пускайте меня... Держите крѣпче... Держите...

Но туча не слушалась... Туча уносила его все выше и выше... Туча совсѣмъ уже унесла его, такъ что шопоть его не слышенъ Харабову... Туча уже далеко, далеко плыветъ съ нимъ, оставивъ здѣсь, въ лужахъ крови, среди этого ада, только пробитое насквозь холодное тѣло... Харабовъ не опускаетъ его руки... Онъ вглядывается, какъ сознание сбѣгаетъ съ его лица, какъ тускнуетъ и стеклѣются глаза...

— Умеръ капитанъ, ребята!.. — грустно звучить его голосъ...

Слышитъ это капитанъ и не протестуетъ... Безкровныя губы его неподвижны, въ глазахъ ни искры... Онъ уже не проситъ держать его... Онъ уже далеко, далеко... вмѣстѣ съ тучами, вмѣстѣ съ дымомъ, вмѣстѣ съ мольбами, никѣмъ не услышанными, уносится все выше и выше... Не удержишь его!.. Не вернешь его!..

— Ребята!.. Щи капитану... Гдѣ капитанъ?..

Солдаты оглядываются... У входа въ редутъ — малорослый солдатикъ, кепка на затылкѣ; на лицѣ выраженіе устали — видимо, издали пришелъ... Онъ остановился передъ грудой тѣлъ...

— Гдѣ, братцы, капитанъ тутъ?.. Проголодался, должно быть... Легко ли, съ утра ничего не ѣлъ... Оно хоть и холодныя щи, да все же лучше, чѣмъ такъ-то, впустую... Ваше-скоблагородіе, гдѣ вы?..

Денщикъ обошелъ груды тѣлъ...

— Эко набили, проклятыхъ, — цѣдитъ онъ сквозь зубы, а самъ взглядомъ такъ и обѣгаетъ солдатъ... Не видно Ивкова, нигдѣ его нѣтъ.

— Гдѣ капитанъ, братцы? — озабоченно допрашивается денщикъ, держа осторожно на вѣсу судокъ со щами...

Окружавшая Ивкова рота разступается... Въ концѣ этой улицы Алексѣй видитъ лицо Ивкова, лежащаго на банкетѣ...

— Усталъ, должно быть... Легкое ли дѣло!.. Щей я вамъ... А самъ идетъ...

Солдаты разступаются все шире и шире... Ближе подходитъ Алексѣй... Что за странное дѣло?..

— Господи!..

Кепка сама собой слетѣла... Алексѣй кинулся къ капитану...  
Въ глазахъ слезы... Всклипываетъ...

— Христе-Боже!.. Отецъ родной!..

Посмотрѣлъ-посмотрѣлъ въ неподвижное лицо мертваго... Взялъ свои щи опять и медленно пошелъ изъ редута... Тутъ во всѣ глаза смотреть на него. Кто-то догналъ, надѣлъ на него упавшее кепи; Алексѣй даже и не почувствовалъ... Вышелъ наружу, сѣлъ у вала... Задумался, ковыряетъ мокрый песокъ пальцами, покачивается справа налево, безъ толку, видимо ничего не замѣчая, смотритъ на скатъ, покрытый мертвыми, а крупныя слезы такъ и льются, такъ и льются изъ потускнѣвшихъ глазъ...

— Чего тутъ?.. Не поможешь... — подходить къ нему Парфеновъ.

— Отецъ былъ... Дурного слова я отъ него не слыхалъ...

Раненыя ползаютъ внизу; какой-то турокъ тщетно старается приподняться... Чуть-чуть отведетъ голову отъ земли, упрется на руки и опять падаетъ навзничъ, чтобы тотчасъ же повторить тотъ же неудачный маневръ... Вотъ другой всталъ на ноги... Сдѣлалъ нѣсколько шаговъ и валится, чтобы уже никогда болѣе не подыматься... Третій, сидя, мѣрно колышетъ головой вправо и влево... Въ головѣ засѣла пуля... Точно ему легче такъ, точно это не самъ онъ, а въ шею пружина такая устроена...

Туманъ, унесшій капитана, точно удовлетворился этою жертвою... Все кругомъ еще окутано мглою... Внизу, въ лощинѣ, она какъ рѣка течетъ и волнуется... Наверху — здѣсь уже расчистило... Даже какой-то синій просвѣтъ вверху... Неужели это небо?.. Въ первый разъ оно открылось, но мертвыя очи уже не видятъ его; молитвы умирающаго не уносятся въ его голубой просторъ... Тихо ѣдетъ генералъ къ редуту... Мрачно оглядывается онъ по сторонамъ, оцѣнивая потери сегодняшняго дня... Вотъ онъ остановилъ коня надъ однимъ изъ офицеровъ... Тѣнь скользнула по молодому лицу...

— Это, кажется, Неводинъ? — оборачивается онъ къ адъютанту.

— Точно такъ, ваше-ство!..

— Хорошій офицеръ былъ. Георгіевскій казалеръ... Жаль... Скорѣй санитаровъ сюда!.. Собрать раненыхъ!..

Молча, выѣхалъ онъ въ редутъ... Сошелъ съ коня, вошелъ въ брустверь.

Пытливо оглядываетъ окрестности...



— Спасибо, ребята, за службу, — тихо благодарить солдатъ. — Потрудились честно сегодня... Орлами налетѣли... Видѣлъ я, какъ дрались вы... Львы!.. Я счастливъ, что командую такими молодцами... Устали?..

— Устали, ваше-ство...

— Отдохните... Подѣла сдѣлали... Теперь удержаться надо...

— Поручикъ Дороничъ!.. Сидите, сидите!.. Поздравляю васъ съ Георгіевскимъ крестомъ...

— Не заслуживаю, генераль...

— Это какъ?

— Въ оврагъ...

— Ну, батюшка, вы двадцать овраговъ заставили позабыть...

Спасибо, ребята, еще разъ!.. Вотъ и солнце, кажется... Знамена на валы! — громко скомандовалъ онъ.

Мертвый редуть словно разомъ оживился...

Два батальонныхъ знамени взвились надъ брустверомъ... Первый сегодня солнечный лучъ загорѣлся на ихъ крестахъ, легкій вѣтеръ колыхнулъ и словно паруса развернулъ ихъ полотнища... Одинъ этотъ редуть съ своими знаменами былъ освѣщенъ солнцемъ... Кругомъ все еще тонуло въ туманѣ. Точно корабль въ океанѣ неся куда-то этотъ клочекъ земли...

Умирающіе, подымая взгляды среди мучительной агоніи, встрѣчали свои знамена... Развѣваясь надъ сѣрыми валами, они точно призывали благословеніе небесъ на этотъ міръ несчастья и муки...

— Маіоръ Горталовъ, вы остаетесь комендантомъ редута! — обернулся генераль къ небольшого роста офицеру. — Могу я рассчитывать на васъ? Тутъ нужно удержаться во что бы то ни стало...

— Или умереть, ваше-ство!

— Подкрѣпленій, можетъ быть, не будетъ... Дайте мнѣ слово, что вы не оставите редута. Это сердце непріятельской позиціи... Тамъ, — и генераль кинулъ горькую улыбку, — назади еще не понимаютъ этого... Я поѣду убѣждать ихъ... Дайте мнѣ слово, что вы не оставите редута!..

— Моя честь порукой!.. Живой не уйду отсюда...

И Горталовъ поднялъ руку, какъ бы присягая.

Генераль обнялъ и поцѣловалъ Горталова.

— Спаси васъ Богъ!.. — Помните, ребята, подкрѣпленій не будетъ — еще разъ! Рассчитывайте только на себя!.. Прощайте, герои!..

Отъѣхавъ на версту, генераль оглянулся на редуть. Весь онъ казался на высотѣ. Два знамени его въ солнечныхъ лучахъ гордо вѣяли надъ сѣрыми насыпями.

Клубившійся кругомъ туманъ еще не окуталъ ихъ своимъ однообразнымъ маревомъ. Корабль, казалось, величаво несъ въ этомъ волнующемся океанѣ свои паруса и мачты...

— На смерть обреченные! — И еще печальнѣе сталъ генераль, прощаясь взглядомъ съ лучшими изъ своихъ сподвижниковъ.

---

## ХІІ.

### Третья Плевна: на смерть обреченные.

---

Мгла безъ просвѣту: опять густой туманъ снизу, темныя тучи сверху...

Между ними корабль, затерявшійся въ океанѣ, сѣрый, забрызганный кровью редуть... Гордо вѣютъ знамена, влажныя отъ тумана; гордо ихъ бѣлые Георгіевскіе кресты прорѣзываютъ мглу... Какъ мѣдный змій Моисея привлекалъ къ себѣ взгляды умирающихъ, молитвы раненыхъ страдальцевъ и надежды немногихъ оставшихся живыми — вились около этихъ знаменъ...

Казалось, корабль, потерпѣвъ крушеніе, сѣлъ здѣсь на подводный камень. Всѣ уцѣлѣвшіе сбѣжались на его палубу, загроможденную обломками... Кругомъ въ бушующихъ волнахъ гнѣвнаго моря бьются тѣ, кто успѣлъ захватить выброшенные за бортъ бочки, куски мачтъ... Ихъ стоны доносятся къ кораблю, немногіе изъ его экипажа слышать ихъ... Слышащіе не въ силахъ помочь имъ... Боритесь, боритесь сами, одни!.. Надѣйтесь только на остатки собственныхъ силъ, отсюда никто не бросится за бортъ, чтобы подать вамъ руку, отнять у бездны ея уже намѣченную жертву. Боритесь одни среди этого волнующагося простора! Ваши вопли глушитъ туманъ; они не больны никому, потому что и уцѣлѣвшіе готовятся къ смерти, и они знаютъ свою судьбу...

Какъ жертвы бури, вокругъ редута корчились и стонали сотни раненыхъ. Пербитыя ноги, насквозь пронизанныя пулями тѣла, въ которыхъ еще бились слабые пульсы жизни... Дѣйствительно, это были утопающіе, цѣпко державшіеся за обломки мачтъ. Жизнь, за которую

они такъ жадно схватывались, уносили волны далеко-далеко къ неизвѣстнымъ берегамъ... Тѣ, которые сидѣли въ редутѣ, поддались на время тупому утомленію измученныхъ бойцовъ... Молчали ощущенія, молчало сердце... Стоны не были больны имъ; муки тѣхъ не были имъ близки... Они, — эти защитники передового редута, — сидя между труповъ, на облитой кровью землѣ, знали свое положеніе, хорошо знали. Они не утѣшали себя надеждой на близкую помощь, увѣренностью въ свое спасеніе. Въ самомъ сердцѣ непріятельскихъ позицій они могли только умирать, и до того упали нервы — смерть уже не пугала ихъ, страданія близкаго будущаго, можетъ быть, этой самой ночи, уже не волновали ихъ души, не вызывали опасеній... На смерть обреченные ждали своей участи, какъ измученный одиночнымъ заключеніемъ, извѣрившійся во всемъ приговоренный спокойно, безразлично ждетъ казни... Завтра захочется жить... Сегодня, среди этого ада, жизнь потеряла свой блескъ. Ея краски поблекли; какъ подстрѣленная птица, она волочить обезсилѣвшія крылья по слякоти и задыхается въ послѣднихъ конвульсіяхъ... Слишкомъ, слишкомъ много было пролито крови; только острый запахъ ея, острый запахъ отъ этихъ черныхъ тускло блестящихъ лужъ билъ въ носъ, возбуждалъ отвращеніе, шевелилъ первы... Слишкомъ много неподвижныхъ глазъ было устремлено на защитниковъ редута, слишкомъ для того, чтобы эти мертвые взгляды вызывали ужасъ, отвращеніе... Слишкомъ много кругомъ труповъ, и въ этомъ царствѣ смерти смерть не казалась ужасной, она законная владычица, она царица здѣсь, ея тронъ — вотъ, и страхъ неизвѣстнаго падалъ все ниже и ниже среди *этой* дѣйствительности...

Да, это былъ моментъ затишья...

Тамъ, далеко-далеко на Гривицкихъ позиціяхъ, за Тученицей, гремѣли залпы; ревъ орудій точно раздиралъ густую полосу тумана; тамъ шелъ еще бой; тамъ падали и торжествовали... Здѣсь тишина... Тишина глухая, зловѣщая... Въ туманѣ глазъ только оглядываетъ турецкіе окопы; ухо ихъ не слышитъ; точно звѣрь, припавшій къ землѣ и замершій на мгновеніе передъ послѣднимъ и рѣшительнымъ прыжкомъ на свою намѣченную жертву...

Тишина и позади, и на тѣхъ редутахъ бой умолкъ... Ненадолго, но умолкъ... Тамъ отдыхаютъ, если только можно назвать отдыхомъ эту медленную агонію, когда члены умирающаго неподвижны — ихъ уже коснулась смерть. Въ однихъ глазахъ, въ ихъ остромъ, воспаленномъ взглядѣ выражается столько муки, въ еще бьющемся, ощущающемъ сердцѣ столько страданій, въ еще работающемъ мозгѣ столько

суровыхъ воспоминаній, что видишь, какъ неподвижный трупъ живетъ внутреннею жизнью, цѣпко держится за нее, дорожка даже ощущеніемъ боли, потому что она одна отдѣляетъ его отъ смерти.

Горталовъ вышелъ на гласисъ...

Передъ нимъ клубилась мгла всюду, куда онъ только ни заглядывалъ. Надъ нимъ слышался шелестъ знамени... Какая-то грузная птица, тяжело размахивая крыльями, со-слѣпа ударилась было въ древко — и скоро унеслась дальше... Не воронъ ли?.. Вѣдь сегодняшній день — день его торжества, его побѣды... Горталовъ зорко всматривался впередъ... Вслушивался туда, но тамъ стояла такая же тишина. Тишина тяжелая, какъ воздухъ, пропитанный испареніями крови, какъ туманъ, проникнутый дыханіемъ умирающихъ... Только изнутри редута уже слышался говоръ тихій, словно крадущійся...

На сѣверо-востокъ туманъ было порѣдѣлъ.

Туда шли пустынные теперь скаты...

— Тамъ эта самая Плевень и стоитъ, дяденька? — спрашивалъ курносый парень у Парфенова.

— Должно, тамъ...

— Ишь на дно на самое скоронилась...

— Позиція, одно слово.

— Таперь бы самое пустое дѣло — туда...

— Сунься-ко!..

— А что?

— Въ затылокъ влетить. Только мы здѣсь наверху, а по всей остальной округѣ турки словно въ гнѣзда засѣли по горамъ... Ты внизъ, а онъ тебя сверху...

Горталовъ сталъ смотрѣть туда...

Туманъ все рѣдѣлъ и рѣдѣлъ тамъ...

Было ли это дѣйствиемъ послѣднихъ солнечныхъ лучей, или грузныя тучи, пронесившіяся вверху, притягивали къ себѣ эту липкую густую мглу... Только словно въ сырой дымкѣ проступили овраги и лощины, еще нѣсколько минутъ назадъ покрытые волнующимся маревомъ тумана... Вонъ тускло блеснула рѣка въ своей излучинѣ... Какія-то бѣлыя точки около... Должно быть, палатки турецкаго лагеря... Вотъ еще дальше — узкая долина Тученицы... Красивая...

Горталовъ точно въ послѣдній разъ хочетъ наглядѣться...

Солдаты, всползшіе на брустверь, уперлись локтями въ его гребень и тоже смотрятъ туда... Глазь не оторвутъ...

Вотъ изъ-за чего столько павшихъ было, вотъ изъ-за чего столько пролилось крови!..

— Ахъ ты, Плевень, Плевень!..

— Красовитый городокъ...

— Ишь ты, бѣлый весь... А это мечети, должно?..

— Онѣ и есть...

Бѣлый миражъ на днѣ долины...

Бѣлые дома... Изрѣдка зеленыя облака сада... Большія бѣлыя мечети... Надъ городомъ, точно сбѣжавшимся въ одну тѣсную кучку, висятъ тонкіе минареты и тонкія верхушки тополей... Они словно хотятъ перераста другъ друга... Точно тѣ и другіе рвутся вверхъ изъ гущи этихъ черныхъ перепутанныхъ улочекъ, изъ сумрака этихъ тѣсныхъ переулковъ. Дышать имъ хочется, ищутъ воздуха, простора, свѣта!..

Бѣлый миражъ... Кажется, вотъ-вотъ повѣетъ вѣтромъ, и онъ всколыхнется и разсѣется въ воздухъ. И теперь точно дрожитъ этотъ бѣлый городъ, точно ему холодно въ этой сырой дымкѣ тумана, словно ему хочется поскорѣе сбросить ее и заиграть на солнцѣ огнями безчисленныхъ оконъ, серебряными шпильями минаретовъ, бѣлыми стѣнами домовъ...

Раненые Дороневичъ и Харабовъ тоже поднялись наверхъ и вперили взгляды въ это мимолетное видѣніе осажденнаго, штурмуемаго города... Мимолетное — потому, что оно могло каждое мгновеніе исчезнуть, закутавшись въ туманъ, только на короткое время приподнявшійся надъ этой долиной.

Харабову пришло въ голову сказаніе о легендарной царицѣ, запертой въ терему... Сколько витязей сложили головы въ бесплодныхъ поискахъ найти къ ней доступъ. На острыхъ шипахъ ограды — головы этихъ жертвъ, кругомъ кипятъ битвы за обладаніе затворницей, а самой ей, прекрасной и спокойной, заточенной въ глуши своего дѣвичьяго терема, и горя мало до того, сколько сердець разобьются изъ-за одного желанія взглянуть на нее, — спокойную и прекрасную...

— Какъ пустынны улицы! Какая зловѣщая тишина!..

— Я думаю, эта часть города, обращенная сюда, совсѣмъ оставлена жителями...

— Сколько убійствъ тамъ!.. Вотъ, воображаю себѣ, положеніе христіанъ!..

— Во всякомъ случаѣ не хуже нашего...

— Ну, мы между своими...

— Умирать все равно, такъ или иначе... Смерть одна...

— Что это?..

Какія-то темныя массы шли по противоположнымъ скатамъ, мимо Плевны...

Правильныя темныя массы... Точно однообразныя пятна двигаются тамъ.

Можно было подумать, что это тѣни отъ тучъ, пробѣгающихъ мимо солнца, если бѣ въ этотъ холодный и туманный день солнце хоть на одну минуту улыбнулось умирающимъ.

— Это, должно быть, турецкіе таборы двигаются...

— Куда же?

— Можетъ быть сюда... Ишь — вонъ и снимаются съ тѣхъ позицій... Вѣрно перебросятся къ намъ...

Темныя пятна становились все крупнѣе и крупнѣе...

Исчезало одно — появлялось другое... И такъ безъ конца...

— Не готовятся ли турки къ стесненію?..

— Если мы останемся здѣсь, имъ ничего больше не придется дѣлать.

— А если они насъ выбьютъ?..

— Кампанія затянется на зиму...

— Мы только уже не увидимъ конца ея...

— Что это вы, Дороновичъ, каркаете?..

— Нашъ редутъ обреченъ на смерть... Вы вспомните мои слова потомъ... На тѣхъ удержатся, можетъ быть, но удержатся цѣною нашей смерти, цѣною нашей крови. Объ насъ разобьется первый ударъ турокъ... Потомъ они разобьютъ насъ, въ свою очередь... Они какъ волны перекачатся черезъ нашъ редутъ, оставивъ позади мертвыхъ и замученныхъ...

— Вы бы пошли на перевязочный пунктъ... — посоветовалъ Харабовъ.

— Не могу...

— Почему это?..

— Я далъ себѣ слово остаться здѣсь.

— Да вѣдь вы бесполезны теперь.

— Почемъ знать?.. Скоро придетъ минута, когда уцѣлѣвшимъ захочется быть мертвыми... Вы позавидуете намъ... Ахъ, какъ мозжить!.. Я не уйду еще по одной причинѣ...

— Ну?

— Ее знаютъ только двое — я и генераль.

— Послушайте, Дороничъ, вы, кажется...

— Въ бреду вы думаете?.. Нѣтъ... Я только не договариваю... Я долженъ здѣсь остаться... Я былъ на минуту измѣнникомъ своему знамени и бросилъ своихъ солдатъ...

Харабовъ тревожно взглянулъ на него...

— Говорю вамъ, я въ своемъ умѣ... Можетъ быть, только возбужденъ больше...

— Плевна опять пропадаетъ... — сказала кто-то со стороны.

Оба, и Дороничъ и Харабовъ, засмотрѣлись туда... Дѣйствительно, бѣлый миражъ тускнѣлъ... Сначала точно его дымомъ задернуло... Потомъ пропали бѣлыя стѣны домовъ, и только бѣлые минареты точно всплывали надъ клубами сѣраго дыма... Туманъ все поднимался выше и выше; вотъ въ его однообразномъ маревѣ какая-то свѣтлая точка плаваетъ — скоро и она тонетъ, и опять передъ защитниками редута одна волнующаяся тяжелая мгла...

— Хотъ бы этихъ не видѣть... Хотъ бы ихъ убрали, — волновался Дороничъ, указывая на сотни труповъ, лежавшихъ въ самыхъ разнообразныхъ положеніяхъ внутри редута.

Въ одномъ изъ угловъ стѣной стояли эти трупы. Здѣсь во время боя нашелъ себѣ послѣднюю защиту гарнизонъ редута. Сюда сбѣжались тѣ, которые не хотѣли бросать, подобно своимъ товарищамъ, оружіе, падать на колѣна, кричать «аманъ!»... Здѣсь турки умирали, не сдаваясь. Сюда они отступили и здѣсь же продавали жизнь за жизнь: падали — убивая, убивали — падая...

— Нужно бы велѣть убрать, да солдаты устали и безъ того.

Солдаты, впрочемъ, уже оправлялись и поэтому не такъ подавались ощущеніямъ. Они обшаривали убитыхъ, отыскивая галеты. Зачастую галеты оказывались пропитанными кровью, разбирать было нечего. Вѣсть хотѣлось. Ъли и такіе... У убитыхъ оказывалась еще болѣе драгоценная вещь — табакъ... Трубочки вспыхивали кое-когда въ редутѣ, вселяя въ живыхъ относительное спокойствіе...

— Ишь ты! — остановился курносый парень передъ двумя трупами.

Русскій и турокъ.

Друзья не обнимутся такъ крѣпко въ минуту послѣдняго прощанія передъ смертью, какъ обнялись эти... Обнялись и замерли... На окостенѣвшихъ лицахъ еще живо выраженіе злобы и ненависти; полуоткрытый ротъ — точно сейчасъ хриплый бѣшенный крикъ вырвется оттуда, прямо въ такое же перекошенное, остервенѣлое лицо врага...

Штыкъ сломался въ груди у нашего солдата; у турка раскроены чепъ... Видно, схватились, а сзади послѣла неожиданная помощь... Убитый врагъ упалъ на землю, не выпуская борца изъ своихъ задушающихъ объятий...

— Дяденька!..

— Чего тебѣ? — недовольно откликнулся Парфеновъ, которому стало уже противно зрѣлище этой бойни.

— А вовсе и не страшно здѣсь... Какъ бы дома рассказать, не повѣрять...

— Есть что рассказывать!.. Съ души воротить...

— Да ёнь — врагъ въдь...

— Врагъ-то врагъ... А только и у него, поди, дѣтишки есть...

Дѣтишекъ-то, поди, сколько сегодня осиротѣло... Ъсть захотятъ, кто ихъ накормить?..

— Въ деревнѣ тоже, дяденька, какъ гнѣзда галочки разоришь, такъ птенчики всю ночь кричать... Летѣть не могутъ, matka ихъ не отыщеть, они и кричатъ... Клювы это раскроютъ... Голые такіе...

Бѣлокурныя головки племянницъ то и дѣло мелькали передъ глазами Парфенова.

Онъ остановился передъ трупомъ громаднаго низама, что, раскинувъ руки, навзничъ упалъ... и теперь открытые глаза его удивленно всматриваются въ сѣрое небо...

Парфеновъ этого помнилъ... Хорошо помнилъ. Когда онъ вскочилъ въ редутъ, этотъ къ нему навстрѣчу, кинулся и наткнулся на штыкъ...

«Мой крестникъ!» — угрюмо шутилъ про себя Парфеновъ, — такой же старый, какъ и я...

«Поди, у него тоже дѣтишки есть... Ахъ ты, горе горькое!..» — отвелъ глаза, а самого такъ и тянетъ взглянуть еще разъ.

Вонъ одинъ еще корчится... Видимо, страдаетъ бѣдняга. Кровь запеклась на груди, кровь и на животѣ... Умереть не можетъ, а тяжело достаются послѣднія мгновенія... Страшно тяжело... По лицу пробѣгаютъ судороги, въ горлѣ хрипитъ что-то... вытянетъ шею и корчится, такъ что гортань точно выскочить хочетъ... Пальцы посинѣвшихъ рукъ совсѣмъ въ землю врылись.

Курносый парень остановился надъ нимъ...

— Эко бѣдный! — зашевелилось у него на душѣ...

— Дяденька, долго ли онъ такъ промучается?...

Турокъ повернулъ къ нимъ лицо; острый воспаленный взглядъ



точно искалъ состраданія; на мгновеніе въ немъ мелькнуло совнаніе, онъ поднялъ руку и провелъ ею по шеѣ.

— Ишь, чего просить... понялъ, парень?..

— Должно, мука ужъ очень тяжка... Помереть хочеть...

— Все одно помреть...

— Помреть-то помреть, да сколько промается... Всю ночь такъ-то стонать будетъ.

Отошелъ было парень, а крикъ этотъ все его преслѣдуетъ, въ ушахъ стоитъ, да и только... Накрылъ было раненаго шинелью тотъ въ конвульсіяхъ сбросилъ ее и застоналъ еще сильнѣй... Видимо, солдатамъ невтерпежъ отъ этихъ хриплыхъ криковъ...

Вотъ одинъ подобрался съ ружьемъ...

Дуло къ виску... Короткій глухой звукъ, словно проглоченный туманомъ, и мучившійся турокъ вытягивается, и выраженіе страданія сбѣгаетъ съ его лица...

Теперь ему хорошо, спокойно...

А туманъ все гуще и гуще...

На западѣ блеснули желтоватыя тоны заката, скудный лучъ его золотитъ крестъ безсильно опустившаго свое полотнище знамени... Туманъ скоро весь просочился золотистымъ сіяніемъ заката... еще ярче разгорается крестъ... Золотистые лучи играютъ въ раскрытыхъ очахъ мертвецовъ; золотые лучи вносятъ робкую надежду въ извѣрившіяся сердца живыхъ страдальцевъ.

И все дальше и дальше одинокій корабль со своими сѣрыми валами и горделивыми мачтами-знаменами плыветъ въ этомъ морѣ золотистой мглы, все далѣе и далѣе уноситъ съ собою горсть обреченныхъ на-смерть пловцовъ...

Плыви къ вождѣльному берегу... Плыви по волѣ судьбы... Пусть скорѣе утихнутъ эти страданія, и если надеждамъ не суждено исполниться, пусть буря скорѣе разобьетъ ихъ, какъ разбиваютъ волны остовъ покинутаго судна.

### XIII.

#### Третья Плевна: ночь въ редутѣ.

Родившійся въ туманѣ закатъ и отгорѣлъ въ туманѣ.

Медленно гасло его золотистое сіяніе... Окрестности сѣ-

рѣли, точно все насквозь пропитывала подступающая снизу холодная влага.

Марево Плевны давно уже утонуло на днѣ лощины. Теперь туманъ опять клубился повсюду, куда только проникалъ напряженный взглядъ Горгалова. Онъ попрежнему не сходилъ съ бруствера, глядя впередъ туда, гдѣ за сѣрою дымкою мглы густились турецкіе таборы, откуда долженъ направиться ударъ неистовой атаки, гдѣ въ потугахъ боевой суматохи уже теперь рождается смерть, быть можетъ, для всѣхъ защитниковъ этого клочка мокрой земли, обнесеннаго мокрыми валами.

Туда же смотрѣли и сѣрыя фигуры солдатъ, прислонившіяся къ брустверамъ. Каждый чувствовалъ, что скоро наступитъ моментъ, когда придется дорого продавать жизнь, каждый понималъ, что вотъ-вотъ и этому недолгому покою будетъ положенъ конецъ.

Редутъ защищенъ не со всѣхъ сторонъ.

Бокъ, обращенный къ Плевнѣ, не огражденъ валомъ. Оттуда нельзя было ждать наступленія русскихъ... Горгалова очень озабочивала эта сторона. Здѣсь мы будемъ открыты атакѣ и выстрѣламъ. Пока свѣтъ еще боролся съ сумерками медленно подступающей ночи, онъ искалъ вокругъ себя средства чѣмъ-нибудь и здѣсь заслониться отъ огня и штыковъ непріятеля. Лопать не было.

Штыками много земли не нароешь. Горгаловъ хотѣлъ уже послать кого-нибудь назадъ за лопатами, какъ вдругъ взглядъ его попалъ внутрь редута, скользнулъ по грудамъ труповъ, завалившихъ углы и дно укрѣпленія.

Средство было найдено... Онъ прикинулъ въ умѣ, довольно ли будетъ матеріала, — оказывалось съ излишкомъ.

— Что, ребята, отдохнули? — обернулся онъ къ своимъ.

— Точно такъ...

— За работу можете приняться?...

— Могимъ, ваше высокоблагородіе...

— Ну, такъ вотъ: снесите-ко этихъ вонъ туда. Заслонимся ими...

И просторіе будетъ намъ и отъ гранатъ турецкихъ защита.

Страшная работа началась. Мертвые защитники редута могли оказать действительную пользу побѣдителямъ, въ свою очередь, готовившимся на смерть... Парфеновъ первый сообразилъ въ чемъ дѣло и взялся за него... Скоро уже на сѣверѣ выросла гряда неподвижная, какъ и земляные валы... Трупы укладывали поперекъ, бокъ къ боку...

— Точно дрова, дяденька! — обернулся курносый парень къ Парфенову.

— Молчи, дуракъ!.. — оборвалъ его старикъ. — Эдакое дѣло не со смѣхомъ надо...

Головы къ головамъ, ноги къ ногамъ... Полѣнницами... Турецкій огонь долженъ былъ встрѣтить — головы своихъ же и, только разбивъ ихъ, разворотивъ этотъ оригинальный и зловѣщій валъ, могъ добраться до нашихъ. Головы въ красныхъ фескахъ, обнаженные, облитыя кровью, стѣною стояли къ сторонѣ Плевны... Скоро трупы стали бросать поперекъ, и, когда мгlistыя сумерки окутали напоенную кровью землю — защитники редута и съ этой стороны оградилась отъ непріятеля. Въ редутѣ воцарился нѣкоторый порядокъ... Луки стоялой крови, напоившія окрестность своимъ острымъ запахомъ, не были замѣтны во мракѣ; обрывки и лохмотья турецкой одежды, фески, валявшіяся здѣсь, ящики изъ-подъ пулъ тоже словно пропитались одною и тою же темною слякотью, которою было покрыто дно редута... Скоро въ печуркахъ, вырытыхъ въ валахъ, загорѣлись огни... Солдаты отыскали дрова и хворостъ въ окрестностяхъ своего холма и въ землянкахъ, продѣланныхъ въ самомъ редутѣ. Густой дымъ весь въ красныхъ отблескахъ пламени поднялся къ небесамъ, но не дошелъ до тяжелыхъ тучъ, едва висѣвшихъ надъ Плевной. Слишкомъ густъ былъ воздухъ... Дымъ, словно кровля, разлетался тамъ надъ редутомъ.

Солдатамъ доставили воду... Скоро она закипѣла уже въ манеркахъ и котелкахъ. Безмолвныя группы собирались вокругъ огонька; изъ землянокъ доносился говоръ — туда забились люди, прячась отъ сырости и отъ холода осенней ночи въ эти темныя и сухія логова. На валахъ уже остались одни часовые, зорко всматривавшіеся во мракъ... Впереди, шагахъ во ста отъ валовъ, залегли секреты... Курносому парню пришлось пойти туда...

— Ты гляди въ оба, — предупреждалъ его Парфеновъ. — Проѣзжаешь — бѣда.

— Зачѣмъ зѣвать, дяденька?... Слава Богу!..

— Ну, то-то. Замѣтишь что — не стрѣляй!

— Какъ не стрѣлять?

— Тревоги напрасно не дѣлай, а потихоньку поползи назадъ, а то и пройди, нагнувшись, чтобы тебя видно не было... Понялъ? Придешь, издали крикни часовымъ, что свой — не-то убьютъ. Слышишь?

— Слышу.

— То-то . . . Васъ не учи, такъ вы сами ни до чего не додумаетесь. Возьми галеть, вотъ, съ собою, пожевать захочешь.

— У меня есть.

— А коли есть и ладно . . . Ну, прощай! . . . Обнимемъ. Все, братъ, лучше, можетъ, и не свидимся на семь свѣтъ.

Молодой офицерикъ развелъ секреты вокругъ и вернулся назадъ, спотыкаясь о трупы, разбросанные по всѣмъ окрестностямъ редута. Во тьмѣ еще неприятнѣе было встрѣчать эти раскинутыя руки, эти неподвижныя груди. Еще страшнѣе казалось, споткнувшись, попадать ладонью въ неподвижное, холодное, влажное отъ росы лицо, которое уже не чувствовало ничего прикосновенія . . .

— Исполнили? — встрѣтилъ его Горталовъ.

— Развелъ всѣхъ . . . Три секрета впереди, три направо и три налѣво . . . Одиночныхъ еще передъ ними шаговъ на пятьдесятъ уложилъ.

— Велѣли имъ быть повнимательнѣе?

— Какже . . .

— Спасибо . . . И, сойдя съ бруствера, за которымъ уже ничего не было видно, кромѣ безпросвѣтной тьмы, Горталовъ присѣлъ къ одному изъ костровъ.

Солдаты было встали.

— Сидите, сидите, ребята . . . — Онъ обвелъ ихъ серьезнымъ, внимательнымъ взглядомъ . . . — Холодно? . . .

Молча сѣли солдаты.

Горталовъ долго глядѣлъ въ огонь, не замѣчая, что около уже становилось жарко . . . Въ яркомъ пламени костра, шипя, разворачивался хворостъ свѣжихъ виноградниковъ, срубанныхъ около редута, трескались узловатые корни, разбрасывая кругомъ въ влажную тьму золотыя брызги безчисленныхъ искръ. Въ самомъ кострѣ ярко и жарко горѣли угли, въ червонномъ блескѣ которыхъ пробѣгали голубыя струйки пламени, не оставлявшія слѣда на себѣ, точно мысли въ головѣ Горталова.

Думалось ли ему о прошломъ, будущее ли вставало во всемъ своемъ грозномъ величїи?

О будущемъ, близко-будущемъ, которое вотъ-вотъ наступитъ до разсвѣта, много-много завтра, ему и не желалось вспоминать. Оно придетъ, его не отворишь . . . Въ прошломъ носились мысли, какъ рой пчелъ надъ весенними цвѣтами. Оттуда вѣяло ароматомъ, жизнью, красотою. Въ этомъ прошломъ ярко, еще ярче этого пламени, горѣли

звѣзды родныхъ ночей, слышались милые голоса, звучалъ чей-то симпатичный ласковый смѣхъ . . .

— Чей это смѣхъ? кто это смѣется? — напрягалъ свою память Горталовъ и долго и упорно глядѣлъ въ жаркое пламя, отгадывая, кто это издали, за тысячи верстъ, отозвался на его думы.

— Чей это смѣхъ? . . .

И мысль, безсильная передъ сумракомъ прошлаго, уже отлетѣла было къ другимъ цвѣтамъ, вдругъ, какъ будто невзначай, изъ пламени костра сверкнули знакомые голубые глазки и хорошенькія, смѣшливыя ямочки на полненькихъ щечкахъ.

— Это Оля смѣется! — вспомнилось Горталову, и онъ еще упорнѣе сталъ вглядываться въ раскраснѣвшіеся отъ собственнаго жара угли.

— Это Оля смѣется, шалунья . . .

И Горталовъ улыбнулся ей, улыбнулся этому мимолетному видѣнію, мелькнувшему въ памяти безъ слѣда, какъ мелькали на золотомъ фонѣ костра мелкія струйки голубоватаго пламени.

— Что-то тамъ теперь дѣлается? Помнятъ ли обо мнѣ? . . .

Тоска стала закрадываться въ мужественное сердце.

— Вотъ она, война . . . Зачѣмъ? . . . Кому нужна смерть моя? . . . Кому я помогу, кому будетъ отъ нея легче жить, вольнѣе дышаться? Еще не поздно уйти! . . .

Поймалъ онъ самъ себя на этой позорной мысли и вздрогнулъ.

— Фу, какая гадость! . . .

И только теперь почувствовалъ, что отъ огня горитъ его лицо . . . Жарко . . . Горталовъ всталъ, но тутъ передъ нимъ выросъ фельдфебель.

— Ваше высокоблагородіе . . .

— Чего тебѣ?

— Постель вамъ приготовили.

— Какую постель? — удивился Горталовъ.

— А тутъ, вотъ, на уголку. Соломки нагребли солдатики изъ землянокъ. Вамъ и поручику Харабову.

— А раненые?

— Раненые въ землянкахъ ужъ, имъ спокойно.

— Ну, спасибо! . . .

Горталовъ бросился въ мягкую и сырую солому, и еще не успѣло его охватить холодомъ сырой ночи, какъ онъ уже спалъ. Сонъ, тяжелый какъ кошмаръ, душилъ его, послѣ всѣхъ пережитыхъ сегодня впечатлѣній.

— Эхъ ты, бѣда!... — всмотрѣлся въ него проходившій солдатъ. — Холодно?... Ишь, спитъ...

Солдатъ снялъ съ себя шинель и накрылъ ею Горталова.

— Хорошій этотъ маіоръ, — пояснилъ онъ Парфенову, замѣтившему это. — Завсегда впереди, бравый маіоръ, отецъ родной, все за солдатъ мается. Дурного слова отъ него не слышали.

— Какъ же ты-то будешь безъ шинели?

— Какъ-нибудь... Что мнѣ дѣлается?... Ему нужнѣй...

А ночь становилась все темнѣе и темнѣе...

Издали доносились глухіе удары пушечныхъ выстрѣловъ, заставлявшихъ вздрагивать сонныя окрестности редута... Еще рѣже въ высотѣ проносились, шушукая, гранаты и рвались гдѣ-то въ сторонѣ, видимо не рассчитанныя, а брошенные такъ себѣ, куда ни попало!... Часовые напрасно вглядывались въ этотъ мракъ. Ни они, ни люди въ секретяхъ ничего не видѣли передъ собою — та же тьма лежала и впереди и сзади; та же тьма легла и наверху, точно крышка громаднаго гроба уже опрокинулась надо всей этой мѣстностью, гдѣ еще недавно были принесены кровавыя человѣческія гекатомбы свирѣпому божеству войны...

Въ землянкѣ, гдѣ угли отъ горѣвшаго костра дышали жаромъ, хорошо спалось Дороновичу.

Кое-какъ перевязанныя раны успокоились. Уже не мозжило ихъ... Во снѣ ему снилось торжество побѣды, блестящая карьера... Снилось, что здоровый и веселый онъ возвращается назадъ на родину; вѣнки и букеты летятъ ему навстрѣчу; въ ушахъ громкій маршъ полкового хора, а тамъ, въ заставленномъ цвѣтами окошкѣ деревяннаго дома, радостное лицо больной матери, наконецъ-то дождавшейся своего сына... Такъ тепло ему, хорошо... Хорошо и Харабову... Въ темнотѣ подъ сѣрой золой краснымъ пятномъ тлѣютъ уголья; онъ смотритъ на нихъ, и чувство покоя проникаетъ въ его утомленный организмъ. Молодой офицеръ вѣритъ уже, что завтрашняго боя не будетъ. Что же мѣшало туркамъ еще сегодня опрокинуться на эту жалкую горсть защитниковъ передоваго форпоста русскихъ позицій... что имъ мѣшало?... Нѣтъ, они, вѣроятно, готовятся къ отступленію, славное дѣло сдѣлано!... Славное дѣло, и какъ сладко думать о немъ въ эту темную тихую ночь...

Въ повалку спать солдаты — эти до того истомлены, что сонъ ихъ былъ бы похожъ на летаргію, если бы не необычайная, развитая пережитыми впечатлѣніями, чуткость. Спать такъ, что дыханія не слышно, а достаточно командѣ вполголоса прозвучать надъ ними, чтобы всѣ они

поднялись разомъ и бросились къ валамъ, къ которымъ теперь прислонены только холодныя, влажныя дула ружей. Въ повалку спать солдаты... имъ и не снится ничего, — некогда, и мозгъ, и чувства отупѣли за вчерашній день, также какъ утомились руки и ноги... Ночь тиха, со-всѣмъ тиха.

Въ полночь до редута едва добралась рота; направили ее сзади изъ нашихъ позицій.

— Ваше высокоблагородіе! — будиль фельдфебель разоспавшагося Горгалова.

— Чего тебѣ?

— Подкрѣпленіе прислано...

Горгаловъ приподнялся; въ темнотѣ его уже отыскивалъ капитанъ Казанскій.

— Генераль прислалъ вамъ въ помощь...

— Ну-съ?

— Завтра ожидается атака турокъ на этотъ редутъ...

— Почему это извѣстно?

— Турки двигаются отовсюду... Снялись съ другой позиціи и мас-сируютъ сюда.

— Ваша рота не растрѣяна, полное число штыковъ?

— Гдѣ полное... сто двадцать человекъ только...

— Ну, и за это спасибо... Засните, капитанъ... отдохните... завтра будетъ жаркій день, завтра потребуются всѣ наши силы... Прощайте!...

Казанскій отыскалъ Харабова.

— Ну, что Ивковъ?...

— Убить.

— Какъ убить?..

— Во время штурма... Первымъ бросился: онъ съ одной, Дороновичъ съ другой стороны; Ивкова убили, а Дороновича ранили...

— Вотъ тебѣ и на!.. Большой пріятель былъ... хорошій офицеръ...

— Львомъ дрался...

— Сегодня, о комъ ни спросишь, только и слышно въ отвѣтъ: убить, тяжело раненъ, неизвѣстно куда дѣлся...

— Всѣхъ ли убрали раненыхъ?

— Гдѣ всѣхъ! я, какъ шелъ сюда, видѣлъ, санитары съ фонарями обходятъ скаты, гдѣ дрались. Спрашиваю, много ли осталось, и десятой доли, говорятъ, еще не убрали...

— Да, грустный день . . .

— Вы знаете, генералъ былъ въ Плевнѣ.

— Не можетъ быть!

— Какже, на нѣсколько часовъ было заняли городъ . . . Роту, которая ворвалась впередъ, на мусульманскій кварталъ, встрѣтили огнемъ изъ оконъ . . . А болгары вышли съ депутаціей.

— Поплатятся они за эту депутацію.

— Едва ли . . . Тутъ такая толчея была, хотѣли даже отслужить молебень въ городѣ, да не удалось . . . нужно было убираться оттуда . . . Въ это время и драться-то скверно . . . холодно . . .

— Все тотъ же туманъ?

— Нѣтъ, теперь разъяснѣло немного; когда я подходилъ къ редуту, звѣзды проступали въ небѣ . . . можетъ быть завтра будетъ свѣтлая погода . . .

— Дождемся ли мы этого завтра?

— Ну, вотъ еще . . . отобьемся, турки сволочь . . .

— Ого . . . смѣло сказано . . . Я ихъ видѣлъ сегодня, какъ они дерутся . . . Намъ не дешево обойдется побѣда, если только она будетъ . . .

А туманъ дѣйствительно рѣдѣлъ . . . Робкія звѣзды взглянули было на это кровавое поле и опять померкли отъ слезъ . . . Зато по сторонамъ съ редутовъ, занятыхъ нами, съ биваковъ мелькали костры . . . Внизу, въ долинѣ, гдѣ стояла Плевна, мерещились огоньки въ домахъ, и ярко сверкали окна и двери мечетей . . . Въ воздухѣ порой шуршали крылья невидимыхъ птицъ, и, вслушавшись въ эти тяжелые розмахи, казалось, что это ангелы смерти проносятся въ высотѣ, роняя на землю свои холодныя слезы . . .

#### XIV.

### Третья Плевна: ночная тревога.

Полночи уже пролежалъ въ секретѣ курносый парень. Зорко всматривался онъ впередъ, такъ зорко, что глаза наболѣли; въ возбужденномъ пигментѣ мерещатся какіе-то зигзаги, силуэты. Но солдатъ помнить слово Парфенова — не поднимаетъ тревоги . . . Товарищи его точно также не сомкнули глазъ. Хорошо понимаютъ свою отвѣтственность, проглядишь — живымъ манеромъ турки окружаютъ редутъ, а тамъ



уже никому пощады не будетъ. Сырость проникла до костей, холодно здѣсь, скверно . . .

Туманъ разсѣялся. По черному почти небу робко мигаютъ золотыя звѣзды, роняя слезы на быстро бѣгущія мимо и кажущіяся сѣрыми облака . . . Давно уже замолкли орудія и нашихъ и турецкихъ батарей, давно уже въ ночной тѣмѣ не раскрываются изъ-за черныхъ амбразуръ ихъ огневыя очи. Темнота такая, что шорохъ полевой мыши въ виноградникѣ, легкій бѣгъ зайца въ кукурузѣ доносится до ушей . . . Тишина такая, что возбужденному слуху чудятся кругомъ какіе-то странные звуки: то звонъ, дробный, мелкій звонъ колокольчиковъ, то чей-то крикъ, то обрывокъ пѣсни, то легкій стонъ . . . Вонъ гдѣ-то далеко-далеко грянулъ выстрѣлъ, должно быть, задремавшему часовому что-нибудь почудилось — онъ и тряхнулъ со-сна, не разобравъ дѣла . . . Выстрѣлъ подхватили лощины, выстрѣлъ отдался въ безмолвныхъ редутахъ и унесся далеко-далеко все болѣе и болѣе ослабѣвающимъ эхомъ . . . И опять тишина, опять молчаніе, опять неясные смутные звуки, рождающіеся въ бездѣйствующихъ нервахъ слуха или въ возбужденномъ мозгу внимательнаго часового . . . Тишина на всѣхъ позиціяхъ . . . Спать редуты, спать батареи, спать лагеря. Спать враги; спать злоба, словно набираясь силами для завтра, для этого зловѣщаго завтра, когда самая лютая вражда должна будетъ досыта захлебнуться кровью до одурѣнія наглядѣться на ужасы дикой бойни . . . Спать ожидающіе смерти, и ничто не вслуговываетъ ихъ сна . . . Ничто! Даже опасенія будущаго, даже блѣдные призраки предчувствій, склоняющіеся надъ ихъ головами, накладывающіе холодныя руки на ихъ груди, — не въ силахъ разбудить спящихъ . . . Обреченные нашли себѣ утѣшеніе: «что бы то ни было завтра, можетъ быть смерть, можетъ быть плѣнъ, мука — все равно: въ эту ночь, въ эти нѣсколько часовъ никто не потревожитъ, никто не помѣшаетъ», и подъ это успокоительное соображеніе сладко смыкались утомленные глаза, сладко засыпали усталые бойцы . . . Завтра! . . .

Спать . . .

А звѣзды все ярче и ярче разгораются надъ этимъ соннымъ царствомъ, облака все быстрѣе и быстрѣе бѣгутъ по ночнымъ небесамъ на сѣверь. Если бы кто, проснувшись, заглядѣлся на ихъ длинныя, блѣсоватыя тѣни, — ему бы показалось, что это души убитыхъ и умершихъ вчера стремятся на родину, на далекую милую родину — бросить взглядъ на знакомыя мѣста, прежде чѣмъ унесться въ безвѣстныя предѣлы того міра.

Быстро бѣгутъ блѣсоватыя облака, такъ быстро, что не услѣдить

за ними . . . Еще чертище надъ ними кажется ночное небо, еще ярче смигиваютъ свои слезинки золотыя звѣзды . . .

Часовой, стоящій на валу редута, заглядѣлся внизъ . . .

Разсѣявшійся туманъ обнажилъ глубокую долину р. Тученицы. Вотъ она внизу со всѣми своими извилинами, съ тусклымъ блескомъ струй въ излучинѣ, съ горбинами скалистаго берега . . . Вонъ бѣлый городъ, тоже заснувшій въ дремотномъ молчаніи ночи, вонъ едва-едва намѣчивающіяся мечети. Бѣлыя черточки минаретовъ висятъ надъ ними, точно они держатся на воздухѣ, точно повѣтъ въѣтромъ, и они унесутся на его легкихъ крылахъ далеко-далеко . . . Вонъ горбатый бѣлый мостъ, кругомъ бѣлые, словно мертвые, дома . . . Рѣки не видно здѣсь, заслонена она . . . Спитъ Плевна — ни одного огонька тамъ не мигнетъ изъ черныхъ оконъ, ни одного фонаря не засвѣтитсѣ на пустыхъ, молчаливыхъ, какъ кладбище, улицахъ . . . Спитъ осажденный городъ, хотъ и для него завтра роковой, страшный день.

Тихо въ землянкахъ редута . . .

Давно погасили костры, давно подъ сѣрою золою сгорѣли ихъ красные уголья . . . Изъ-подъ пепла не мигаетъ огонекъ, но тепла все-таки довольно. Главное — сухо. Привалились солдаты другъ къ другу, тѣсно привалились и, тяжело дыша и сомкнувъ очи, не видятъ и не слышатъ ничего . . . Ходитъ сонъ надъ ними сѣрымъ облакамъ, сыплетъ видѣнія вереницами. Звучатъ имъ изъ этого облака знакомые милые голоса, ласково улыбаются дорогія лица . . . И еще крѣпче засыпаетъ солдатъ, еще слаще смыкаетъ онъ глаза . . . Парфеновъ давно уже въ Питерѣ; Марья Ивановна съ обрубленнымъ хвостомъ и обѣденными ушами свернулась около; въ головахъ — бѣлесоватыя кудри замарашекъ племянницъ . . . Завтра праздникъ; швейцару предстоитъ собрать обильную дань полтнянниковъ и двугривенныхъ, и думаетъ онъ теперь про себя, что бы купить дѣвочкамъ . . . Вонъ младшая обносила башмаки, а у старшей давно уже платьице никуда не годится . . . Ситецъ ежели — такъ скоро сносятся, да и зима на носу. Расщедриться на шерстяное?

Харабову невѣста чудится . . . Яркій, солнечный день, безоблачное небо, съ котораго вѣетъ благоговѣйною тишиною, говоръ ручья, шорохъ листьевъ подъ дремотнымъ крыломъ легкаго вѣтра . . . Онъ идетъ съ нею подъ-руку по роскошному лугу . . . зигзагъ рѣчки вдали горитъ золотою косою . . . Мугкая мурава сама точно клонится подъ ногой; полевые цвѣты шлютъ имъ по вѣтру навстрѣчу свое благоуханіе . . . Жаворонокъ вверху звенитъ серебрянымъ колокольчикомъ — неутомимый вѣстникъ любви и счастья! . . . И еще слаще засыпаетъ Харабовъ . . . Только одному Гор-

талову не спится теперь... То задремлетъ, то проснется, обойдетъ часовыхъ, заглянетъ въ секреты... Ему не до сна. Онъ отвѣчаетъ за этотъ редуть, такъ довѣрчиво заснувшій въ самомъ сердцѣ непріятельскихъ позицій. Ему придется первому идти подъ ножъ... Онъ разбудилъ фельдфебеля даже...

— По сколько патроновъ у насъ на человѣка?..

— По пятидесяти...

— Вѣдь вчера подвезли.

— Подвезли, да не тѣ, ваше высокоблагородіе.

— Какъ не тѣ?

— Нешто съ ними сладишь, съ парковыми? Они все зря. У насъ ружья Крика, а они намъ для берданокъ отпускаютъ, и то еще для казацкихъ. Бѣда просто!... Общались поутру...

— А у той роты, которая въ ночь пришла, много патроновъ?

— У нихъ хватить... У нихъ по восьмидесяти на брата.

— Ну, слава Богу... Спи!.. Завтра будетъ довольно работы.

Прилегъ и Горталовъ... Такъ себѣ прилегъ. Знаетъ, что не заснетъ, — хотъ отдохнуть, забыться на минуту... Кто-то въ сторонѣ поетъ; если бы не была такъ молчалива эта ночь, не разслышать бы робкаго голоса... Должно быть, часовой мурлыкаетъ родную пѣсню, печальную и тоскливую — печальную, какъ эта ночь... Родная гладь чудится, заброшенная деревушка... Словно облака по небу, пробѣгаютъ воспоминанія въ памяти... Слѣда нѣтъ отъ нихъ, только тоска растетъ на сердцѣ, плакать хочется, а вѣдь пѣсня — та же слеза наболѣвшей души... Какъ онъ, каплетъ звукъ за звукомъ, какъ рыданія разносятся кругомъ, роняя грусть въ чужое сердце...

Зорко, зорко приглядываются секреты...

Слова другъ съ другомъ не перемолвятъ...

Курносому парню давно что-то чудится впереди, и тщетно онъ напрыгаетъ зрѣніе — ничего все равно не разберешь... Вонъ на той горѣ что-то черное... Такъ ли это?... Или есть что?... Словно туча... Двигается внизъ... Нѣтъ, стоитъ... Нѣтъ, двигается... Ишь вонъ, скала стояла внѣ этой тучи, а теперь въ нее вошла... И края тучи все пирятся... Сверху она, съ самой вершины холма, ползетъ... Нѣтъ, это не чудится... Вонъ шорохъ слышится, чуть замѣтный шорохъ... Не отличишь его. Иному бы показалось, что это легкій вѣтерокъ пробѣгаетъ по верхушкамъ кукурузы, чуть-чуть заставляя вздрагивать ея жесткіе длинные листья; или сверху внизъ по тополю, будя зеленую листву, чтобъ она тотчасъ же еще слаще заснула, окутанная мракомъ.

— Афремомъ? — шепчетъ курносый парень рядомъ лежащему солдату.

— Ну?

— Чуешь?

— Чую... это ёнь...

— Кто ёнь?

— Врагъ...

— Сбирается...

— На утро, должно... Ишь его сила какая...

— Дать бы знать...

— Годи... Далеко еще... Годи малость...

— Это ёнь на насъ...

— На насъ и есть... Мы тутъ на тычкѣ.

— Пяхота?...

— Всего есть... Теперь не видно, а поди и артилерію строить.

— Какъ строить?

— А на верхушкѣ вонъ батарейку загвоздить... Дѣло чистое...

— Я пойду...

— Куда?..

— Доложить...

— Годи, годи малость... Ишь его... вонъ справа...

Справа выползла на другомъ холмѣ такая же туча, и такъ же она своею томною тѣнью захватывала скать, точно съѣдала его... Неровные края этой тучи все ширились, какъ кругъ на водѣ — медленно, во всѣ стороны...

— Ну, теперь, братъ, ступай... Тихе только, бѣды не надѣлай!

— Я знаю.

— Да не кричи.... А то всполошишь...

Курносый парень пошелъ тихо-тихо назадъ... Стараясь двигаться какъ змѣя въ травѣ, чтобы его не было слышно ниоткуда, чтобы его движеніе не всполошило часовыхъ, солдатъ самъ прислушивался, не идетъ ли кто... Не ощущавшій страха пока былъ съ другими, теперь, оставшись одинъ, онъ почувствовалъ себя совсѣмъ брошеннымъ, и жутко ему стало.

Пока солдатикъ побирался назадъ къ редуту — случилось нѣчто неожиданное...

Секреты были разбросаны по трое... Кое-гдѣ невнимательные и заснули, полагаясь на товарищѣй. Эти тоже замѣтили тучи турецкой пѣхоты, надвигавшіяся съ сѣверо-запада на наши позиціи... Одинъ изъ

спавшихъ, услышавъ спросонка голоса товарищей, не разобравъ въ чемъ дѣло, вскочилъ и выстрѣлилъ безъ толку и сознанія, что онъ дѣлаетъ, въ кого и зачѣмъ онъ стрѣляетъ... На выстрѣлъ всполошились другіе... Огоньки засверкали изъ нашихъ секретовъ... Сухое щелканіе послышалось вправо и влѣво...

На валу редута стоялъ часовой...

Пѣлъ-пѣлъ онъ про себя пѣсню, да подъ ея вліяніемъ не то что заснулъ, а такъ забылся. Прислонился грудью къ брустверу и глаза уже сомкнулъ... Ощущеніе пріятной теплоты, какъ всегда бываетъ передъ сномъ, распространилось по тѣлу; мышцы размыкались, точно они устали; въ головѣ звонъ какой-то... Хорошо стало... Ружье само какъ-то, точно помимо его воли, скользнуло вниз... Вдругъ... Часовой встрепенулся...

Да! впереди стрѣляютъ... Неужели онъ прозѣвалъ?... Совершенно инстинктивно схватился за ружье... Вонъ еще огонекъ выстрѣла... Приложился — бац!..

Точно спящій редутъ только и ждалъ этого сигнала...

Словно огонь пробѣгаетъ снизу вверхъ по сухимъ сучьямъ и разомъ охватываетъ все дерево, — суматоха и паника съ валовъ перекинулись въ землянки... Барабанщикъ, не ожидая команды, схватилъ свой барабанъ и давай бить тревогу... Нервные спѣшные звуки ея разбудили остальныхъ... Не прошло и нѣсколькихъ мгновеній, какъ все бѣжало на валы, со-слѣпа, не успѣвъ сбросить съ рѣсницъ тяжелаго сна, ничего не видя передъ собою, ни о чемъ не соображая, ничего не понимая. А дробь тревоги разносилась все громче и громче, все нервнѣе и нервнѣе работали руки барабанщика; барабанъ, точно живой, оралъ на всѣ стороны: спасайтесь, врагъ близко! бейте врага! Горталовъ кидался то къ тому, то къ другому и, ничего не понимая, не могъ допроситься, что это случилось... Часовые, опѣшивъ, отвѣчали на выстрѣлы изъ секретовъ... Гарнизонъ редута, ставши на валы, недолго хранилъ безмолвіе: кому-то пришло въ голову съ испугу «ура» крикнуть. И крикнулъ какъ-то не по-человѣчески. Въ каждомъ атомѣ этого крика нервы вздрагивали, ужасъ слышался. Сразу на всѣхъ по-дѣйствовало... Не успѣлъ еще кончить, какъ подхватили на всѣхъ валахъ; и пошло «ура» перекидываться изъ стороны въ сторону, заносясь все дальше и дальше...

— Экая подлость! Трусы проклятые!—скрипѣлъ зубами Горталовъ.

— Молчать!! — кричали офицеры, видѣвшіе, какъ паника распространяется на всѣхъ.

— Молчать!.. — Но крики солдатъ заглушали команду офицеровъ; бой барабана окончательно ихъ захватывалъ... Офицеровъ никто не слушалъ.

— Да что случилось?..

— Никто ничего не знаетъ...

— Откуда тревога?.. Кто первый выстрѣлил? — допытывался Горталовъ.

— Тревогу въ секретахъ подняли... — докладывалъ фельдфебель. Горталовъ озабоченно всматривался туда и ничего не видѣлъ.

На турецкихъ позиціяхъ молчали...

Долго еще это паническое «ура», сопровождаемое беспорядочными выстрѣлами, носилось въ воздухѣ надъ встрепенувшимся редутомъ... Горталовъ прежде всего остановилъ барабанщика, который отбивалъ тревогу, зажмуривъ глаза и засѣвъ въ уголокъ, такъ что и добраться до него было трудно...

— Ты чего, каналья?

Но барабанщикъ ничего не слышалъ...

— Молчать!.. — и Горталовъ схватилъ его за шиворотъ...

— Виновать!.. — точно со-слѣпу винился тотъ, самъ не зная въ чемъ, а руки сами по себѣ, точно помимо его воли, продолжаютъ тревогу... Наконецъ пришелъ въ себя...

— Бей отбой, каналья!..

Та-та-трра-та!.. грянуло среди неистоваго и безтолковаго оранья солдатъ... Еще и еще разъ... Наконецъ ближайшіе разслышали сигналъ; удивленно оглянулись и замолкли... Замолкли мало-по-малу и другіе. Впрочемъ волненіе не могло улечься сразу. «Ура» вспыхивало еще въ нѣсколько приемовъ, но ему не удавалось подняться; какъ птица съ подстрѣленнымъ крыломъ, оно отдѣлялось отъ земли, чтобы сейчасъ же еще грузнѣе, еще скорѣе упасть на нее. Солдаты продолжали стоять на валахъ, но уже сконфуженные, смущенные упреками офицеровъ... Добивались, кто далъ тревогу, кто вспугнулъ спавшихъ, и ни до чего не могли допроситься.

— Да кто же выстрѣлилъ первый?..

Часовому, который далъ отсюда первый выстрѣлъ, казалось, что онъ подхватилъ только другихъ, что онъ опоздалъ даже. Никто ничего не зналъ, никто не могъ дать себѣ отчета, — что случилось... Въ этотъ самый моментъ курносый парень подобрался къ редуту...

— Свой! — предупреждалъ онъ часового... — Майора надо!..

— Чего тебѣ?.. Ты откуда?

— Изъ секретовъ, ваше высокоблагородіе . . .  
 — Что случилось тамъ? . . .  
 — Турки идутъ . . . Далеко еще . . . Пѣхота . . . Тамъ на горѣ — много . . .

— Стрѣляли оттуда?

— Наши стрѣляли . . . Ихніе молчатъ.

— Дураки! . . . Ты стрѣлялъ, что ли?

— Нѣтъ. Я сейчасъ какъ разсмотрѣлъ, пошелъ назадъ дать знать . . .

— Ну, пойдемъ . . . Покажи! . . .

И Горгаловъ, выйдя изъ редута, побрелъ мокрыми полями къ секретамъ за гребень, откуда видны были турецкія позиціи . . .

— Давно ли ты замѣтилъ, что турки выходятъ? . . .

— Часу нѣтъ, ваше высокоблагородіе.

— Справа и слѣва?

— Точно такъ . . .

Добравшись до секретовъ, Горгаловъ пытливо сталъ вглядываться въ даль . . . Передъ нимъ темнѣли скаты холмовъ, на которыхъ еще болѣе темными пятнами выдѣлялись турецкіе таборы, за ночь передвинувшіеся сюда. Теперь уже не оставалось никакихъ сомнѣній, турки готовились обрушиться на редутъ . . . Отступленіе, на которое рассчитывали наши, вовсе не въ ихъ намѣреніяхъ . . . Оцѣнивая на взглядъ силу наступающихъ ратей, Горгаловъ убѣждался все больше и больше, что надежды на спасеніе для него и для его небольшого отряда нѣтъ. Всѣмъ придется умереть! . . .

— И умремъ! . . . — вслухъ отвѣтилъ онъ самъ себѣ, разсѣянно оглядываясь на стоявшее передъ нимъ звено секрета.

— Точно такъ, вашъ-бродь! — отвѣтили тутъ.

Бой будетъ упорный . . . Можетъ быть, поддержать наши, но пока придетъ помощь, половина жизней будетъ вычеркнута вонъ . . . И ждать помощи нечего — вчера самъ генераль предупредилъ объ этомъ. Все, что можно было послать, онъ послалъ . . .

Наклонивъ голову, Горгаловъ пошелъ назадъ къ редуту, который молчаливо темнѣлъ теперь на вершинѣ третьяго кряжа зеленыхъ горъ съ черной черточкой знамени, все еще высившагося надъ его грозными валами.

Поздній мѣсяцъ краснымъ шаромъ вырѣзался на темныхъ ночныхъ небесахъ . . . Зловѣщій какъ эта ночь, кровавый какъ завтрашній день . . . Уголь редута и знамя на немъ пришлились какъ разъ на его дискъ . . . Рѣзко обрисовывались они передъ Горгаловымъ . . .

Handwritten text, possibly a signature or name, appearing as a faint, mirrored impression at the bottom center of the page.





Боевая Галлгоя.

Т-во „Просвѣщеніе“ въ Сиб.

## Раненый турокъ.

(Стр. 159.)

— Еще нѣсколько часовъ и...

Горталовъ не окончилъ, кто-то поднялся у самыхъ ногъ... Кто-то цѣпко схватилъ его за полу шинели. Горталовъ вздрогнулъ отъ неожиданности и наклонился. Раненый турокъ смотрѣлъ на него снизу обезумѣвшими отъ страданій глазами.

Въ редутъ шла переборка.

Фельдфебель допрашивался, кто первый надѣлалъ тревогу.

— Ты, что ли? — набросился онъ на малорослаго, сплошь залѣпленного грязью, ободраннаго, совѣмъ сѣраго солдата.

— Никакъ нѣтъ!.. Не я...

— Чего ты, точно статуя каменный, головой мотаешь?... Ишь... Народъ тоже — не сообразишь... Дьяволы!.. Стой на часахъ, сторожи, какъ пѣтухъ, а ложной тревоги не подымай... Не то, знаешь? И глядѣть-то на тебя тошно... Весь точно свинья... Елена прекрасная!.. — выругался грамотный фельдфебель, отводя зло на ни въ чемъ неповинномъ часовомъ, фигура котораго столь же напоминала легкомысленную супругу Менелая, сколько самъ фельдфебель, обросшій щетиной, — любимца Венеры, Париса...

## XV.

### Третья Плевна: турки идутъ.

Вернувшись въ редутъ, Горталовъ прилегъ на солому, насквозь промокшую, завернулся въ влажное полотнище турецкой палатки, изъ оставленныхъ здѣсь, и чрезъ нѣсколько мгновений забылся тѣмъ тяжелымъ сномъ, когда обрывки дневныхъ впечатлѣній вырастаютъ въ колоссальные фантомы; когда опасенія, тревожившія передъ сномъ, воплощаясь въ блѣдные призраки, склоняются къ изголовью, кладутъ свои костлявыя холодныя руки на грудь спящаго, давятъ ее, перехватываютъ ему горло, и, когда несчастный, истомившійся въ напрасной борьбѣ съ ними, хочетъ подняться и крикнуть, — они еще крѣпче налегаютъ на него, сковываютъ ему ротъ, такъ что вмѣсто крика слышится только прерванное, словно чѣмъ-то придавленное хрипѣніе...

Горталову уже снилось, что турки кругомъ, что подъ свинцовымъ дождемъ его дружины растаяли, острия жала штыковъ касаются его груди... Онъ уже видитъ налитые кровью глаза, слышитъ угрозы и

бѣшеный, торжествующій смѣхъ. Онъ обращаетъ взглядъ свой на бѣлый крестъ знамени, но оно — опорощенное пораженіемъ — уже въ рукахъ у враговъ, и эти враги уносятъ его съ собою назадъ, такъ что въ послѣднюю минуту свою Горталовъ только мелькомъ видитъ, какъ полотнище знамени колеблется далеко-далеко; чудится ему, что съ перерѣзаннымъ горломъ, съ насквозь пробитою грудью лежитъ онъ на сбромъ скатѣ пустыннаго холма... Лежитъ одинъ — среди полного безлюдья... Печально смотря на него сверху золотыя звѣзды; полный ужаса, онъ слышитъ въ сторонѣ шорохъ безчисленныхъ крыльевъ... Онъ знаетъ, какія это крылья; онъ знаетъ, зачѣмъ подлое воронѣ слетается къ нему отовсюду. Онъ хочетъ закрыть глаза руками, но руки не слушаются и безсильно лежатъ, раскинутыя на холодной землѣ, хочетъ опустить вѣки, но глаза, все такъ же широко раскрытыя, неподвижно глядятъ въ высоту... А острые черныя клювы уже близко... Очень близко... На лицѣ уже ощущается холодъ отъ взмаховъ безчисленныхъ крылъ. Цѣпкія когти коснулись щекъ... И только теперь понимаетъ Горталовъ, что онъ убитъ, что тѣло его — мертво, живъ только ощущающій мозгъ, живо сознание...

Наконецъ, когда блѣднымъ призракамъ надоѣдаетъ возиться съ однимъ и тѣмъ же Горталовымъ, и они длинною молчаливою вереницей перелетаютъ къ другимъ спящимъ, маіору удается проснуться... Открывъ глаза, онъ видитъ надъ собою тѣ же золотыя звѣзды, только съ счастливымъ сознаниемъ жизни чувствуетъ, что шороха безчисленныхъ крыльевъ какъ не бывало, что въ рукахъ довольно еще силы, — хватить отбиться отъ воронья!.. Кругомъ слышится сонный шопотъ его солдатъ, трескъ сырыхъ виноградныхъ сучьевъ въ костръ и рѣдкое звяканье ружья, когда притомившійся часовой опускаетъ его на твердо убитую поверхность банкета...

Приподымаясь на минуту, Горталовъ убѣждается, что тумана какъ не бывало...

Ночь ясная, но холодная; земля еще не отогрѣлась.

Вызвѣдило такъ, что блѣдные призраки безшумно скользятъ по верхушкамъ кукурузныхъ полей въ глубокія лощины и балки, гдѣ надъ неугомонными струями потоковъ еще лежитъ, свернувшись, точно до утра засыпающая мгла... Блѣдные призраки прячутся въ эту мглу, словно имъ больны ясныя мечтательные лучи мѣсяца, безмятежно глядящаго внизъ на эти облитыя свѣжею кровью поля, на эти пока безмолвные редуты... Одинаково щедро льются эти лучи и на успокоившіяся лица спящихъ живыхъ, и на окостенѣвшія, заострившіяся черты

мертвыхъ витязей, и на сѣрые валы, и на груды труповъ, замѣняющія ихъ... Тускло отражается мѣсяць въ лужахъ крови, — черныхъ лужахъ, которыя точно не хотятъ уже впитывать въ себя напившаяся ею досыта земля; только нѣсколько ярче блеститъ онъ на верхушкѣ знамени...

Тиха, безмятежна эта ночь... Даже вѣтру лѣнь подыматься, чтобы объжать дозоромъ спящіе холмы... Проснется, едва-едва привстанетъ, проскользнетъ черезъ силу по пустыннымъ нивамъ, шевельнетъ ихъ поросли и опять проваливается, смыкая свои отяжелѣвшія вѣки... И въ зелени тополя трудно сбросить свой очарованный сонъ этому лѣнивому вѣтру... Напрасно нескромные листья шелестомъ и болтовней стараются разбудить его... Онъ только раздвинетъ вѣтви на одно мгновеніе, взглянетъ вполглаза на звѣздное небо и опять засыпаетъ, потому что внизу — покой, сверху — ни одной тучки, значить, и ему дѣлать нечего среди этой тишины...

Вернушемуся изъ секретовъ курносому парню не спится.

Онъ привалился къ костру, потухшему уже, но изъ-подъ сѣрой золы, словно изъ полуопущенныхъ вѣкъ, смотрѣвшему на него своимъ краснымъ глазомъ. Въ землянкѣ было тепло...

— Не спишь, что ли?.. — послышался парню голосъ Парфенова.

— Ась?

— Не спишь, говорю?

— Не...

— А ты засни... Завтра работа будетъ... Во что — коли меня убьютъ — видишь на груди кошель?

— Вижу...

— Возьми... Тутъ прописано на бумагѣ, куда чтобъ отправить...

Въ Питеръ — племянницамъ... Кто будетъ ротнымъ, тотъ и сдѣлаетъ. Кабы живъ былъ капитанъ Ивковъ — съ полгоря. Онъ бы разомъ все сполнилъ. А безъ него еще кого Богъ дастъ!..

Въ секретахъ тоже стало тихо... Тревога давно улеглась; выспавшіеся солдаты смѣнили усталыхъ и зорко глядятъ впередъ, туда, гдѣ на склонахъ холмовъ уже засвѣтились безчисленные костры. Очевидно, турки и не хотятъ скрывать своей силы; они разбросали сотни огней тамъ, гдѣ еще недавно только рѣдкая аванпостная цѣпь сторожила подступы къ ихъ позиціямъ... Во вражьемъ лагерѣ — та же зловѣщая тишина... Наканунѣ боя!.. Завтра судьба рѣшить споръ. Завтра эти лучшіе таборы Турціи или отступятъ по Софійскому шоссе, за рѣку Видь, преслѣдуемые по пятамъ нашими войсками, или, сломавъ герой-

скія дружины, живою стѣною стоящія на земляныхъ валахъ, смоютъ внизъ въ овраги и лощины разбитые и разстроенные полки, словно разбѣжавшееся, потерявъ своего пастуха, стадо...

Наши секреты, выдвинувшись насколько возможно далѣе впередъ, слышатъ въ нѣсколькихъ шагахъ отъ себя говоръ и движеніе въ турецкихъ секретахъ. Но часовые и тамъ и здѣсь — словно по безмолвному уговору — щадятъ другъ друга, или, лучше, щадятъ самихъ себя... Одинъ даже виденъ нашимъ — шагахъ въ десяти... Ишь, вспыхиваетъ трубка во тѣмъ, и ему наши замѣтны — потому что сторожко оглядывается на нихъ... Чего добраго, думаетъ: молчать-молчать — да и вдругъ... Немного погода впрочемъ — и дружба завелась...

— Эй ты, низамъ! — поднялся одинъ изъ солдатиковъ...

Турокъ насторожился еще пуще — и ружье взялъ.

— Брось ружье, гололобый дуракъ, брось!.. Чего ты?..

— Онъ думаетъ, ты его по башкѣ хотишь треснуть...

— Не... Я блародно... Тихо, смирно чтобъ...

— Ясакъ, ясакъ!.. — заболтали въ секретѣ у турокъ (нельзя — нельзя)...

— Какой тутъ тесакъ!.. Я къ вамъ, братцы, по всей простотѣ... Потому ужъ больно растомило... Табакомъ отъ васъ тянетъ...

Турки слушали, ничего не понимая.

— Курнуть бы тапериче хорошо, братушки... А?... Курнуть бы, говорю...

Низамъ очевидно не могъ разобрать, чего отъ него требуетъ сѣрый солдатикъ, такъ довѣрчиво подползшій къ секрету... — Заболталъ по своему, прикладывая руки ко лбу и къ губамъ.

— Ты это оставь... Этого намъ не требуется. Мы хоша и русскій солдатъ, а только честь намъ не дѣлаютъ... У насъ офицерамъ такъ-то... Подъ козырь берутъ... Во какъ — вишь! — И онъ приложился, словно отдавая честь...

Турокъ оскалилъ бѣлые зубы и еще разъ отмахалъ свой селямъ.

— Вижу, ты парень добрый... Дай-ко табаку!.. Ну?... Не понимаешь?... Бурда — іокъ?..

Турокъ помахалъ головой... Очевидно не въ состояніи сообразить, при чемъ тутъ вдругъ «бурда — іокъ»!

— А ты, свиное ухо, не маши башкой-то... Ничего не вымахаешь... Я вѣдь къ тебѣ мирно... Табакъ есть?... Тютюнъ, тютюнъ?... понимаешь — тютюнъ, табакъ... махорка!..

— А тутунъ... Тутунъ.

И низамъ, радостно улыбаясь, полѣзъ въ карманъ, вытащилъ трубку и набилъ ее табакомъ.

Солдатикъ съ наслаждениемъ закурилъ, присѣвъ на корточки.

Сидятъ и смотрятъ другъ на друга. Первое время молча... Только солдатикъ сплевываетъ въ сторону, съ наслаждениемъ затягиваясь дымомъ. Огонекъ въ трубкѣ, разгораясь, выхватываетъ изъ мрака круглый добродушный носъ и сѣрые щетиной усы...

— Ну вотъ, и чудесно... Хорошій у васъ народъ, посмотрю я... — одобрялъ солдатикъ. — И одежда на васъ чудесная. Это опанка? — ткнул онъ въ ноги низама.

— Чисме, чисме, аскеръ...

— Ну вотъ, по-вашему чисме, а по-нашему опанка... Куда превосходнѣй сапога выходить!.. И съ чего вы это распузырились только?.. Сидѣли бы по домамъ да сосали свою галету, а то бунтовать!.. А теперь мы васъ усмирять должны... Треснуть бы тебя по башкѣ, живымъ бы ты манеромъ окачурился, а вотъ я жалѣю тебя...

Солдатикъ очевидно забылъ, что ружье онъ оставилъ въ секретѣ...

— Потому — гололобий, живи, пока Господь грѣхамъ терпитъ...

Турокъ съ своей стороны пояснилъ, что русскіе славный народъ, и что ему очень пріятно видѣть аскера и угостить его табакомъ... Что онъ готовъ ему дать и еще... Вынулъ кисетъ и протягиваетъ...

— Это ты мнѣ? Для товаришшей?.. Ну, молодецъ!.. Ахъ ты, бритый чортъ! Что придумалъ! Это ты ладно, за это мы всегда тебѣ спасибо скажемъ... Такъ ты меня этимъ утѣшилъ — въ лучшемъ видѣ... Ну, ладно... Сочтемся... А ты вотъ что, гайда къ намъ!..

И солдатъ неожиданно взялъ низама за шиворотъ.

— Ты не думай, я тебя вѣжливо... Честью... Гайда къ намъ! У насъ, братъ, хорошо...

И солдатъ свободной рукой показываетъ по направленію къ реду.

— У насъ, братъ, чудесно... Ну, гайда! Ишь, бригага твоя башка, какъ я тебя жалѣю!..

Оторопѣвшій было турокъ понялъ, что солдатъ его нисколько не принуждаетъ. Онъ отвелъ руку его и, прикладываясь ко лбу, сталъ показывать на свой лагерь... Очевидно къ себѣ приглашалъ.

— Ну, это, братушко, шалишь, потому я присягалъ... Въ вашу вѣру — не больно лестно... Ты, братушко, не зови — сами къ вамъ придемъ, безъ зову... Будь спокоенъ! У насъ такой маіоръ есть —

Горталовъ... Онъ завтра до васъ, бритыхъ чертей, доберется. Отъ него не уйдешь, будь спокоенъ! Онъ тебя вездѣ отыщетъ... Ты какъ полагаешь? А ты вотъ къ намъ, гайда... У васъ вѣдь присяги нѣтъ. Гдѣ твоя присяга? тебѣ и присягать некому, потому у васъ салтанъ невѣрный, не настоящій... Своего справедливаго, который заправдушный былъ, зарѣзали, гололобые. А теперь подъ невѣрнымъ и ходите...

Трубка погасла...

— Ну, прощай!.. Давай лапу! Вотъ такъ... Приходи къ намъ; у насъ, братъ, хорошо... А только табаку нѣтъ, безъ этого обходимся... Ну, сиди смироно теперь. Потому, если тронешься съ мѣста, я и по затылку тебя огрѣть могу...

И солдатъ, нимало за себя не беспокоясь, поползъ назадъ, даже не оглядываясь на оставленный секретъ турокъ.

— Куда тебя черти носили?

— Да курнуть захотѣлось...

— Голову на плечахъ тяжело носить, что ли?..

— Не... Ты, братъ про турецкихъ солдатъ этого не говори...

Они тоже хорошия... Чудесные солдаты... Во, табаку дали.

— Ну?

— Вѣрно слово... У кого бумага есть, запаливай цыгарку...

Обходительный народъ...

— Страху на тебя нѣтъ.

— А чего мнѣ пужаться, коли я къ нему съ добромъ... Человѣкъ тоже понимаетъ!..

— За табакъ спасибо...

— То-то вотъ... Ну, теперь, братцы, смироно!.. Скоро и свѣтать начнетъ...

На востокъ темныя ночныя небеса точно поблѣднѣли... Звѣзды еще горѣли ярко, но тамъ, въ той сторонѣ, нѣкоторыя болѣе робкія точно закрыли свои свѣтящіяся очи... Черная профиль редута еще рѣзче вырисовалась на поблѣднѣвшемъ горизонтѣ... Далеко, далеко у турокъ послышался печальный, долгіи сигналъ... Подхватили вправо, отозвались слѣва и пошли по всѣмъ таборамъ перекликаться трубы. Точно хотѣлось имъ спѣться — да ладу не было... Тишина ночи наполнилась этими тоскливыми, нервными, словно на что-то жалующимися, плачущими звуками...

— Ишь ты! — настожились въ секретъ...

— Чего это они?..

— Должно, наступать будутъ... Они всегда такъ... Сейчас, вотъ, палить начнутъ... Гли-ко въ оба...

— Ну-во, наступать... Довольно хорошо мы ему вчера наклали въ затылокъ. Ужли еще хотять?..

— Знаютъ видно, что напихъ мало... Полагаютъ выбить.

— Ишь и у самага Плевня заплѣли...

Въ неподвижномъ ночномъ воздухѣ, среди этой зловѣщей тишины, каждый звукъ проносился на версты, не теряя своей силы. Слышались сигналы изъ-за Плевны... Пѣли турецкіе рожки въ Опанцѣ, въ Тринѣ и Медвенѣ... Чуть-чуть, словно засыпающіе отголоски, донеслись даже изъ-за Вида... Должно быть, кто-то на Софійскомъ шоссе откликнулся...

Проснулись и у насъ...

Далеко-далеко позади ударилъ барабанъ. Частая дробь его всколыхала воздухъ; точно послышался бранный окликъ на вызовъ турецкихъ рожковъ. Грянули барабаны въ Радицевѣ, проснулись въ Тученицкомъ оврагѣ, прокатились по Ловчинскому шоссе, прямо въ конные отряды, гдѣ перехватили и передали дальше сигналы серебряные рожки лейбъ-казачьяго эскадрона... Въ коновязяхъ послышалось ржаніе лошадей... Ослы изъ Плевны заорали во все свое широкое горло... Гдѣ-то затаивали сторожевые псы...

— Нѣтъ, это у нихъ такъ... Должно, поднимаются... Уходить хотять...

— А вотъ увидимъ...

— Что имъ на насъ идти?... Разобьютъ носы по-вчерашнему.

— Дай Богъ!..

Турецкіе солдаты стали стягиваться назадъ... Посѣрѣвшіе скаты холмовъ уже не требовали особенно тщательнаго надзора... Скоро и наши секреты поднялись...

Не успѣли еще они подтянуться на гребень, какъ навстрѣчу имъ Харабовъ...

— Ну что?..

— Турки, ваше-скородіе, сняли свои секреты... И аванпостовъ у нихъ не видать...

«Скверно, — подумалъ про себя офицеръ. — Значить, собираются идти сюда... Скверно!»

И онъ задумчиво оглянулся на редутъ, еще спавшій въ блѣдныхъ сумеркахъ ранняго утра...

Сладко, наконецъ, удалось заснуть Горгалову.



Призраковъ какъ не бывало. Кошмаръ унесся далеко-далеко и маіоръ легко и ровно дышитъ, согрѣваемый накинутою на него солдатскою шинелью. Ничего ему не снится — натура взяла свое. Отдыхаетъ утомленный мозгъ — не хватаетъ въ немъ силы даже для блѣдныхъ фантомовъ, въ возбужденномъ еще недавно ухѣ — ни звука... Сладко спитъ Горталову...

Небо совсѣмъ поблѣднѣло.

Неспавшія цѣлую ночь звѣзды устали и одна за другой закрываютъ свои яркія очи... Мѣсяцъ еще бодрился, но сталъ блекнуть, точно съ утомленного лица его сбѣжала краска. Холмы вокругъ редута выяснились... одинъ за другимъ... Будто волны, катящіяся въ невѣдомую даль... Среди ихъ безбрежнаго простора темнѣли еще лоцины и овраги, гдѣ, пока завернувшись въ бѣлую мглу, спали каменные массы, какъ сказочные богатыри у шумныхъ потоковъ и тихихъ ручьевъ...

Сигналы замерли...

Послѣднія отзвучія рожковъ, оттолки барабановъ разбѣжались вдаль и затерялись тамъ...

Минута тишины...

— Будить маіора? — обратился фельдфебель къ Харабову.

— Погоди...

Харабовъ, словно не вѣря этой тишинѣ, зорко всматривался впередъ...

Впередъ, въ эти тучи, что лежатъ тамъ вдали, на сѣрыхъ склонахъ холмовъ... Неподвижные!.. Въ блѣдномъ освѣщеніи зачинавшагося утра погасли костры, всю ночь горѣвшіе среди этихъ тучъ... Черные покоятся они пока передъ нашимъ передовымъ редутомъ...

— Началось!..

Снопъ пламени... Секунда молчанія... Ахнула мѣдная грудь, и, словно проклятіе, брошенная ею граната зашумела въ высотѣ.

— Пора! — и Харабовъ сошелъ съ банкета.

Сладко, совсѣмъ сладко спалось Горталову... Ротъ раскрылъ, руки раскинулъ. Послѣднія морщинки сбѣжали съ блѣднаго, включеннаго, бородой обросшаго лица...

— Маіоръ, пора, вставайте!..

Тотъ только повернулся... И задышалъ еще глубже, еще ровнѣе...

— Вставайте, маіоръ!.. — взялъ его за плечо Харабовъ.

— Что, что?.. Что такое?..

Горталовъ, разомъ поднявшись, недоумѣло смотрѣлъ кругомъ, ви-

димо, въ первую минуту не узнавая ни этого наклонившагося къ нему лица, ни этого сѣраго редута...

— Что такое?.. Зачѣмъ?.. Куда?..

— Турки идутъ, маіоръ!..

— Къ ружью!

И, разомъ очнувшись, Горталовъ уже стоялъ, готовый къ послѣд-  
нему бою на жизнь и на смерть, посреди редута...

— На валы, на валы, ребята!..

«Турки идутъ!.. Турки идутъ!..» — слышалось въ землянкахъ.

Ослабѣвшій Дороновичъ выползъ тоже... Легко раненые уже стоя-  
ли на банкетахъ...

— Что такое? — обернулся Дороновичъ къ Харабову.

— Турки идутъ!

— Уже?..

— Да, слышите?

Вверху уже роились свинцовыя пчелы; гранаты шушукали въ вы-  
сотѣ...

— Ну... Сегодня придется расплатиться за Георгіевскій крестъ! —  
проговорилъ Дороновичъ, съ трудомъ идя къ своей ротѣ.

## XVI.

### Третья Плевна: первый ударъ.

— Дяденька, а дяденька!..

Парфеновъ, вмѣстѣ съ другими стоявшій уже на валахъ въ пол-  
ной боевой готовности, оглянулся — на курносаго парня.

— Ну?

— Что же теперечи будетъ? Это ёнъ на насъ лѣзомъ лѣзеть?

— А ты думалъ на кого?..

— Да вчера вѣдь мы ему здорово наклали... Чего же еще ему?..  
Я такъ полагаю, уйдетъ онъ.

— Видишь, не уходитъ... Тутъ дѣло такое, какъ кому Богъ —  
сегодня мы верхъ возьмемъ, а завтра онъ...

— Ловко!..

— Богъ, братъ, дальше видитъ, кому что послать... Можетъ,  
такъ надо, чтобы и насъ побили...

— Не побьють!..

— Становитесь, становитесь, ребята!.. Покорь!.. Живо, живо!.. — торопили офицеры позади. — У всѣхъ патроны есть?.. У кого нѣтъ, пусть товарищи подбьются...

Между редутами шла соединительная траншея...

Туть была разсыпана на всякій случай стрѣлковая цѣпь... Во рвахъ, залитыхъ еще вчера кровью, мертвыхъ было больше, чѣмъ живыхъ. Трупы лежали поперекъ, мѣшая движенію. Въ нѣсколькихъ мѣстахъ были набиты горами таеъ, что валы исчезали подъ ихъ неподвижною зловѣщею массой...

Впереди, въ лучахъ разсвѣта, вырисовалась уже грозная профиль Кришинскаго редута, откуда долженъ былъ направиться первый ударъ на наши позиціи. Горталовъ озабоченно обошелъ свой отрядъ и съ перваго же взгляда убѣдился, что сложенный изъ труповъ брустверь далеко не защищаетъ его солдатъ... Траншея, соединявшая его съ редутомъ, хотя и шла по краю горы, но была ниже Кришинской твердыни, и маіоръ ясно понялъ, что турки тотчасъ же начнутъ обстрѣливать какъ ее, такъ и всѣ наши закрытія картечными гранатами... Снизу, по откосамъ, всползали сады плевненскихъ предмѣстій, точно зеленыя облака, неподвижно залегшія на скатахъ... Оттуда послышалось сухое пощелкиваніе одиночныхъ выстрѣловъ. Каздаго, кто поднималъ голову въ траншеѣ, привѣтствовала изъ этихъ садовъ турецкая стрѣлковая цѣпь свинцовыми пчелами...

Свѣтъ утренней зари не былъ здѣсь свѣтомъ надежды... День рождался для муки, для отчаянія, для смерти... Ночь медленно уходила, кутая еще западъ въ свои голубыя сумерки... Точно ей было жаль оставлять этихъ обреченныхъ на смерть, точно она знала, что ихъ ждетъ, что несетъ имъ на долю этотъ сырой и холодный день... Ночь медлила и въ лощинахъ: ей не хотѣлось снять густую пелену своей мглы съ этихъ исковерканныхъ труповъ, что лежали тамъ у ручьевъ, до которыхъ доползли еще живыми эти, теперь неподвижно лежащіе люди... Ночь въ сторонѣ къ Опанцу, Медвену и Трину еще покоилась на скатахъ холмовъ. Ей, видимое дѣло, самой было страшно приподняться и обнаружить густые зловѣщіе таборы, что ждали тамъ только сигнала ринуться и раздавить горсть, жалкую и слабую горсть защитниковъ, которымъ осталось одно — умереть на валахъ, добытыхъ кровью ихъ товарищей...

Свѣтъ утренней зари не разбудилъ одушевленія въ этой малочисленной дружинѣ: молчали боевые порывы, — да они и не нужны

были здѣсь . . . Чувство долга, сознание необходимости жили въ каждомъ. Горгаловъ, глядя въ лицо своимъ солдатамъ, видѣлъ, что они сами не уйдутъ отсюда. Солдаты въ глазахъ своего командира читали рѣшимость умереть, не сдавая редута . . . Этого было довольно . . . Слишкомъ много крови было пролито вчера, слишкомъ много труповъ лежало кругомъ, чтобы смерть пугала кого-нибудь изъ этихъ обреченныхъ ей жертвъ . . . Гекатомба еще не была принесена тому божеству, которое озаряло этихъ покорныхъ, приведенныхъ сюда для закланія агнцовъ, своими яркими лучами . . . Смерть точно издали любовалась на здоровыхъ и сильныхъ людей, въ толпу которыхъ она должна будетъ ворваться, ворваться сейчасъ же, какъ только снимутъ ошейникъ, освободятъ ее отъ цѣпи, удерживающей ея руки . . . Молчаніе царило въ траншеяхъ, молчаніе было и въ редутѣ . . . Отъ жертвъ, приносимыхъ кровавымъ призракамъ войны, нельзя было требовать восторговъ. Довольно и того, что онѣ ждали покорно, протянувъ подъ ножъ свои, ни въ чемъ неповинныя, головы . . .

Свѣтъ утренней зари разбудилъ раненыхъ, лежавшихъ еще на сѣрыхъ скатахъ холмовъ. Какъ и вчера, они опять увидѣли себя оставленными, какъ и вчера, никто не приходилъ къ нимъ . . . Но наканунѣ было лучше . . . Гораздо лучше . . . Въ рукахъ еще чувствовалась сила; можно было ползти по сырýmъ полямъ . . . Ползти, отдыхая на каждомъ шагу, ползти, впиваясь пальцами въ мягкую почву . . . Вчера они двигались, вчера они надѣялись, что скоро будутъ у своихъ, что ихъ положить въ постели, перевязать эти раны, въ которыхъ точно горѣли угли отъ костра, такъ жгло въ ихъ разорванныхъ краяхъ; успокоятъ эти разбитыя въ осколки кости, иззубренные концы которыхъ мозжили, острые обломки съ каждымъ движеніемъ шевелились въ живомъ мясѣ еще дѣйствующаго мускула . . . Это было вчера . . . Увы, теперь, сегодня, раненые, открывъ глаза, уже не нашли силы въ своихъ измученныхъ рукахъ. Какъ лопнувшая пружина, мышцы не трогались, хотя первое возбужденіе раненыхъ доходило почти до безумія . . . Сегодня уже нельзя было ползти впередъ, и только пальцы въ отчаяніи все глубже и глубже царапали мокрую землю . . . Глаза округлялись отъ ужаса; вся жизнь переходила въ блескъ этихъ глазъ, въ воспаленный зрачокъ; вся жизнь обнаруживалась въ сумасшедшей энергіи взгляда, точно взглядъ могъ заставить работать эти разомкнувшіеся мускулы . . . Увы, онъ былъ такъ же безсиленъ, какъ безсиленъ былъ остановить эти сѣрыя тучи, что ползли уже по блѣднымъ небесамъ, скупо отражая на своихъ холодныхъ окраинахъ свѣтъ утренней зари . . .

Лучше бы не родиться этому дню, лучше бы не проясниться этимъ небесамъ!.. Впрочемъ, и они не смѣли разгорѣться яркими красками восхода... Напротивъ, небеса точно блѣднѣли, зная весь ужасъ, который имъ придется увидѣть сегодня... Блѣднѣли, чувствуя свое безсиліе помѣшать ему; блѣднѣли и снова кутались въ тучи...

— Ну, Харабовъ, кому суждено увидѣть сегодняшній вечеръ? — обернулся Дороновичъ, когда молодой офицеръ проходилъ мимо.

— Еще нѣтъ потерь...

— Въ траншеяхъ уже есть...

— Большое дѣло и жертвы великія...

— У васъ есть мать?..

— Есть...

— Богатая?

— Нѣтъ, моимъ жалованьемъ живетъ... И сестра тоже...

— Спросите ихъ — какое имъ дѣло до этого великаго?.. А когда великое совершится, когда онѣ — одинокія и оставленныя — станутъ день за днемъ переживать муки лишеній, нищеты, вы, Харабовъ, какъ полагаете: созерцаніе этого великаго утѣшитъ ихъ?.. Легче имъ будетъ?.. Полноте!.. Великое для человѣчества — несчастье для человѣка... Интересы массы и личности не сходятся здѣсь... Каждая блестящая страница исторіи — скорбный листъ для народа... Мнѣ сюжетъ для сказки пришелъ въ голову... Была красавица, губившая цѣлыя сотни витязей. И всѣ улыбались ей, умирая за нее... Всѣмъ эта божественная прелесть казалась достаточнымъ поводомъ для самыхъ безумныхъ подвиговъ... Къ счастью, нашлась добрая фея... Она одна знала, что прелести этой пагубной для человѣчества красавицы — только призракъ... И вотъ, въ тотъ самый моментъ, какъ двѣ рати витязей готовились ринуться другъ на друга въ честь этой красавицы, добрая фея брызнула на нее нѣсколькими каплями воды изъ источника правды... Витязи остановились какъ вкопанные съ занесенными мечами, съ поднятыми бердышами, дубинами... Въ красной бархатной ложѣ — вмѣсто царицы турнира оказалась старая, гадкая вѣдьма, съ оскаленными зелеными зубами, сквозь которые сочилась смрадная кровь; изъ провалившихся глазныхъ впадинъ — вмѣсто яркихъ очей — сверкало что-то хищное, подлое, торжествующее отъ злобы... На безволосомъ черепѣ — вмѣсто черныхъ косъ шевелились и шипѣли змѣи, поводя направо и налево свои ехидныя жала... Цѣпкіе, крючьями, пальцы съ острыми когтями, отъ наслажденія предстоящей травли, впились въ бархатъ барьера... Лучше всего, Харабовъ, то, что сквер-

ная вѣдма все еще воображала безуміе витязей продолжающимся. Думала, что она кажется имъ красавицей — и улыбалась, и кивала имъ головой, и бросала въ нихъ цвѣтами, которые тоже превращались въ клубки безобразныхъ, вонючихъ червей...

— Что же сдѣлали витязи?..

— Витязи?.. Оправившись отъ перваго момента изумленія, они бросились на поганую вѣдму и разрубили ее на куски... Къ сожалѣнію, не догадались съжечь. Когда они разлѣхались по домамъ, куски, шипя и извиваясь, подползли одинъ къ другому и срослись.

— Ну?..

— Ожила, и мы снова ее считаемъ красавицей... И всего досаднѣе то, что, уцѣлѣвъ и вернувшись домой, мы станемъ рисовать войну, опять-таки, не дряхлой и подлой вѣдмой, которую мы видѣли вчера и увидимъ сегодня, а божественной красавицей, прелести которой станутъ, благодаря нашимъ же рассказамъ, воодушевлять будущія поколѣнія... Ахъ, добрая фея, — гдѣ твоя вода?.. Гдѣ источникъ правды?..

— Зафантазировались!

— Надѣюсь, что наканунѣ смерти это простительно...

— Что вы все каркаете: смерти да смерти!..

— А вы вонъ взгляните на Горталова... Хорошъ? Собирается этотъ человѣкъ жить?..

Маіоръ въ это время проходилъ мимо.

Блѣдный, только глаза горятъ какъ угли... Брови судорожно нахмурены, зубы стиснуты, такъ что связки челюстей около ушей выдались какими-то желваками...

— Господа офицеры! — обернулся онъ къ Харарову и Дороновичу: — на свои мѣста!..

— А что, маіоръ?

— Турки двинулись рѣшительно... Сейчасъ начнется... Подавайте примѣръ солдатамъ...

— Ну, Хараровъ, прощайте... — улыбнулся Дороновичъ.

Пожали руки другъ другу, поцѣловались и... пошли умирать за божественную красавицу...

День разсвѣлъ совсѣмъ...

Ночь неохотно снялась съ западныхъ вершинъ и ушла медленно, точно оглядываясь, далеко-далеко, туда, куда вслѣдъ за ней готовились уйти тысячи защитниковъ, тысячи бойцовъ... Теперь вся окрестность впереди какъ на ладони.

Грозная профиль Крипина точно возносилась под самую тучи...  
Оттуда сходили вниз черные таборы.

Таборы шли справа, слѣва...

— Что наши орудія?.. Могутъ работать? — остановился Гор-  
таловъ около амбразуры.

— Одно... кое-какъ... Другое подбито.

— А турецкое?

— Никуда не годится... Совсѣмъ искалѣчено.

Около орудій лежали уже раздувшіеся трупы лошадей...

Зловѣщій смрадный брустверь изъ труповъ къ сторонѣ Плевны  
пока еще защищалъ нашихъ отъ стрѣлковъ, все больше и больше вы-  
двигавшихся впередъ изъ зеленой окраины городскихъ садовъ.

Нашимъ пришлось очень недолго оставаться въ неопредѣленномъ  
положеніи людей, выкидающихъ противника. Очевидно турки на этотъ  
разъ рѣшились отказаться отъ своей обычной осторожности. Они шли  
прямо на редутъ, то подымаясь на вершины холмовъ, то опускаясь въ  
лощины. Наступленіе направлялось въ лобъ, а стройность, съ кото-  
рою двигались таборы, заставляла подозрѣвать въ нихъ лучшія изъ бое-  
выхъ силъ Османа-паши...

Горталовъ, зорко глядя впередъ, убѣдился, что всѣ эти черныя ко-  
лонны враговъ двигаются на него исключительно. Безчисленные цѣпи  
отдѣлялись отъ нихъ, разбрасываясь по скатамъ и жнивьямъ, давно уже  
утоптаннмъ десятками тысячъ проходившихъ здѣсь ногъ; безчислен-  
ныя цѣпи перебѣгали отъ лощины къ лощинѣ, отъ однихъ укрытій къ  
другимъ, точно длинныя линіи морского прибоя, правильно слѣдующія  
однѣ за другими... И какъ море не истоцается, бросая къ неподвиж-  
нымъ берегамъ вспѣнныя волны, такъ, казалось, и черныя колонны  
турокъ позади вовсе не умялись, выдѣляя изъ себя цѣпи за цѣпами...  
Тѣ же густыя массы оставались тамъ, и казалось, что онѣ безъ конца  
могутъ выбрасывать на наши позиціи волнистыя линіи стрѣлковъ...  
За брустверами дорого доставшагося редута наши видѣли силу враговъ  
и не утѣшали себя возможностью успѣха. Побѣда была бы чудомъ, по-  
раженіе — позоромъ. Оставалась только смерть; — и ей обрекала себя  
великодушная дружина, думая, что тѣмъ самымъ она спасетъ своихъ  
товарищей... Приговоренные къ смерти — до самой минуты казни ста-  
раются не думать о ней: такъ и защитники редута гнали отъ себя мысль  
о томъ моментѣ, когда вокругъ этихъ сѣрыхъ валовъ загалдят без-  
численные таборы и на каждого изъ солдатъ набросятся сотни упоен-  
ныхъ дешевою побѣдою враговъ...

Недолго огонь турокъ былъ рѣдокъ; не прошло и получасу послѣ того, какъ черныя колонны выслали первую цѣпь, — и грозная профиль Кришинскаго редута выбросила снопы огня во всѣ свои амбразуры... Словно траурныя знамена, поднялся надъ ними дымъ, и нѣсколько гранатъ ударились около валовъ, занятыхъ Горталовымъ и его солдатами. Всѣ окрестныя турецкія позиціи точно ожидали этого момента. Орудійный залпъ былъ сигналомъ, разбудившимъ сотни стальныхъ и мѣдныхъ звонковъ, отовсюду ставшихъ выбрасывать огонь и смерть на жалкій по числу своихъ солдатъ строй русскихъ... Сотни гранатъ лопались у редута, десятки шрапнелей рвались надъ нимъ, покрывая звуки начинавшагося боя своими долгими металлическими стопами... Нѣсколько турецкихъ гранатъ упали въ сложенный изъ турецкихъ труповъ брустверъ и разворотили эту отвратительную массу окровавленныхъ грудей, разбитыхъ головъ, изорванныхъ рукъ... Но зрѣлище, которое въ обыкновенное время поразило бы ужасомъ защитниковъ редута, теперь совсѣмъ не дѣйствовало на ихъ притупившіеся нервы. Они даже и не вздрагивали, когда чугунное чудовище врывалось въ груди еще вчера живыхъ и здоровыхъ людей, вспучивало ихъ и внутри, въ этой мягкой массѣ, производило свое безпощадное святотатство. Некогда было пугаться опустошеніями среди мертвыхъ, когда живые то и дѣло валились съ брустверовъ внизъ, безсознательно, въ послѣдней агоніи своей стараясь схватиться за что-то въ воздухѣ...

— Ахъ ты, Господи! — совсѣмъ поблѣднѣлъ курносый парень, когда осколкомъ гранаты сорвало полчерепа у сосѣдняго солдата, облѣпивъ ему лицо теплою, мягкою, влажною массой мозга и крови... — Ахъ ты, Господи!.. — и онъ сталъ было сползать съ редута...

— Ты куда? — остановилъ его Парфеновъ.

— А во!..

И парень указалъ на *стоявшій* рядомъ трупъ.

Граната такъ сорвала черепъ, что тѣло солдата и не шевельнулось. Какъ стояло на брустверѣ, такъ оно и осталось. И рука на прикладѣ ружья. Только вмѣсто головы какая-то кровавая чаша, открытая, дымящаяся паромъ среди этого холода осенняго утра...

— Что во... Вчера не боялся... А теперь чего пужаешься?..

— Вчера, дяденька, совсѣмъ иначе было...

— Чего иначе?..

— Да такъ... Вчера шли... А ногѣ стоять надо. Енѣ въ тебя палить, а ты стой, ничего ему сдѣлать не можешь... Вчера, дяденька, куда легче было!.. — уже оправлялся парень...



И действительно вчера было легче. Вчера не стояли под огнемъ. Не ждали. Вчера приходилось двигаться впередъ или назадъ, — все равно. Это совсѣмъ не то, что выжидать на себя врага, который версты за три ужъ громить тебя со всѣхъ сторонъ, отъ котораго не закопаешься въ землю, не спасешься никуда... Тутъ люди совсѣмъ теряются, и ничья мужественная совѣсть не посмѣетъ ихъ упрекнуть въ этомъ. Тутъ самыя отважныя сердца начинаютъ биться сильнѣе; люди, обречшіе себя на смерть, чувствуютъ тревогу, смутную, болѣзненную жуткость... Искать смерти, *идти* за нею — легче, чѣмъ ждать ее, стоять подъ нею... Стоять и не смѣть шевелиться!..

Трескъ лопающихся снарядовъ скоро заглушилъ гулъ отдаленныхъ выстрѣловъ.

Горталовскій редутъ былъ теперь центромъ, куда неслись эти желѣзныя чудовища съ злобнымъ шипѣніемъ, словно они едва сдерживались, чтобы не треснуть ранѣ времени, по пути, не долетѣвъ до ненавистнаго врага... Каждая изъ этихъ гранатъ казалась живымъ существомъ; каждая казалась полной самой неутолимой жаждой мести... Скоро вокругъ стала какой-то несмолкаемый трескъ. Только и слышны были разрывъ гранатъ и свистъ отъ осколковъ. Грохотъ стоялъ въ ушахъ, воздухъ дрожалъ отъ этихъ грозныхъ звуковъ, казалось, все кругомъ накалялось отъ пламени разрыва; мокрые валы покрывались паромъ, когда гранаты, шипя, какъ расплавленный свинецъ, вшивались въ ихъ рыхлыя массы.

Только некогда было оглядываться, а то парень бы увидѣлъ, какъ въ одномъ мѣстѣ цѣлую группу солдатъ вычеркнула изъ списка живыхъ разорвавшаяся между ними граната. Люди даже и упали ногами къ ней, точно безобразный черный осколокъ съ иззубренными краями, дымившійся изнутри, еще притягивалъ ихъ; точно и послѣ смерти они не могли отдѣлиться отъ него. Осколокъ еще покачивался изъ стороны въ сторону, — тогда какъ убитые уже не шевелились, — и только одинъ, въ которомъ жило пока сознание, напряженно раскрывалъ и закрывалъ глаза, точно недоумѣвая, что это съ нимъ случилось и почему это сѣрое, сѣрое небо такъ низко опустилось къ самому лицу его. Такъ низко, что нижняя поверхность тучъ касается его... Касается, захватываетъ... И уносить далеко, далеко!..

Курносый парень глазъ не спускаетъ съ черныхъ цѣпей, что движутся прямо на редутъ... Теперь уже и версты не осталось между ними и совершенно открытою горжей... Скоро въ шипѣніи и трескѣ

гранатъ, свистъ и вопляхъ разлетающихся во всѣ стороны осколковъ слышались и иные звуки.

Назойливое шипѣніе свинцовыхъ пчелъ. До сихъ поръ онѣ налетали одиночками и, разумѣется, не пугали привычныхъ солдатъ... Теперь на редутъ точно безчисленные рои спустились. Кто встревожилъ эти ульи?... Кто заставилъ ихъ переполнить воздухъ, покрыть своимъ жужжаніемъ всѣ остальные звуки и то впиваться въ живое тѣло, то шлепаться въ мокрую почву?... Казалось, эти свинцовыя пчелы, какъ рой комаровъ въ воздухъ, празднуютъ что-то, торжествуютъ свою побѣду надъ защитниками одинокаго редута, откуда нельзя уйти, гдѣ нѣтъ спасенія никому... Теперь уже рои эти налетаютъ отовсюду... Справа, изъ городскихъ садовъ, несутся они; стремятся спереди, изъ длинныхъ волнистыхъ линій стрѣлковъ, которыхъ вновь безконечно продолжаютъ выдѣлять изъ себя черныя таборы; слѣва — изъ обходныхъ колоннъ, которыя лощинами и оврагами пробираются въ тылъ этому редуту, косякомъ вдвинувшемуся въ турецкія позиціи.

Траверы были рассчитаны такъ, чтобы защищать гарнизонъ редута отъ русскихъ пуль; турецкому огню внутренность его была открыта, и люди напрасно жались къ валамъ, точно они хотѣли врасти въ эти сырыя, рыхлыя земляныя массы — смерть находила ихъ и тутъ, внутри, и въ соединительныхъ траншеяхъ...

Нѣсколько солдатъ не выдержало...

Трудно стоять подъ огнемъ и самимъ не отвѣчать на огонь... Рука помимо воли тянется къ курку ружья. Дуло точно само беретъ прицѣль...

Одинъ выстрѣлъ, другой, третій...

Горталовъ не успѣлъ еще и рта раскрыть, какъ вдругъ по всѣмъ валамъ зазмѣлились огоньки, и длинная полоса дыму всколыхнулась надъ редутомъ. Трескъ перебѣгающихъ выстрѣловъ отсюда на мгновеніе заглушилъ и грохотъ турецкихъ батарей, и назойливое пѣніе свинцовыхъ пчелъ...

— Не смѣть стрѣлять!.. Молчать!.. — грозно прозвучала команда... И Горталовъ сталъ обходить редуты...

— Пулю въ затылокъ тому — кто спуститъ курокъ... Стрѣлять по командѣ... Господа офицеры, слѣдите за своими частями!..

Паническая стрѣльба изъ редута по движущемуся врагу, стрѣльба изъ нѣсколькихъ сотъ ружей, тогда какъ на насъ наступали десятки тысячъ, — могла только одушевить врага, выдавая нашу слабость и неувѣренность въ своихъ силахъ... Сверхъ того, патроновъ было слиш-

комъ мало. Дай волю — и ихъ разстрѣляли бы въ полчаса, и тогда редутъ остался бы совсѣмъ беззащитнымъ... Горталовъ, обходя, поясняя людямъ ихъ положеніе, и не прошло еще нѣсколькихъ минутъ, какъ на валахъ опять молчаливо стояли сѣрые фигуры...

Среди этого ада, шипѣвшаго змѣиными жалами, оравшаго мѣдными зѣвами, бросавшаго сюда, точно изъ чудовищныхъ пращей, цѣлые ливни свинца и чугуна, среди этого ада, разгорѣвшагося сумасшедшею ненавистью и злобою на него, только онъ одинъ, этотъ торжественный и величавый гладиаторъ — редутъ — стоялъ словно нѣмой, смѣло глядя въ лицо бѣснующемуся аду, точно презирая и преимущество его силъ и могущество его гнѣва... Онъ пока не отвѣчалъ на вызовы; зорко глядя впередъ, онъ оставался неподвижнымъ и тогда, когда за его валами уже началъ подыматься паръ надъ новыми лужами крови, тусклыми лужами, въ которыхъ сегодня даже не хотѣло отражаться небо, закутавшееся въ густую массу темныхъ тучъ... Онъ молчалъ, когда его защитники, заглушая невольные стоны, падали внизъ съ сѣрыхъ валовъ, когда смерть уже торжествовала здѣсь свою дешевую побѣду... Гладиаторъ ждалъ, опустивъ свои сильные руки. Ждалъ, глядя на это звѣриное стадо... Пускай оно приблизится, и тогда онъ разорветъ челюсти первому попавшемуся ему подъ руки волку... А пока вся эта озлобленная стая можетъ выть и реветъ, онъ не шевельнется, не откликнется на вызовъ.

— Снять чахолъ со знамени!..

Спрятанное за ночь полотнище медленно развернулось подъ легкимъ вѣтромъ и надулось, какъ парусъ, подъ бѣлымъ Георгіевскимъ крестомъ, вѣнчавшимъ древко... Мѣдный змій Моисея опять поднялся надъ утомленными бойцами, и наканунѣ смерти они обращали на него полные вѣры взгляды, къ нему неслись безмолвныя, молчаливыя молитвы, — молитвы, въ которыхъ вмѣсто словъ только слышенъ ускоренный бой сердце, растроганныхъ тоскою, — молитвы, изливающіяся слезами, что какъ рѣдкій осенній дождь падаютъ незамѣтныя внизъ...

Точно окрылившійся этими распущенными знаменами, Горталовскій редутъ, казалось, медленно и величаво плылъ впередъ, по сѣрымъ волнамъ этихъ холмовъ, подъ сѣрыми волнами небесныхъ тучъ... На палубѣ его стояли обреченные смерти, и еще торжественнѣе казалось среди бѣшенаго вихря стихійной бури ихъ величавое молчаніе... Птица, слугнутая выстрѣлами, долго летѣла впередъ, пока не наткнулась на древко... Усталыя крылья требовали отдыха... Она уцѣпилась за крестъ знамени и на минуту остановилась на немъ... «Духъ свя-

той», — проговорилъ про себя суевѣрный Парфеновъ... — «Духъ святой съ нами!..»

Но духъ святой недолго оставался тамъ. Пролетавшія мимо свинцовыя пчелы слугнули его, и онъ опять полетѣлъ дальше, безпокойно размахивая крыльями и дѣлая отчаянныя усилія, чтобы скорѣе выйти изъ этого ада...

Если это былъ духъ святой, то не для спасенія спускался онъ надъ редутомъ, не для спасенія гибнущихъ. Нѣтъ, онъ только осѣнилъ ихъ своими крыльями передъ смертью, онъ привѣтствовалъ тѣхъ, которые готовились черезъ нѣсколько минутъ вступить въ его тихое и мирное царство...

Недолго пришлось ждать...

Вонъ, на гребнѣ ближайшаго холма, мелькнули черныя фигуры стрѣлковъ изъ передовой турецкой цѣпи...

Мелькнула фигура — и скатилась въ лощину... За ней другая, третья... четвертая... И всѣ сбѣгаютъ туда же...

Оттуда, изъ этой лощины, двинется атака. Оттуда будетъ нанесенъ ударъ, первый ударъ долго готовившагося боя... Первый... Но не послѣдній... Одинъ за другимъ... У этой грозной руки не ослабнуть мышцы отъ одного усилія, она повторитъ его еще не разъ... Повторитъ, пока не смоетъ съ лица земли этихъ дерзкихъ смѣльчаковъ, ворвавшихся въ самое сердце вражьяго стана...

Солдаты оглядывались на офицеровъ... Они опять затосковали... Фигуры вражыхъ стрѣлковъ на гребнѣ холма словно сами напрашивались на выстрѣлъ. Тутъ бы ихъ встрѣтить залпами!.. Но офицеры, зорко глядя впередъ, молчали, и готовая команда, какъ звѣрь въ клеткѣ, еще не выпускалась на волю...

Молчалъ и Горталовъ...

«Черезъ нѣсколько минутъ они подымутся по скату и — тогда...»

— Ваше высокоблагородіе!.. — кто-то заговорилъ у него за спиной усталымъ и словно надорваннымъ голосомъ.

— А, Стасюкъ, ты откуда?

— Изъ траншеи... Оттоль прибѣгъ.

— Ну, какъ у васъ, все благополучно?..

— Никакъ нѣтъ... Врага увидѣли!..

Горталовъ нахмурился. Траншея была совсѣмъ въ тылу.

— Что еще тамъ?

— Енъ, ваше высокоблагородіе, конницей на насъ насѣлъ. Конница тамъ показалась...

— Тебя прислалъ поручикъ?

— Точно такъ...

— Скажи ему, что я ему помочь не могу. Пусть отбивается самъ.

Понимаешь?

— Понимаю...

— Пусть, когда подступятъ близко, залпомъ встрѣтитъ, слышишь?

— Слышу.

— Въ упоръ!.. Понялъ?.. Потери у васъ есть?..

— Страсть что народу пропало...

— Да откуда же онъ бьетъ васъ?..

— Съ хланговъ, ваше высокоблагородіе, почитай ста человекъ уже нѣтъ. Прапорщика убило... Прямо въ голову ему вдарило... Гранатой наскрозь по всей траншеѣ садить...

— Ну, держитесь... Видите — у насъ не лучше.

— Точно такъ-съ.

— Скажи, помощи не будетъ. Ты — старый георгиевскій кавалеръ, Стасюкъ, тебѣ не впервой. Подай молодымъ примѣръ.

— Что жъ, ваше высокоблагородіе, помирать — такъ помирать!..

Мы на это всегда согласны. А только, чтобы ему не уступить...

— Ну, то-то... Поди же и передай!..

Стасюкъ повернулся и пошелъ въ свою траншею.

Взойдя на валъ, Горталовъ оглянулся назадъ и, дѣйствительно, убѣдился, что Стасюкъ сообщилъ ему правду... Турки въ тылъ редуту выслали тысячи четыре всадниковъ, которые, разбросившись вѣромъ, уже осыпали траншею частою дробью своихъ винчестеровскихъ пулекъ...

— Видите?.. — обратился Горталовъ къ совсѣмъ уже изнемогавшему отъ потери крови Дороновичу.

— Да...

— Дѣло ясное...

— Совсѣмъ ясное. Они рассчитываютъ на наше отступленіе и думаютъ насѣсть на насъ кавалеріей... Ошибутся!..

— Да... Отступленія ни въ какомъ случаѣ не будетъ. Уйдутъ — только для спасенія знамени и то напоследокъ. Я обѣщаль умереть здѣсь и умру... Но не отдамъ редута... Когда всѣ усилія будутъ истощены, я поручаю именно вамъ спасти знамена!..

— Поручите другому, маіору.

— Почему это?

— Я тоже не уйду отсюда!.. — И оба, молча, пожали руки другъ другу.

Въ лощину уже сбѣжало много цѣпей... Судя приблизительно, тамъ уже было болѣе десяти таборовъ... По гулу, слышавшемуся издали, можно было заключить, что позади гребня ближайшаго холма густились еще болѣе сильныя отряды, которые должны были подкрѣпить эти таборы въ случаѣ неудачи ихъ перваго удара... Ждать его пришлось недолго... Изъ Кришинскаго редута послышались тоскливые турецкіе сигналы, которымъ отозвались рожки въ таборахъ, скрывавшихся за холмами... Рожки заплѣли направо и налево. Казалось, что даже въ тылу у насъ откликаются такіе же... Сигналы вспыхивали и въ городскихъ садахъ, — и когда послѣднія отзвучія ихъ погасли въ сырости и холодномъ воздухѣ, — огонь турецкихъ батарей и стрѣлковъ разгорѣлся до такой степени, что, казалось, каждый атомъ воздуха былъ вытѣсняемъ этимъ густымъ ливнемъ свинца и чугунныхъ осколковъ... Казалось, что дышать нечѣмъ въ этомъ редутѣ. Казалось, что эти пули и гранаты сыплются уже не съ окрестныхъ позицій, а само небо въ стихійномъ гнѣвѣ своемъ хочетъ истребить все живущее, все дышащее... Гибель Содома и Гоморры отъ небснаго пламени становилась понятной въ эту тяжелую минуту... И вмѣстѣ съ тѣмъ какъ разгорался огонь бѣшеной бойни, снизу, изъ лощины, безпорядочныя толпы выбѣжали на скать и стали нервно, порывисто подыматься къ молчавшему редуту... Толпы за толпами, точно изъ какого-то безконечнаго, неисчерпаемаго источника... Одни стремились прямо въ лобъ на редуть, другіе хотѣли охватить его кольцомъ... Крики: «Алла, алла!» слышались оттуда... Слышались сквозь грохотъ пушечныхъ выстрѣловъ, сквозь огненный ливень пуль...

А редуть все молчалъ, какъ очарованный.

Только офицеры за спиною у солдатъ зорко слѣдили за тѣмъ, чтобы никто не осмѣлился стрѣлять, чтобы ничья рука не спустила курка, подавъ тѣмъ самымъ пагубный примѣръ остальнымъ. Только солдаты все болѣе и болѣе зорко вглядывались въ эти, уже близко бѣгущія къ нимъ, остервенѣлыя толпы враговъ... Никто не сошелъ съ валовъ, никто не склонилъ головы... Только поблѣднѣли лица; но не чувство боязни скрывалось въ этой нервной, озлобленной блѣдности, въ этихъ стиснутыхъ челюстяхъ, въ этихъ неровныхъ подъемахъ глубоко дышавшей груди... Не чувство трусости — нѣтъ... Рука вѣрно брала прицѣлъ. Дуло ружья слѣдило, какъ и глазъ солдата, за приближавшимися таборами, — слѣдило неотступно, чтобы по первой командѣ офицера позади — бросить смерть прямо въ намѣченную жертву...

И тѣмъ громче слышались зловѣщіе крики подступающихъ ратей,

тѣмъ злѣе и отчаяннѣе гремѣло внизу это «алла, алла», тѣмъ оглушительнѣе ревѣли орудія изъ Кришина, Трина, Медвена и Опанца, тѣмъ гуще свинець лился на этотъ безмолвный редуть, тѣмъ грознѣе, тѣмъ величавѣе становилось его спокойное молчаніе. Въ этой зловѣщей тишинѣ, казалось, зрѣла буря, передъ властнымъ голосомъ которой должны будутъ стихнуть и эти мѣдныя зѣвы турецкихъ пушекъ, и эти безчисленные ульи свинцовыхъ пуль, и эти разгорѣвшіяся глотки съ ихъ однообразнымъ, жаднымъ: «алла, алла!»...

Турки уже близко — близко...

Весь спокойный, весь неподвижный, весь перешедшій только въ одинъ зоркій взглядъ, Горталовъ ждетъ... Ему уже давно хотѣлось бросить залпъ въ эти бѣгущія на него толпы, но онъ задержалъ уже шевелившуюся на губахъ команду... Рано еще... Пусть еще ближе подбѣгутъ подъ эти вѣрно слѣдящія за ними дула... Вотъ уже отдѣльныя лица видны. Разгорѣвшіяся ненавистью, злобой... Красныя фески назадъ сползли, потъ струится по лоснящимся лицамъ, ноги въ опанкахъ, торопятся поскорѣе укоротить разстояніе между ними и редутомъ... Вотъ какой-то — должно быть паша — выѣхалъ впередъ на бѣломъ конѣ; пѣшеходы его перегоняютъ... Онъ показываетъ саблю на молчаливый редуть...

Шаговъ триста уже, не больше... Голоса слышны, слышна команда — еще усиліе, еще нѣсколько минутъ и...

— Батальоны — пли!..

Глушачій все, все покрывающій трескъ залпа... Редуть точно проснулся и въ отвѣтъ на задорные отклики вражьихъ ратей отозвался такимъ могучимъ ударомъ, что, казалось, земля дрогнула отъ него и съ валовъ стала осыпаться внизъ... За клубами дыма не видно было ничего... Только послышалось то же грозное, то же громкое, словно его бросала металлическая грудь:

— Батальоны — пли!..

Новый трескъ залпа... Новые клубы дыма рвутся впередъ, словно они хотятъ догнать вѣстниковъ смерти, уже разсѣкшихъ воздухъ между защитниками редута и ихъ врагами...

— Рота — пли!

— Рота — пли!

Слышались отдѣльныя команды офицеровъ на флангахъ, и всякій разъ дружные залпы неслись оттуда навстрѣчу дрогнувшему врагу...

Парфеновъ совсѣмъ разгорѣлся...

Только что разбросило дымъ выстрѣловъ — онъ замѣтилъ, что

дрогнувшіе и смущенные турки топчутся внизу, куда они ушли, потерявъ на скатъ, шедшемъ отъ редута, почти половину своихъ товарищей.

— Ваше высокоблагородіе! — обернулся онъ къ Горталову.

— Чего тебѣ?

— Дозвольте вылазку — остальныхъ отыскать.

— Съ Богомъ!

— За мной, братцы! — и Парфеновъ сбѣжалъ внизъ съ вала...

Цѣлая толпа солдатъ, торопившихся на-бѣгу зарядить свои ружья, понеслась за нимъ. Турки не выждали: ихъ точно сбросило что-то съ холма!.. И тогда въ этой немногочисленной кучкѣ передовыхъ бойцовъ вспыхнуло такое неудержимое торжествующее «ура», что оно разомъ охватило весь редуть и по соединительной траншеѣ добѣжало къ боковому редуту, на которомъ тоже уже готовились къ бою...

Казалось, даже мертвые поднимались, чтобы и свой голосъ присоединять къ этому радостному крику живыхъ... Раненые, отдѣливъ свои больныя головы отъ земли, тоже отзывались на побѣду товарищей...

— Слава Богу!.. — молился одинъ такой, безсильно лежавшій въ лужѣ черной крови...

— Слава Богу...

— Спасибо, герои!.. Спасибо, братья! — обходилъ Горталовъ опять вернувшіеся въ редуть ряды солдатъ...

— Эхъ, кабы подкрѣпленія теперь!.. — слышались голоса.

— А что?

— Разомъ бы смели всю эту сволочь прочь...

Не прошло нѣсколькихъ минутъ, — и этотъ редуть, отразившій первый ударъ турокъ, опять замолкъ...

Нужно было беречь возбужденіе и не тратить его на бесплодный крикъ. Оно могло понадобиться сейчасъ же.

И опять грозный, величавый и молчаливый, съ распущенными знаменами, стоялъ онъ посреди этого ада, которому уже далъ кровавое доказательство своего могущества...

— Придите еще разъ и попробуйте взять!.. — какъ будто говорила эта тишина. — Придите!.. Мы ждемъ васъ...

И спокойный гладиаторъ опять сталъ неподвижно ждать, когда на него ринутся всѣ эти шипяція, остервенѣлая, ревуція стаи дикихъ звѣрей... Спокойный на аренѣ — среди безчисленныхъ зрителей, жаждавшихъ его смерти, жаждавшихъ его крови.



## XVII.

## Третья Плевна: зеленое знамя.

На редутах цѣлый день шелъ упорный бой.

Отряду, уже тридцать часовъ не выходящему изъ-подъ огня, и теперь не удавалось воздохнуть хотя нѣсколько минутъ. Когда отбитыя атаки, словно отхлынувшія волны морского прибоа, уносились назадъ, со всѣхъ окрестныхъ позицій у турокъ начинался такой убійственный огонь, что среди защитниковъ редута потерь было больше, чѣмъ во время самой ожесточенной штыковой бойни. Люди собирались съ силами подъ этимъ ливнемъ свинца и пламени; садясь на банкеты, не знали, придется ли имъ встать опять на валы для защиты ихъ при новомъ натискѣ остервенѣвшаго врага. Можно было думать, что мышцы голодныхъ солдатъ омертвѣли, столько сегодня пришлось имъ выдержать напряженія, столько потратить усилій... Безчисленные таборы турокъ разбивались объ этихъ немногихъ сильныхъ духомъ людей, которые, только отразивъ атаку, машинально опускали кружившія головы внизъ, не давая себѣ отчета, живы ли еще, или нѣтъ... Противу сотни турецкихъ пушекъ дѣйствовали только четыре нашихъ, которыя удалось такъ замаскировать, что, сколько турки ихъ ни нащупывали, ихъ не удавалось открыть вовсе... Горталовъ на одномъ, Мосцовой — на другомъ редутахъ даже не уходили за валы — казалось, инстинкты жизни уже погасли... Смерть — была лучше этой бойни... Смерть улыбалась мученикамъ, она была отдыхомъ, сномъ, спокойствіемъ, тишиною... Смерть была здѣсь надеждою, потому что побѣда была невысказима, а спасеніе доставалось цѣною позора... Имъ, столько времени защищавшимъ эти валы, казалось постыднымъ бросить ихъ, уйти отсюда... Всю бы жизнь преслѣдовалъ этотъ кошмаръ!... Редутъ былъ могилою товарищей, нужно присоединиться къ нимъ. Пусть врагъ войдетъ сюда черезъ трупы только... Лишь при этомъ условіи побѣда его не была бы упрекомъ защитникамъ. — Есть невозможное и для героевъ! — шепталъ внутренній голосъ Горталову... — Да есть невозможное, потому что они могутъ погибнуть!... Другого исхода нѣтъ, — говорилъ онъ самъ себѣ. — Идеалистъ военнаго дѣла, энтузіастъ его, — онъ далъ слово умереть и, давая его, зналъ, что это не фраза въ его устахъ, что онъ выполнитъ обѣщаніе...

Редуты, соединительная траншея между ними были завалены трупами защитниковъ...

Въ грудяхъ мертвыхъ стояли точно живые люди съ снесенными прочь головами, съ пробитыми пулями висками, стояли, потому что стовсюду ихъ подпирали мертвые... Когда стихалъ непріятельскій огонь, слышались иные звуки. Вопли, вымученные нечеловѣческими страданіями у раненыхъ, смѣшивались съ хрипыми криками умирающихъ, со стопами враговъ, оставшихся за брустверомъ... Это было еще ужаснѣе, еще отвратительнѣе... Свистъ и трескъ гранатъ, жужжаніе пуль, глуша эти вопли и хриплые крики, казались облегченіемъ для живыхъ... Ухо, по крайней мѣрѣ, не прислушивалось къ мучительнымъ страданіямъ товарищей... Въ редутъ трудно было двигаться, въ траншеѣ тоже, такъ они были завалены. Во всевозможныхъ направленіяхъ и положеніяхъ лежали убитые... Выгнувшіеся, скрюченные, точно въ послѣднюю минуту каждый нервъ сводила судорога, съ раскинутыми по сторонамъ, съ сжатыми на груди руками, лицомъ внизъ, лицомъ вверхъ разбросались несчастные, еще за нѣсколько минутъ дышавшіе злобой и ненавистью, которыя не сбѣжали съ ихъ исковерканныхъ лицъ. Иной, прижимая руки къ груди, точно хотѣлъ удержать въ ней что-то стремившееся вырваться оттуда; другой ладонью закрылъ глаза, словно какой-то страшный призракъ склонился къ нему въ послѣднюю минуту и пугалъ больное воображеніе умирающаго; третій сжалъ голову да такъ и заостенѣлъ, будто черепъ его хотѣлъ треснуть отъ страшной муки и боли... Зрѣлище кровавыхъ членовъ, вырванныхъ осколками гранатъ реберъ и боковъ было бы отвратительно, если бы оно не было столь ужасно... Можно было подумать, что какая-то колоссальная паровая машина только что работала въ этомъ редутъ, размалывая, разворачивая шестернями, взбрасывая зубцами колесъ тѣла, молотами разбивая черепа, и, не докончивъ своего дѣла, ушла далѣе, чтобы тотчасъ же вернуться назадъ... Самое развратное воображеніе отъявленнаго шовиниста содрогнулось бы и замерло передъ этимъ подавляющимъ зрѣлищемъ стихійнаго убійства... Продольные непріятельскіе выстрѣлы за одинъ разъ уносили десятки новыхъ жизней отсюда, увеличивая эти груды мертвыхъ, прибавляя новыхъ раненыхъ къ тѣмъ, которые еще лежали у валовъ, тщетно обращая къ небесамъ свои страдальческіе смятенные взгляды...

Теперь уже не надѣялся никто...

Полки, не побывавшіе въ дѣлѣ, стояли прикрытіями на другихъ позиціяхъ, о которыхъ Османъ-паша вовсе и не думалъ. «Они берегли дорогу на Систово!» Обрушившись на эти редуты, онъ спасалъ самого себя. Все, что у него было, шло сюда...

Только въ половинѣ третьяго дали знать, что на поддержку нашимъ идутъ Шуйцы...

Генералъ Крыловъ самъ послалъ ихъ сюда. Ему приказывали оставить Шуйцевъ на старыхъ позиціяхъ, но онъ видѣлъ лучше, чѣмъ остальные геніи, учившіеся воевать во время самой войны... Владимирцы съ Горгаловымъ, Суздальцы съ Мосцевымъ, уже тридцать часовъ удерживавшіе редуты, давно ждали поддержки... Имъ говорили, что ея не будетъ, но солдаты не вѣрили этому...

— Насъ не оставляютъ, ребята! — слышалось между ними.

— Не бросятъ... Еще отобьемся — и наши набѣгутъ...

— Разумѣется... Ужели такъ?... Экую позицію взяли да бросить!...

— Нутка еще раза два кокнемъ турокъ и побѣжить... Только бы подкрѣпленіевъ скорѣй...

Но именно за подкрѣпленіями и стояло дѣло... Вѣра солдатъ заставляла ихъ только еще упорнѣе стоять на своихъ невозможныхъ позиціяхъ... Казалось ужаснымъ покинуть ихъ, чтобы по пути встрѣтить свѣжіе полки, которые иззади, разумѣется, двигаются имъ на помощь. Старая слава Суздальцевъ и Владимирцевъ не могла допустить этого... Смерть не пугала... Пускай!... Мертвымъ лучше, чѣмъ живымъ...

— Еще часокъ поддержимся!...

— Ишь, за Тученицей стоятъ наши... Скоро и ихъ, должно, двинуть сюда...

— Вѣрное дѣло... Чего тутъ!...

Въ началѣ пятаго часа огонь турецкихъ стрѣлковъ и выстрѣлы вражьиѣхъ батарей замолкли...

Передъ послѣднимъ рѣшительнымъ ударомъ наступила зловѣщая тишина, наполняемая только стономъ раненыхъ, да одиночнымъ пощелкиваніемъ ружей изъ садовъ Плевны...

Враги собирались съ силами... Теперь или никогда. Черезъ часъ или защитники редутовъ будутъ сброшены внизъ и перебиты, или Осману придется отступить съ своими таборами по Софійскому шоссе... Споръ рѣшался окончательно и безповоротно. Къ туркамъ подходили новые, свѣжіе таборы, которыхъ сейчасъ же посылали впередъ замѣнить утомленные боемъ отряды... Мы были безъ резервовъ. Намъ нельзя было замѣнить солдатъ Горгалова и Мосцеваго ничѣмъ... Кое-какъ собрали остатки разныхъ ротъ, и нѣсколько сотенъ такихъ разстроенныхъ и разметавшихся было по всему полю битвы людей бросили на редутъ... Но увы, у нихъ слишкомъ мало патроновъ, и силы оказывались утомлен-

ными до того, что нѣкоторые, не дойдя до валовъ, падали и умирали отъ истощенія... Раненные старались не выходить изъ строя. На позиціи сходились съ перевязочныхъ пунктовъ такіе, которые еще вчера были отправлены туда, но считали стыдомъ оставаться тамъ...

Дороновичъ, когда атака отхлынула назадъ, легъ на землю да уже и не подымался...

Начиналась горячка.

Горталовъ подошелъ къ нему...

— Маіоръ... Какъ наши дѣла?... — едва могъ проговорить тотъ, не понимая, почему это лицо Горталова то разрастается до громаднхъ размѣровъ, то сжимается въ кулачекъ... И колышется — то вправо унесется, то влѣво... То вверхъ подыметъ... — Это мнѣ вѣрно такъ кажется... Нервы шалятъ! — соображалъ Дороновичъ.

— Хорошо!... — коротко отвѣтилъ Горталовъ, щадя больную душу.

— Подкрѣпленія?..

— Идутъ...

— Видите ли... А мы не вѣрили... Оказались не правы... Значить турки...

— Скоро отступятъ... Ефремовъ!.. Васильевъ!.. Положите поручика на носилки.

— Зачѣмъ на носилки?... Я рѣшился здѣсь... Неужели это нашъ редутъ вверхъ подымается?... Или небо низится?... Откуда это цвѣтами такъ пахнетъ?... Странно... Тутъ гдѣ-то поле есть... Ишь, какой густой запахъ... Куда вы уходите, маіоръ?..

— Я не ухожу, я здѣсь...

— Нѣтъ, вы уходите... Вонъ опять... Что это... Кто мнѣ сверлитъ голову?... Прогоните прочь доктора. Зачѣмъ онъ мнѣ зондъ въ мозгъ впускаетъ?... Прочь!.. Прочь!.. Скоты!..

— Никакого доктора нѣтъ, поручику!.. Вася никто не трогаетъ.

— Какъ же нѣтъ... Вотъ, у меня въ головѣ копаются...

И, схвативъ Горталова за руку, Дороновичъ умолялъ отогнать отъ него этихъ безпощадныхъ людей, что вскрываютъ его черепъ, роются подъ нимъ... Дать ему умереть спокойно... Неужели этого сдѣлать не могутъ! Зачѣмъ его несутъ опять въ этотъ ровъ?... Вѣдь генераль покаялся, что онъ забудетъ... Вотъ онъ... Вотъ этотъ скать, куда онъ малодушно улегся... Какой позоръ!.. Его опять кладутъ туда... Опять теперь всѣ узнаютъ объ этомъ... Жилъ трусомъ и умеръ трусомъ... А тутъ старая сказка опять... вѣдьма, казавшаяся красавицей... Это

сть нея, что ли, такой смрадъ?.. Или отъ мертвыхъ?.. Неужели онъ уже мертвъ? неужели онъ уже гниетъ?.. Не можетъ быть..

И Дороновичъ дѣлаетъ, какъ ему кажется, бѣшенныя усилія, тогда какъ въ дѣйствительности только едва шевелить пальцами. Ему кажется, что онъ размахиваетъ руками, отбивается отъ стаи воронья, налетающаго на него отовсюду... Харабовъ подошелъ къ нему, когда его уже положили на носилки... Наклонился... Дороновичъ пристально взглянулся... Узналъ...

— Харабовъ... Ради самого Бога!..

— Что такое?..

— Отгоните... Скорѣй отгоните!..

— Кого, что?..

— Развѣ же вы не видите?.. Вонъ, сколько ихъ здѣсь... Вотъ, вотъ они...

И Дороновичъ съ ужасомъ закрываетъ глаза, потому что ему чудились клювы надъ самыми его зрачками. Надъ лицомъ точно шуршали безчисленные черныя крылья, вѣяли на него холодомъ, заслоняли свѣтъ...

— Ради Бога... Отгоните ихъ!.. Братцы, спасите!.. Зачѣмъ они несутъ меня въ этотъ оврагъ? Развѣ я не довольно сдѣлалъ, чтобы заставить забыть его?.. Харабовъ... Прощайте!.. Прощайте!..

И въ рѣдкія минуты сознанія, открывая глаза, Дороновичъ видѣлъ надъ собою сѣрое, низко нависшее небо, чувствовалъ — что онъ слегка колыхнется въ носилкахъ, на которыхъ его уносятъ куда-то солдаты. Слышалъ, какъ въ траншеѣ спрашивали:

— Кого несете?..

— Поручика.

— Убить?..

— Почти что. Должно не выживетъ.

Дѣлая нѣкоторыя усилія, Дороновичъ начиналъ понимать, что это онъ почти что убить, что это онъ не выживетъ... И странное дѣло — совершенно спокойно онъ относился къ этому... Не хотѣлось жить вовсе, только одно дикое желаніе являлось: умереть, такъ умереть, только бы встрѣтить генерала, сказать ему, что не своей волей ушелъ съ редута... Что исполнилъ свой долгъ... «Только бы встрѣтить его...» страстно шепталъ про себя раненый... Умереть потомъ, все равно, конецъ одинъ.

— Кого несете?

Точно судьба хотѣла исполнить эту пламенную мольбу...

Голосъ . . . знакомый голосъ . . . Разжавъ съ усиліемъ уже сомкнувшіяся было вѣки, Дороновичъ увидѣлъ передъ собою бѣлую голову коня, съ морды, котораго падала внизъ гѣна . . . Конь грызъ удила и фыркалъ . . .

— Кого несете, ребята? . . .

«Да, это тотъ самый голосъ.» Дороновичъ нашелъ въ себѣ силы приподняться на локтяхъ. Чуть-чуть приподняться.

— Это я, ваше превосходительство . . . Не самъ, меня силой унесли . . . Я хотѣлъ умереть въ редутъ . . . Тотъ оврагъ . . . никому . . . пускай совсѣмъ уйдетъ изъ памяти! . . .

Генераль сошелъ съ лошади и, наклонившись къ Дороновичу, поцѣловаль мокрый лобъ его . . .

Такъ цѣлуютъ только умирающихъ . . . Дороновичъ улыбнулся, совсѣмъ счастливый.

— Всѣ думали, что она красавица, а она оказалась вѣдьмой! — совершенно неожиданно закончилъ онъ, глядя въ небеса, на которыхъ ползли теперь новыя тучи.

И сотни такихъ носилокъ тянулись теперь съ редутовъ назадъ . . .

На однѣхъ — молоденькій вольноопредѣляющійся лежалъ совершенно счастливый . . . Пуля у него засѣла въ затылкѣ, но онъ, странное дѣло, совсѣмъ не чувствовалъ ея . . . Напротивъ, хорошо было . . . Лодка подъ нимъ колышется . . . журчаніе струй слышно за кормою . . . Это онъ въ лодку легъ, пускай несетъ его вода мимо зеленыхъ береговъ . . . Вонъ ивы наклонились въ рѣчку . . . Нѣсколько вѣтокъ задѣли его лицо . . . Птица поетъ въ ихъ чащѣ . . . Много птицъ . . . Какія сегодня ясныя безоблачныя небеса . . . Пѣть самому хочется . . . «Свѣжъ и душистъ твой роскошный вѣнокъ . . . Всѣхъ въ немъ цвѣтовъ благовонія слышны . . .» Ахъ, какъ спать хочется . . . «Кудри твои такъ роскошны, такъ пышны . . .» Должно быть, колыханіе лодки, медлительно движущейся по лѣниво текущей рѣкѣ, убаюкало . . . «Нѣтъ, я не вѣрю, чтобъ ты не любила . . . Свѣжъ и душистъ твой роскошный вѣнокъ . . .» Въ самомъ дѣлѣ, совсѣмъ сморило . . . Глаза сами смыкаются . . . Прощай, голубое небо! Пригрѣй меня солнцемъ . . . Прощайте, зеленыя ивы! . . . Неси меня, рѣка . . . Неси далеко, далеко . . .

И она понесла его, лѣниво покачивая . . . Понесла далеко, далеко . . . Все тѣ же зеленыя ивы . . . То же небо . . . И сквозь сомкнувшія вѣки оно свѣтитъ убитому . . . Иначе онъ не улыбался бы такъ тихо, такъ радостно, такъ счастливо . . .

— Дяденька, что это? — обратился курносый парень къ Парфенову.

— Опять, должно, гололобые на насъ поднимаются...

— Доколь же это они?.. Я такъ полагаю и дѣлу конецъ...

— Къ ночи конецъ будетъ... Ахъ, и перебито же народу страсть!.. Мы съ тобой только цѣлы.

— Меня тронуло... Во!

И парень показалъ обшлагъ, пробитый пулей...

— Близко была... Ажно ожгла... И теперь мозжить.

— Хорошо, коли бы тѣмъ кончилось... Тутъ бѣда будетъ теперь.

Новыя массы турокъ показались отовсюду... И они уже не разбивались цѣлями, не прятались по лощинамъ... — Шли прямо... Ихъ было столько, что они раздавили бы и не такой редутъ.. Задніе напирали на переднихъ — и точно громадные чудовища катились новые безчисленные таборы на русскіе редуты.

— Абазіевъ!.. Вы видите, что это у нихъ впереди?.. Если меня глаза не обманываютъ...

— Зеленое?.. Это зеленое знамя, маіоръ...

— Священное... Значитъ, послѣдняя и рѣшительная атака...

И тѣ умирать идутъ... Ручаетесь ли вы за своихъ солдатъ?

— Какъ за себя самого!

— Ишь, и у нихъ музыка... — сталъ онъ прислушиваться къ обрывкамъ доносившагося сюда марша.

— Орда идетъ!.. — замѣтилъ про себя Парфеновъ.

Снялъ шапку и перекрестился...

Словно шелестъ пробѣжалъ въ редутъ, всѣ послѣдовали его примѣру.

Послѣдній поединокъ начинался, но въ исходѣ его уже нельзя было сомнѣваться...

Обходныя колонны непріятеля опять двинулись направо и налево... И, слѣдя за ихъ направлениемъ, оцѣнивая ихъ численность, Горгаловъ видѣлъ съ отчаяніемъ, что эту лавину остановить не ему, съ его ничтожнымъ, утомленнымъ и голоднымъ отрядомъ...

«Господи силъ, съ нами буди!» — подумалъ онъ безмолвно, подымая свои глаза къ небесамъ...

Косой лучъ солнца, пробившись сквозь просвѣтъ, между тучами, на минуту обдалъ редутъ золотистымъ сіяніемъ... Но онъ не оживилъ истомленные и поблѣднѣвшія лица живыхъ, не сдѣлалъ менѣе страшными исковерканныя лица мертвыхъ... И, словно испугавшись царившаго здѣсь ужаса, лучъ опять ушелъ за тучи, все гуще и гуще надвигавшіяся съ запада.

## XVIII.

## Третья Плевна: послѣдній ударъ.

Въ черной массѣ безчисленныхъ таборовъ, затопившихъ скаты холмовъ, колыхалось зеленое знамя... Большое знамя медлительно развертывалось на гребнѣ противъ редута...

— Послѣдній ударъ! — шепталъ Горгаловъ, глядя на него... — Послѣдній ударъ!.. Еще нѣсколько часовъ жизни... Что же тамъ молчать?.. Отчего не идутъ на помощь?.. Отчего... Еще нѣсколько часовъ жизни... А потомъ!..

Онъ окинулъ взглядомъ утомленныхъ солдатъ, прислонившихся къ сѣрымъ валамъ редута. Сѣрыя фигуры ихъ составляли точно часть этихъ валовъ...

«Еще нѣсколько часовъ... Часть отступить, спасая знамена... Остальные!..»

«Остальные лягутъ!.. Другого честнаго исхода нѣтъ!.. Тамъ на родинѣ — не забудутъ... Наше дѣло — умирать. Упреки падутъ на другихъ... Завтра начнутся пересуды... Обманувшіеся стратеги станутъ оправдываться... Создадутъ новые планы — но мы — мы уже ничего не увидимъ и не услышимъ... Ни нашего торжества, ни нашего позора... Странно... Сегодня живешь — думаешь, волнуешься... А спустя нѣсколько часовъ — раскинешься безобразнымъ комомъ окровавленнаго мяса и костей... здѣсь же на скатѣ, пробитый насквозь... Говорятъ — умирать страшно...»

Горгаловъ безсознательно обернулся къ брустверу, сложенному изъ труповъ...

«Что же страшнаго?.. Цѣлый день въ эту массу врывались гранаты... Развѣ чувствуютъ?.. Ничего страшнаго нѣтъ... Жизнь — страшна. Сознаніе своего безсилія, позоръ пораженія — вотъ ужасъ. Идти отсюда назадъ, не смѣя взглянуть въ глаза свѣжему человѣку, а вопросы: «Что же вы сдѣлали?.. Гдѣ ваши солдаты?» — вотъ что страшно... А смерть это сонъ... Чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше... Капитаны кораблей часто остаются и тонутъ — во время крушенія. Комендантъ редута — тотъ же капитанъ корабля... Спасти экипажъ — и равнодушно встрѣтить смерть самому...»

Гомонъ въ турецкихъ таборахъ все росъ и росъ... Безчисленные значки вѣяли надъ стройными колоннами. Видимо, для послѣдняго удара Османъ-паша сосредоточилъ здѣсь все, что у него было лучшаго...



Муллы впереди солдатъ вдохновляли нерѣшительныхъ, напоминали, что для правовѣрнаго смерть въ бою знаменуетъ начало райскихъ наслаждений... Позади таборовъ гремѣли оркестры военной музыки, хотя мусульманское ухо оставалось нечувствительнымъ къ маршамъ, написаннымъ выгнанными изъ Австріи капельмейстерами... Паши на чудесныхъ арабскихъ коняхъ гарцовали впереди своихъ отрядовъ. Османъ былъ тоже здѣсь... Повидимому, равнодушно окидывалъ онъ наши позиціи... Въ душѣ желѣзнаго человѣка, тѣмъ не менѣе, по его собственному признанію потомъ, росли сомнѣнія... Не можетъ быть, чтобы русскіе оставили безъ поддержки защитниковъ редута... Вѣрно цѣлыя бригады двинуты сюда, тогда Турція погибла... Отброшенная отъ редутовъ армія его должна будетъ отступать, преслѣдуемая по пятамъ, разбитая, разбросанная, деморализованная въ конецъ... Жалкій Гривицкій редутъ являлся средоточіемъ для нашихъ ударовъ, хотя потеря его вовсе не была чувствительна туркамъ.

— Да, умирать, умирать!.. — очнулся Горталовъ.

Черныя массы впереди всколыхнулись...

Зеленое знамя двинулось впередъ, широко раскинувъ по вѣтру свое полотнище... Въ таборахъ послышались сначала крики, потомъ стройное пѣніе. Муллы начали священный стихъ: «Алла-Аллага-иль-Алла», подхваченный десятками тысячъ фанатизированныхъ солдатъ, обрекавшихъ себя смерти, чтобы доставить своему пророку и своему султану блестящую побѣду...

Сегодня уже это была пятая атака... Стремительная, беспощадная...

Весь день на холодѣ, всю ночь измокшіе, солдаты сверхъ того были голодны... Усталъ оковывала руки... Головы кружились у самыхъ сильныхъ... Смерть большей части товарищей была пережита среди этого ада... Тридцать часовъ свинцовый ливень безъ передышки засыпалъ эти редуты, тридцать часовъ подъ-рядъ тысячи, десятки тысячъ гранатъ лопались въ тѣсныхъ кучкахъ защитниковъ, сбившихся за траверсы... Тридцать часовъ атака за атакой двигалась на нихъ и, отраженная, опять начиналась тотчасъ же, не давая воздохнуть героямъ, не позволяя имъ очнуться... И тридцать часовъ — несмотря на вѣсть, подкрѣпленій не будетъ — они стояли здѣсь каменною стѣною и вѣрили, что въ концѣ концовъ они не останутся покинутыми, что пришлютъ на выручку... Людямъ въ самыя ужасныя минуты слышались позади звуки марша... Галлюцинація рисовала имъ цѣлыя полки, движущіеся имъ на подмогу... Но марево распускалось въ туманѣ, глаза опять без-

надежно скользили по желтымъ скатамъ холмовъ, а сердце все-таки билось упованіемъ...

Горталовъ уже не ободрялъ солдатъ...

Съ нимъ остались тутъ только не нуждавшіеся въ ободреніи. Когда, полчаса назадъ, онъ увидѣлъ передъ собою легіоны турецкихъ силъ, когда солдаты, окинувъ ихъ опытнымъ глазомъ, оцѣнили ожидающій ихъ ударъ, — послѣдній и рѣшительный ударъ непріятеля, — нѣсколько кучекъ наиболѣе трусливыхъ, крадучись и не глядя на товарищей, вышли изъ редута... Ихъ не останавливали... Эти все равно были бы бесполезны. Даже хуже. Они бы сѣяли панику между оставшимися бойцами... Медленно уходили отступающіе. Не смѣли оглянуться назадъ на покинутыхъ товарищей и въ то же время не смѣли прибавить шагу, чтобы скорѣй достигнуть сравнительно безопасныхъ позицій... Впереди ихъ ждали безмолвные, но полные упрека взгляды... Позади — смерть... Они выбрали позоръ, но позоръ, словно Каиново клеймо, отмѣчалъ ихъ и былъ причиною тяжелыхъ угрызеній совѣсти... Кучки нерѣшительныхъ, выбравшись изъ редута, разбивались на одиночныхъ солдатъ... Этимъ бѣглецамъ точно было противно находиться въ обществѣ другъ друга... Они не хотѣли видѣть одни другихъ... Изрѣдка кого-нибудь настигала пуля. Онъ неожиданно вскидывалъ руками, падалъ лицомъ въ землю. Старался приподняться, но спотыкался и ложился опять. Остальнымъ было не до него; они даже и помочь не хотѣли и шли медленно, ровно, не оглядываясь назадъ, не поднимая глазъ отъ сырыхъ комьевъ облитыхъ кровью земли...

Харабовъ было бросился за ними...

— Трусы!.. Негодяи!..

— Оставить ихъ!.. — окликнулъ его Горталовъ... — Эти пускай уходятъ. Они намъ не товарищи, ребята! — окинулъ онъ орлинымъ взглядомъ оставшихся...

— Это точно... Пушай ихъ. Только смутьянить!.. — заключилъ Парфеновъ... — Не боишься ли и ты? — обернулся онъ къ курносому парню.

— Во... Чего пужаться! Довольно пужаться — приобьѣкъ.

Парень переобувалъ портянки и старательно смывалъ водою изъ лужи, оставшейся послѣ дождя, грязь съ сапогъ. Къ чему ему нужно было явиться щеголемъ въ эту именно минуту, едва ли онъ отдавалъ себѣ отчетъ, — точно такъ же какъ не отдавалъ себѣ отчета и другой его сосѣдъ, тщательно застегивавшійся на всѣ пуговицы и расчесывавшій голову Богъ знаетъ какъ уцѣлѣвшимъ гребешкомъ съ нѣсколькими

рѣдко торчавшими зубьями... Парфеновъ — тотъ, впрочемъ, понялъ по-своему и похвалилъ.

— Это ты хорошо... Что къ смотру, что къ Богу — солдатъ во всемъ парадъ должонъ...

— Мы, дяденька, рады стараться...

— И чудесно...

«Алла, Аллага иль Алла!..» все громче и громче доносилось *отуда*...

Турецкая атака подковой охватывала наши позиціи... Концы ея были уже далеко позади редута... Очевидно бой долженъ будетъ закипѣть одновременно и впереди, и позади, и по бокамъ... Тишина воцарилась въ редутѣ... «Взбранной воеводѣ побѣдительная» — только и папѣвалъ про себя Парфеновъ, а неугомонное воспоминаніе — назло этому рѣшительному послѣднему удару, назло смерти, что ужъ стережетъ его изъ этихъ сѣрыхъ, грузно нависнувшихъ тучъ, переносило старика далеко, далеко — въ Питеръ, — въ его швейцарскую... Кто-то теперь отворяетъ подъѣздъ Александру Александрычу?... Хорошій баринъ, завсегда на чай жертвуетъ... Что барыня Марья Осиповна? Поди, всплакнетъ, узнавъ, что ея старикъ убитъ... Вѣрой и правдой ей десять лѣтъ служилъ... А племянницы? тѣ что жъ — не заплачутъ... не понимаютъ еще. Только шире свои сѣрые глазенки раскроютъ... Еще, пожалуй, и обрадуются... Кутьей ихъ на поминъ души кормить станутъ... Съ медомъ... Вотъ оно и хорошо, что бобылемъ всю жизнь прожилъ... По крайней мѣрѣ позади сиротства да нищеты не оставилъ... А еще года два (сѣдина въ бороду — бѣсъ въ ребро) жениться было вздумалъ. Гдѣ это швейка Маша теперь? Поди такъ же отъ мадамы все бѣгаетъ съ своей корзиной въ рукахъ и безшабашнымъ смѣхомъ на алыхъ, точно распухнувшихъ губкахъ... И глаза у нея, у подлой — чорта слопаютъ. Не удивительно, что старика смутили...

— Ахъ ты!.. — И Парфеновъ сразу опять перенесся изъ Питера въ редутъ.

Пуля ударила въ гребень бруствера прямо передъ нимъ, засыпавъ землю глаза старику.

Оно и кетати — о смерти напомнила... Нечестивыми помыслами теперь казались всѣ эти воспоминанія... Не до нихъ. «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояніе Твое!..» Какъ разъ во-время напомнила...

— Дяденька?..

— Ну?

— Таперча намъ что будетъ?

— О чемъ это ты?..

— Таперчи — по сколько Егорьевъ на роту дадутъ?..

— А тебѣ хочется?..

— Какъ не хотѣть! Домой приду — всемъ на удивленіе... Это по селу меня Никишкой звали, а теперь Никитой Гаврилычемъ станутъ!..

— Эх-хе... Вынеси тебя Богъ цѣлымъ...

— Да ужъ доселѣ не тронуло — теперь не тронетъ...

— Это ты почему знаешь?

— А такъ, знаю... У меня и сонъ хорошій былъ. Поповъ котъ съ дьячковской собакой разодрались. Коли бы котъ побѣдилъ, — ну, тогда плохо... А то собачка; хоша она и махонькая, а кота то загрызла... За шиворотъ его да башкой оземь... Ловко!...

— Ахъ ты, дуракъ, дуракъ!..

Было около пяти часовъ пополудни...

Неприятельскія цѣли уже выбѣжали изъ лоцины... Патроны были слишкомъ дороги... Никто ихъ не встрѣтилъ выстрѣломъ... Точно волны моря, колыхались вокругъ нашихъ редутовъ турецкіе таборы... Направо — Мосцовой уже встрѣтилъ атаку враговъ залпами. Горгаловъ еще медлилъ командовать... Только за сто шаговъ первый залпъ опрокинулъ передовыя массы турокъ назадъ въ лоцину, но оттуда тотчасъ же выбѣжали еще болѣе многочисленныя, еще болѣе отчаянныя. Солдаты уже сами, не ожидая приказа, отстрѣливались. Не прошло и нѣсколькихъ минутъ, какъ защищаемый горстью солдатъ редутъ нашъ казался потонувшимъ среди неизобразимаго хаоса... Въ шумѣ, грохотѣ, проклятыяхъ и крикахъ атаки точно замерли выстрѣлы орудій и злобная трескотня ружей... Въ ухахъ звенѣло, въ глазахъ мелькали ошалѣвшія отъ ужаса или освирипѣвшія лица враговъ, сновавшихъ подъ валами, сотнями падавшихъ и тысячами набрасывавшихся вновь... Направо еще гремѣло залпами, а налѣво уже закипѣлъ штыковой бой... Парфеновъ отбивался прикладомъ, курносый парень, озлясь, выбѣжалъ за брустверь, посадилъ на штыкъ назойливаго арнаута, лѣзшаго прямо на него, и заоралъ прямо въ лица врагамъ такое радостное, бодрое «ура», точно позади за нимъ стояли, въ полной боевой готовности, десятки тысячъ свѣжихъ солдатъ... Налѣво въ редутъ ворвался какой-то турецкій офицеръ съ толпою низамовъ, но солдаты дружно кинулись туда, — и передовые бойцы наступающихъ ратей легли сплошь у самыхъ валовъ съ пробитыми насквозь грудями, съ проломленными черепами...

Воили умирающихъ, яростные крики дерущихся, обрывки «ура», то вспыхивавшаго, то гасшаго въ разныхъ концахъ редута, смѣнялись на мгновенія зловѣщей тишиной, въ которой только и слышался, что лязгъ штыковъ, глухое хрипѣнье падавшихъ подъ ними враговъ, да громкіе бодрые голоса офицеровъ, не потерявшихъ въ этой свалкѣ. Равнодушный къ ощущеніямъ, переживаемымъ другими, Горталовъ стоялъ у бруствера и, держа саблю въ рукахъ, пока только отбивался отъ подходящихъ къ нему слишкомъ близко турокъ...

— Врагъ назадъ... — крикнулъ кто-то оттуда.

Оглянувшись, Горталовъ чуть было не попалъ на штыкъ дорывавшагося до него низама, но Парфеновъ во-время «скротилъ» его ударомъ приклада по черепу. Гололобый покатился внизъ... Зато Горталовъ дѣйствительно увидѣлъ ужасную картину...

Турки теперь лѣзли отовсюду...

Они одновременно атаковали соединительную траншею, защитники которой, видя себя слишкомъ слабыми, штыками прочищали путь къ редутамъ, желая соединиться съ товарищами, чтобы умереть вмѣстѣ съ ними... Турки напали и на самый редутъ съ тылу, и Харабовъ, уже обливавшійся кровью, отбивалъ тамъ отчаянный приступъ цѣлаго табора, во главѣ котораго лѣзъ на валъ красивый бронецъ, въ сброй офицерской курткѣ, съ золотыми жгутами поперекъ плечъ... На одну минуту Горталовъ увидѣлъ, какъ Харабовъ сцѣпился съ турецкимъ офицеромъ... Тотъ охватилъ его, словно стараго друга, давно не видавшагося съ нимъ, мощными объятіями!.. Солдаты въ упоръ уложили турецкаго офицера, но едва-едва удалось имъ отогнать его сомкнувшіяся объятія... Злоба, ненависть, казалось, еще не сбѣжали съ лица умирающаго, и, чувствуя свое безсиліе, онъ только скрежеталъ зубами и плевалъ въ лица нашимъ, наклонявшимся къ нему...

Казалось, цѣлый океанъ бушевалъ кругомъ редута. Тысячи вѣнненыхъ валовъ кидались на этотъ одинокій корабль, чтобы разбить его въ щепки и унести на взрывахъ своихъ шипящихъ отъ бѣшенства родъ только жалкіе и окровавленные трупы его защитниковъ.

Каждая минута этого отчаяннаго боя выхватывала сотни людей... И такихъ минутъ прошло уже много, много...

Есть невозможное и для героевъ...

Еще недавно безтрепетно стоявшіе на своихъ валахъ солдаты обезумѣли, и въ то время, какъ одни выбѣгали изъ-за укрѣпленій, чтобы грудь съ грудью сцѣпиться съ неистовыми врагами, другіе, сбиваясь кучками, уходили изъ редута назадъ, прокладывая себѣ путь штыками.

Что-то бессмысленное, безотчетное творилось тутъ. Такая толпа встрѣчалась иногда съ толпою защитниковъ соединительной траншеи, пробивавшихъ себѣ тоже штыками путь, но уже къ редуту, откуда стремились уйти эти . . . Мгновеніе недоумѣлыхъ взглядовъ, и они соединялись, вмѣстѣ двигаясь по чисто физическому закону туда, куда сильнѣе и стремительнѣе былъ напоръ — къ редуту или отъ редута. Не то чтобы это были струсившіе, потерявшіеся. Напротивъ. Для того чтобы заставить разступиться сплошные таборы турокъ, имъ приходилось употреблять нечеловѣческія усилія. Каждый шагъ доставался имъ цѣною кровавыхъ жертвъ. Они пронизывали живую массу враговъ, разстрѣливаемые тысячами ружей, падая подъ ударами сотенъ штыковъ, — но энергія, бессознательная, слѣпая энергія отчаянія не падала, а, напротивъ, разгоралась отъ препятствій. Казалось, что стремленіе достигнуть берега становилось еще пламеннѣе и неукротимѣе. Часто такія толпы отступавшихъ сплошь ложились подъ ударами отовсюду окружавшихъ ихъ враговъ. Оставался одинъ уцѣлѣвшій, но и этотъ, съ изумительнымъ упорствомъ, штыкомъ прочищалъ себѣ дорогу, все по тому же направленію, пока и онъ не падалъ подъ пулей въ упоръ . . . И каждый разъ, сломавъ упорство такихъ отступавшихъ партій, турецкіе таборы съ новою жаждою мести бросались на редутъ и новыми свирѣпыми усиліями стремились сломать энергію его послѣднихъ защитниковъ . . .

## XIX.

### Третья Плевна: сраженные львы.

— Насъ, значить, оставили совсѣмъ . . . Никого и ничего на помощь? . . . Послѣ того какъ все почти уже сдѣлано? . . .

— Никого и ничего, ваше превосходительство, — козырялъ щеголеватый штабный.

— Значить, третья Плевна . . .

И генералъ не окончилъ.

Нервно стало подергиваться лицо, голосъ дрогнулъ, оборвался, и вдругъ этотъ желѣзный человѣкъ, спокойно тридцать часовъ выносившій все: и гибель лучшихъ своихъ полковъ, и смерть друзей, и трагическіе переходы боя отъ пораженія къ побѣдѣ и отъ побѣды къ пораже-

пю, — зарыдалъ, наклоняя надъ лукою сѣдла... Окружающіе отъѣхали на нѣсколько шаговъ...

— Что это съ нимъ? — удивленно шепнулъ штабный одному изъ ординарцевъ.

Тотъ только смѣрилъ взглядомъ эту чистенькую фигурку на чистенькомъ сѣдлѣ и отвернулся.

— Никого!.. Ни одной бригады... Вѣдь здѣсь все. Устоимъ — Османъ уйдетъ...

— Ни одного полка свободного нѣтъ...

— А тамъ? — взмахнулъ онъ на сѣверо-востокъ.

— Берегутъ дорогу на Систово...

— Академическіе стратеги! — упавшимъ голосомъ проговорилъ ординарецъ.

Только одинъ Крыловъ... честная душа. Если бы не его Шуйскій полкъ, я бы не выручалъ тѣхъ, что одинъ противъ ста отбиваются теперь на *моихъ* редутахъ... Одинъ противъ ста — львами!.. Сколько героевъ — и все это на смерть!..

Онъ выпрямился въ сѣдлѣ и снялъ шапку.

— Слышите?.. — махнулъ онъ ею по направленію къ редутамъ.

Огонь разгорался тамъ съ такою бѣшеною силой, что, казалось, въ трескѣ ружейныхъ выстрѣловъ и въ ревѣ орудій, не смолкавшемъ ни на одно мгновеніе, рушились въ прахъ всѣ эти твердыни, ставшія на стражѣ Плевны... Силуэты редутовъ, еще недавно выдѣлявшихся на сѣромъ небѣ, окутало густыми тучами порохового дыма... Въ этихъ тучахъ умирали львы; въ этомъ дыму десятки таборовъ обрушивались на остатки героическихъ ротъ, извѣрившихся въ побѣдѣ и не желавшихъ спасенія... Но грохотъ бойни, неистовые крики нападающихъ, отвѣтные вызовы защищавшихся — вотъ все, чѣмъ сказывалась битва... Глазъ не видѣлъ ничего... Казалось, само грозное божество смерти и истребленія задыхалось въ этомъ стихійномъ дыму приносимыхъ ему жертвъ...

— Слышите?.. Люди дрались и будутъ еще драться, но такихъ — не будетъ... Они лягутъ тамъ... Они дали слово и умрутъ... Слышите?.. Ихъ горсть, а вонъ какое «ура»... Прямо въ лицо врагамъ... Окруженные со всѣхъ сторонъ. Раздавленные!.. Ну, что жъ!.. Они сдѣлали все... Невозможное оказалось возможнымъ... Больше нельзя... Господа...

Голосъ его дрогнулъ — оиять... Пауза... Всѣ притаили дыханіе...

— Господа, мы отступаемъ... Мы отдадимъ туркамъ взятое... Сегодня — день торжества для нашихъ враговъ. Но и намъ онъ славенъ... Не покраснѣютъ мои солдаты, когда имъ напомнятъ тридцатое августа... Господа, мы уходимъ... Спасибо Крылову — Шуйцы прикроютъ отступающихъ... Впередъ и скорѣе!..

Шпоры до крови разодрали бѣлую кожу великолѣпнаго коня, который стремглавъ бросился по неровной и влажной почвѣ... Вѣтеръ свисталъ мимо ушей вмѣстѣ съ пулями, уносившимися въ даль... Бѣшено мчались всадники, — точно отъ каждаго мгновенія зависѣла жизнь дорогихъ и милыхъ людей... Молоденькій ординарецъ сорвался съ коня и покатился внизъ, но ждать его было некому и некогда, и спустя минуту одинъ онъ опять догналъ генерала... У этого изъ-подъ закупленной губы проступила кровь, глаза безнадежно смотрѣли впередъ и — ничего не видѣли, фуражка осталась въ рукахъ и слипшіеся волосы космами легли на лобъ... Конь совсѣмъ обезумѣлъ подъ нетерпѣливымъ всадникомъ, мундштукъ рвалъ ротъ, и заалѣвшая пѣна разбрасывалась по сторонамъ отъ окровавленной морды коня... Штабный, слѣша за генераломъ, вѣжливо, почтительно кланялся каждой пролетавшей мимо пулѣ, при чемъ, — если бы окружающимъ былъ досугъ, — они, разумѣется, могли бы оцѣнить, до какой степени удивительной гибкости и эластичности дошла шея этого доблестнаго и щеголеватаго офицера...

— Вонъ они, вонъ они! — протянулъ руку генералъ. — Вонъ они — видите?..

Въ туманѣ порохового марева уже можно было различить неопредѣленную массу редута... Неопредѣленную потому, что вся она была загромождена людьми... Извнѣ лѣзли озлобленные турецкіе таборы, на валахъ стояли — отбивавшіеся штыками — наши. Видно было смутно движеніе новыхъ массъ непріятеля, стягивавшихся сюда, но ненадолго... Скоро новые клубы дыма совсѣмъ затянули эту зловѣщую картину упорнаго боя, и всадники опять только слышали, но не видѣли его...

— Идутъ ли Шуйцы?... — обернулся генералъ...

— Они уже выдвинулись, готовы...

И снова бѣшенная скачка впередъ, и снова остервенѣвшій конь хочетъ точно перегнать самый вѣтеръ...

— Чего такого, станишники?... Куда его несетъ?... — на-скаку перебрасывались казаки, слѣдовавшіе за генераломъ...

— А должно... побѣда!..

— Кака?..



— А турка повиниться желаетъ. Оружіе положить, — ну ене-  
раль самаго ихняго главнаго нашу брать вдетъ... — ронялъ кривой  
донецъ, съ шрамомъ во все свое неказистое лицо...

— Поди, и войнѣ конецъ. Хорошо бы домой...

— А что же!.. Коли пардону свиное ухо запросить — мы всегда  
простить можемъ... Вотъ кони только...

— Поколѣешь съ такой вьзды... Ишь какъ его преть... Конь у  
его шибкій — онъ и пользуется...

— Коли бы кормы настоящіе... мой степнячокъ отъ чорта уне-  
сетъ...

А въ редутъ уже совершался послѣдній актъ этой кровавой тра-  
гедіи.

Отбивались штыками... Приподымаясь надъ брустверомъ, видѣли  
и впереди, и позади только массы враговъ... Онѣ же густились и на-  
лѣво... Казалось, этотъ одинокій корабль-редутъ вотъ-вотъ пойдетъ  
ко дну, утонетъ съ жалкими остатками когда-то многочисленнаго и  
сильнаго экипажа... Склоны холмовъ кругомъ, лоцины были напол-  
нены турецкими таборами. Турки озлобленно лѣзли отовсюду. Побѣда  
была несомнѣнна... Умирающіе львы уже не думали объ оборонѣ...  
Они знали, что позиція уходитъ въ ненавистныя руки, и думали только  
о томъ, какъ бы пасть съ честью, какъ бы въ послѣднія минуты свои  
нанести удары сильнѣе, какъ бы подороже продать свою уже обречен-  
ную жизнь... Въ одномъ изъ редутовъ турки, уже прорвавшіеся, бѣ-  
шено дрались съ нашими солдатами, задавливая ихъ массой, умирая для  
того, чтобы на свѣжій трупъ встала тотчасъ же нога новаго бойца, за  
которымъ ждали очереди остальные. Подъ ливнемъ свинца гибли и свои  
и чужіе... Сломавъ штыки, враги схватывались и, хрипя, душили  
одинъ другого, перехватывали горла, выдавливали глаза, раздирали  
рты... Часто умирающій, сваливъ въ смертельномъ, послѣднемъ усиліи  
угасающей жизни своего врага, вгрызался въ его тѣло судорожно ски-  
мавшимися зубами и только подъ тяжелымъ прикладомъ, разбивающимъ  
ему черепъ, освобождалъ остервенѣвшаго бойца... Парфеновъ, во весь  
ростъ стоя у самаго вала, отбивался штыкомъ отъ нѣсколькихъ рослыхъ  
низамовъ, наступавшихъ отсюда. Курносый парень уже съ шрамомъ во  
все лицо, изодранный, безсознательно вправо и влѣво отмахивался при-  
кладомъ, зажмуривъ глаза и не видя, кого онъ бьетъ, чьи головы, чьи  
шеи встрѣчаетъ его прикладъ... Горталовъ сумрачный и безмолвный,  
сложивъ руки, сидѣлъ пока посреди редута. Онъ былъ готовъ, онъ —  
этотъ капитанъ утопающаго корабля — онъ былъ готовъ къ смерти.

но часть его не пришелъ, и онъ спокойно ожидалъ послѣдняго напора роковыхъ волнъ. Въ живой массѣ солдатъ рвались гранаты... Соединительная траншея кое-гдѣ уже была захвачена турками и тамъ, въ узкомъ рвѣ этомъ, шелъ свирѣпый бой одинъ на одинъ... Враги схватывались и гибли, утучняя почву своею кровью... Схватывались въ тучѣ порохового дыма, — умирая, не могли различить надъ собою даже сѣраго просвѣта непривѣтливаго, совсѣмъ осенняго сегодня неба.

Ординарцы, посланные съ приказаніемъ отступать, не могли доѣхать до редутовъ, окруженныхъ таборами... Сигналы слышались, — но имъ не вѣрили эти мужественные, рѣшившіеся умереть люди... Изъ лѣваго редута (Абдуль-бей-табіе) впрочемъ кучка солдатъ двинулась навстрѣчу своимъ, но всѣ, на первыхъ порахъ вѣзавшіеся въ смежную гущу враговъ, погибли тамъ подъ штыками... Раненые, падая, уже не могли надѣяться на спасеніе... И здоровые не могли уйти, а этихъ и подавно уносить было некому. Да и дожидаться турокъ не пришлось наиболѣе счастливымъ... Свои затоптали... Туда, куда направлялись наиболѣе сильные удары турокъ, — туда, гдѣ громче гремѣли ихъ торжествующіе крики, кидались кучки защитниковъ. Имъ некогда было разбирать, кого они топчутъ — своего или чужого. «Охъ, Господи! Спасите!.. Куда-нибудь въ уголъ меня!.. Ой!.. Голубчики!.. Своего!..» слышались хрипые, съ натугой вырывавшіеся изъ-подъ ногъ крики раненыхъ и умирающихъ, но они безслѣдно пропадали среди этого царства смерти, торжества ужаса... Не одна рука и нога были въ крови; сапоги солдатъ тоже покрылись ею. На землѣ, гдѣ не было мертвыхъ и раненыхъ, гдѣ не корчились умирающіе, тѣ же стояли черныя лужи крови... Пали лицомъ въ нихъ, спотыкаясь, опускали руки въ эту кровь... Часто, потерявши отъ муки сознание, несчастный хваталъ за полу шинели, за ноги пробѣгавшихъ мимо, но тѣ, даже не оглядываясь, вырывались; помогать не было рукъ... Тѣ, которые еще уцѣлѣли, знали, что чрезъ минуту и имъ придется такъ же лечь на землю и въ острыхъ боляхъ мучительной смерти царапать землю судорожно сводившимися пальцами.

Харабовъ замѣтилъ налѣво свободную полосу ската. Тутъ турки разрѣдились, направляясь въ атаку съ фронта и съ тыла.

— Не прикажете ли увести солдатъ туда?.. — обратился онъ къ Горгалову...

— Что? — спокойно поднялъ на него глаза казалось задумавшійся о чемъ-то маіоръ.

Харабовъ повторилъ.

— Погодите... Нужно и знамена спасти... Они во всякомъ случаѣ не должны достаться врагу... Что это... Откуда это выстрѣлы?..

На минуту было вспыхнула надежда...

Горталовъ всталъ.

— Неужели подкрѣпленія?... Можете вы разсмотрѣть, что тамъ?..

— Нѣтъ... Впрочемъ, видно. Это Скобелевъ... Только съ нимъ не болѣе баталіона...

— А пушки, пушки оттуда слышите?..

— Слышу... Вотъ они открыли огонь опять... Одна батарея. Я думаю, онъ хочетъ прикрыть отступленіе!.. Съ такими силами отбить турокъ нечего и думать...

Горталовъ зорко всмотрѣлся туда и потомъ, не говоря ни слова, сошелъ внизъ...

Надежды не было... Атака турокъ опять пріостановилась, но надежды не было.

Моментъ, котораго онъ ждалъ, наступилъ...

Этимъ моментомъ нужно было воспользоваться во что бы то ни стало... Турки отхлынули, очистивъ тылъ... Теперь гарнизонъ редута можетъ выйти... Теперь удобно начать отступленіе... Въ послѣдній разъ онъ собралъ вокругъ себя своихъ солдатъ, зорко, внимательно сталъ всматриваться имъ въ лица... Въ эти дорогія, близкія лица... которыхъ онъ болѣе уже не увидитъ... Вотъ они передъ нимъ... Ждутъ его голоса... Смотрятъ прямо въ глаза ему... Вотъ и знамя колышется надъ ними...

— Братцы!.. Идите, пробейте себѣ путь штыками... Здѣсь защищаться нельзя... Штабсъ-капитанъ Абазіевъ, вы поведете ихъ... Благослови васъ Богъ, ребята!.. Прощайте!..

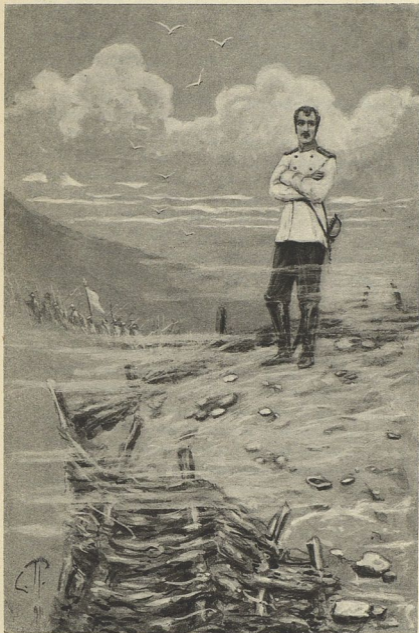
И, снявъ шапку, Горталовъ перекрестилъ солдатъ.

— Ну, съ Богомъ! — громко, уже овладѣвъ собою, командовалъ онъ.

— А вы?.. — И всѣ глаза обратились къ нему съ выраженіемъ тоски и боли...

— Я... Я остаюсь... Остаюсь съ этими, — указавъ онъ на груды мертвыхъ... — Скажите генералу, что я сдержалъ слово... Я не ушелъ изъ редута... Скажите, что я здѣсь... мертвый! Прощайте, ребята!..

Вонъ они направляются къ горѣ... Вотъ они выходятъ...



Боевая Голова.

Т-но „Проклятіе“ въ Сиб.

**„Горталовъ одинъ теперь на стражѣ редута“.**

(Стр. 201.)



Вонъ эти сѣрыя фигуры, ихъ уже нѣтъ въ редутъ... Сейчасъ корабль пойдетъ ко дну... Экипажъ сѣлъ въ лодки, отчалилъ. Одинъ капитанъ на палубѣ, онъ не уплыветъ съ ними... Онъ долженъ погибнуть вмѣстѣ съ своимъ судномъ... Вѣтеръ сбиваетъ прочь мачты. Волна за волной разбиваетъ кузовъ, сейчасъ онъ разсядется... Сейчасъ!.. Ниже и ниже опускаются борта... Весь въ бѣлой пѣнѣ валъ уже поднялся надъ нимъ...

Вотъ они за брустверомъ... Въ послѣдній разъ Горталовъ свое посылаетъ имъ благословеніе:

«Спаси васъ Богъ!.. Спаси васъ Богъ!..»

И слезы на глазахъ... Онъ видитъ, какъ оставшіе солдаты, оборачиваясь, крестятъ его... Онъ уже не можетъ сдержать рыданій... Раненые корчатся кругомъ... Они тоже остались здѣсь... Вотъ знамя мелькаетъ... Прощайте, братья, прощайте!.. Прощайте!.. Пора... Пора!.. Турки не должны увидѣть этихъ слезъ... Вонъ они уже бѣгутъ... Почуяли, что редутъ оставленъ... Торжествующій ревъ освирѣпѣлой толпы... Ревъ ему навстрѣчу... Стадо звѣриное мчится... Ураганъ несется... Пора!..

Спокойный и величавый, скрестивъ руки на груди, онъ медленно взшелъ на наружный край бруствера... Горталовъ одинъ теперь на стражѣ редута... Одинъ, и никакого волненія уже не видать въ лицѣ этого капитана, погибающаго съ своимъ кораблемъ... Сколько ихъ!.. Вотъ они у самыхъ ногъ... Штыки... Взбѣгаютъ на валъ...

Вспѣнные гребни высоко-высоко поднялись надъ палубой...

Буря осилила... Корабля уже не видать подъ ними...

Горталовъ бьется на штыкахъ... Послѣдній вздохъ... И разорванное на части тѣло героя безобразными кусками валяется на окровавленной землѣ...

## XX.

### Третья Плевна: путь, проложенный штыками.

Огонь разсыпанныхъ по гребню слѣдующаго пригорка Шуйцевъ заставилъ отхлынуть турокъ...

Путь къ отступленію пока былъ открытъ... Штыкамъ еще не было дѣла. Густая по сторонамъ, враги довольствовались тѣмъ, что разстрѣливали солдатъ, выходившихъ изъ редута... Разстрѣливае-

мые — тѣмъ не менѣе — шли, сохраняя строгій порядокъ. Разсыпаться не хотѣли . . . Локоть къ локтю, стройными рядами. Если бы не кровь на рукахъ и на лицахъ, если бы въ этой медленно движущейся массѣ не попадались раненые, которыхъ товарищи несли (на скрещенныхъ ружьяхъ, и раненые, которые сами шли, прихрамывая и опираясь на штыки, — можно было бы подумать, что это свѣжая часть, совершенно спокойно идущая среди мирной обстановки обыкновеннаго похода . . . Даже равненіе хранили эти доблестные остатки героическихъ полковъ, выдержавшихъ тридцатичасовой безпощадный бой . . . Только озлобленно-сведенныя лица, глаза, горящіе воспаленнымъ блескомъ, выдавали волненіе этихъ послѣднихъ защитниковъ редута . . . Изорванныя знамена тихо колыхались надъ молчаливыми рядами. Нѣсколько турецкихъ значковъ съ золотыми полумѣсяцами шелестили тутъ же, развертывая по вѣтру начертанное на ихъ полотнищахъ имя Аллаха . . . Казалось, эти послѣдніе свидѣтельствовали, что солдаты, уносившіе ихъ, потерпѣли поражение, которое тѣмъ не менѣе было выше всякой побѣды. Отступающіе уносили съ собою трофеи, они не только своего не оставили туркамъ; напротивъ, и ихняго имъ не отдали . . . Впрочемъ, нѣтъ — бросили то, чего нельзя было взять . . . Наше орудіе стояло въ редутѣ . . . Замокъ съ него былъ снятъ. Его тащило нѣсколько солдатъ . . .

— Эхъ жаль! . . . — слышалось въ рядахъ: — Орудію оставили! . . .

— Ничего . . . Что оно безъ замка? . . . Нюжли на рукахъ тащить! . . . Не утащишь. Пусть свиному уху достанется . . . Ничего съ нимъ не подѣлаетъ . . .

— Наша пушечка гордо стоитъ, ишь она носъ-то какъ задрала! . . . Что твой ивираля . . . Ее отседа и на буйлахъ<sup>1</sup> таперчи не увезти . . .

У Парфенова, Харабова и еще нѣсколькихъ, шедшихъ позади, слезы текли по лицамъ, почернѣвшимъ отъ порохового дыма. Оглядываясь, они видѣли спокойно стоявшаго на валу Горталова . . . Они видѣли эту открытую голову, смѣло обращенную туда, откуда на него шла неизбежная смерть . . . Они видѣли, какъ вокругъ него разомъ выросла какая-то толпа . . . какъ этого, не защищавшагося человѣка, опустившаго свою саблю внизъ, спокойно скрестившаго руки, подняли на штыки . . . Они видѣли, какъ онъ бился на этихъ холодныхъ и острыхъ жалахъ . . . какъ его сбросили внизъ . . . Они видѣли, какъ вслѣдъ за этимъ послѣднимъ защитникомъ оставленнаго редута темныя волны турецкихъ

<sup>1</sup> Буйла — буйволь.

таборовъ стали перекатываться черезъ валы, со всѣхъ сторонъ. Въ гвалтѣ ихъ торжества не пропали безслѣдно отчаянные крики нашихъ раненыхъ, попавшихъ въ руки этимъ побѣдителямъ. Отчаянные крики — крики, проникавшіе до самаго сердца... Великодушные враги не хотѣли оставить умирающихъ — умирать спокойно... Вся ихъ ненависть, вся ихъ изобрѣтательность направилась къ тому, чтобы придумать такія муки, какимъ нѣтъ имени на языкѣ человѣческомъ. Еще сумрачнѣе становились лица солдатъ, слышавшихъ вопли своихъ товарищей. Они слали варварамъ проклятья... Забывали боль собственныхъ ранъ... Нѣкоторые рыдали, и казалось, что эти измученные, сна не знавшія очи точили кровавыя слезы по почернѣвшимъ лицамъ... Порывались назадъ — хотѣли отбить своихъ, но что могли бы сдѣлать жалкія сотни людей изъ разстрѣлянныхъ полковъ съ десятками таборовъ, отовсюду наваливавшихъ на оставленные редуты... Что могли бы сдѣлать эти перераненные, утомленные львы? — развѣ только одно: отдать и себя на жертву безчисленному стаду гнѣвъ, тѣшившихся страданіями, упивавшихся воплями мучениковъ, у которыхъ не хватало силы даже для того, чтобы заслонить глаза свои рукою отъ подлыхъ ятагановъ, заносившихся надъ ними... Они не могли повернуться, когда торжествующіе побѣдители раскладывали огонь на ихъ; окровавленныхъ грудяхъ; они только и могли вопіять къ этому холодному, равнодушному небу, когда на ихъ тѣлахъ вырѣзывали кресты, когда медленно, съ наслажденіемъ регулярная войска, присяжные солдаты Турціи, отрубали имъ по частямъ ноги и руки... И счастливы были тѣ, кто исходилъ кровью, кто умиралъ скоро...

Подъ жестокимъ перекрестнымъ огнемъ стояли Шуйцы, прикрывавшіе отступление нашихъ... Но они, все-таки, были счастливыѣ. Падая, знали, что до нихъ не дойдетъ врагъ; знали, что смерть ихъ не будетъ вызвана лютыми муками... Тутъ умирали сравнительно спокойно... Видя, какъ остатки еще вчера сильныхъ и здоровыхъ полковъ уходять изъ редутовъ, наши безмолвно стояли подъ непрекращавшимся ливнемъ свинца... Никому не могло и въ голову придти — схорониться за лощины... Скобелевъ зорко смотрѣлъ на отступающихъ. Жадно считалъ онъ ихъ ряды издали... Казалось, въ немъ еще жила надежда, что потери будутъ не столь велики, что смѣшавшіеся въ одни ряды солдаты разныхъ полковъ еще выйдутъ оттуда... Что это — не все... Но увы!.. Черныя массы нашихъ медленно двигались тамъ — и позади за ними не было уже здоровыхъ... Только раненые лежали на скалахъ — раненые и мертвые... Одни ползли за своими, еще находя



силы въ порывахъ ужаса и отчаянія; другіе оставались неподвижными, перевернувшись лицомъ внизъ... Они, казалось, не хотѣли видѣть, что ждетъ ихъ, когда наши уйдутъ совсѣмъ...

— Какъ мало!.. Какъ мало!.. — нервно срывалось у Скобелева... — Какой ужасный день!.. И какъ уходить эти... Посмотрите — ни суматохи, ни безпорядка. Вотъ люди!.. Пошлите сюда казака...

Весь точно высохшій донецъ на отошавшемъ степнячкѣ трусцою подѣхалъ къ генералу.

— Ты знаешь, гдѣ генералъ Крыловъ? Тебя я уже посылалъ? Сейчасъ побѣдешь опять...

Донецъ, два раза сломавшій путь туда и обратно, только вздохнулъ. «Доля казачья — служба собачья!» — подумалъ онъ про себя.

Нервно набросалъ Скобелевъ нѣсколько словъ на лоскуткѣ бумаги...

«Изъ редутовъ выбить... Отступаю въ порядкѣ, прикрываясь вашимъ Шуйскимъ полкомъ... Merci, général!..»

— Отдать этотъ листокъ генералу... Слышишь?... Да живо!..

Нагайка стала поглаживать втянутые бока утомленного коня, затрусившаго внизъ въ лощину по скату...

— Да... Если бы Крыловъ исполнилъ въ точности приказъ и не послалъ бы Шуйцевъ, — никому не пришлось бы выйти живымъ изъ этихъ редутовъ... Академическимъ стратегамъ не мѣшало бы подумать объ этомъ... — вырвалось у адъютанта....

Скобелевъ только нервно отбросилъ по сторонамъ баки и еще зорче сталъ смотрѣть на отступающихъ...

— Сколько потерь, сколько потерь!..

— Шуйцамъ тоже солоно пришлось... Къ намъ ихъ прислали послѣ боя... У нихъ не осталось и половины, а теперь и остальные лягутъ!..

— Ужасный день!.. И къ чему было держаться! чего ждать!..

Все, что окружало здѣсь начальника отряда, точно ослабло и понурилось... Мысль не работала, ощущенія точно притупились... Кругомъ валялись мертвые, падали раненые — никому и въ голову не приходило отѣхать назадъ... Развѣ не все равно?... Казалось, для того, чтобы отойти, нужно было больше мужества и энергіи, больше усилій, чѣмъ для того, чтобы оставаться здѣсь, не трогаясь съ мѣста, словно окостенѣвъ на немъ...

— Я выигралъ имъ цѣлыя сутки, меня не поддержали!.. — вырвалось у Скобелева<sup>1</sup>.

Недолго турки оставались спокойными на возвращенныхъ имъ реду-тахъ...

Черныя волны безчисленныхъ таборовъ, беспорядочныхъ, какъ море въ бурю, и шумныхъ, какъ оно, — перекатились чрезъ валы, облитые кровью, и запрудили скаты вокругъ своихъ табій.

Отступающіе остановились...

Шагахъ въ двухстахъ позади густились враги. Оттуда свистѣлъ цѣлый ураганъ горячаго свинца... Утомленнымъ бойцамъ нужно было завоевать каждый шагъ своего пути, расплачиваться за каждую пядь пройденной ими земли десятками убитыхъ и раненыхъ... Молчаливы были ихъ сумрачные ряды... Бѣсновались таборы; вихремъ торжествующихъ криковъ охватывали они со всѣхъ сторонъ остатки побѣдоносныхъ полковъ... Зеленое знамя, священный стягъ мусульманства, гордо развѣвалось на валахъ, гдѣ еще недавно шелестили по вѣтру наши знамена... Оно, казалось, пробуждало новую ненависть въ свѣжихъ частяхъ войскъ, только что введенныхъ въ бой Османомъ-пашею...

Не прибавили шагу наши, не разсыпались беспорядочными толпами... Напротивъ!..

Какъ только открылся огонь отсюда, — озлобленный и безпощадный, — какъ только турки приблизились къ этимъ уходящимъ съ поля битвы львамъ, — наши обернулись лицомъ къ лицу съ ними... Огонь на огонь... Единицы отвѣчали сотнямъ, выстрѣлы развернутой нами цѣпи тонули въ гвалтъ бѣшенаго огня, откуда, какъ въ стихійномъ ревѣ торжествующаго моря, тонуть крики утопающихъ пловцовъ... Одному только можно было дивиться со стороны: и это видѣли издали штабные генералы, съ своихъ безопасныхъ позицій *любовавшіеся* картиною боя... Въ то время какъ дымная линія турецкаго огня волновалась, выбѣгала то впередъ, то крутыми изломами подавалась назадъ, наша — шла стройно и ровно... Видно было, что, отстрѣливаясь, отступающіе берегли другъ друга, не бѣжали, не оставались за прикрытіями... Лицомъ къ лицу съ врагомъ шли уже часъ, подаваясь шагъ

<sup>1</sup> Вотъ что пишетъ официальный корреспондентъ В. В. Крестовскій: „У Скобелева съ горечью и со слезами на глазахъ вырвались слова: „Наполеонъ Великій былъ признателенъ своимъ маршаламъ, если они въ бою выигрывали ему полчаса времени для одержанія побѣды. Я выигралъ цѣлыя сутки — меня не поддержали“. („Двадцать мѣсяцевъ въ дѣйствующей арміи“, т. II, стр. 121).

за шагомъ, теряя товарищей повсюду на этихъ роковыхъ скатахъ второго края зеленыхъ горъ... Когда падали въ передовой цѣпи — иззади тотчасъ же подбѣгали ближайшіе, чтобы подкрѣпить оставшихся тамъ. Счастливы были убитые... Раненые, раскидываясь на сырыхъ поляхъ, знали, что ихъ подобрать некому, что они остаются здѣсь на жертву врагамъ, не знающимъ пощады...

— Господи!.. — крикнулъ кто-то около курносаго парня, медленно отходявшаго назадъ... — Братцы!.. Ребятунки! пристрѣлите вы меня! — застоналъ тотъ же голосъ...

У парня сердце защемило... Онъ узналъ, кто это взмолился... Выбѣжалъ впередъ... Старикъ Парфеновъ безсильно лежалъ на землѣ...

— Дяденька!.. Что ты?..

— Голубчикъ... Въ упоръ... Въ голову... Христа ради...

— Нюжли стану я!.. Куда это васъ?..

— Вдарило...

— Куда вдарило-то?..

— Болѣно перешибло... Смерть моя... Друга нога тоже ранена... Господи... Скорѣе...

Цѣпь подалась назадъ уже... Надъ Парфеновымъ оставался одинъ курносый парень...

— Подымайся!..

— Не могу... Милый...

— Чего тутъ... Во такъ... — поднялъ онъ его... — Ты той ногой ступай, что легче ранена. А съ этой я тебя подопру... Во такъ...

— Не уйти намъ... Кинь... Самъ уходи...

— Во еще!.. Нюжли бросать такъ-то!..

Обнявъ правой рукой парня, Парфеновъ двигался съ нимъ вмѣстѣ, но медленнѣе отступавшихъ. Скоро между нашей цѣпью и изломанной линіей преслѣдователей осталось нѣсколько такихъ паръ... Обрекая самихъ себя на смерть, разстрѣливаемые — здоровые товарищи, пока цѣлы были ноги, шли, составляя опору для тяжело раненыхъ. Шибко бились ихъ сердца... Знали — не ждать пощады отъ тѣхъ, что все ближе и ближе подбѣгаютъ иззади... Но еще тяжелѣе казалось бросить своихъ... Раза два или три отступающіе бросались въ штыки, чтобы спасти этихъ, — но потомъ несчастные опять отставали, опять оказывались посрединѣ, въ этомъ ужасномъ полномъ смерти пространствѣ, между нашими и турками... Волны преслѣдователей ужъ захватили нѣсколькихъ изъ такихъ, и здоровые отчаянно отбивались надъ вздра-

гивающими тѣлами своихъ товарищей. Штыки обломаны, остается прикладомъ крушить голые лбы бритоголовыхъ, пока пуля въ упоръ не уложитъ здороваго рядомъ съ раненымъ, уже коченѣвшимъ подъ ударами турокъ...

Курносый парень шелъ, шелъ, какъ вдругъ — рука Парфенова точно ослабѣла... медленно освободила шею, будто сползла, и удивленный парень, оглянувшись, замѣтилъ только, что Парфеновъ, какъ снопъ, валится въ чащу виноградника, по которому уже далеко двигалась теперь наша цѣпь...

— Что ты?... Дяденька!.. Аль усталъ?..

— Опять... Въ локоть вдарило... Держаться нечѣмъ...

— Ды, я тебя на руки...

Не успѣлъ еще наклониться парень, какъ точно палкой его ударило въ бокъ... Схватился — кровь на рукахъ... Всю грудь перешибло... Въ глазахъ какія-то искры... Свѣта не увидѣлъ — о Парфеновъ забылъ, бросился назадъ скорѣе, своихъ догонять, въ какомъ-то безотчетномъ слѣпомъ страхѣ... И боли еще не чувствовалъ... Въ головѣ звонъ какой-то пошелъ... Дорвался до отступающихъ...

— Что ты? — строго оглянулъ его какой-то офицеръ. — Ружье куда дѣвалъ?... Гдѣ ружье?..

— Парфеновъ... дяденька тамъ... А я — здѣсь. Я издѣся... Вонъ — въ бокъ вдарила. — Перегналъ и офицера... Тотъ ужъ позади... Мелькаютъ направо и налево сѣрыя фигуры солдатъ, останавливающихся, отстрѣливающихся, а парень все бѣжитъ и бѣжитъ, все впередъ и впередъ... Откуда только силы берется въ этомъ продыравленномъ тѣлѣ... Бѣжитъ какъ-то глупо, то улыбаясь, то всхлипывая...

— Чего ты?... — останавливаютъ свои.

— Ребятушки... Парфеновъ-то... Старичекъ нашъ...

— Ну?

— Тамъ, въ кустахъ... — смѣется онъ, хватаясь за бокъ... — Въ кустикахъ лежитъ... Голубчики!..

— Вбили?..

— Не, живъ еще... — Лицо судорожно передергивается... Смѣхъ замѣняется рыданіемъ...

— Милые!.. Замучаютъ его... Голубчики... Не дайте... Я-то самъ — во!..

Растопыриваетъ онъ окровавленные пальцы руки, отнимая ее отъ перебитаго бока.

— Во... Я самъ-то... Не могу... Самъ скоро... — И вдругъ плачь, бессильный, надрывающійся, ни съ того, ни съ сего смѣняется бессмысленнымъ смѣхомъ...

— Дѣточки, голубеточки, красавчики!.. — прыгаетъ на мѣстѣ другой вдругъ помѣшавшійся солдатикъ. На багровомъ лицѣ безпокойно горятъ глаза... Движенія какъ-то нелѣпы: не то онъ отъ холода разминается, не то собирается въ присядку...

— Голубеточки... Вы куда?... Аль красныхъ дѣвушекъ не видали?... Милые... Погодите... Давайте-ко пѣсню споемъ... Ну-ко... Дѣточки... Ишь въ церкву благовѣстятъ... ребятушки — а я праздничку радъ... Христову праздничку... Ишь народу-то, народу, — и все на праздничекъ... Ахъ ты, зайка!.. Глухой, чего ты... Дурашка... Семь я тебя за уши!.. Ржи-то, ржи поля... Аль на работу запоздали?..

Топчется помѣшавшійся солдатъ... Уставился было на него парень...

— Бѣги... Бѣги!.. Во!.. — показываетъ онъ ему растопыренные пальцы, съ которыхъ брызжетъ кровь.

— Дѣточки... Голубеточки... Красный платъ-отъ? А?..

— Бѣги... — И парень со-слѣпа опять стремглавъ далѣе...

Парфеновъ такъ и остался въ виноградникахъ...

Цѣпь нашихъ сбѣгается все ближе звено къ звену... Сгущается...

Зорко поглядываютъ уцѣлѣвшіе... Локоть къ локтю опять идутъ. Враги все ближе и ближе... Вонъ нѣсколько таборовъ вышли направо изъ лоцины... Сейчасъ въ штыки ударятъ... Налѣво конные показались — высочили въ мохнатыхъ шапкахъ на мелкорослыхъ коняхъ... Трусдой, трусдой...

Харабовъ, шедшій съ ружьемъ убитаго солдата, прицѣлился... Какой-то всадникъ въ аломъ бешметѣ такъ и мечется ему въ глаза... Спустилъ курокъ — алый всадникъ сморгнулъ съ сѣдла внизъ... Мелкая дробь магазинокъ послышалась оттуда... Пульки засвистали слѣва...

Солдаты совсѣмъ сблизились... Ощетинились штыками — приостановились... По бокамъ и впереди густыя массы враговъ... Нужно пробивать себѣ путь штыками...

— Бросайте ружья... Сдавайтесь!.. — кричитъ какой-то всадникъ по-русски, приближаясь къ правому крылу нашихъ. — Сдавайтесь — мы васъ не обидимъ... — Горганный говорокъ такъ и садится въ уши...

— Ишь, сволочь!.. — Крѣпкое слово летитъ ему прямо въ упоръ.

— Иначе васъ, какъ мышей, передавимъ...

Фланговый приостановился... Звукъ выстрѣла, и приглашавшій сдаваться какъ-то нелѣпо взмахиваетъ вверхъ руками и опрокидывается съ сѣдла назадъ... Испуганный конь уноситъ его въ нани ряды, натываясь тотчасъ же на штыкъ того же фланговаго солдата...

— Еще «сдавайся» — сволочь!.. Змѣйникъ паршивый!.. Должно изъ нашихъ, мазепа невѣрная! — плюетъ ему въ лицо озлобившійся солдатъ...

— Потурчился...

— А може изъ казанскихъ татаръ. Въ ревельскомъ полку ихъ много...

— По облику — должно такъ... Собачье мясо!..

— Алла, Алла! — размахиваетъ саблей какой-то турецкій офицеръ, выбѣгая передъ кучкой бѣшено несущихся намъ навстрѣчу аскеровъ. — Алла, Алла!.. — Глаза выпучены, дышитъ черезъ силу... Видимое дѣло, ничего не различаетъ передъ собой, — иначе не наткнулся бы на штыкъ, по которому еще не сбѣжала свѣжая кровь отъ лежащаго внизу громаднаго турецкаго низама, который старается захватить что-то висящее надъ его лицомъ, висящее сверху и ему одному видимое... Усилиямъ его кладетъ конецъ чей-то тяжелый прикладъ... Вѣрно схватилъ, что хотѣлъ, опустилъ руку, вытянулся... На синюю голову, расплющившуюся внизу, ступаетъ чей-то сапогъ...

-- О дьяволъ!.. — спотыкается солдатъ и падаетъ рядомъ подъ штыкомъ набѣжавшаго турка... На оскаленныхъ зубахъ еще точно вздрагиваетъ проклятіе.

Сумасшедшій солдатикъ недолго топтался на мѣстѣ.

— Дѣточки, голубеточки, красныя дѣвушки, бравыя молодчики!.. — провожалъ онъ солдатъ, проходившихъ мимо; но тѣ въ суровомъ молчаніи не отзывались ни однимъ взглядомъ на этотъ растерянный привѣтъ сумасшедшаго. Имъ было не до него... Ряды проходили за рядами; солдатскія лица мелькали въ его глазахъ, не проясняя ума, не бросая ни искры сознанія въ эту бѣдную, переполненную кровью голову... Прошла такимъ образомъ колонна, надвинулись цѣпи...

— Чего ты! Ступай скорѣй назадъ!.. Глупый, — остановился было унтеръ-офицеръ.

-- Не хочу... — бессмысленно продолжалъ тотъ топтаться.

— Убьютъ вѣдь...

— Не... Я свищу, свищу, свищу — ребятишечекъ ищу... Ступай, братъ, своей дорогой... На праздничекъ Христовъ... Много къ Христу сегодня пошло... Ой, много!.. И всё-то въ бѣлыхъ рубашкахъ... чистенькіе...

И цѣпь уже ушла... Мимо помѣшаннаго двигались только раненые... Этимъ уже и совсѣмъ до него дѣла не было... Идетъ, идетъ такой, глядя внизъ, точно чего-то отыскивая на мокрой землѣ, подниметь голову, разсѣянно окинетъ помѣшаннаго и — дальше... Съ перебитыми ногами ползли мимо него — тѣ, кто еще надѣялся добраться до своихъ; другіе, ослабѣвшіе, старались только дотащиться до ложины и схорониться тамъ отъ лютого врага... Вонъ впереди замелькало красное... Точно среди сухихъ и блеклыхъ листьевъ желтой кукурузы вспыхнулъ алый макъ... Густо вспыхнулъ — полемъ цѣлымъ надвигается быстро, быстро... Съ ужасомъ оглядываются туда раненые, находя, въ порывѣ нечеловѣческаго отчаянія, силы проползти еще нѣсколько шаговъ... Красными струйками тянутся за ними кровавые слѣды; разбитые мускулы мочалются; выдвигаются наружу осколками разсѣченныя пулями кости, — боль — хуже смерти при каждомъ движеніи, — но врагъ близко; гулъ его наступленія чувствуется уже... Крики отдѣльные доносятся... Падаютъ кепки съ мокрыхъ головъ; волосы насквозь холоднымъ потомъ просочило; круглятся глаза; еще опасность въ нѣсколькихъ шагахъ, а уже въ горлѣ что-то перехватывается; всхлипываютъ раненые; торопятся, черезъ силу торопятся; припадаютъ грудью и потомъ опять — дальше; зарывая руки въ землю, протягиваются всѣмъ тѣломъ впередъ, точно вся сила перешла въ эти руки... Вздохнуть — и опять руки впередъ, опять цѣпкіе пальцы уходятъ въ рыхлую почву... А алые фески уже повсюду, полукругомъ охватываютъ... Если бы помѣшанный могъ видѣть и понимать, онъ бы стремглавъ кинулся назадъ... Они и впереди, и съ боковъ... Фланги подковой догоняютъ... Пули, что свищутъ мимо, чудятся ему пчелами, Божьими пташками — бѣднякъ радуется имъ, ловитъ жужжанье ухомъ...

Набѣжали передовые аскеры... Чудное дѣло!.. Съ улыбающимся лицомъ топчется передъ ними русскій солдатъ. Кепка на затылокъ съѣхала, грудь разстегнута — въ поту вся. А ноги такъ и отбиваютъ землю... Остолбенѣли было... Стали ему говорить по-своему...

— Ахъ вы, дѣточки, милыя! И куда вы это, голубеточки?.. Тоже

на праздничек Христовъ, ко Христу?.. Ну, съ Богомъ, ребяташки!.. На царскую службу...

Что-то кольнуло его въ грудь... Не понялъ — растерянная улыбка какая-то... Потомъ хриплый стонъ... Схватился помѣшанный за острое жало штыка — не пускаетъ его дальше, а по холодной стали уже сбѣгаетъ кровь...

— Братцы... За что же?... Ратнички Христовы!... Дѣточки...

Что-то блеснуло передъ глазами... Отшатнулся назадъ... Крикнулъ... отчаянно, дико крикнулъ и, какъ снопомъ, упалъ навзничь. Только кровь хлещетъ съ хрипѣніемъ и свистомъ изъ перерѣзаннаго поперекъ горла...

Самъ отправился ко Христу на Божій праздничекъ...

Бѣгутъ преслѣдующіе... Добыча ускользаетъ изъ рукъ. Скорѣе: нужно никого не выпустить съ этихъ роковыхъ скатовъ... Бѣгутъ освирипѣвшіе таборы, подковой охватывая отступающихъ... Не оставались даже противъ своего обыкновенія надъ ранеными... За чѣмъ? — послѣ, когда возьмутъ тѣхъ, что уходятъ, — раненые все равно будутъ въ ихъ рукахъ. На досугъ еще легче натѣшиться муками враговъ...

Потерявшій много крови Харабовъ оглянулся и видитъ изъ щѣли массу алыхъ фесокъ; синія куртки мелькаютъ вездѣ; ноги въ сѣрыхъ опанкахъ быстро двигаются ему вослѣдъ...

— Ребята!... Стой!..

Щѣль остановилась врагомъ къ врагу.

— Усталъ томила, — такая усталъ, что еще минуту назадъ казалось — силы не хватить идти, — а тутъ вдругъ точно отъ сердца что-то нахлынуло къ рукамъ и ногамъ... Горячее, бодрящее... За нѣсколько мгновеній не чувствовавшій силы голоса подать, Харабовъ взглянулъ зоркимъ взглядомъ и крикнулъ точно совершенно здоровою грудью:

— Въ штыки ихъ, ребята, въ штыки ихъ, братцы!.. Вспомните командира...

«Урра!» и полуумирающіе побѣжденные бѣгутъ навстрѣчу преслѣдователямъ... Съ минуту слышится лязгъ штыковъ, хриплые крики, одни только нарушающіе свирѣлое молчаніе этой бойни, — и турки опять, какъ волны, встрѣтившія скалистый берегъ, хлынули назадъ, чтобы, встрѣтивъ тамъ новые мощные валы вспѣннаго моря, вмѣстѣ съ нимъ броситься вновь на эти пока нерушимые утесы. Кучками кидаются солдаты въ штыки. Бросаются позади, на флангахъ — про-



чищаютъ себѣ дорогу въ живомъ мясѣ, падаютъ, чтобы дать мѣсто товарищамъ... Изумленные, потерявшіеся турки отступаютъ назадъ, открывая сѣрыя поляны, по которымъ все еще ползутъ за ними недобитые раненые, — ползутъ уже въ послѣднихъ конвульсіяхъ, рыдая кто можетъ, безумно поводя глазами, падая внизъ лицомъ въ землю и снова приподымаясь на рукахъ. Но турки, отступая, встрѣчаютъ новые таборы. «Алла, Алла!» — звучатъ оттуда, и одушевленные ими они вновь перебѣгаютъ пространство, отдѣляющее ихъ отъ нашихъ, чтобы опять встрѣтить оцетинившіеся штыки, рѣдѣющіе ряды солдатъ...

— Дойдемъ ли мы?... До своихъ? — шепчетъ Харабовъ офицеру, идущему рядомъ. Этотъ здоровой рукой несетъ раненую, перебитую гранатой такъ, что кисть виситъ на клочкѣ кожи...

— Много еще идти-то... Много... Знамя спасти надо...

Вонъ наши на тѣхъ гребняхъ...

— Что жъ что наши?... Стрѣлять имъ нельзя... Теперь мы такъ перебѣгались съ турками, что, цѣлясь въ нихъ, — прежде всего перебьютъ насъ...

— Эту бы лоцину только миновать...

— Но какіе солдаты!.. Посмотрите — среди этого ада и сколько порядка!.. Да, не скоро опять создадутся такіе полки!.. Не скоро...

— Ахъ, Плевень! Плевень! — слышалось въ рядахъ...

— Чего ты плачешь? — обернулся офицеръ къ старому унтеру, вдругъ ни съ того, ни съ сего залившемуся слезами... — Чего ты?.. Не ранень, кажется...

— Виновать, ваше-скородіе, не о себѣ я... Полка нашего не стало... Полкъ нашъ кончается!..

Офицеръ потушился... Сердцемъ понялъ, какое это горе для чело-вѣка, сжившагося съ своимъ полкомъ... Сердцемъ понялъ, что для простой солдатской души полкъ кажется чѣмъ-то цѣльнымъ, однимъ существомъ — дорогимъ, близкимъ, милымъ... И вотъ это существо дорогое, милое умираетъ на глазахъ — и помочь ему нельзя, нечѣмъ спасти его...

Знамя ровно двигалось впередъ... Раненый знаменщикъ отказался передать его въ другія руки. Онъ бодро несъ древко, стиснувъ зубы и нахмурился. Видимо едва пересиливалъ боль. Въ бедрѣ сидѣла пуля — кости не тронула... Можно еще идти... Когда начался штыковый бой, — повинуюсь какому-то безотчетному инстинкту, онъ снялъ чухоль, и полотнище теперь слегка колыхалось надъ сумрачными рядами отступающихъ... Вокругъ него тѣсно сдвинулись солдаты...

Онъ точно вдохновлялъ ихъ новыми силами... Какъ-то справа ударили турки. Цѣлый таборъ бросился въ атаку. Позади него замелькали сѣрыя папахи черкесовъ, предусмотрительно собравшихся въ тылу, въ ожиданіи близкаго преслѣдованія. Солдаты подались и отхлынули подъ ударомъ врага; но въ самую опасную минуту, когда, одушевленные удачею, таборы еще упорнѣе стали тѣснить нашихъ штыками, въ потерявшей свою правильность массѣ послышался рѣзкій, громкій голосъ знаменщика:

— За знамя, братьцы!.. Не выдавай!..

И таборъ, уже торжествовавшій побѣду, былъ сброшенъ внизъ, въ лощину, изъ которой онъ вышелъ...

Отдѣльныя схватки повторялись еще нѣсколько разъ, но скоро героическіе солдаты были отовсюду окружены турками... Тутъ уже пришлось вытѣснить себѣ путь. Приблизились свѣжіе таборы, и наши проходили мимо нихъ, разстрѣливаемые на выборъ, оставляя крайнихъ своихъ товарищей на штыкахъ турецкихъ аскеровъ... Отставшій случайно офицеръ Суздальскаго полка сломалъ свою саблю о колѣно, далеко отбросилъ ее отъ себя, и когда турки кинулись къ нему, онъ широко перекрестился и выстрѣлилъ себѣ въ високъ изъ револьвера... Въ сплошную массу враговъ попадали наши отставшіе. Они долго отбивались прикладами, среди точно заколдованнаго круга, пока догадавшіеся аскеры не сваливали ихъ пулями въ упоръ. Раненые, лежавшіе на землѣ, схватывались за ружья, чтобы наудачу пустить послѣднюю пулю въ ряды наступавшихъ. Унтеръ-офицеръ Смирновъ, окруженный турками, бросился на ближайшаго, схватился за дуло его ружья, самъ воткнулъ въ себя штыкъ какъ можно глубже, и, такимъ образомъ приблизясь къ врагу, собралъ послѣднія усилія, задушилъ его и умеръ; турки не могли разогнуть его рукъ, закаменѣвшихъ вокругъ шеи ихъ товарища.

## XXI.

### „Gloria victis!“

Въ массѣ турокъ уже совсѣмъ медленно двигались отступающіе. Двигались, расчищая себѣ путь штыками; для того чтобы сту-

1 Слава побѣжденнымъ!

нить шагъ впередъ, нужно было положить замертво противника, стоявшаго на дорогѣ; часто не помогало и это. Въ давкѣ трупы стояли, какъ живые, подпираемые отовсюду, переносившіеся съ мѣста на мѣсто вмѣстѣ съ освиръпѣлою массой... Только тогда, когда новыя толпы сдвигали ее прочь, на сравнительно свободное пространство, — трупы падали внизъ — подъ ноги тысячамъ людей, уже не бѣжавшимъ отъ смерти, а будто бы искавшимъ ея... Зловѣщій штыковый бой сталъ молчаливымъ. Не стало ни криковъ «ура», ни грохота ружейной пере-стрѣлки... Смятенные, полные ненависти и злобы, люди и убивали и умирали молча... Штыки обламывались, оставляя свои острия жала въ трупахъ враговъ, но обезумѣвшія отъ гнѣва или отъ отчаянія солдаты били и надломанными. Для приклада не было мѣста въ этой сплошной, сгустившейся толпѣ. Не было иногда мѣста и для штыка. Случалось, что враги долго переносились справа налево, слева направо, вмѣстѣ съ толпою — лицомъ къ лицу, сжатые до того, что могли только пронизывать одинъ другого полными смертельной ненависти взглядами. Случалось, что нельзя было приподнять руки въ этомъ мѣсивѣ тысячи людей, обратившихся въ одно живое, произвольно движущееся тѣло... Когда было можно, схватывались руками, вгрызались зубами одинъ въ другого. Умирали отъ потери силъ, доходя до обморочнаго состоянія; возвращались къ сознанию — распростертые внизу, растаптываемые ногами и своихъ, и чужихъ. Офицеры стрѣляли въ упоръ изъ револьверовъ, били рукоятками. Харабовъ — тотъ, совершенно обезумѣвъ отъ потери крови и отъ безчисленныхъ, пережитыхъ имъ вчера и сегодня, ощущеній, шелъ впереди, опустя голову, ничего не видя, ничего не чувствуя. Какія-то лица мелькали передъ нимъ... Ему точно не было дѣла — свои это или чужіе! Иногда онъ, казалось, внимательно вглядывался въ нихъ, но это только казалось. Онъ ничего не разбиралъ передъ собою. Точно онъ двигается въ тучѣ, заслоняющей все, въ сѣромъ маревѣ, гдѣ тонуть его враги и товарищи, точно ноги идутъ сами помимо его воли; и идутъ сами, и останоятся сами какъ заведенная машина... Онъ пересталъ даже чувствовать острую боль отъ ранъ; только въ плечѣ что-то мозжило, и то не очень. Притупившіеся нервы не передавали даже ощущенія страданія... Тѣмъ не менѣе, здоровые бодро двигались впередъ, — до такой степени бодро, что эта кучка побѣжденных львовъ была еще страшна цѣлымъ полчищамъ враговъ, обступившихъ ее... На другихъ пунктахъ уходящіе съ боевого поля наши бросались даже въ атаку, оттуда слышалось «ура», — но хриплое, точно задушаемое... Молчаніе было только здѣсь, но молчанія этого

не забудутъ долго люди, *слышавшіе* его . . . Среди этой горсти людей гордо вѣяло знамя, полотнище котораго было совсѣмъ разстрѣляно вражьиими пулями . . . Пока оно стояло, пока оно не преклонялось передъ чужой силой, — до тѣхъ поръ, казалось, и защитники его не потеряютъ отваги и мужества . . . И оно дѣйствительно было символомъ этой смѣлости, символомъ этой непреклонной бодрости . . . Пронизывавшія его пули не перебили древка и бѣлый крестъ на немъ не былъ еще сорванъ . . . Раненый знаменщикъ такъ же шелъ, какъ и прежде, хоть и чувствовалъ, будто что-то стынетъ у него въ груди, будто сердце его бьется медленнѣе . . . Холоднѣе становилось ногамъ и рукамъ, — холоднѣе, когда потъ лился изъ-подъ обвалывшагося и смокшаго кепи . . . Изрѣдка, за постоянно волнующеюся стѣною защитниковъ знамени, передъ нимъ мелькали перекошенные лица враговъ; входя на гребень холма, видѣлъ онъ по откосамъ черные таборы — но ни разу его руки не дрогнули подъ этою дорогою ношей . . . Онъ чувствовалъ, что онъ опуститъ ее внизъ только тогда, когда медленно бьющееся сердце замретъ совсѣмъ, когда онъ самъ рухнетъ внизъ, въ эту мокрую лощину, куда нужно спуститься теперь, спуститься во что бы то ни стало.

И въ эти минуты, казалось, совсѣмъ безсознательнаго боя, обнаруживались, будто, чуждые разуму, но вѣрныя инстинкты массы, ставшей однимъ тѣломъ. Казалось, умъ каждаго переносился въ общую, двигающую всю эту массу, силу . . . Когда какой-либо изъ фланговъ освобождался отъ непріятеля, когда гдѣ-нибудь турецкіе таборы отступали назадъ, солдаты сами безсознательно, повинуваясь будто какому-то чуждому имъ побужденію извнѣ, безъ команды, бросались на пункты, гдѣ шелъ бой еще, и, подкрѣпляя своихъ, заставляли турокъ давать мѣсто уже утомленнымъ бойцамъ . . . Масса точно имѣла одинъ общій мозгъ, одну общую нервную систему, и именно приобрѣла ее тогда, когда каждый въ отдѣльности будто потерялъ сознание: когда каждый не думалъ, да и не старался думать . . . Такъ было легче; казалось, что это одинъ громадный сируть, борющійся съ еще болѣе колоссальными чудовищами океана. И когда тѣ нападаютъ на него вразбродъ, онъ отбивается отъ нихъ сотнями своихъ щупальцевъ, повинующихся ему . . . Болѣе счастливыя массы отступавшихъ уже дошли до нашихъ позицій и остановились тамъ, среди сравнительной безопасности, а кучка солдатъ съ Харабовымъ и знаменемъ отбивались еще отъ неистовыхъ враговъ . . . Люди падали, какъ трава подъ серпомъ, но черезъ трупы ихъ, казалось, равнодушно переходили товарищи, чтобы взамѣнъ подставить свои груди убійственнымъ ударамъ. Тутъ уже бой былъ лишенъ своего во-

одушевления. Энтузиазмъ не могъ имѣть мѣста среди этой оргіи истребленія . . . Менѣе обстрѣлянные войска бросили бы ружья и стали бы апатично ждать безпощадной мести побѣдителей. Такъ дѣлали турки даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда знали, что все равно придется умереть, защищаясь или прося пощады . . . Для новыхъ ударовъ, для сопротивленія нужны были усилія, на которыя не былъ уже способенъ истомленный организмъ. Казалось, легче умирать, сложа руки . . . Къ счастью, наши отступающіе не поддались соблазнительной мысли, соблазнительной для смертельно утомленныхъ рукъ и ногъ — бросить ружья и лечь на мокрые, до-сыта напившіеся крови, скаты, до того до-сыта, что всей уже они и поглотить не могли. Лужи стояли здѣсь со вчерашняго дня — земля уже ихъ не принимала . . . Ручьями онѣ текли внизъ; встрѣчая трупъ, запруживали его кругомъ черною, густою, остро пахнущею массой . . .

Небо еще было въ сѣрыхъ тучахъ . . . Туманъ уже разсѣялся, и блестящая толпа штабныхъ съ далекой горы могла вдоволь пользоваться своими биноклями . . . Зрѣлище, дѣйствительно, представлялось издали изумительное. Они не видѣли этихъ кровавыхъ лужъ, они не слышали ихъ остраго, бьющаго въ носъ, запаха . . . Они не слышали предсмертныхъ воплей, проклятій, вымученныхъ муками долго, неизмѣримо долго длящейся агоніи . . . Они видѣли бой издали, видѣли эти массы сражающихся и умирающихъ гладиаторовъ!.. Спектакль изъ этой ложи казался грандіознымъ, и они рукоплескали оттуда мужеству побѣжденныхъ. Еще недавно — болѣзненное, чувство испытаннаго пораженія теперь находило удовлетвореніе въ этомъ безтрепетномъ движеніи, въ этой декоративной фантазмагоріи, гдѣ героемъ являлись массы, гдѣ не видны падающіе, гдѣ грозный геній войны являлся не въ смрадѣ только что пролитой крови, не въ дикихъ вопляхъ раненыхъ, а какъ въ театрѣ — красивымъ, волнующимъ сердце . . . Это было зрѣлище, питающее воинственные порывы . . . Глядя на него, никто не чувствовалъ себя виновнымъ . . . «Герои!..» слышались восклицанія, — а какъ умираютъ эти герои, какъ все въ нихъ упало и измочалилось, до этого никому здѣсь не было дѣла . . .

Одинъ изъ штабныхъ даже умилился.

— Такое пораженіе стоитъ побѣды!.. — воскликнулъ онъ, окидывая поле битвы марсіальнымъ взглядомъ.

— Это лучшая страница нашей военной исторіи!.. — поддержалъ другой.

— Да, для солдата!.. — закончили кто-то штабные восторги . . .

Gloria victis!

Слава побѣжденнымъ... Слава имъ, честно умиравшимъ на облитыхъ кровью валахъ, слава имъ, ушедшимъ только тогда, когда на каждаго пришлось по сотнѣ враговъ! Слава имъ, глядѣвшимъ въ лицо смерти и не опустившимъ глазъ подъ ея леденящими взглядами!.. Слава имъ, не знавшимъ усталы, голоднымъ, оборваннымъ, холоднымъ!.. Слава имъ, ожидавшимъ помощи и, извѣрясь въ ней, не потерявшимъ мужества! Слава имъ, презрительно падавшимъ подъ штыками враговъ и ни однимъ словомъ не вымаливавшимъ себѣ пощады!.. Слава мужественнымъ сердцамъ, сдѣлавшимъ сильными измученныя руки, крѣпкими — ослабѣвшія ноги!.. Слава великодушнымъ, грудью защищавшимъ раненыхъ!.. Слава этимъ, именно этимъ побѣжденнымъ!.. Вѣчная слава!..

И когда, наконецъ, въ виду близости нашихъ позицій — подъ огнемъ Шуйцевъ — турки раздались, когда отступление стало легче, когда штыковой бой подъ пулями нашего прикрытія, какъ пожарнице подъ проливнымъ дождемъ, погасъ, — тогда эти славные побѣжденные не прибавили шагу, не побѣжали на безопасные склоны еще незанятыхъ нами холмовъ второго кряжа... Они такъ же шли, какъ и прежде, медленно, спокойно, величаво... Они не разсѣялись по свободному уже боевому полю, нѣтъ, только густая масса ихъ стала правильнѣй. Они шли, приостанавливаясь и посылая огонь и смерть въ беспорядочныя линіи преслѣдующихъ, удерживая ихъ вдаль отъ себя...

— Что ты?... — обернулся унтеръ-офицеръ къ знаменщику.

Тотъ шель, почти зажмуривъ глаза. Лицо его побѣлѣло... Казалось, это трупъ, двигающійся только.

— Что ты?..

— Слава Богу... Вынесъ!.. Простите... братцы!

И только теперь бѣлый крестъ знамени заколыхался. Онъ точно усиливается держаться въ воздухѣ, но древко шатается... Шатается... Описываетъ дугу...

Вмѣстѣ съ знаменщикомъ боевой стягъ падаетъ на землю, въ послѣдній моментъ прикрывая его своимъ, пронизаннымъ пулями, полотнищемъ...

Унтеръ-офицеръ поднимаетъ знамя... Кто-то опускается къ знаменщику.

— Власовъ!..

Молчаніе...

Поворачиваетъ его лицомъ кверху... Осунулось... Носъ за-

острился... Глаза стеклѣють... Руки уже похолодѣли... Смѣлое сердце перестало биться... Безкровныя губы уже не шевельнутся для отвѣта.

Знаменщикъ вынесъ свою дорогую ношу изъ боя — и умеръ!.. Позволилъ себѣ умереть только тогда, когда онъ былъ не нуженъ... Отдохни!.. Засни, утомленный!.. Навѣки засни!..

Слава такому побѣжденному!.. Рукоплещите ему, блестящіе зрители, изъ своей далекой ложи!..

## XXII.

### Старые знакомые.

— Ваше благородіе, позвольте спросить, здѣсь работаетъ докторъ Малыгинъ? — остановилъ молодой армейскій солдатъ поручика — смотрителя ситовскаго госпиталя № 00... Поручикъ, уже успѣвшій нагулять себѣ брюшко и завести необыкновенно толстую, точно для собакъ, золотую цѣпочку во весь бортъ, строго оглянулъ спрашивавшаго... Придаться было, впрочемъ, не къ чему. Рядовой стоялъ почтительно и держалъ руку подъ козырекъ... Смотритель надулъ щеки... Поворочалъ глазами... Повернулъ было въ госпиталь, ничего не отвѣчая, да точно раздумалъ.

— Докторъ Малыгинъ?... Старшій докторъ Малыгинъ?

— Точно такъ...

— Опусты руку!.. Отчего пуговицы нѣтъ?... Третьей?... Пришей — сегодня же!.. Пор-р-ядокъ... И чистота!..

Рядовой опустилъ руку. Поручикъ воззрился — по швамъ ли держитъ... Оказалось по швамъ — успокоился.

— Тебѣ зачѣмъ онъ?..

— По личной надобности... — уклончиво отвѣтилъ рядовой.

— Я тебя, болванъ, спрашиваю — зачѣмъ тебѣ докторъ, а не о томъ, по личной или чужой надобности... Отвѣчать не умѣешь!

Рядовой вспыхнулъ, но тотчасъ же улыбнулся. Распѣтушившійся брюханчикъ очень ужъ былъ смѣшонъ.

— Ты чего смѣешься, скотина?... Какой роты?..

— Докторъ Малыгинъ — мой отецъ... — послѣшилъ пояснить

рядовой, чтобы не подать поручику повода еще дальѣе развить свое краснорѣчіе...

— Отецъ?... Значить, ты... вы ему сынъ?... Вы отца ищете?... — оторопѣлъ смотритель, втянувъ обратно выпученныя щеки и какъ-то совѣмъ ужъ негѣло моргая глазами...

— Точно такъ, ваше высокоблагородіе... — И Малыгинъ опять поднялъ руку.

— Ахъ, оставьте, пожалуйста!.. Къ чему?... Между образованными людьми... — И поручикъ протянулъ было руку да кстати вспомнилъ, что очень ужъ будетъ фамиллярно, и отдернулъ назадъ... Впрочемъ, придавъ глазамъ ласковое выраженіе.

— Вы вѣрно вольноопредѣляющійся?... Въ пыли погончики-то — не замѣтилъ кантика... Воображаю, папенька вашъ какъ обрадуется... Подите — легко ли?... Что же это вы — по охотѣ... Молодежь, молодежь!.. Нѣтъ чтобы дома, при маменькѣ — на войну!.. Ну, что жъ?... Благородно... Даже очень... Славянская идея... Всѣмъ надо... Тягота общая... Какже, папенька вашъ у насъ... Старшій докторъ... Полагаю, — безъ Владимира на шею не обойдется... Ночей не спитъ... Очень ужъ мы всѣ здѣсь его уважаемъ... Вы извините, что я того... Погорячился... Знаете — время военное, распусти солдатъ — плохо будетъ... А образованнаго мы всѣ очень цѣнимъ, помилуйте!.. Честь мундиру... Солдатскому званію краса... И удовольствіе! — ни съ того, ни съ сего заключилъ онъ... — Идите сюда вотъ... Я сейчасъ доложу папенькѣ..

Госпиталь помѣщался въ мечети.

Войдя туда съ ярко освѣщенной южнымъ солнцемъ улицы, Малыгинъ на первыхъ порахъ ничего не различилъ... Сумракъ густился подъ тяжелымъ каменнымъ сводомъ, сумракъ и внизу окутывалъ высокія колонны... Еще у двери можно было разсмотрѣть каменные плиты пола, — но потомъ контуры и очертанія всего терялись, такъ что даже и смотритель какъ будто слился съ окружавшею его темнотой... Малыгинъ зажмурился... Какой-то острый запахъ билъ въ носъ... «Ишь, ратер-то карболки не жалѣеть», — мелькнуло въ головѣ у него... Когда онъ открылъ глаза, — скупой свѣтъ, проникавшій сквозь небольшія окна, пробитыя подъ самымъ куполомъ, позволилъ ему различить и стройныя колонны, и лѣстницу, шедшую вверхъ, на хоры, и какіе-то вороха, лежавшіе внизу, подъ ногами, на полу, точно вся мечеть была завалена старымъ тряпьемъ... Только минуту спустя Малыгинъ замѣтилъ, что это тряпье шевелится... Изъ



него мелькала то рука, то голая нога... то голова съ включенными волосами... Еще немного и молодой человекъ разсмотрѣлъ уже, что эти руки и ноги, даже нѣкоторыя головы — были въ перевязкѣ. Прямо передъ нимъ лежитъ, на примѣръ: нога, залитая въ гипсъ, кажется покрыта бѣлою толстой корой... А рядомъ голова перетянута бинтомъ... Пасквозъ запекалась кровь... Вонъ между больными мелькають сѣрые силуэты сестеръ... Сѣренькія платица, сѣренькія лица... зато сердца и руки — чистаго золота... Малыгинъ по пути уже много наслушался объ этихъ подвижницахъ и теперь съ особеннымъ вниманіемъ прислушивался къ тихимъ и ласковымъ голосамъ, звучащимъ надъ больными въ разныхъ концахъ этой мечети... Вонъ одна, на лѣво, стала на колѣни передъ раненымъ и снимаетъ повязку медленно, тихо, точно каждая нитка, которую она отмачиваетъ съ запекшейся раны, ей самой причиняетъ невыносимое страданіе... Вонъ другая рядомъ кормитъ съ ложки солдата, — видно нельзя подняться бѣднягъ... «Экъ его уложило! Куда же это онъ раненъ?» — задался было Малыгинъ, какъ сестра, точно желая разъяснить его недоумѣніе, приподняла одѣяло и поправила рубашку раненому... При этомъ Малыгинъ увидѣлъ, что объ руки у несчастнаго отрѣзаны и торчатъ въ бинтахъ и перевязкахъ дулдышками... Глазъ все больше и больше привыкаетъ къ темнотѣ... Во всѣхъ углахъ уже — въ ворохахъ стараго тряпья — оказываются раненые... Нѣсколько сотъ ихъ тутъ... И на деревянной галлерейкѣ вверху то же... Гомонъ слышится оттуда. По деревянной скрипучей лѣсенкѣ то и дѣло взбѣгаютъ туда и спускаются оттуда сѣрыя фигурки сестеръ... «Какія онѣ заморенныя!» — подумалъ про себя Малыгинъ, всматриваясь въ эти блѣдныя, безкровныя лица, въ эти утомленные глаза... И вдругъ, ни съ того, ни съ сего греза нарисовала ему другой образъ, полный свѣжей, здоровой красоты, очаровательный образъ женщины, къ которой онъ относился почти благоговѣнно... «Она вѣрно отдумала въ Петербургѣ. Куда ей здѣсь — зачѣмъ? Тамъ блескъ, шумъ... яркія залы... рукоплесканія... Могучее вдохновеніе... Сотни зрителей рыдаютъ; въ поддыхъ душахъ пробуждается совѣсть... Куда ей здѣсь!.. Нѣтъ, Мирская вѣрно отдумала!..»

— Гдѣ, гдѣ? Гдѣ онъ... Александръ?!.. Голубчикъ! — слышалось издали. — Милый!.. — Знакомый отцовскій голосъ то и дѣло обрывался... Вѣрно всхлипываетъ старикъ. Малыгинъ и самъ почувствовалъ что-то теплое на глазахъ... по щекамъ пробѣжало... Въ этой обстановкѣ его старикъ дѣйствительно производилъ глубокое впе-

чатлѣніе... Молодой человекъ ступилъ было впередъ, да чуть не попалъ прямо на залитую въ гипсъ ногу раненаго...

— Голубчикъ... Саша... Покажись-ко, покажись!..

Родныя руки обнимаютъ его; теплыя губы прижимаются къ мокрымъ щекамъ, не чувствуя ихъ влажности...

— На свѣтъ... На воздухъ пойдемъ... Дай посмотрѣть на тебя... Читалъ, братъ, читалъ... Мнѣ писали... Ты къ солдатскому Георгію представленъ... Горжусь... Радуюсь... Горжусь... Ей Богу!..

— Чего же ты плачешь?.. Развѣ такъ радуются, отецъ...

— Это, знаешь, все нервы... Да и ты самъ... Только не замѣчаешь... Кавалеръ!.. Радъ!.. Матери я уже отослалъ... Пускай и она — тоже...

Вытащивъ сына на свѣтъ, старикъ опять принялся его оглядывать...

— Ишь какой... Пѣтухъ... Право, пѣтухъ... Ну-ко еще... Съ этой стороны... Загорѣлъ. Испекло тебя болгарское солнце-то... а? испекло... Ишь какой сталъ... И складка между бровями... ну, что жъ? — разума больше... Въ горнилѣ мы теперь всѣ. Кому и не чаялось — увидѣлъ адъ на землѣ!.. И руки какія стали — мозоли натеръ... Теперь, братъ, у тебя не кожа, а шкура!.. Да, шкура... Ну, поцѣлуемся, Саша... Вотъ такъ... Эхъ, матери нѣтъ, она бы на тебя полюбовалась... Давно?.. а, давно?..

— Что давно?..

— Пришелъ... Ты вѣдь, братъ, на своихъ на двоихъ? Ишь, затылокъ тебѣ какъ нажгло. А ты смотри — не дай Богъ — солнечный ударъ... Мокрый платокъ прикладывай...

— Сегодня утромъ партію плѣнныхъ привели. Я отпросился — повидать тебя.

— Вотъ это хорошо!.. Вотъ молодецъ, Сашка!.. Хвалю... И горжусь, да... Георгіевскій кавалеръ — не шути съ нами!.. Только вотъ что, — заторопился отецъ: — это не въ ущербъ дѣлу?..

— Что въ ущербъ?

— Ты-то, ты... Ко мнѣ пришелъ сюда — не въ ущербъ?.. Я тебя не отвлекаю отъ обязанностей?

— Нѣтъ, отецъ, я до утра отпросился.

— Ура!.. Мы, братъ, Сашка, съ тобой сегодня по-студенчески выпьемъ. Только погоди... Сейчас... Я свое дѣло покончилъ... Сегодня могу отдыху себѣ дать немного... И то два дня не

спаль... Пусть сегодня молодежь за меня... Только распорядиться падо.

Мимо проходилъ молодой докторъ.

— Алексѣй Николаевичъ!.. Вотъ мой сынъ... То есть, не то я... Тамъ все у насъ какъ слѣдуетъ... Я — ради такого случая — пойду. А вы пожалуйста... Потому — сами знаете — сынъ, Сашка, и вдругъ георгиевскій кавалеръ и герой... А только если что — сейчасъ за мной... Я буду тутъ близко...

— Да ничего, полагаю, не понадобится... Только вотъ опять Кегеръ сунется...

— Въ шею!..

— Помилуйте... Онъ докторъ медицины... При самомъ Есинскомъ состоитъ...

— Въ шею, говорю! — внезапно распорядился старикъ Малыгинъ. — Этакій подлець!! — обратился онъ къ сыну. — Можешь себѣ представить, этотъ Кегеръ у меня двухъ раненыхъ на тотъ свѣтъ отправилъ. Ампутацію на половинѣ бросилъ — оказалось, не умѣетъ... Его сюда только мѣшать прислали...

— Онъ подъ Плевной отличился, — прибавилъ молодой врачъ: — проскакалъ по перевязочнымъ пунктамъ, ничего не видя, только мѣшая врачамъ... У нихъ тысячи раненыхъ не перевязаны, а онъ распоряжается, путаешь... Потомъ — бацъ въ главную квартиру... Встрѣчаетъ его какой-то генералъ... «Что вы?» — говорить. — «Я, ваше-ство, сегодня полторы тысячи человекъ лично перевязалъ!» И повѣрили вѣдь!.. Еще въ какую славу вошелъ.

— Хлыщъ... свинопасъ... Ко мнѣ въ госпиталь его ни ногой! Пускай жалуется... Ампутацію до половины и бросилъ, а?... Разстрѣлять... Правда, Саша?... Тутъ мы надъ ранеными мремъ — не спимъ, слѣдимъ какъ за родными. Молодежь у меня до измору дошла... И вдругъ этакій Кегеръ и — ни съ того, ни съ сего — операцію... Да я ему мозоль не позволю, не то что руку... Въ шею!.. Пожалуйста — въ шею, поручикъ!..

Смотритель, выскочившій вслѣдъ изъ мечети, принялъ почтительный видъ и даже вытянулся... Руки по швамъ и глаза въ глаза.

— Пожалуйста, если Кегеръ придетъ, отъ моего имени его въ шею... Прямо... безъ всякой церемоніи... А пока до свиданія!

— Что это?... — недоумѣло обратился поручикъ къ молодому доктору: — Какъ же это? У Кегера вѣдь — Владиміръ на шеѣ...

— Ну?..

— И вдругъ въ шею... Старикъ-то... того?... — повернулъ онъ пальцемъ около лба.

— А почему вчера опять больнымъ скверную пищу отпустили. а? — вмѣсто отвѣта огорошилъ его докторъ.

— Помилуйте, я и самъ ѣмъ то же самое...

— Да это вы сами какъ хотите, — а я доложу...

— Алексѣй Николаевичъ!... Повѣрите ли...

— Нѣтъ, не повѣрю...

— А докладывай, чортъ съ тобой!.. — пустилъ ему вслѣдъ смотритель... — Разъ въ жизни-то выпало счастье — лови... За хвостъ лови... Еще мѣсяца два повожусь съ госпиталемъ — и пусть выгонятъ потомъ... Плевать я на васъ хотѣлъ... Не согласенъ по товариществу — я и другой ходъ найду... Видѣли!.. Слава Богу... не удивишь!

— Егорову нужно было бы теплое одѣяло, — подошла къ нему блѣдная и измученная сестра милосердія.

— Ну-съ?..

— Распорядитесь дать...

— Что же я свое долженъ, что ли?... Давайте ваше, если хотите...

— Я уже отдала... Безъ одѣяла сама сплю... Платьемъ покрываюсь... А только ему, бѣдному, все холодно...

— Да я-то филантропъ, что ли, по-вашему? Я государю моему — поручикъ, а не филантропъ... Просите въ Красномъ Крестѣ!..

— Господи!.. Что же дѣлать!.. Тамъ тоже нѣтъ...

— Ишь, мокрохвостыя!.. Туда же! — злобствовала поручикъ, уходя къ себѣ домой... — Изъ хорошихъ семействъ еще... Вѣрно грѣхъ прикрыть пріѣхали... Одѣяло!.. Солдату — и одѣяло!.. Хотъ ангела и того взбѣсятъ! Право, взбѣсятъ... Какого еще рожна?... Тотъ на пищу жалуется, а этой дворцы построй... Эхъ, кабы моя воля... Я бы этихъ сестеръ — только бы хвосты завизжали!

— Рукъ мало, совсѣмъ рукъ мало, — жаловался сыну Малыгинъ. — Кегерь этотъ не одинъ. Ты знаешь, тутъ до меня какое дѣло было... Всѣ врачи, грѣхъ сказать, на работѣ себя не жалѣютъ, — а только же и встрѣчаются экземпляры... Послѣ второй Плевны — паника была... Казакъ влетѣлъ въ городъ, саблей машетъ и кричитъ: «Спасайтесь, кто можетъ! — турки идутъ и всѣхъ рѣжутъ!». А тутъ врачи ампутацію дѣлали. Струсилъ двое, бросили тоже, какъ

Кегеръ, на половинѣ и сами удрали за Дунай... Раненые, разумѣется, умерли...

— Что же, въ семьѣ не безъ уroda...

— Да... Оно хорошо и то, что уродовъ-то мало... Больше все народъ душевный... Себя зарѣжутъ... Я, братъ, своимъ мундиромъ горжусь! — остановился онъ передъ сыномъ, — ей Богу, горжусь... Я теперь радъ, что пошелъ сюда... Настоящее дѣло... Молодью даже... Силы чувствую...

По крупнымъ булыжникамъ мостовой едва-едва двигались сотни арбъ... Скрипъ отъ несмазанныхъ колесъ такъ и садился въ уши. Транспортные обозы, артиллерійскіе парки, телѣги съ ранеными, все это перепуталось въ одно мѣсиво, такъ что зачастую впереди двигалась арба съ мѣшками сухарей, а за ней, ни съ того, ни съ сего, плелись волы, едва-едва вытягивая на крутыхъ улицахъ каруццу, въ которой, какъ телята, болтались головами во все стороны раненые... За ранеными шла повозка съ гранатами, а тамъ опять хлѣбъ, раненые; щеголеватый биржаръ изъ Бухареста, генеральская коляска — и вдругъ цѣлая процессія ословъ, нагруженныхъ углями... Мимо и мимо шли съ утра до ночи, — и казалось конца не будетъ этимъ безконечнымъ обозамъ, паркамъ... То брань остервенѣлаго транспортнаго, то «ну, впередъ!» кучера изъ солдатиковъ, то стоны раненыхъ смѣнялись и тонули въ трескъ копытъ о мостовую, въ скрипъ колесъ, въ хлопаніи бичей, въ шумъ и гамъ толпы, сновавшей тутъ же между телѣгами, арбами, каретами, каруццами...

— Вотъ адъ-то! — проговорилъ молодой Малыгинъ, прислушиваясь и присматриваясь ко всей этой суетѣ.

— Да... Мы привыкли... Живемъ въ этомъ аду...

### XXIII.

## Передъ разлукой.

Сентябрьское солнце жжетъ такъ, что хоть бы и посрединѣ лѣта... Воздухъ точно горитъ — такъ ярко сегодня лучи... Зеленъ, окаймившая дунайскіе острова, млѣетъ въ этомъ зноѣ. Листъ не шелохнется; вѣтеръ съ утра какъ упалъ, такъ и лежитъ до сихъ поръ въ темныхъ тѣняхъ еще густыхъ рощъ. Приподымался нѣсколько разъ — вско-

лыхнеть зелень, раздвинетъ ее, пробѣжитъ едва замѣтною зыбью по водѣ — да видно и ему, вольному, не совладать съ жарой — опять назадъ въ густую чащу . . . Желтый песокъ острововъ горитъ, какъ золото . . . Дунай вдали, словно расплавленное голубое стекло, едва струится, отражая безоблачное небо и высокія горы еще недавно турецкаго побережья . . . Передъ вторымъ изъ понтонныхъ мостовъ скопился громадный обозъ. Телѣги заняли все пространство небольшого острова, точно покрыли его трауромъ — своими черными брезентами . . . У свѣзда на мостъ — гвалтъ и суетня . . . Саперные солдаты охрипли отъ крика; молодой офицеръ видимо изморился совѣмъ, прикурнулъ на дерновую скамью у землянки и только смотритъ на всю эту толкотню . . . Погонцы торопились, другъ передъ другомъ выгадывали, какъ бы попасть скорѣе на тотъ берегъ. Иной разъ нѣсколько телѣгъ двигались вмѣстѣ, — и не малаго труда стоило солдатамъ осадить ихъ назадъ. Наконецъ, одна, грохоча и скрипя несмазанными колесами, медленно спустилась на мостъ и тихо, погромыхивая, ползла по понтонамъ, вслѣдъ за сотнями такихъ же, занимавшихъ всю длину колыхавшагося подъ ихъ тяжестью моста . . . А тамъ дальше, на томъ берегу — къ Сивстому тянулись такія же черныя телѣги — безъ конца, безъ края, подъ тѣми же одинаковыми черными брезентами . . . Тянулись по отмелямъ, всползали на откосы, пропадали въ лощинахъ и снова все тою же темной лентой выходили опять на открытое пространство . . . Вдали, тамъ, гдѣ едва-едва изъ-подъ крутыхъ ранъ зелени улыбаются черепичныя кровли и бѣлѣли минареты города, — зоркій взглядъ могъ бы различить все тѣ же обозныя телѣги . . . Каждая подъ своимъ брезентомъ, едва влекомая тощими, какъ фараоновы коровы, конями, ужасно походила на едва ползущаго по желтому песчаному берегу жука. Тысячи такихъ жуковъ уже переползли на турецкій берегъ; сотни еще оставались здѣсь . . . Между телѣгами сновали на ступенькахъ казаки, пуская въ дѣло свою неизмѣнную нагайку, подбадривая тутъ утомленнаго погонца, тамъ понукая внезапно остановившагося Богъ вѣсть для какихъ соображеній коня. Погонцы были тоже не лучше коней. Такъ же шли понурия головы, едва переводили ноги . . . У коней бока втянулись, у погонцевъ груди впали, лица осунулись, глаза блуждали. Они уже и не обращали вниманія, когда нагайка распорядительнаго станичника по пути къ коню щупала, цѣлы ли бока у людей, всѣ ли еще ребра не переломаны. Такъ ихъ вели отъ самой границы — привыкли . . . Платье обвисло лохмотьями; сапогъ давно и званія не осталось; у кого нога тряпкой обмотана, а кто и такъ — босой плетется . . . Ка-

заки тоже не со-зла дерутся. Порядокъ не ими заведенъ. Приказано подбодрять... Интендантскіе всадники тутъ вѣдь. Чуть казакъ зазѣвается — самого подбодрять нагайкой, напоминая тѣмъ самымъ о бренности земного величія... Это постоянное «memento-mori» обратилось уже въ привычку. Сама рука ходила... Зажмури глаза, могли... Между телѣгами въ бричкахъ, запряженныхъ сытенькими румынскими лошадками, сидѣли на мягкомъ тоже сытенькіе и гладенькіе — горвицевскіе и грегеровскіе офицеры, командиры этой жалкой и ободранной арміи ограбленныхъ и измученныхъ погонцевъ. Смотрѣли необыкновенно счастливо. Придунайская Болгарія была для нихъ землей обѣтованной; тутъ все улыбалось имъ... Манна падала съ неба въ видѣ золота и серебра 84-й пробы; самые камни — и безъ жезла Моисеева — источали имъ всяческія блага и сокровища — умѣй только хватать и пользоваться. Тутъ они были побѣдителями, царями... Самые листья на деревьяхъ превращались для нихъ въ кредитныя бумажки. Сидя въ бричкахъ, наслаждались и ловкостью казаковъ, рассыпавшихъ удары ошую и одесную, и угнетеннымъ видомъ погонцевъ... Имъ доставлялъ удовольствіе и самый зной, томившій погонцевъ... Они были хорошо защищены отъ него и прѣли въ своихъ колымагахъ, соображая, на сколько еще переходовъ впроголодь хватить этихъ мужичьихъ коней... О самихъ мужикахъ они не думали... Мужики дошли и валились, не возбуждая ихъ вниманія... Важно было, чтобы кони дошли, а люди — людей сколько хочешь. Пускай умирають — на то и война... Часто навстрѣчу такому транспорту двигались солдаты съ ружьями. На штыкахъ блестяло солнце. Ноги уходили глубоко въ песокъ; на лицѣ струи поту провели грязныя полосы. Кепки заломлены козырьками назадъ, чтобы предохранить шею отъ злющаго пекла...

На песчаномъ дунайскомъ островѣ къ сотнямъ стоявшихъ тутъ телѣгъ подъѣхала каруцца... Румынь сунулся было въ толчею — да на него заорали солдатики...

— Куда-те преть!.. Дьяволъ!.. Не знаешь очереди... Жди!.. Отѣзжай назадъ!

— А кушь... А кушь... — торопился согласиться биржарь, видя, что ничего здѣсь не подѣлаешь.

— Вали назадъ!.. Куда, куда?.. Ахъ ты, молдаванская твоя рожа, — повернуть коней не можешь!..

Отъ жары верхъ каруццы былъ поднять... На перебранку солдатиковъ высунулся оттуда офицеръ...

— Что, ребята, — нельзя?

— Никакъ невозможно, ваш-бродіе. Приказано — въ очередь... Кто когда прѣхадчи...

— Нельзя, такъ нельзя... А скоро можно будетъ проѣхать?

— Да уже къ вечеру... Ишь сколько навалило телѣгъ...

— Слышите, Анна Александровна?..

Загорѣвшее женское личико выглянуло изъ каруцы...

— Попались!.. Неужели же мы все время здѣсь стоять будемъ, Величковскій?..

— Куда жъ дѣваться?..

— Да вонъ тамъ землянки, — видите?..

— Это, сестрица, — фамиллярно обратился къ ней солдатъ, увидѣвшій красный крестъ на груди, — наши, саперные. А вонъ въ тѣхъ домикахъ — офицеры... Вамъ бы, ваш-бродіе, къ офицерамъ пока... — отковырять онъ Величковскому.

— Да какъ? я никого не знаю...

— Помилуйте! ежели вы изъ Рассеи — имъ даже въ удовольствіе... Они ради...

— А что въ самомъ дѣлѣ, Анна Александровна?.. Какъ вы полагаете, въ этомъ разѣ?

— Я не прочь... Все равно, чѣмъ стоять на жарѣ...

Величковскій и Мирская вышли изъ каруцы...

— Эй, Аксеновъ! — крикнулъ саперный солдатикъ: — проводи господъ къ штабсъ-капитану Зеленому!

Пробираясь между телѣгами, кое-гдѣ сплотившимися въ одну массу, наши путники то и дѣло наталкивались то на погонца, растянувшагося поперекъ дороги, то на солдатиковъ, присѣвшихъ подъ телѣгами, — все-таки хоть клочекъ тѣни есть... Въ одномъ мѣстѣ погонцы цѣлой толпой залегли... Спать... Солнце прямо въ лица имъ. Кожа вся потрескалась, точно мѣдъ красная стала — даже поту нѣтъ, весь высохъ; кончики носовъ зарумянились; открытыя груди кирпичными сдѣлались; дышится тяжело — этакимъ паревомъ, еще бы!.. А затомленнымъ погонцамъ все же спится... Не проснулись даже, когда казакъ споткнулся объ одного изъ нихъ и упалъ въ кучу... Только шевельнулись... Одинъ вонъ затылкомъ кверху повернулся. Солнце ему шею печетъ, такъ что, того и гляди, ударъ будетъ — нѣтъ... Сладко разбросалъ руки... Дорогъ ему, утомленному, отдыхъ... Такого случая не скоро дождешься... А вонъ у самого берега нѣсколько десятковъ погонцевъ воспользовались случаемъ. Раздѣлись и барахтаются въ водѣ, присѣдая по самую шею.



Другой во всемъ какъ былъ вѣзъ. Еще лучше — и платье кстати вымоется... А потомъ на песокъ — подь солнце — и спать!.. Мягко!.. До вечера — такъ-то...

Молодой офицеръ очень обрадовался Мирской и Величковскому... Не зналъ, куда ихъ усадить, какъ принять...

— Вы не знаете, какой это для меня праздникъ... Мы тутъ въ берлогѣ совсѣмъ. Во всю кампанію только и было развлечения, что два раза въ Зимницу да разъ въ Систово съѣздили, а то съ утра до ночи гнѣмъ надъ понтонными мостами.. Хуже всякой каторги — суматоха каждый день... Завидуешь тѣмъ, которые теперь на боевыхъ позиціяхъ... Имъ съ полгоря... Впечатлѣнія есть — жизнь кинуть, а тутъ только и дѣла, что браниться съ транспортными да цѣлые дни подь дождемъ и подь солнцемъ наблюдать за движеніемъ обозовъ по мостамъ. Газеты доходятъ поздно и то не всѣ...

Какъ будто въ подтвержденіе словъ — его сейчасъ же потребовали къ мостамъ.

— Вотъ видите... Займитесь-ка чайкомъ пока... Я скоро вернусь. Будьте хозяевами...

Неприглядная обстановка напоминала не то палатку, не то баракъ. Кое-какъ сколоченныя доски, желѣзная складная кровать, столъ и пара табуретовъ самодѣльной саперной работы. Въ окно грѣло солнце. Въ широкой полосѣ его свѣта дрожали пылинки и золотилась какая-то мушка, словно искорка... Комарь назойливо звенѣлъ гдѣ-то въ углу, жалуясь всѣмъ на свою горе-горькую долю... Тихо было...

Черезъ нѣсколько минутъ хозяинъ вернулся.

— Я вамъ помирволилъ...

— Какъ это?..

— Можете скоро поѣхать. Я вашъ экипажъ къ самому мосту перетасилъ.

— Ахъ, какой вы милый!..

Черезъ часа два каруцца уже вѣзжала въ Систово...

Величковскій выбрался изъ нея у коменданта. Сегодня долженъ былъ ѣхать дальше. На улицѣ они простились сухо, официально, но глаза говорили лучше словъ, а слезъ, навернувшихся у нея, онъ бы не промѣнялъ ни на какія сокровища...

— Прощайте! — наконецъ, вырвалось у нея...

— Прощайте, моя радость!..

Не успѣла Мирская отѣхать и одной улицы, какъ у калитки какого-то болгарскаго домика ей мелькнуло чье-то загорѣлое знакомое

лицо... Только ужь очень загорѣвшее. Солдаты стоялъ тамъ, прислонясь къ стѣнѣ...

— Вотъ день-то!.. Неужели?..

— Анна Александровна, вы ли? Голубушка!.. Старику-то моему радость какая!.. А мы здѣсь вѣдь...

— Какимъ молодцомъ вы стали, Малыгинъ!

Тотъ быстро юркнулъ въ калитку и вызвалъ отца.

— А, отроковица!.. На своемъ поставили... Къ намъ — сюда...

Гдѣ же вы остановитесь пока?

— Ей Богу не знаю — ищу какую-нибудь общину...

— Ну, пока еще найдете — милости просимъ. У насъ есть одна комната свободная. Вотъ счастье-то неожиданное, негаданное!..

Прямо въ окно видна была вѣтка миндального дерева, по которой уже закатывавшееся солнце скользило золотистыми брызгами... Легкій вѣтеръ, поднимавшійся къ вечеру, колыхалъ листья, — точно они присились къ ней, въ эту комнату, сбрасывая съ себя золотистыя брызги солнца... Какая-то пташка скользнула къ ней... Усѣлась на самомъ концѣ вѣтви и давай щебетать, — такъ что по горлышку ея только стала перекатываться какая-то горошинка... Анна Александровна, которая прилегла отдохнуть, засмотрѣлась на этого задорнаго пѣвца...

Потянуло прохладой...

Золотыя брызги стали блекнуть...

## XXIV.

### Передъ дебютомъ.

«Я уже на Шипкѣ... Пока у насъ сравнительно тихо... Турки роятся кругомъ, громоздятъ толстые бруствера — мы растянулись на длинной и извилистой линіи гребня св. Николая. Съ разсвѣтомъ непріятель начинаетъ осыпать насъ гранатами и пулями, но за кое-какъ накопанными ложементами мы чувствуемъ себя пока почти спокойно... Спимъ въ землянкахъ — при чемъ зачастую случается, что кровля ихъ за ночь подмоется дождемъ и утромъ рушится, погребая подъ собою людей... Но что васъ больше всего удивитъ, это моя встрѣча здѣсь съ неугомоннымъ Верховцевымъ. Онъ прискакалъ къ намъ какъ угорѣлый и съ перваго же разу сталъ всѣмъ восхищаться — и картинами при-

роды, и нашими укрѣпленіями, и уходящими въ поднебесье турецкими редутами... Впрочемъ, турки его нѣсколько расхолодили. Въ то время, когда онъ въ экстазѣ подѣхалъ къ Стальной батарее, пуля какая-то попала въ ухо его коню, и благородный буцефалъ корреспондента «паль на полѣ брани». Верховцева это такъ озадачило, что онъ, выкарабкавшись изъ-подъ лошади, постарался забраться скорѣе подъ защиту брустверовъ, а назадъ въ Габрово уѣхалъ на другой день вмѣстѣ съ нашими ротными котлами — въ кухонной телѣгѣ... Дня черезъ два послѣ того онъ явился къ намъ, но уже благоразумно оставивъ новаго коня на безопасной позиціи въ тылу, а самъ вступилъ въ сферу огня на ослѣ — какъ Христосъ въ Иерусалимъ, только безъ пальмовой вѣтки въ рукахъ. Воспользовался болгарскимъ магаромъ — на томъ-де основаніи, что этого турки могутъ разстрѣливать... Всего пять цѣлковыхъ стоитъ... Торжественное восшествіе корреспондента на св. Николай было столь комично, что солдаты, выскочивъ изъ ложементовъ, долго хохотали ему вслѣдъ. Верховцевъ, не смущаясь, добѣжалъ до батареи, и тогда только мы поняли, ради чего сей доблестный мужъ сыгралъ столь смѣшную роль. На ослѣ онъ подвезъ къ намъ, гладнымъ и жаждущимъ, всякаго добра вдоволь, питій и яствъ и, главное, газеты, письма, между ними и ваше... Не могу выразить, что я перечувствовалъ, читая эти нѣсколько строчекъ... Такъ и воскресло передо мною чудное утро, когда мы прощались въ скверномъ саперномъ домикѣ на песчаномъ дунайскомъ островкѣ... Такъ и засвѣтились ваши глаза — искренніе, глубокіе... Дай имъ Богъ никогда не поблекнуть! Пусть слезы никогда не туманятъ ихъ чистаго блеска!.. За всѣ эти великія заслуги мы прозвали животное, доставившее сюда на своемъ хребтѣ Верховцева съ его багажемъ, валаамовой ослицей...

«Итакъ — вы уже на мѣстѣ... Вы говорите, что вашъ госпиталь пока пусть; я думаю — ненадолго. Когда вы получите мое письмо, — у васъ уже будутъ полны руки дѣла. Раненые подъ Плевной — только теперь разбираются. Какъ бы я хотѣлъ услышать о первыхъ вашихъ впечатлѣніяхъ! Воображаю, съ какимъ благоговѣйнымъ восторгомъ вы приступили къ этой горькой чашѣ утомительнаго, невиднаго больничнаго труда! Но знаете ли что: мнѣ кажется, послѣ войны многія блестящія репутаціи ея героевъ поблекнуть и забудутся, но народъ никогда не перестанетъ молиться на тѣхъ чистыхъ, самоотверженныхъ дѣвушекъ, которыя пришли на кровавую ниву спасительными, добрыми ангелами... Что было бы безъ васъ среди этой оргіи бѣшенства, ненависти, злобы!...

«Я пишу вамъ въ одну изъ немногихъ тихихъ минутъ на Шипкѣ. Чудный день, хоть уже потягиваетъ — и довольно чувствительно — осепнимъ холодкомъ. Ночью бываетъ изморозь. Мы начинаемъ дрогнуть изрѣдка... Зато сегодня солнце; ни одной тучки на темно-синихъ небесахъ... Лысая гора вся передъ нами, грандіозная, величавая... Налѣво грозныя скалы Орлинаго Гнѣзда... Турки сегодня стрѣляютъ очень лѣниво. Изрѣдка надъ чернымъ силуэтомъ ихъ батареи вспыхиваетъ бѣлое облачко, и нѣсколько секундъ спустя черезъ наши головы перелетаетъ граната. . . Безъ этихъ деталей наше существованіе здѣсь было бы ужъ очень скучно. Любезность за любезность — минуту или двѣ дадимъ туркамъ на размышленіе и затѣмъ тотчасъ же отвѣчаемъ шрапнелью, которой они очень не любятъ... Верховцевъ только что вернулся изъ весьма оригинальной экспедиціи. Братушки спускаются въ лощину, гдѣ еще недавно кипѣли бои Орловцевъ и Брянцевъ съ турками. Тамъ болгары обираютъ мертвыхъ, преимущественно, разумѣется, захватывая оружіе. Верховцевъ отправился съ ними и вернулся страшно потрясеннымъ. На его глазахъ братушки прирѣзывали еще живыхъ турокъ, перерывали цѣлыя груды мертвыхъ, грабили ихъ... Верховцевъ увѣряетъ насъ, что отъ него теперь пахнетъ трупомъ... Кстати, сегодня утромъ съ нимъ случился эпизодъ, насмѣшившій насъ всѣхъ. Спать онъ отправился версты за двѣ отъ насъ по дорогѣ въ Габрово. Выбралъ себѣ полянку, разостлалъ свое гуттаперчевое прусское одѣяло, залѣзъ въ него, закрылся со всѣхъ сторонъ съ головой — потому что было очень холодно. Подъ утро спавшіе кругомъ проснулись и ушли на позицію... Остался одинъ Верховцевъ... Ъдутъ братушки мимо. Видятъ — лежитъ какой-то черный мѣшокъ. Что жъ добру пропадать? Стали надъ нимъ — подумали, подумали, потомъ схватили его и потащили уже было внизъ... Верховцевъ сначала ошалѣлъ, а потомъ, разумѣется, заоралъ... Предоставляю вамъ самимъ судить объ испугѣ находчивыхъ любителей того, что «плохо лежитъ»...»

— Сестра!...

Мирская опустила письмо... Въ дверяхъ стоялъ молодой докторъ...

— Сегодня намъ придется много поработать!

— А что?

— Да какъ обыкновенно — никто не предупредилъ, а между тѣмъ вечеромъ къ намъ прибудетъ громадный транспортъ раненыхъ подъ Плевной... Они до сихъ поръ, несчастные, лежали въ казенныхъ дивизионныхъ лазаретахъ. Теперь только надумались въ Красный Крестъ

распредѣлить ихъ... Нашъ докторъ перегналь. Говорить, версть на пять раскинулся обозъ... Нѣкоторые пѣшкомъ идутъ — большая часть въ телѣгахъ...

— Когда же? — привстала Мирская.

— Да, я думаю, часа чрезъ три прибудутъ.

И докторъ и Мирская были вновь. И тотъ и другая только что прѣхали на эту ниву крови. Они еще не пріучились равнодушно относиться къ страданіямъ ближнихъ. Они волновались. Сердце замирало — точно сейчасъ должно начаться полное глубокихъ таинствъ священнодѣйствіе, къ которому они приготовляли себя такъ долго... Сейчасъ — чиста ли душа, свѣтлы ли помыслы? Какъ руки приступать къ этому дѣлу? Такъ древле новопосвященный, — изморясь постомъ и молитвой, подходилъ къ преддверію храма... Въ таинственной глубинѣ его мерцали огни... Свѣтлыя облака еміама носились въ сумеркахъ подземелья, обращая его въ какое-то столь взыскуемое небо... Въ этихъ сумеркахъ, въ этихъ облакахъ слышались нагѣвы... Склоненные силуэты людей... Бѣлыя одежды и — при блескѣ перебѣгающихъ огней — кроткіе лики Богоматери и Ея Младенца... И невольно подкашивались ноги неопита, и на порогѣ священнаго убѣжища, рыдая, падалъ онъ ницъ и коснѣющими устами повторялъ свою молитву.

Докторъ и Мирская отправились въ госпиталь.

Началась суматоха. Въ шатрахъ, до тѣхъ поръ почти пустыхъ, разставлялись носилки для раненыхъ, замѣнявшія кровати, раскидывались постели, сушилось бѣлье... Завѣдывающій складомъ, молодой студентъ, кинулся заготовлять матеріалы для перевязокъ... Въ печахъ первобытной кухни, просто-на-просто вырытой въ землѣ, загорѣли дрова,

— На сколько человекъ ужинъ? — обратился поваръ изъ солдатъ къ старшему доктору.

— Теперь могу сказать... Вотъ, господа, какіе порядки! — обернулся онъ къ товарищамъ. — Телеграмма пришла только пять минутъ назадъ, а раненые будутъ черезъ три часа! Готовьте на пятьсотъ человекъ...

— Господи!.. — всплеснула Мирская.

— Что вы?

— Да у насъ всего четыреста постелей!...

Врачи задумались... Сестры рѣшили что дѣлать... Ушли въ свою палатку и велѣли перенести оттуда ихъ постели въ госпиталь.

— Сами и на плащахъ выспимся... Имъ нужнѣе...

Потомъ съ нѣкоторыхъ носилокъ сняли тюфаки, положили на землю

соломы, и на солому ихъ; такимъ путемъ прибавилось еще постелей пятьдесятъ — больше нельзя было прикинуть. Сдвинули нѣкоторыя кровати, рѣшились на двѣ класть по трое больныхъ... Нѣкоторымъ больнымъ, все-таки, не хватало мѣста. Ихъ даже въ шатрѣ нельзя было помѣстить: оказалось бы слишкомъ нестерпимо тѣсно...

— Что же дѣлать?.. Я право теряюсь... Не отправлять же ихъ дальше...

— Да и нельзя отправлять! — вмѣшался только что пріѣхавшій врачъ.

— А что?

— Да помилуйте! — вы посмотрите, какъ ихъ везуть — ужасъ! Арбы! Въ нихъ по нѣскольку человѣкъ навалено. И то доѣдутъ ли живыми еще... Чего добраго — пятидесяти кроватей не понадобится: въ дорогѣ умрутъ!

— Ну, что вы каркаете!

— На всякій случай придется снаружи шатровъ набросать побольше соломы и теплыхъ одѣялъ сюда. Кто не помѣстится въ шатрѣ — пока эту ночь переночуетъ на открытомъ воздухѣ. А завтра добудемъ. Сегодня же надо послать за всѣмъ этимъ.

— Чортъ васъ побери! — выскочилъ изъ склада студентъ, на которомъ лица не было.

— Что съ вами? — обернулись къ нему.

— Подлецы!... Мерзавцы!... Скоты!...

— Кого вы это, юноша?

— Складъ — подлецъ!.. Нашъ складъ — гадина! Можете себѣ представить! А? Вотъ — бенефисъ!..

— Да вы что?.. Объяснитесь толковѣе.

— Выписывали мы хлороформа послѣдній разъ и хинина, — такъ?

— Такъ

— Намъ выслали?.. Мы не распаковали, — такъ?

— Такъ.

— Ну, а я сейчасъ открылъ и то, и другое... Ахъ, подлецы!

— Да говорите, наконецъ, толкомъ, въ чемъ дѣло?

— Вмѣсто хлороформа — рыбій жиръ, вмѣсто хинина — магнезія!

Благодарю покорно!

— А у насъ своего на сколько еще хватитъ?

— Да дней на десять.

— Ну, и за то слава Богу! Ампутація нѣкоторымъ больнымъ сдѣланы въ прежнихъ госпиталяхъ.

— Какъ это? Значитъ на арбахъ и ампутированные есть?

— А вы что думаете?

— Вотъ тебѣ и на! Хороши будутъ они — послѣ этой дороги!..

Госпиталь былъ раскинутъ посреди большого сухого луга, по которому съ юга на сѣверъ шла глубокая черная щель. Внизу въ щели этой шумѣла рѣка. Точно змѣя, боящаяся свѣта... Издали рѣки и видно не было бы, если бы не деревья, обступившія эту щель съ обѣихъ сторонъ. Деревья точно хотѣли насмотрѣться на воду и наклонялись сверху внизъ, совершенно прикрывая щель своими зелеными сводами... Теперь, послѣ первыхъ заморозковъ, ихъ уже подернуло желтиной и румянцемъ начинающейся суровой болгарской осени. Точно сверху кто обрызгалъ эту веселую чашу каплями жертвенной крови. Густо обрызгалъ. Ни одной вѣтки не обдѣлили... Внизу въ щели рѣченка уже несла на своихъ шумливыхъ струяхъ массы опавшихъ листьевъ. Въ такихъ мѣстахъ, гдѣ щель расширялась и теченіе было едва замѣтно, листья эти скоплялись на водѣ, закрывали ее всю и только вздрагивали, когда подъ ними пробирались холодныя струи... Надъ этимъ помостомъ, зыблущимся и легкимъ, уже не лѣли птицы... Близи были холода осени съ ея дождями и вьюгами...

Около рѣки бѣлѣли шатры госпиталя. Точно становище какое... Черный дымъ валилъ изъ кухонь. Смотрителя и врачи нарыли себѣ землянокъ. Сестры помѣщались въ маленькихъ палаткахъ — по четыре въ каждой.

— А знаете что?... — обернулась Мирская къ подругамъ. — Есть средство и остальныхъ помѣстить сегодня какъ слѣдуетъ, — на случай дождя и вѣтра.

— Какое?

— Отдадимъ свои палатки?..

— А мы?

— Да вѣдь всю ночь навѣрное придется провести съ ранеными. Ну, а тамъ какъ-нибудь.

— Вы ужъ слишкомъ рьяно принимаетесь за дѣло! — вмѣшался врачъ.

— Да вѣдь надо же... Мы здоровы...

— Дѣлайте, впрочемъ, что хотите, это ваше дѣло, не мое. Я по крайней мѣрѣ землянки не уступлю. Мое здоровье нужно — тѣмъ же раненымъ...

Сестрамъ недолго пришлось ждать...

Въ госпитальныхъ шатрахъ не успѣли еще окончить всѣхъ приго-

товленій, какъ одна изъ самыхъ юныхъ, раскрасившаяся, даже счастливая, вскочила въ палатку къ Мирской:

— Везуть, везуть, везуть!...

— Чего вы обрадовались?.. — обернулась та.

— Раненыхъ везуть... Наконецъ-то!

— Откуда, гдѣ?...

— Да я съ нашего холма разсмотрѣла. Пойдемте, милочка!.. И какъ ихъ много!

— Что это вы!... Даже неприлично! Радуетесь тому, что много — хороши, нечего сказать!

Мирская вышла вмѣстѣ съ своею товаркой... До холма, стоявшаго надъ рѣкой, было недалеко.

— Какая трава блеклая стала!... Осень. Что-то будутъ дѣлать несчастные, какъ дожди пойдутъ, метели начнутся?

— Говорятъ, бараки строить гдѣ-то.

— Гдѣ-то, что-то, кто-то... А вотъ вы увидите, что какъ придетъ время, такъ ничего у насъ готоваго и не окажется.

— Ну, вотъ!

— Вѣрно вамъ говорю. Я мало видѣла еще здѣсь, а присмотрѣться и къ этому немногому достаточно, чтобы понять многое.

— А я вѣрю.

— Такъ вѣдь вамъ всего шестнадцать лѣтъ? — улыбнулась Мирская. — Еще бы вамъ да не вѣрить!... А вотъ вы слышали разговоръ офицера, проѣзжавшаго вчера?

— Нѣтъ, а что?

— До того послѣ боя все устало, свѣжія части войскъ были далеко, что нѣкоторые раненые по три дня пролежали не подобранными... Каковъ пейзажикъ?.. Были и такіе, что и на четвертый день еще оставались въ кукурузныхъ поляхъ. А вонъ рассказываютъ про такихъ, которыхъ и подобрать нельзя было.

— Какъ это? — Вытаращила глаза молоденькая сестра милосердія

— Да такъ... Сунутся по направленію къ нимъ санитары — турки огонь открываютъ... Издали наши только видятъ, какъ несчастные раненые эти корчатся и ползаютъ...

— Господи!... Вонъ оно!..

Вдали на горизонтѣ показалось что-то черное, точно голова змѣи, длинный хвостъ которой пропадалъ гдѣ-то вдали.

Мирская молча смотрѣла туда, хотя думала совсѣмъ о другой картинѣ.



Передъ нею рисовалось сырое поле недавней битвы... На немъ пухнуть тѣла убитыхъ... Раненные корчатся во всѣхъ направленіяхъ, простираютъ руки къ небу, приподымаются и снова падаютъ... Раненные видятъ, какъ воронье расклевываетъ уже ихъ мертвыхъ товарищей... На западѣ и на востокѣ за валами стоятъ живые люди... Ни тѣ, ни другіе не смѣютъ двинуться на помощь этимъ умирающимъ, но еще не умершимъ... Ни тѣ, ни другіе!... Огонь встрѣчаетъ великодушныхъ и укладываетъ ихъ рядомъ съ тѣми, къ кому они спѣшили на помощь... Долго ли будутъ страдать и мучиться тѣ и другіе?

Увы, тамъ развѣтъ не приносилъ надежды, а ночь не давала успокоенія.

Тамъ смерть была счастьемъ; тамъ живые хотѣли быть на мѣстѣ мертвыхъ!.. Последніе не чувствовали...

Тамъ дождь кропилъ зіяющія раны; тамъ утренній холодъ оковывалъ и безъ того обезсиленныя существа...

На горизонтѣ черная змѣя все росла.

Голова ея спускалась въ лощины, выползала на скаты, на желтые скаты, гдѣ давно поблекла никѣмъ не скошенная трава... Тѣло извивалось по равнинѣ, слѣдуя за головою, а конца ему все еще не было видно... Все еще на самомъ горизонтѣ мерещилось оно черною точкой... Уже версты на четыре раскинулось оно...

Мирской припомнилась старая баллада — поѣздъ смерти... Но тамъ была ночь... Тамъ длинная вереница мертвыхъ скользила по лицамъ спящаго города. Тамъ бѣлые саваны серебрились подъ яркимъ мѣсяцемъ... Тамъ мертвые стучались въ окна къ живымъ. А тутъ — среди бѣлаго яркаго дня... Тутъ одни живые; но этимъ живымъ уже не стучаться ни въ чьи окна... Руки повисли. Едва дышать измученныя груди... Едва приподымается отяжелѣвшее вѣко надъ воспаленнымъ глазомъ...

Станный скрипъ доносился издали... Следи мертваго молчанія окрестностей до сихъ поръ только шипѣла и билась бѣлая змѣя Осмы въ своей глубокой трещинѣ... Теперь ей навстрѣчу точно ползла оттуда новая змѣя — черная, скрипя и жалуясь на что-то всему этому простору...

Весь ужасъ поѣзда смерти сталъ понятенъ только тогда, когда переднія арбы приблизились настолько, что сестры могли разсмотрѣть ихъ. Рогатыя головы буйволовъ, низко склоненныя подъ тяжелымъ ярмомъ, уже въ пятидесяти шагахъ; скрипъ арбныхъ колесъ покрылъ собою и недовольную жалобу Осмы, въ глубокой трещинѣ, — а конца



Боевая Голгоза.

Т-во „Просвѣщеніе“ въ Сиб.

„Поѣздъ смерти“.

(Стр. 236.)



этому поѣзду все еще нѣтъ... На горизонтѣ новыя и новыя точки. Арба за арбой безъ промежутковъ... Волы за волами. Медлительно движутся...

— Сколько же ихъ тутъ, Господи!

— Сказано вамъ: пятьсотъ всѣхъ больныхъ.

— Какъ справиться, — какъ справиться со всѣмъ этимъ?..

Арбы подъ брезентами и безъ нихъ... Изъ-подъ брезентовъ видны скорченныя ноги, иной разъ головы... Клади какъ попало, — кого головой впередъ, кого ногами.. Часто на одной арбѣ подъ брезентомъ лежать по двое... Голова — къ ногамъ, ноги — къ головѣ... Иной разъ двѣ головы рядомъ раскачиваются, бьются одна о другую, по мѣрѣ того какъ арбное колесо всползаетъ на колдобину, чтобы тотчасъ же упасть въ ухабъ... Желтая полоса дороги посреди поблекшихъ полей, еще недавно пустынная, теперь совсѣмъ пропала подъ этими первобытными телѣгами... Кое-гдѣ арбы ползли въ два, въ три ряда; на поворотахъ пути вытягивались въ одиночку... Ясно видѣвшіяся переднія арбы смѣнялись передъ глазами наблюдательницъ болѣе смутными очерками другихъ, слѣдовавшихъ за ними... Наконецъ, онѣ сливались въ одну безконечно длинную полосу... Вдали было нѣсколько деревьевъ; черная змѣя поѣзда смерти огибала ихъ, пропадала въ тѣни, чтобы тотчасъ же выползти на свѣтъ Божій... Случалось, что затомившіеся буйволы останавливались съ какой-нибудь арбою, остальные огибали ее, и тѣло змѣи тутъ точно утолщалось... Это былъ дѣйствительно «поѣздъ мертвыхъ»... Потому что живые, лежавшіе подъ этими брезентами, не подавали голоса. Они молчали, — хоть это только казалось, потому что вдали слабые стоны ихъ пропадали въ скрипъ колесъ, въ подхлестываніи хлыстовъ по воловьимъ бокамъ и хребтамъ, въ громкихъ крикахъ болгаръ-погонщиковъ, равнодушно шедшихъ около своихъ подводъ... Между этими погонщиками бредутъ легко-раненые. У кого рука перевязана, у кого нога перебита — волочить ее за собою, опираясь на палку... Иной идетъ черезъ силу, — вотъ-вотъ упадетъ; голова перевязана какими-то лохмотьями, настолько пропитавшимися кровью, что кажется, будто это куски мяса, содранные, торчатъ наружу... У другихъ щеки иссѣчены, челюсть перебита и подвязана такъ, словно у него зубы болятъ... Эти даже веселы... Имъ хорошо — по крайней мѣрѣ такъ думаютъ они. Еще бы: если идутъ, значитъ бояться нечего — рана легкая, коли силы хватаетъ — пустякъ дѣло... И хоть подкашиваются ноги, а все-таки раненый ни за что не хочетъ прилечь на солому... За чѣмъ? — тамъ «трудные», тамъ «опасные», а онъ ничего. Слава Богу,

такъ только ему кость попортило; хоть рана по краямъ уже почернѣла, а вокругъ этой черноты воспалилась, побагровѣла и припухла кожа... Еще день — и гангрена, а онъ все знай себѣ шагаетъ...

— Ложись!.. — предлагаетъ такому санитаръ...

— Ладно! Ложись самъ, коли въ охотку, а я пойду.

— Мы дойдемъ... Будь спокоенъ... Мы чудесно дойдемъ... Полегоньку... Наши раны — тьфу! И званія, что рана, — нѣтъ. Такъ тронуло. Шкуру подарапало...

— Да вишь ты ногу-то волочишь.

— А пуцай она волочится, — тебѣ какое горе?.. Не твоя нога-то... Коли бы твоя была... — уже недовольно огрызается раненый, видящій въ санитарѣ личного врага. Еще бы раненый самъ себя старается увѣрить, что это все пустяки, такъ... А тутъ вмѣшиваются, лечь предлагаютъ; точно онъ трудный; точно эта перебитая нога представляетъ какую-нибудь опасность!..

— Отстань! — огрызаются болѣе нетерпѣливые... — точно слѣпень присталь... Не хочь ложиться.

— Да, глупый человѣкъ, мозжить вѣдь въ кости.

— Что же — мозжить? Ну, и пуцай мозжить... Впередъ сколушишь, и то мозжить... А тутъ пуля...

— Ужъ коли слягу — не встать...

— Извѣстное дѣло, — смерть!

— Не всѣ же помирають; силы лежа-то сбережешь

— А на что ихъ беречь?.. У меня, слава Богу, ихъ... сколько хочешь...

И садятся на арбы санитары, здоровая прислуга, а раненые бредутъ около да еще иной разъ посмѣиваются...

— Что пристали?.. Эхъ, вы!..

— А у тебя-то вонъ руку свело...

— У меня, братъ, небось... Это только рукавъ порвало, рука еще во какая! — вытягиваетъ онъ кулакъ, но тотчасъ же опускаетъ его, едва подавляя стонъ.

— Ишь, вѣдь...

— Это такъ затекло.. Только рукавъ!...

Спросишь иной разъ: «Куда, ребята, ранило?»

— Мы не раненые!

— Какъ не раненые? Ишь на ногъ-то!..

— Такъ — салогъ попортило... Такія ли раны бываютъ?!..

Одинъ съ разбитой головой и лицомъ, на которое изъ-подъ расша-

тавшейся перевязки капала кровь — даже фертотомъ прошелъ мимо Мирской . . .

— Сестрицы! . . . Милосердыя! . . . — передалъ онъ товарищамъ. — Голубушки! . . .

И больные, какъ ни тяжело было, давай снимать кепки и кланяться сестрамъ . . .

Зато далеко не такъ легко было подъ брезентами арбъ . . .

Въ каждой настлана солома . . . Жидко настлана, такъ только донышко покрыто ею . . . Иной разъ кровью просочилась . . . На солому по двое, по трое . . . Свалены! . . . Бьются одинъ о другого. Часто прямо въ разбитыя кости, въ измочалившіеся клочки мускуловъ . . . Бываетъ, такъ арбу перевернетъ, что за край ея хватаются перевязанными руками . . . Забудетъ, что ранена — и хватъ . . . Недаромъ достаются такія усилія: на полотнѣ перевязки свѣжая кровь, и, отдернувъ руку, несчастный уже покорно отдается всѣмъ толчкамъ и колыханьямъ, не пытаясь сопротивляться и только скрипя зубами, когда уже приходится невмоготу . . . Есть и такіе, что съ головой закрылись шинелями . . . Точно имъ свѣтъ самый больно видѣтъ . . . Будто трупы, лежатъ они подъ ними, и лишь голыя ступни ногъ торчатъ наружу . . . Шинели тѣ же, что и въ бою были. Въ прорѣхахъ . . . Кровь на нихъ черными пятнами коробится . . . Рѣдко-рѣдко услышишь стонъ . . . Развѣ который не осилить ужъ, такъ повернетъ къ вамъ голову и, обдавъ васъ страдальческимъ, молящимъ взглядомъ, глухо простонетъ . . .

— Что они молчатъ всѣ? . . . Развѣ не больно? — обратилась было къ санитару молоденькая сестра милосердія.

— Какъ не больно . . . — отвѣчалъ тотъ. — Отстонались уже . . . Закостенѣли . . .

— У нихъ голосу не хватаетъ . . . Горло перехватываетъ — ну, и терпятъ . . .

— Стони, не стони, — все единственно, ничего не выстонешь . . .

— Тутъ турки есть, которые . . . Тѣ еще пуще молчатъ . . . Ихъ зондомъ докторъ, а они только глаза пучатъ . . .

— Терпѣливые!

— Насчетъ терпѣнія — бритоголовые первый сортъ . . . Ну, чего раскинулся, свиное ухо! — оборачивается вдругъ санитаръ къ тому же бритоголовому. — Ишь въ морду товарищу заѣхалъ . . . Хоша и такой же мухаметь, да вѣдь и ему не сладко . . . — И онъ тихо, почти нѣжно отводитъ руку страдальцамъ . . .

— Они страсть глухие. Какъ забрали мы ихъ — показываютъ

рукой поперекъ горла: зарѣзать просятъ, — думали, мы ихъ мучить будемъ... По ихнему мухомедскому закону такъ слѣдуетъ: чтобы мучить, ну а мы на это не согласны... Хоша онъ и врагъ.

— Какой онъ врагъ теперь!.. Ишь лежитъ — безсильный совсѣмъ.

— Нѣтъ вы, сестрица, это напрасно! Дай ему мало-малая оправиться, онъ тебѣ такой сюрпризъ устроитъ — въ лучшемъ видѣ. Очунѣешь...

— Одинъ такой — слегка щелкнулъ, только тихо, по лбу турка, рядомъ идущій санитаръ — одинъ такой какъ меня удивилъ!.. Я къ нему подошелъ, чтобы на носилки его, поганого, а онъ хватъ за ружье, да въ меня!.. Чуть-чуть не убилъ, проклятый.

— Что же ты?..

— Ужли жъ прощать?.. Я у его вѣжливо ружье это взялъ самое, да тихонько его самого прикладомъ... Ну, вытянулся... Глаза закатилъ... Енъ врагъ настоящій.

Въ офицерскихъ повозкахъ лежали по одному, по два.

Эти старались быть веселѣе... Бодро смотрѣли — перебрасывались разговоромъ съ солдатами, шедшими рядомъ...

— Эге... Гороховъ, и тебя, братецъ? — спрашиваетъ одинъ такой, увидя своего солдатика.

— Какже, и меня... И меня, ваш-бродь!.. — радостнымъ голосомъ отвѣчаетъ тотъ, точно ему стало пріятно, что ему въ плечо попала и засѣла тамъ турецкая пуля...

— Это на второмъ редутѣ?

— Точно такъ... На емъ, на самомъ... Какъ вступали, значить... «Уру» крикнули, тутъ меня и вдарило; я, ваш-бродь, думалъ палкой кто... А это ёнъ пулей.

— Ну, что жъ?.. Скоро опять будемъ молодцами?

— Это какъ быть!.. Пустяки!.. Еще какъ воевать станемъ...

— Ну, молодецъ, Гороховъ!..

— Радъ стараться, ваш-бродь...

— А гдѣ здѣсь нашей роты... Дороновичъ?..

— Поручикъ? съ Егорьемъ?

— Ну, да!..

— Я уже сегодня думалъ — кончатся, а только опять въ себя вошли; воды просили.

— Далекъ онъ?..

— Повозокъ двадцать назадъ...

— Ой! — вскрикиваетъ офицеръ, попадая раненымъ локтемъ въ бокъ телѣги, на колдобинѣ. И, вдругъ помертвѣвъ, ложится опять на солому...

Между этими повозками — арбы съ сравнительно легче ранеными. Эти сидятъ въ арбѣ человекъ по двѣнадцати, во все стороны болтаются, жавъ зубы... «Легче раненые» зачастую оказываются самыми тяжкими. Сидитъ, сидитъ, треплется во все стороны, да вдругъ, какъ спонь, — внизъ, на дно телѣги... Подымуть — оказывается мертвый...

Когда повѣздъ прибылъ къ госпиталю, сестры разбрелись по телѣгамъ...

Мирская подошла къ той, которая ближе къ ней... Тутъ лежали два офицера. За ними стояли денщики...

— Сестрица... Моихъ господъ-то куда получше... Очень ужъ тяжко!..

— Я ихъ къ себѣ положу... — вспомнила сестра, что отдала свою палатку подъ больныхъ.

— Дай вамъ Господь... Потому мои господа съ самаго Плевеня покоя не знаютъ... Даже и не перевязывали...

— На одномъ вонъ крестъ Георгіевскій?

— Какже, помилуйте... Самъ Скобелевъ далъ.

— Какъ звать его?

— Поручикъ они... Дороновичъ... Только какъ выжили, диву даваться... Чудомъ... Мы думали, еще на первомъ переходѣ помрутъ... А они — во-какъ, до сихъ поръ — нѣтъ-нѣтъ — да и откроютъ глаза.

Когда сестра подошла къ нему, Дороновичъ слегка приподнялъ вѣки... Изъ-подъ нихъ — острый, воспаленный, полный страданія взглядъ...

— Не жалецъ онъ... Ему бы только умереть спокойно! — шепталъ денщикъ.

«А вотъ ты докажи могущество женщины, могущество ласки и нѣжности... Воскреси этого! — сама себѣ говорила Мирская, когда санитары поднимали изъ арбы Дороновича... Спаси его!.. Его, обреченнаго смерти!..»

— А рядомъ кто?

— Тоже нашей роты... Харабовъ будутъ.

— Не бось, ребята, не бось!.. Бей ихъ! Никому пощады! — бредилъ Харабовъ, широко раскрывая глаза, полные бѣшенства и злобы. — Бей ихъ, братцы!.. За мной!..

Больныхъ уже вносили въ шатры...



## XXV.

## Въ виду новыхъ враговъ.

— Холодно, Саша... А?... Холодно?... Ну, да ничего, ты вѣдь герой у меня, а?... Совсѣмъ герой... Смотри-ко — каковъ сталъ! Теперь брату бы тебя показать... Его бы сейчасъ сюда потянуло...

Малыгины — отецъ и сынъ — сидѣли на верандѣ, выходящей въ садъ, весь окутанный лазуревыми сумерками... Съ Дуная уже тянуло холодомъ, пахло осенью... Осенью пахло и въ саду... Слышался запахъ поблекшихъ листьевъ, сырой земли... Подъ чьими-то ногами хрустѣла опавшая зелень... Вдали, въ глубинѣ аллеи, вспыхивала сигара, точно свѣтлякъ тамъ мерещился, то уходя во тьму, то снова проступая на ея черномъ фонѣ.

— Юноша, что вы тамъ бродите? — крикнуть въ эту тьму старикъ Малыгинъ.

— Предаюсь уединеннымъ размышленіямъ.

— О чемъ это?

— О Божьемъ величїи и о невозможности купить себѣ новые сапоги... Жалѣю, почему насъ не учили сапоги шить... Расчудесно бы теперь.

— Хотите чаю?

— Разумѣется, съ коньякомъ?

— Еще условїя предлагаетъ... Идите живо!..

— Нѣтъ, что же?... Ежели безъ коньяку, я не согласенъ.

— Да вѣдь вы, юноша, коньякъ-то гольемъ... Воды не употребляете при этомъ, ни горячей, ни холодной.

— На то и война — во всемъ себѣ отказываемъ, даже и въ водѣ!

На верандѣ расхохотались.

— Экимъ отъ васъ футурусомъ еще пахнетъ!..

— Будущимъ обще-человѣкомъ.

— Ну, идите сюда скорѣе...

— Погодите, дайте цедру лимонную докурить.

— Это еще что за предметъ?..

— Да ужъ предметъ мое почтеніе!.. Должно быть у нихъ ситронныя плантаціи есть, иначе изъ какого же матеріала эти богомерзкія сигары дѣлать. Шипить, подлая, какъ раскуриваешь... Точно злится на тебя... Я раненымъ солдатикамъ давалъ, знаете, какъ они ее называли?

— Какъ?

— Сушенымъ огурцомъ... И съ чего? Въдѣ рѣшительно ничего общаго нѣтъ...

— Хотите, я вамъ дамъ хорошую?

— Дайте ужъ двѣ...

— Такъ бы давно сказали, чѣмъ цедру лимонную курить.

— Нѣтъ, вы не говорите, цедра эта тоже свою пользу оказываетъ... Вы какъ полагаете, она, цедра эта, меня не разъ выручала. Станетъ жизнь горька, всѣ безобразія доймутъ, — выкуришь парочку этихъ сушеныхъ огурцовъ, — такъ, право, все будто рай кругомъ послѣ. Точно тонулъ и тебя на берегъ вытащили...

Юный санитаръ явился на веранду. Кудластый, образомъ нелѣпъ, ноги колесомъ.

— Ну, Аполлонъ Бельведерскій, чаю что ли съ коньякомъ?

— Если будетъ ваша милость — что ужъ васъ разорять?... Дайте коньяку безъ чаю... Чай я ужъ вотъ нижнему чину...

— Вы надъ нижнимъ чиномъ не смѣйтесь... Онъ у меня «кавалеръ». Георгіевецъ!

— Что жъ кавалеръ? я самъ кавалеръ, ежели при дамскомъ полѣ.

— Не къ лицу.

— Ну, нѣтъ, смотря на чей вкусъ... Меня дома попадади страсть одобряли...

— Чѣмъ же вы ихъ это?

— А стихами прошибалъ. У насъ чувствительныя... Одна надъ «Какъ яблочко румяно» ревмя ревѣла...

Замолчали... Слышался только шорохъ листьевъ въ саду... Будто со сна — ребенокъ. Всколыхнутся и опять замрутъ.

— А у насъ-то теперь...

— Что у насъ?

— Снѣгъ повалилъ... Слякоть... Скверно... Дни короткіе, ночи — сырья.

Скрипъ арбы доносится съ улицы, назойливый... Точно не-мазанное колесо жалуется этой ночи на то, что крупные булыжники мостовой терзаютъ его, что ему больно взѣзжать на крутые скаты...

— И кто это коньякъ выдумалъ!... Умный человекъ былъ навѣрное... Вѣрно, докторъ?

— Это почему?

— Какъ же иначе?... Помилуйте — лучший медикаментъ... Ну,

нижній чинъ — завтра опять въ дѣло?.. Встань, солдатикъ, встань, молодой, — возьми манерку — ступай за водой... Такъ, что ли?  
— Да, завтра я уйду отъ васъ!.. Пора въ полкъ... Дня три ходу будетъ...

Старикъ Малыгинъ украдкой сронилъ слезу.

— Ну, что жъ, за дѣло, такъ за дѣло, — ужъ слишкомъ веселымъ голосомъ заговорилъ онъ... — Теперь, слава Богу!.. Теперь поворотъ къ лучшему будетъ, теперь и идти веселѣе. Я даже бы и недоволенъ былъ, если бы тебя вдругъ вернули домой въ Россію.

— Домой?..

— Да... Да... А что-то теперь у насъ тамъ?..

— Братъ пришелъ съ урсковъ и работаетъ... Мать вѣрно въ сотый разъ перечитываетъ твое письмо...

— Деревья-то у насъ совсѣмъ, поди, облетѣли.

— Голыя стоятъ...

— Да!.. Дома!.. Какъ-то и звучитъ это особенно здѣсь... Все припоминается... Шарикъ теперь изъ-за забора на прохожихъ лаеетъ... Во все горло... Старый Семень спать, я думаю, завалился...

И оба молча заглядѣлись въ садъ, хоть ничего не видѣли передъ собою...

Мысль унеслась далеко-далеко... За тысячи верстъ унеслась, въ ту глухую московскую уличку, гдѣ въ старомъ домикѣ свѣтитса теперь огонекъ изъ оконъ и широкія полосы свѣта отъ нихъ ложатся между голыми сучьями деревьевъ на мерзлую землю... Тамъ тишина, покой, тамъ тоже думаютъ о томъ, что дѣлается на дальнемъ югѣ... Тамъ хорошо... Не то, что здѣсь... Не то, совсѣмъ не то... Старику даже въ шорохѣ листьевъ тихій шопотъ его жены слышался... Онъ вздрогнулъ... Вздрогнулъ и едва пересилилъ вздохъ...

— Ты знаешь, Саша, я не то чтобы убѣждалъ тебя быть трусомъ... Храни меня Богъ отъ этого!.. Ни подь какимъ видомъ... Исполни службу какъ слѣдуетъ, но знаешь что — впередъ-то ужъ очень не зарывайся... Не ходи на вѣрную смерть. Ты знаешь, у тебя старуха мать... Куда она?.. Вѣдь умереть... Какъ я напишу ей?.. Ну, а ежели случится — что жъ попробуемъ перенести... Жертвъ много... Охъ, какъ много жертвъ!..

— Большое дѣло, отецъ!..

— Ударились опять! — вступился санитаръ-доброволецъ... — Давай войну расписывать — и такая-то она, и сякая!.. Эхъ вы!..

— Разумѣется, большое, великое! — вмѣшался старикъ Малыгинъ.

— Что такъ?

— Вы думаете, десятки жертвъ падаютъ для вашего удовольствія?

— Не для моего... Помѣшались — и пошли... Эпидемія...

Всякая война — эпидемія... Мнѣ, кажется, — заговорилъ тотъ уже совершенно серьезнымъ тономъ, — что ежели бы взвѣсить блага, которыя даютъ войны, со зломъ, которое онѣ наносятъ, такъ лучше бы со-всѣмъ отказаться отъ нихъ...

— Вона!

— И армию распустить по домамъ, и военныя суда разоружить, и пороховые заводы закрыть.

— А тамъ явятся пруссаки — милости просимъ, володѣйте!..

— Тогда народъ вступится.

— Да народъ по-вашему голыми руками, что ли?..

— Сумѣютъ...

— Эхъ вы!

— А лучше, такъ-то?.. Третья Плевна давно ли была? Восемна-дцать тысячъ съ половиной за что такое легли?.. А, за что? я васъ спрашиваю...

— Ошибка.

— Хорошенькая ошибка!..

— Вы знаете, — вмѣшался Малыгинъ-сынъ, — третья Плевна при всемъ своемъ ужасѣ имѣетъ и хорошую сторону.

— Это — удобреніе для болгарскихъ полей, что ли?

— Полно!.. Не будь ея — покончи мы съ турками теперь же, — результаты войны ограничились бы самыми жалкими условіями. Болгаріи пообѣщали бы реформы, пожалуй, автономію даже, а мы, удовлетворенные военными успѣхами, ушли бы домой... А теперь?

— А теперь — громъ побѣды раздавайся!.. Госпиталей только не хватить... Вотъ что жаль...

— Да ужъ тамъ какъ хотять... И такъ безъ госпиталей уми-рать будемъ... А дѣло окончить надо. Не на полдорогѣ же его бросать... Это вѣдь не сразу началось... Съ тѣхъ поръ, какъ первый русскій доброволецъ въ Сербію двинулся... Это великая освободитель-ная борьба. Ея не затрутъ ошибки, не направитъ въ иную сторону без-дарность частныхъ лицъ. Тутъ масса важна. Масса вся, вся какъ есть... Разъ пошли другихъ спасать — и на себя, можетъ быть, оглянемся.

— Разумѣется, оглянемся! — горячо вступился старикъ Малыгинъ.

— Еще бы! Вернемся — сейчасъ же давай самооплеваніемъ заниматься... Прямо въ рожу одинъ другому... Вотъ и всѣ результаты войны... Развѣ еще рубль до копейки низведемъ... Только и будетъ...

— Это вы ужъ въ биржевую мораль ударились...

— А хотя бы!.. Все лучше, чѣмъ: «Разсыпьте, молодцы, за камни, за кусты по два въ рядъ»...

— У меня нѣсколько иной взглядъ на эту войну.

— Какой?.. Не соблаговолите ли подѣлиться?..

— Отчего же?.. Видите ли, по моему мнѣнію, эта война была первымъ актомъ выросшаго русскаго общественнаго мнѣнія. Дипломатія ея не хотѣла, правительство пошло на буксиръ этого самаго общественнаго мнѣнія. Она началась вовсе не съ прошлаго года. Она началась со времени смерти Раевского и Кирѣева, со дня поѣздки Черняева въ Сербію... Я ее приравниваю, эту поѣздку, къ поѣздкѣ Лафайета въ Сѣверные Штаты... Тѣ же освободительныя цѣли, то же значеніе... Послѣдствія?.. Мы ихъ, можетъ быть, увидимъ еще...

Санитаръ только засвисталъ въ отвѣтъ.

— Напрасно свищите... Это серьезно, чѣмъ вы думаете...

— Похвалялась телка — да волка съѣсть, выходила телка — во дремучій лѣсъ, повстрѣчалъ телушку — да сѣрый волкъ... Остались отъ телки — ножки да хвостъ!.. Вотъ что, нижній чинъ, меня одно удивляетъ... Всѣ эти великодушія, общественныя мнѣнія, и проч., и проч., и проч., — въ чемъ они выразились? Посмотрите — раненыхъ везутъ въ арбахъ, солдатъ кормятъ гнилемъ, стратегія оказывается глупостью...

— Да это совсѣмъ другое дѣло.

— Какъ другое?

— Очень понятно... Общество вызвало войну. Но общество не ведетъ ея... Ведутъ другіе... И если эти оказываются несостоятельными, то въ чемъ же дѣло? Значитъ только — общество переросло агентовъ-исполнителей, и только...

— Ничего въ волнахъ не видно! — запѣлъ оппонентъ вмѣсто отвѣта. — Не хвались, мой милый, идучи на рать...

— И вѣрьте: каковы бы ни были послѣдствія этой войны ближайшія... какъ бы противъ насъ ни возставала Европа, — все равно... Я говорю — все равно, потому что будущее несомнѣнно наше... Значенія этой войны не уничтожить никто и ничто...

— Вонь, говорятъ, есть такой Биконсфильдъ, такъ онъ похваляется...

— Это все временное.

— А въ помощь ему дипломаты разные... Мы вотъ тутъ кровь проливаемъ, а наши въ Лондонъ — слышалъ я — войну эту глупостью обзываютъ.

— Исполать имъ, и только!

— Похвалилась телка да волка съѣсть! Остались отъ телки — ножки да хвостъ...

Старикъ Малыгинъ слушалъ эту бесѣду. Онъ видѣлъ въ своемъ сынѣ и студентѣ-санитарѣ — представителей двухъ противоположныхъ теченій русской жизни... Оба — честны, оба великодушны; но одинъ полонъ вѣры въ будущее, одинъ — живущій для этого будущаго, другой — потрясенный, извѣрившійся, измученный разбитыми надеждами, разочарованіями... Для одного впереди нѣтъ сомнѣнія; тѣни только даютъ жизнь и блескъ свѣту — они необходимы въ картинѣ. Изъ одного свѣта не напишешь ея... Другой бродитъ во тьмѣ, и путеводный лучъ не брезжить для него въ сумеркахъ, охватившихъ со всѣхъ сторонъ заморенную душу... Другому если и мерцала заря, то гдѣ-то далеко, далеко, совсѣмъ въ другой сторонѣ, и эта заря ничего не имѣла общаго съ зарей Малыгина-младшаго... Оба хотѣли счастья своей родинѣ, но оба шли къ нему разными путями... И для обоихъ счастье представлялось въ совершенно противоположныхъ полюсахъ жизни. И лучше всего было то, что идеалистъ Малыгинъ бралъ счастье дѣйствительное, видѣлъ его ближе и реальнѣе, чѣмъ его противникъ, ничего не имѣющій общаго съ идеализмомъ.

— Послушайте!.. — вдругъ встрепенулся Малыгинъ-отецъ. У васъ мать есть?

— Нѣтъ, умерла.

— И оставила васъ маленькимъ?

— Въ безпанталонномъ состояніи еще... Былъ глупъ и слабъ.

— Какъ же вы росли?

— У дяди... Я, впрочемъ, не росъ... Развѣ такъ растутъ?!

Да что рассказывать!.. Горько. Вашему нижнему чину хорошо разсуждать и вѣрить, коли у него дома Филемонъ и Бавкида, а вотъ тутъ-то... Извѣришься и на людей бросаться станешь... Я, впрочемъ, людей не зналъ — больше съ прохвостами обходился.

А ночь совсѣмъ уже окутала и этотъ садъ, и этотъ городъ своею холодною темью... Слышался прибой волны въ Дунай — и только.

Вѣтерокъ упалъ и заснулъ. Систовскія улицы тоже смолкли. Обозы, видимо, до утра стали и ни съ мѣста... Гдѣ-то вдали, вѣрно, домикъ на верхушкѣ холма... Ни дома, ни холма не видно; свѣтится только окно... И въ вышинѣ тоже горять кроткія звѣзды... Тихія, со-страдавательныя звѣзды... Онѣ однѣ теперь въ пустынѣ неба, вѣющаго на землю такую же кроткою тишиною...

— Въ Китаѣ существуетъ странный обычай...

— Сидятъ, сидятъ, а потомъ и спать идутъ... Не такъ ли?

— Точно... Ну, футурусъ, до завтра. А съ нижнимъ чиномъ проститесь... Онѣ еще до свѣту уйдеть.

— Да, насъ соберутъ часовъ въ пять.

— Встань солдатикъ, встань, молодой... Возьми манерку — ступай за водой. Куда же вы теперь?

— Да не знаю... На Шипку — говорятъ...

— Ну, давай вамъ Богъ!..

Молодые люди расцѣловались.

Въ пороховомъ дыму побоищъ третьей Плевны оканчивался второй и самый несчастный, самый тяжелый періодъ этой войны... Въ долгомъ антрактѣ — почти трехмѣсячномъ — мы были обречены на бездѣйствіе... Залѣчивались раны, собирались съ силами, переживались послѣдствія прежнихъ ошибокъ...

Утромъ не успѣлъ Малыгинъ выйти изъ дому, какъ его окликнули. Онѣ было откозырялъ, увидя офицера, но этотъ оказался его московскимъ пріятелемъ... Длинный, худой, угреватый, скверный отпрыскъ московскаго купеческаго семейства, онѣ и здѣсь облекся въ штабную форму. Бѣлые кантики издали бросались въ глаза...

— Ну, Малыгинъ, какъ всѣ ваши очарованія?... А?

— Какія это?

— Да вѣдь вы-то отъ войны въ восторгѣ были...

— И теперь тоже.

— Неисправимъ, хоть брось... Я вѣдь тоже пошелъ сюда, но не обольщался ничѣмъ.

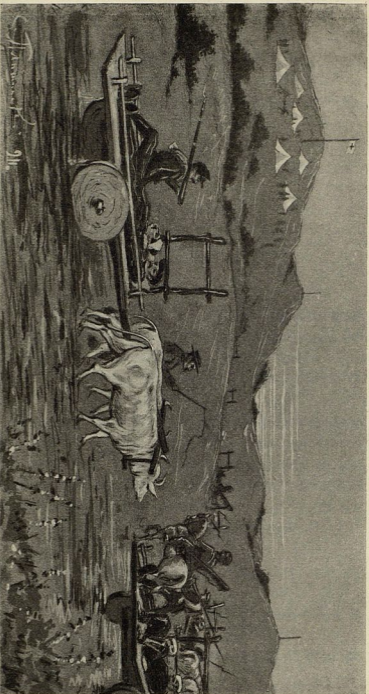
Малыгинъ хотѣлъ было пройтись насчетъ штабной формы, да воздержался.

— Я вамъ, батюшка, одно скажу: убрать бы намъ ноги скорѣй отсюда.

— Какъ это? — изумился Малыгинъ.







Война Толгоел.

## Обозъ съ болыными и ранеными.

(Стр. 249.)

Т-но „Просвѣщеніе“ въ Сиб.

— Да такъ... Обратно за Дунай. Теперь насъ турки живьемъ, какъ мышей, передавать.

— Дѣло еще только начинается.

— А вотъ вы погодите, какъ оно начнется. У турокъ пять грозныхъ армій — у насъ ничего.

— Какія же пять?..

— Эйюбъ навалится съ востока, съ запада Османъ, съ юга Сулейманъ... Да въ резервъ у турокъ двѣ — одна въ Софіи формируется, другая въ Адрианополь — готова... Я вамъ говорю — какъ мышей...

— Выстоимъ... Я не боюсь за будущее...

— Ну, да вы извѣстный фантазеръ... А вотъ, намъ-то какъ, посмотрите: ни денегъ — ничего, ни силъ, крынковскими ружьями турокъ не выгонишь. Что бы это было, если бы пришлось намъ съ европейской арміей схватиться!..

— Полвоте малодушничать!..

— Говорю вамъ — за Дунай, скорѣй, назадъ!..

— А честь?.. Если уже другихъ соображеній вы не признаете.

— Что честь? Лучше жить, чѣмъ остаться здѣсь. Развѣ турки васъ пощадятъ?.. Нѣтъ, миръ скорѣй. Какъ бы то ни было и во что бы то ни стало.

— И болгаръ подъ ножъ имъ бросить?

— Изъ-за этихъ подлецовъ оставаться — благодарю покорно!

— Да вѣдь ради же ихъ мы сюда пришли.

— Все равно ихъ бы перерѣзали... Я вамъ говорю: скорѣе, скорѣе за Дунай!..

Эпоха малодушія и трусости — послѣ цѣлаго ряда кровавыхъ поражений — именно и сказывалась этимъ: «за Дунай».

— Одна армія на боевыхъ позиціяхъ не помышляла объ этомъ возвращеніи назадъ, объ отступленіи отъ дорого-доставшихся мѣстъ. На Шипкѣ не слышалъ никто этого слова; въ землянкахъ и траншеяхъ вокругъ Плевны тоже никому не грезило вернуться домой теперь, не окончивъ дѣла...

По всѣмъ дорогамъ Болгаріи скрипѣли безконечные обозы съ больными и ранеными.

Стонъ стоялъ въ воздухѣ...

Третій періодъ войны приближался еще болѣе грозный, еще болѣе

сумрачный... Не одинъ врагъ уже былъ передъ нами. Во всемъ своемъ мрачномъ ужасѣ вставалъ суровый призракъ зимы...

Передъ ней мы оказывались безсильными.

Плохо одѣтые, плохо обутые солдаты... Мошенничающее товарищество — съ гнильемъ. Изодранныя въ лохмотья палатки...

Тифъ...

Кое-гдѣ уже поднялъ свою блѣдную голову... Запахъ его слышался на бивакахъ; имя его чаще и чаще повторялось въ больницахъ...

На борьбу съ нимъ выступала другая армія... Солдаты были тутъ безсиленъ. Сотни блѣдныхъ и слабыхъ дѣвушекъ шли отовсюду, сотни докторовъ... тоже обреченные на смерть. Эти должны были сломать новаго врага, но пожертвовавъ собою...

Небо все чаще и чаще покрывалось тучами, солнце переставало грѣть... Ни клочка зелени не осталось на лугахъ. Забытая кукуруза, обмякнувъ подъ дождемъ, валялась и гнила на поляхъ. Грязью затянуло все. Дороги стали непроходимы... Рядомъ съ конемъ валится погонецъ... Ихъ объѣзжали... Помочь было некогда и некому. Околѣвалъ конь — умиралъ и погонецъ. Оба пухли на дорогахъ... Ихъ не подбирали.

На боевыхъ позиціяхъ солдаты, кое-какъ завертываясь въ рваную шинель, зябъ и дрогъ...

За него теряли голову въ штабахъ... Онъ не жаловался; зато жаловались тѣ, кому было тепло и сытно... И еще чаще слышалось вездѣ малодушное:

— Скорѣ бы за Дунай!..

А изъ-за Дуная шли сюда все новыя и новыя силы...

— Къ чему эти жертвы, зачѣмъ онѣ? — задавались именно тѣ, которые еще недавно кричали громче всѣхъ.

Начинали только теперь высчитывать, во что обойдется эта война.

Только теперь умные люди опомнились, что такіе катаклизмы въ народной жизни обходятся не дешево, что ихъ нельзя считать по обычной мѣркѣ глупости человѣческой... Война потребовала милліардовъ, и только теперь послышались запросы:

— Откуда мы возьмемъ ихъ?..

И еще чаще, чѣмъ прежде, стало слышаться безсовѣстное и громкое:

— Скорѣ бы назадъ... за Дунай!.. Скорѣй!..

Были даже стратеги, совѣтовавшіе отступить, укрѣпиться въ Румыніи — собраться съ силами зимой... А лѣтомъ начать новую кампанію.

Ихъ слушали...

Хорошо, что не исполнили этихъ добрыхъ совѣтовъ...

# Часть третья.

---

## I.

### Болгарская осень.

---

Глухая осень — второй мѣсяць... Давно не видать неба. И день и ночь оно — въ тучахъ. Съ разсвѣтомъ сѣрѣетъ — чернѣетъ вечеромъ. Ночью — ни зги не видно. И вверху, и внизу — тьма непроглядная... Днемъ тучи отъ тучи не отдѣлишь, ползуть однообразной непроницаемой мглою, кропя холоднымъ дождемъ и безъ того мокрая поля. Кажется — солнца нѣтъ, потухло, и еще нѣсколько дней — земля оледенѣетъ, замерзнетъ, умретъ, чтобы никогда не воскресать болѣе... Смерть вездѣ — медленная, но неотразимая... Осень безъ яркихъ красокъ, безъ послѣднихъ прощальныхъ улыбокъ холодящаго неба... Смерть безъ надежды на воскресеніе... Поблекли и осыпаются уцѣлѣвшія отъ топора рощи... Темный листъ гнѣтъ въ черныхъ мокринахъ... Желтина на вѣтвяхъ точно загрязнилась и виситъ какъ влажныя лохмотья на нищемъ. Обмякла и кукуруза, еще недавно одѣвавшая зелеными коврами пологіе скаты... Сѣрая какая-то — стоитъ, вся поникнувъ, или словно отъ усталости ложится на землю, точно кто-то затопталъ ее въ грязь и очнуться не далъ. Голина, сиротливость, однообразіе. Грязныя, потемнѣвшія рѣчки среди грязныхъ береговъ, грязная дорога вьется среди грязныхъ полей... Подъ конецъ даже кажется, будто это не дождь, а мокрая, жидкая грязь каплетъ съ неба... Скука и тоска охватываютъ душу — дѣваться некуда. Верхомъ сядешь — конь отказывается идти по скользкой и вязкой слякоти дорогъ или падаетъ въ мѣсиво холодныхъ болотинъ; станешь ходить по затоптанымъ передъ землянкою полянамъ — къ сапогамъ пудами липнетъ земля, и, наконецъ, въ безсиліи останавливаешься, не зная что дѣлать, куда уйти отъ щемящей, безразсвѣтной тоски... На боевыхъ пози-

ціяхъ — не на чемъ остановиться взгляду. Мокрыя палатки, какъ гнилыя листья на деревѣ, обвисли. Каждая стоитъ посреди лужи... Землянки издали кажутся черными комьями грязи, люди ходятъ сплошь залѣпленные грязью... Съ утра до ночи, недѣли, мѣсяцы — работаютъ въ грязи, спятъ въ грязи. Платье не просыхаетъ; вмѣстѣ съ холодомъ тупое отчаяніе прокрадывается въ душу... Разгибаются мышцы, падаютъ сильныя руки... А тутъ-то и сторожитъ царица болгарской осени — всемогущая лихорадка... Изъ-за каждаго угла, изъ каждой болотины... Молча она торжествуетъ здѣсь свою злую побѣду... Первые сотни жертвъ были увезены отъ ея жаднаго взгляда въ Россію, потомъ народъ повалилъ тысячами. Везти — не стало бы арбъ, не хватило бы повоздовъ... Блѣдные, худые, озябшіе, промокшіе насквозь, ходятъ еще здоровые люди... Здоровые сегодня... Лихорадка — точно гастрономъ — исподволь смакуетъ свои жертвы. Сегодня однихъ — другихъ назавтра... А тутъ еще хирина не стало... Врачи пичкали больныхъ всякою дрянью. Одинъ даже повѣсилъ въ Систовѣ, — созная полное безсиліе бороться съ безкормицей, съ холодомъ, съ недугами...

Мирская вышла утромъ изъ своей землянки, посмотрѣла вверхъ — то же гнилое небо... То же, что и вчера, болѣзненное чувство тоски сжало ея сердце. «Каково-то сегодня будетъ раненымъ... Опять дождь!» Опять! — точно онъ переставалъ; всю ночь капалъ — именно, не лился, а капалъ — однообразный, неумолимый, доводящій до одури...

Мирскую трудно было бы узнать теперь.

Грубые сапоги — въ грязи, сдѣлала нѣсколько шаговъ — совсѣмъ ушли въ слякоть. Земля комьями налипла къ нимъ, обращая ноги дѣвушки въ какія-то безобразныя тумбы. Грубое, сѣрое платье тоже забрызгалось грязью. Голова закутана въ какой-то посѣрѣвшій платокъ. Непокорная прядка волосъ выбилась изъ-подъ него на лобъ и взмокла отъ дождя. Лицо поблекло, исхудало. Носъ заострился, губы совсѣмъ помертвѣли. Въ глазахъ ни искры прежняго огня... Даже не вѣрится, чтобы они горѣли когда-то — смотреть утомленно, покорно. Погасли, какъ погасло солнце южнаго лѣта, какъ погасло это еще недавно знойное небо, какъ потухли ревниво глядѣвшія на землю золотыя звѣзды... И походка стала неувѣренная, руки съ натугою поднимаются... Не вѣрится, чтобы она улыбалась когда-то... Смѣхъ на ея лицѣ теперь былъ бы такъ же страненъ, какъ странно было бы солнце, если бы оно вдругъ показалось въ сѣромъ маревѣ этихъ гнилыхъ, точно съ болота поднявшихся тучъ...

— Ну, что, сестра, отдохнули? — крикнулъ ей издали молодой врачъ, тоже выглянувшій изъ своей землянки... Этотъ смотрѣль не менѣе замореннымъ.

— Да... Погода-то... Сегодня опять навезутъ больныхъ...

— Заснуть бы и до лѣта не просыпаться...

— А кругомъ все вымретъ?..

— Тутъ повѣсишься... Я, право, начинаю понимать положеніе Поспѣлова<sup>1</sup>. Помилуйте, и меня къ веревкѣ тянетъ... Не могу равнодушно на петлю смотрѣть... Всунуть бы голову и — готово!

— Какъ работы нѣтъ, совсѣмъ одурь беретъ. Въ землянкѣ выпрямиться нельзя, а выйдешь — сапоги въ грязь уходить, не вытащишь. Точно земля тебя держитъ... Не ходи, дескать, куда тебѣ... Стой на мѣстѣ!..

И дѣйствительно, только что сестра поднялась на мокрую поляну — липкая грязь цѣлыми комьями пристала къ ногамъ. Едва-едва брела она, на каждомъ шагу боясь упасть въ эту пятую стихію Болгаріи... Переходъ отъ землянки къ госпитальному шатру былъ истиннымъ мученіемъ. Она останавливалась, дѣлала нѣсколько шаговъ и опять останавливалась — отдыхать... Ноги не только вязли, онѣ разбѣзжались, онѣ не отрывались отъ земли, а скользили по ней... Вонъ въ сторонѣ казакъ съ конемъ. Оба мокнутъ подъ дождемъ, оба опустили головы и точно замерли...

Видимо цѣлую ночь — въ пути были, а тутъ и отдохнуть негдѣ. Мирская сжалась надъ ними.

— Что ты подъ дождемъ здѣсь?

— Куда жъ, сестрица, уйдешь тутъ? Привезъ къ капитану донесеніе, да и стою тутъ вотъ третій часъ... Такая наша доля. Вечоръ выѣхалъ, всю ночь по чернети этой плуталъ.

— Вонъ видишь землянку?

— Вижу... Махонькая...

— Ну, да... Войди туда и обогрѣйся... Обсушись...

— Вотъ, спасибо. Я ужъ очунѣлъ отъ мокроты этой... Вотъ благодарю... Только вы однѣ и жалѣете насъ... Дай вамъ Богъ... Истинно милосердыя...

И станишникъ живо двинулся туда. Лошадь, привязанная къ колышку, одна осталась мокнуть... И точно скучнѣе стало ей — ниже опустила голову...

<sup>1</sup> Фамилія повѣсившагося въ Систовѣ доктора.

Мирская вошла въ свой госпитальный шатеръ . . . Ее не поражало то, что представлялось здѣсь во всемъ безобразіи, безпомощности; ее не поражало, потому что на все это она смотрѣла и вчера и третьяго дня. Цѣлыя недѣли, цѣлые мѣсяцы! Не поражало, какъ не поражаетъ людей всякое несчастье, невозможность борьбы съ которымъ сознается ясно. Въ такихъ случаяхъ или равнодушно смотрятъ, или страдаютъ молча, или покорно протягиваютъ головы подъ ножъ.

Направо и налево отъ нея — локоть къ локтю — на прогнившей насквозь соломѣ лежали больные. Одѣяла мокры насквозь, солома тоже. Сверху капало — внизу стояли лужи . . . Жидкая грязь въ длинномъ проходѣ изъ одного конца шатра въ другой . . . Ступая въ нее, невольно разбрасывали брызги на лица больнымъ . . . Прячась отъ холода, лица спасенія отъ дождя, зачастую въ солому къ больнымъ забирались рыжія облѣзлыя крысы; змѣи заползали сюда, и случалось, отдернувъ одѣяло, сестра находила свернушагося ужа у самыхъ ногъ безпамятнаго тифознаго солдата. Въ царствѣ осени — гниломъ и мокромъ — госпитали казались центрами, откуда шла зараза . . . Они были еще гнильѣе и мокрѣе, чѣмъ можно было себѣ представить. Въ шатрахъ стоялъ острый запахъ, кислый, противный . . . Его безсильны были разогнать обильныя возліянія карболки, провѣтриваніе. Онъ носился отъ дыханія умирающихъ, отъ испаренія гниющихъ ранъ . . . Свѣжему человѣку казалось, что, попадая сюда, онъ вмѣстѣ съ воздухомъ втягиваетъ въ легкія гангрену . . . Случалось, что больной терялъ сознание, когда его выносили изъ шатра.

— Назадъ, скорѣй назадъ! — просился одинъ изъ такихъ больныхъ, грудь котораго отвыкла уже отъ чистаго воздуха.

Мирская приглядѣлась къ этому! Сначала она боролась со всемъ ужасомъ, окружающимъ ее, — и мыслью и мышцами. Энергія росла въ ней, съ препятствіями усиливалась и рѣшимость сломать ихъ . . . Но это было недолго . . . Ее самое свалилъ было тифъ, — и съ мокрой соломы своего больничнаго ложа она встала разбитая, молчаливая. Она уже не думала о борьбѣ. Въ ней точно все упало! . . . Надъ изголовьемъ умирающаго она тихо плакала, шептала ему слова утѣшенія — зная, что для него именно такого утѣшенія нѣтъ, да и быть не можетъ . . . Она не складывала рукъ — нѣтъ, но, работая, она уже не обольщала себя надеждою на благотворныя послѣдствія своего труда. Вставъ съ постели, она не допустила и мысли о возможности поѣхать въ Москву — очнуться, оправиться. Ее тянуло назадъ . . . Она вернулась въ свой гнилой госпиталь, потому что внѣ его ей было бы еще хуже, еще не-



выносимъе. Вѣчнымъ упрекомъ мерещились бы сестрѣ эти зеленныя съ синими подтеками лица... Эти болѣзненные, скорбные взгляды больныхъ, прояснявшіеся только тогда, когда они встрѣчали ее — кроткую, сострадательную подругу умирающихъ... Ей казалось преступленіемъ бросить ихъ, уйти отъ нихъ туда — въ тепло и свѣтъ иной счастливой жизни... Она знала, что здѣсь смерть, что здѣсь спасенія нѣтъ, но тутъ — они, и для нихъ она должна оставаться, болѣть, страдать, умереть въ концѣ концовъ... И самая смерть не была уже для нея ужасной... Умирали всѣ... На поляхъ битвъ, на грязныхъ дорогахъ, на бивакахъ, въ госпиталяхъ.... Смерть огуломъ брала свои жертвы... Она стала стихійной, обыденной... Жизнь не манила къ себѣ среди этого болота... Она видѣла, какъ умирали солдаты... Это было школою — не для нея одной... Каждый день сердце ея привязывалось къ новому страдальцу, и каждый день она оплакивала кого-нибудь изъ ставшихъ ей близкими и дорогими людей... Безъ надежды, безъ энергіи — она жила страданіемъ... Страданіе замѣнило силу, страданіе помогало жить, безъ него она давно бы легла тоже въ эти ямы, готовые ямы съ жидкою грязью, куда каждый вечеръ спускали окоченѣлыя трупы... Пусть тамъ — далеко, далеко — счастливая, свѣтлая, во всей полнотѣ красокъ и звуковъ, струится покойная рѣка иной жизни... Чистая!.. Мирская останется здѣсь, среди этого гнилого болота, она ему не измѣнитъ, — цѣною своего существованія не измѣнитъ...

— Сестра!.. Сегодня Дороновичу, кажется, очень плохо... — позвалъ ее Харабовъ, когда она проходила мимо.

— А что?

— Да мечется все...

— А ночью?..

— Бредилъ... Я заснуть не могъ даже... Жаль его... Отправить бы въ Россію слѣдовало давно.

— Не донесли бы... Никуда дороги нѣтъ. Цѣлыя транспорты больныхъ стоятъ... Завязли и то трое сутокъ на мѣстѣ, на безлюдѣ...

Инстинкты жизни замирали здѣсь совсѣмъ. Смерть казалась неизбѣжностью... Всѣмъ грозитъ она!.. И бороться съ нею нелѣпо... Даже думать объ этомъ смѣхъ.

— Умереть, вы думаете?

— Да...

— А докторъ что сказалъ?..

— Рукой махнулъ... Посмотрѣлъ и махнулъ рукою...

— Два мѣсяца промучился несчастный! — словно вскользь проговорила Мирская и принялась перевязывать раны у Харабова.

— Умирать не страшно... Мать и сестра у него остались... Имъ скверно будетъ — куда дѣнутся... Ахъ, эта война, война!.. Богъ съ нею совсѣмъ — и съ славой этой! Дорого достается она!.. Что почта?

— Можетъ быть, сегодня... Я ужъ недѣли двѣ безъ вѣстей совсѣмъ. Говорятъ, телѣги тоже завязли и стоятъ по недѣлямъ. Бросаютъ тюки, разбѣгаются почталыоны. Кони мрутъ... Хорошо еще, если верховыхъ пошлютъ разобрать сумки...

— Конецъ бы... Скорѣе бы зима приходила... Смерть вѣдь... Тутъ одинъ болгаринъ изъ ополченія лежитъ — увѣряетъ, что такой осени, какъ эта, и не бывало еще въ Болгаріи...

— У насъ, — заговорилъ оживленно рядомъ лежавшій офицеръ, — утонулъ даже солдатъ и гдѣ! Можете себѣ представить, отъ одной землянки съ фонаремъ къ другой шель... Упалъ — фонарь потухъ. Онъ наугадъ пошелъ и въ яму попалъ, крикнуть не успѣлъ, какъ съ головой ушелъ въ жидкую грязь... На другой день вынули — мертваго. Помилуйте — даже у самого жилья сбиваются съ пути, и если случай не выручитъ — ночевать приходится среди грязи. Мѣстность, кажется, извѣстна какъ нельзя лучше, а плутаешь. Направленіе возьмешь вѣрное, а въ концѣ концовъ наткнешься совсѣмъ на другое... А какъ пошлютъ мокнуть и дрогнуть въ грязную траншею — еще этого хуже. Тутъ уже по уши сидишь въ грязи и ни съ мѣста.

— Солдатамъ жутко приходится. Еще по-лѣтнему щеголяютъ въ холщевомъ...

— Почему же?

— За формальностями дѣло. Изодралось въ походѣ платье — актъ. Актъ пойдетъ по лѣстницѣ отъ одной власти къ другой, въ концѣ концовъ только лѣтомъ состоится приказаніе выдать зимнее. Ну, и мрутъ какъ мухи осенью!

— Уже и зимѣ пора бы... Вѣдь ноябрь на дворѣ!

— Да, по утрамъ заморозки случаются — поближе къ Балканамъ. Когда Мирская подошла къ Дороновичу, онъ съ какимъ-то удивленіемъ взглянулъ на нее...

— Не надо ли вамъ чего-нибудь?..

Мотнулъ головою. Но видимо самъ не сознаетъ, что ему сказали... Въ глазахъ то же неподвижное изумленіе.

— Что вы на меня смотрите такъ...

— Сегодня ночью миръ заключили... — прерывающимся голосомъ сообщила онъ Мирской.

— Гдѣ?..

— Я знаю... Мы съ вами, генераль, завтра поѣдемъ домой...

— Да, да... домой, — подхватила та.

— Ну, вотъ видите... Я говорилъ, а они не вѣрятъ... Слышите, Горгаловъ, мы съ вами домой...

Дотронулась до его головы — горитъ совсѣмъ, а лицо блѣдное, блѣдное.

— Я не знаю, ваше превосходительство, есть ли у васъ мать... А у меня есть...

Поднялъ руку изъ-подъ одѣяла. Худая, худая... Совсѣмъ мертвая рука...

— У меня есть... И она меня очень любить... Старушка... У нея глаза такіе добрые... И сама она добрая... Очень добрая, генераль... Она только васъ, генераль, не любить!.. Ненавидитъ васъ... За сына... Что жъ, женщина, ей простительно... Вотъ только голова у меня болитъ... А это ничего, что она васъ не любить...

— Голова у васъ... — начала было Мирская.

— Да... И она вѣдь что вообразила: что вы меня будто бы на смерть послали... Стара — не понимаетъ... Послали на смерть, — и я будто бы убитъ... Ха-ха... Убить... Я живъ. Вернусь — обрадуется какъ!.. Она у меня добрая... Улыбается какъ... А если бы меня убили, ей, хоть она и добрая, пришлось бы умереть отъ голода... Сестра есть, но она сама больная... Хромая у меня сестра, но тоже добрая, только на меня и дышитъ.

Глаза Мирской наполнились слезами.

— А вы, генераль, ей напишите, что ея сынъ сдѣлалъ... Тотъ оврагъ, что... Оврагъ — пустыки... Вы сами говорите — со всякимъ случается... Такъ и напишите... Какъ на редутъ дѣло было... А про оврагъ лучше молчать... Что ей?.. Она гордится... Я у нея единственный сынъ... Увидитъ Георгія у меня, расплатится... Счастлива будетъ, милая!.. Она у меня, генераль, совсѣмъ, совсѣмъ сбѣдая. По-старому чешется — на уши волосы!..

Мирская отошла отъ Дороновича...

Цѣлый день, какъ вчера, какъ третьяго дня, какъ уже два мѣсяца сплошь, Мирская не складывала рукъ. Вечеромъ, когда въ шатрѣ

госпиталя зажгли лампы, духота и смрадь его, казалось, стали еще гуще. Тьма давила со всѣхъ сторонъ. Мокрая, тяжелая тьма. Сверху, съ обвисшихъ и влажныхъ полотнищъ капало; внизу скудный свѣтъ лампъ тускло дробился въ лужахъ вонючей грязи, стоявшихъ въ проходѣ между двумя длинными рядами больныхъ... Къ вечеру имъ стало очевидно хуже: со всѣхъ сторонъ слышались стоны... Одни просили пить; другіе, томясь въ смертной истомѣ своей, не знали, что можетъ помочь ихъ боли; третьи метались въ бреду; и только нѣсколько счастливецъ улыбались милымъ призракамъ, явившимся къ нимъ во снѣ съ далекой, далекой родины. Подъ скуднымъ свѣтомъ лампъ длинные ряды больныхъ уходили во мракъ, густившійся по угламъ. Длинные, однообразные. Нѣкоторые изъ нихъ приподымались, страдальчески вглядывались въ далекую тьму и снова падали назадъ на подушки, — у кого онѣ были, большею частью — на мокрую солому. Сидя въ одномъ изъ угловъ, Мирская съ мучительными думами присматривалась ко всему этому міру страдальцевъ и недужныхъ. Своя усталъ, своя истома исчезали рядомъ съ этими несчастными...

За полотнищемъ шатра свисталъ вѣтеръ... Дико онъ врывался сюда и приподымалъ съ больныхъ ихъ холодныя, плохо защищавшія одѣяла... Точно вѣтру хотѣлось взглянуть на этихъ исхудавшихъ и измученныхъ людей, чтобы, опять выбѣжавъ на просторъ, рассказать о нихъ темной, темной, безпросвѣтной ночи... И, слушая его стоны, слушая его скорбныя жалобы, ночь еще гуще кропила своими слезами и эту мокрую землю и этотъ промокшій насквозь госпиталь...

— Сестра!.. — окликнулъ кто-то Мирскую.

Она поднялась на зовъ...

— Посмотрите, что это съ Дороновичемъ, — указали ей.

— Умираетъ вѣрно? — замѣтилъ Харабовъ, съ участіемъ взглянувъ въ лицо товарищу...

Глаза того были широко раскрыты... Онъ смотрѣлъ вверхъ пристально, упорно смотрѣлъ, точно боялся, что предметъ его наблюденій вотъ-вотъ сейчасъ уйдетъ изъ глазъ... Онъ не слушалъ и не понималъ, когда къ нему обращались сосѣди... Онъ сбросилъ съ себя одѣяло... Мирская на него накинула опять, Дороновичъ вновь сбросилъ, не отводя взгляда отъ верхушки шатра. Оттуда на лицо ему падали просочившіяся капли дождя и тутъ же высыхали... Голова его горѣла; безжизненное еще недавно лицо — покраснѣло. Казалось, что къ нему возвращается жизнь, если бы этотъ румянецъ не былъ слишкомъ яркъ, если бы онъ по временамъ не смѣнялся блѣдностью...

Дороновичъ точно торопился дышать — порывисто, быстро, быстро. Точно онъ боялся, что вотъ-вотъ и воздуху не хватитъ, точно онъ хотѣлъ заранѣе сдѣлать запасъ его...

— Что съ вами? — спрашивалъ его Харабовъ. — Дороновичъ, вы меня слышите?

Тотъ же неподвижный взглядъ вверхъ, то же порывистое быстрое дыханіе.

— Что съ вами?

Губы шевелятся — и только... Ему точно не хочется говорить, такъ онъ поглощенъ своимъ наблюденіемъ этого «чего-то», неподвижно висящаго надъ нимъ.

И чѣмъ упорнѣе — тѣмъ ярче становился его взглядъ, чѣмъ дольше и пристальнѣе, тѣмъ болѣе сіяющій... Вокругъ собрались санитары. Мирская роняла надъ нимъ слезу за слезой.

Добрая мать ему чудилась ли, сестра ли улыбалась сверху?.. Онъ не говорилъ, — только часъ спустя, когда грудь его уже замѣтно ослабѣла, частое дыханіе стало рѣже, меньше воздуху вбирали легкія, Дороновичъ прошепталъ что-то, но что? — никому не удалось разслышать... Неуловимое, тихое... Протянулъ руку кверху — и тотчасъ же уронилъ ее на одѣяло...

Наглядѣлся вѣрно досыта...

Обвелъ всѣхъ сіяющимъ взглядомъ, никого не узнавая, улыбнулся и вытянулся... Вытянулся, какъ вытягивается усталый...

Сіяющій взглядъ тускнѣетъ и тускнѣетъ... Улыбка сбѣгаетъ съ губъ, какъ пятно отъ горячаго дыханія сбѣгаетъ съ холодной стали... Совсѣмъ сбѣжала — сжались безкровныя губы... Глаза потухли... Только кажется, что рѣсницы вздрагиваютъ... Нѣтъ! Это свѣтъ отъ лампы колышется на лицѣ его...

Мирская прислушалась: грудь не дышитъ... Надышался вволю — усталъ... Одѣяло неподвижно лежитъ на груди...

— Прощай, товарищ!

И Харабовъ, приподнявшись, перекрестилъ Дороновича...

— Прощай, товарищ! — повторялъ онъ ему вслѣдъ, когда санитары вмѣстѣ съ простыней подняли это исхудалое, все въ синихъ подтекахъ, неподвижное тѣло и уложили его на носилки...

Яма готова... Мягко въ ней — прямо въ грязь положить... Ночь кругомъ безразсвѣтная...

— Прощай, товарищ!

## II.

## Безсонная ночь.

Въ землянкѣ — темно.

Черная осенняя ночь смотритъ въ окна, если можно только назвать такъ узкія отверстія у самой кровли, ничѣмъ не заслоненныя отъ дождя, крупныя капли котораго ноябрьскій вѣтеръ заноситъ порою въ самую землянку . . Свистъ его слышится здѣсь вмѣстѣ съ перебранкою солдатъ во дворѣ, съ громкими криками магаровъ (ословъ), соскучившихся мокнуть и день и ночь подъ открытымъ небомъ... Хозяинъ — какой-то Станчо — даже и протестовать пересталъ. Войдетъ, посмотритъ-посмотритъ, покрутитъ головой, похлопаетъ себя ладошами и, понурясь, ползетъ опять въ землянку, гдѣ, сбившись вмѣстѣ, сидятъ въ углу его жена и дѣти — больныя, голодныя . . . Последнее зерно съѣдено; правда, русскіе платили за него — да что же подѣлаешь съ паричками (деньгами), если на нихъ негдѣ и нечего купить! Огонекъ едва мигаетъ въ печуркѣ . . . Точно человекъ, что борется со сномъ — откроетъ съ усиліемъ вѣки, взглянетъ неопредѣленно передъ собою и, ничего не увидѣвъ утомленными глазами, опять смыкаетъ ихъ, погружаясь въ тяжелую, глухую дрему. Старуха — мать хозяина — давно сидитъ надъ этими мигающими угольями, давно держитъ надъ ними руки, а сама — дрожма-дрожитъ отъ холода . . . Заснула бы, да стужа спать не даетъ ей . . . Молчитъ, погружаясь порою въ тупое оцѣпенѣніе . . . Въ кровлѣ, плетень которой весь почернѣлъ отъ ветхости, шуршитъ что-то порою . . . Хозяева подымутъ туда голову . . .

— Опять должно быть . . .

— Змѣя?

— Да . . .

— Что жъ, пускай грѣется . . .

Ужи видно отъ сырости и стужи тоже забрались въ землянки и держатся пока въ плетняхъ ихъ первобытныхъ кровель . . .

— Что съ Иванчо? . . .

— Трясетъ . . . Пересталъ ѣсть, даже и не жалуется — кладетъ мать на голову сына свою холодную руку. Больной, открывъ глаза, смотритъ во тьму землянки, совсѣмъ безсознательнымъ, ничего не замѣчающимъ взглядомъ.

— Умретъ, вѣрно? — тупо соображаетъ отецъ.

— «Сестра» обѣщала сегодня лѣкарство принести... Она скоро придетъ изъ госпиталя...

— Могилу теперь рыть... Трудно... Сыро — земля мокрая — не держится... Ямой стоитъ...

— Выздоровѣть...

— Богъ поможетъ...

— Умирать пора, всѣмъ умирать пора... — злобно шамкаетъ у печурки бабка, тщетно стараясь отогрѣть руки надъ совсѣмъ уже покрывшимися золою угольями, что какъ больной, точно сонный, закрыли глаза... Вѣки тяжело сомкнулись надъ ними, и огонька уже не видать въ черной темнотѣ землянки... Ночью шуршанье вверху стало еще слышнѣе... Въ сухихъ вѣтвяхъ ивы, перевившихъ бревна кровли, скользить что-то — быстро, быстро скользить... Семья хозяина кое-какъ примостилась въ углу — засыпать стала, когда у входа въ землянку сверкнулъ огонекъ... Кто-то освѣщаль фонаремъ грязный и скользкій сходъ сюда...

— Что это?... Наша землянка? — слышалось оттуда. — Станчо, ты здѣсь?..

— Тука тука, эла — тука! — закричалъ хозяинъ.

Мирская медленно, боясь поскользнуться, сошла внизъ.

— Едва добралась... Плутали-плутали, въ чужую землянку чуть не вошли... Вы бы хоть огонь зажигали — вѣдь оставила я вамъ свѣту... Все бы издали видно было. Дровъ вамъ принесла... Иванъ, брось вязку здѣсь...

Иванъ, невидимый въ темнотѣ, такъ какъ фонарь бросалъ свѣтъ въ глубь землянки только передъ Мирской, опустилъ дрова гдѣ-то позади... Станчо завозился, вздувая свѣчу...

Вѣрно ослѣпленная внезапно вспыхнувшимъ свѣтомъ змѣя, путавшаяся въ ивовыхъ вѣтвяхъ кровли, шлепнулась оттуда прямо на плотно убитый полъ землянки. Шлепнулась и давай завиваться, безсильно открывая свою лишенную жала пасть и шипя на окружавшихъ ее людей.

— Экій гадъ, прости Господи!.. — И солдатъ Иванъ хотѣлъ было раздавить его.

— Оставь, оставь! — заговорили хозяева, стараясь остановить Ивана.

— Гаду у насъ такого нѣтъ вѣдь, сестрица?

— Нѣтъ, нѣтъ, Иванъ, — успокоила его Мирская.

— То-то я говорю, что эта Бургарія нашей Орловской губернии совсѣмъ не стоитъ... Куда ей!

— Ты бы разложилъ огонь у меня. Я бы тебя не беспокоила, да сама ужь очень устала. Руки не двигаются.

— Помилуйте, сестрица, куда вамъ!.. И безъ того истомились... Ишь какъ съ лица-то спали... Я сейчасъ это — мигомъ. Эй вы, пушела, — бери дрова, на ваше счастье... — И онъ бросилъ нѣсколько полѣнъ въ хозяевамъ. — А эти я у васъ затоплю... Давай свѣту-то, черномазый!..

Изъ этой землянки былъ входъ въ другую каморку — подъ одною кровлей. Тамъ прежде у болгаръ стояли короба съ мукой и разнымъ зерномъ, всякая овощъ висѣла сверху; теперь все это было вынута, и въ опроставшейся кладовой помѣстилась Мирская вмѣстѣ съ другой сестрой...

— Ты, Иванъ, потише. Наталья Александровна вѣрно спитъ...

— Нѣтъ, я не сплю... Холодно... — послышался больной, точно надтреснутый голосъ.

— Ну, что сегодня? лучше?..

— Разломило всю... Тифъ вѣрно. Голова кружится... Точно въ огнѣ, — а руки и ноги будто льдомъ обложены...

— Вотъ сейчасъ тепло будетъ... Ужъ я, сестрица, для васъ какъ баню натоплю... — усердствовалъ Иванъ.

— Ну, спасибо, голубчикъ.

— Потому, что бы мы безъ васъ? Нешто не видимъ, думаете, какъ вы за нашего брата — простого солдата?... Ангелы Божьи... Вамъ и помирать-то легко — въ рай прямо...

— Устала, Мирская?..

— Да, сегодня тяжелый день... Дороновичъ умеръ...

— Это съ Георгіевскимъ крестомъ который?

— Да...

— Жаль... Все про мать рассказывалъ... Убьетъ ее это...

— Ну, что Иванчо?.. Лучше ему? — обернулась Мирская къ хозяевамъ.

— Нѣтъ... Не вѣль сегодня...

— Вотъ ему хининъ... Давайте, какъ вчера... Да вотъ и одѣяло для него — покройте...

Мать больного незамѣтно подошла иззади, схватила Мирскую за руку и поцѣловала... Та не успѣла отдернуть...

— Зачѣмъ это?..

Въ каморкѣ у Мирской разгорѣлся огонь — свѣтло стало...

На самодѣльномъ столѣ — работы того же Ивана — горѣла свѣча.



Въ печуркѣ съ громкимъ трескомъ разгорались дрова... Красные отсвѣты огня скользили по стѣнамъ, то выхватывая ихъ изъ мрака, то снова погружая въ мракъ... Въ окно порою несло крупныя капли дождя...

— Что жъ это у васъ, сестрица, окошко-то не ладно?

— Да какъ его ладнымъ сдѣлаешь? Бумагой заклеиваешь — вѣтеръ ее рветъ.

— А вы его, сестрица, не бумагой... Можетъ, есть сколько холстины у васъ?

— Есть-то есть...

— Ну, вотъ... Давайте-ка сюда...

Иванъ нарѣзалъ холстины по размѣру окна и спустя полчаса вѣтеръ, только злясь, проносился мимо оконъ и стоналъ за ними, безсильный забросить сюда, въ эту вдругъ ставшую теплой землянку, хоть каплю дождя.

— Ишь, смотритель-то у насъ какой... Себѣ, небось, стекла выписалъ, а вамъ на-ко-ся... — (соболезновалъ Иванъ, уходя изъ землянки.

— Ну, что, Наташа?... — наклонилась Мирская къ больной.

— Да ничего... Лежала весь день одна... Бредъ былъ. Богъ знаетъ что чудилось... Вѣрно вѣтеръ за окномъ вылъ, а мнѣ казалось, что отпѣваютъ меня... Умирать не хочется... Охъ, какъ не хочется!.. Положить въ мокрую яму... Зароютъ — никто и не узнаетъ гдѣ...

— Да, рано намъ умирать...

— Рано, разумѣется, рано... Мнѣ вонъ восемнадцать лѣтъ... Только два года какъ изъ Смольнаго вышла... Ахъ, какъ жить-то хочется, если бы ты знала...

— И будешь жить!.. У тебя, Наташа, то же, что со мной... Тифъ, разумѣется, только онъ пройдетъ — поѣдешь домой, совсѣмъ оправившись.

— Я домой не поѣду.

— Почему?

— Да какъ въ глаза людямъ смотрѣть-то?!.. Зачѣмъ же сюда-то я рвалась?... Двухъ мѣсяцевъ не прошло и назадъ... Ахъ, какъ вѣтеръ этотъ надоѣлъ. Вотъ несносный-то!.. Господи!..

Непогода усиливалась... Вѣтеръ метался вокругъ землянки; точно въ пляскѣ святого Витта вскакивалъ на кровлю, топтался на ней, потомъ сбѣгалъ внизъ, кружилъ все дальше и дальше, въ сторону уно-

сился, чтобы совѣмъ неожиданно опять налетѣть на эту несчастную холодную землянку.

— Точно за душой! — стонала больная. — Точно за душой вѣдь... Силы моей нѣтъ слушать его...

— Какіе пустяки — за душой... Ты посмотри, какою здоровою и красивою я тебя встрѣчу въ Москвѣ.

— Не говори мнѣ про Москву... Тамъ хорошо теперь... Огни вездѣ горять — въ залахъ тепло, свѣтло... Люди... Музыка... Хорошо!.. А тутъ... Сегодня вѣрно опять привезли тифозныхъ?

— Нѣтъ.

— Слава Богу!

— Зато новыхъ раненыхъ доставили. Къ самой ночи... Едва ихъ размѣстили... Бѣда просто. Силь нѣтъ.

— Откуда это?

— Скобелевъ опять подрался съ турками на Зеленой Горѣ... Пятьдесятъ человекъ намъ доставлено... Сегодня только я да Семенова на ногахъ. Остальные всѣ лежатъ... Бѣдная Нильская плоха...

— А что?

— Вѣрно умереть. Вѣдь у нея возвратный тифъ... Ослабѣла сверхъ того. Сегодня я была у нея — не узнала меня... Докторъ ужъ и ходить пересталъ. «Развѣ — говорить — въ такой обстановкѣ глѣчить можно?»

— Что же ее не увезутъ?

— Нельзя. Въ дорогѣ-то навѣрное и дня не выдержитъ, умереть...

— Вотъ опять кружить начинается!.. — простонала больная, видимо теряя сознание.

Мирская постояла, постояла надъ ней — и отошла къ столу.

Свѣча робко мигала. Каморка была почти сплошь занята двумя постелями. На обрубкахъ дерева кое-какъ постланы доски, на доскахъ солома копромъ, на ней простыня и жидкое одѣяло. Какое-то зеркальце на столѣ, полотенце. Въ углу — кувшинъ на веревкѣ. Наклонивъ, проливали воду изъ горлышка — вотъ и самодѣльный умывальникъ. На столѣ развернутая книга. Мирская было присѣла къ ней, но ей не читалось. Стоны подруги, вой вѣтра за окномъ, усталъ — насквозь пронимали сестру... Ложиться еще не было возможности: каждую минуту могли потребовать въ госпиталь. Сбросивъ съ себя насквозь промокшее платьѣ, она завернулась въ большой черный платокъ и сѣла на табуретъ около больной... Пока та металась въ бреду — Мирская унеслась вся въ еще недавнее прошлое... Передъ ней — ея жалкій

номеръ, съ яркими пышными розами букета, небрежно сброшеннаго на полъ. Тонкое благоуханіе наполняетъ комнату... Аляповатые обои — лѣзутъ въ глаза золотыми разводами, окаймляющими какихъ-то необыкновенныхъ красныхъ стрѣлковъ съ желтымъ ружьемъ у плеча и зеленой собакой у ногъ. Нелѣпая яркія портьеры, покрытыя пылью, придающей ихъ кричащимъ колерамъ матовый отгѣнокъ. Въ широкой бронзовой позелѣвшей рамкѣ — зеркало, уродующее всякаго, кто возымѣлъ бы смѣлость заглянуть въ него... Точно заплеванныя салфетки на столахъ, пыль вездѣ, и по угламъ, и на стѣнахъ, и на окнахъ, стукъ бильярдныхъ шаровъ, шаги полового, бѣгущаго по коридору, — вся эта обстановка провинціальной актрисы... Переносясь въ прошлое, опять испытывая знакомое чувство отвращенія къ этой кабацкой жизни, — Мирская уже съ любовью, даже больше — съ чувствомъ счастья и довольства — начинала смотрѣть на эту жалкую и грязную лачугу, на эти мокрыя пятна еще не засохшей слякоти на земляномъ полу, на эти кое-какъ смазанныя глиною стѣны, на этотъ самодѣльный столъ, на ивовый плетень кровли... Да, здѣсь во всякомъ случаѣ лучше... Здѣсь для женскаго сердца выносимѣе... Смердный госпиталь, съ сотнями зловонныхъ больныхъ дыханій, съ проникнутыми заразой полотнищами шатра, съ гниющей соломой, съ мутнымъ освѣщеніемъ двухъ масляныхъ лампъ — казался ей лучше, и сноснѣе, и ближе къ сердцу, чѣмъ та — далеко, далеко позади оставленная сцена провинціального театра — сцена, гдѣ отъ разорванныхъ ветхихъ кулисъ, отъ ярко сверкающей рампы, отъ залы, залитой свѣтомъ, отъ заплеванной сцены, отъ бутафорской мебели и воючихъ париковъ вѣяло пошлостью, цинизмомъ... Здѣсь страдалица, здѣсь умирающая, безсильная, голодная — она является ангеломъ Божиимъ; вмѣстѣ съ нею небо сходить въ этотъ грязный госпитальный шатеръ, въ ея очахъ больнымъ звѣзды вечернія чудятся, тихое чувство умиленія проникаетъ въ ихъ измученныя души съ каждымъ звукомъ ея ласковаго голоса... Тутъ, въ слабомъ, едва слышимомъ трепетѣ губъ умирающаго она, наконецъ, находила то высокое счастье, о которомъ мечтала всю жизнь. Она понимала этотъ трепетъ, этотъ погаснувшій, не успѣвъ еще разгорѣться, звукъ. Это слово, оборвавшееся въ груди страдальца, было ей именемъ, это прощаніе съ жизнью — было вмѣстѣ съ тѣмъ и благодарностью души, уже отлетающей отъ измученнаго, исковерканнаго тѣла... Тутъ женщина была полноправнымъ членомъ человѣческой семьи, тутъ она — во всемъ своемъ безсиліи, изнеможенная, усталая — была сильнѣе царей земныхъ, сильнѣе полубоговъ, сильнѣе во всякомъ

случаѣ самаго могучаго атлета. Тутъ женщина была счастлива — и роль ея не была ролью подчиненной... Нѣтъ! Дорого, разумѣется, доставалось ей это счастье, очень дорого... Наташа — на глазахъ ея мечется вся въ жару, а сколько она схоронила въ эти недавніе дни!.. Сысоеву завтра, можетъ быть, придется опустить въ гнилую полную слякоти яму болгарскаго кладбища... Что нужды! Великое счастье дешево не дается. Узкіе пути ведутъ къ райскимъ обителямъ, и благо тѣмъ, которыя, спотыкаясь на нихъ, оставляя на каждомъ шагѣ капли крови, истерзанныя и измученныя ни на минуту не теряютъ изъ виду свѣтлыхъ ангеловъ, что издали зовутъ къ себѣ утомленныхъ путниковъ... А эти свѣтлые ангелы здѣсь, съ нею. — Они ея убогую лачугу дѣлаютъ богаче царскаго дворца, они этотъ госпитальный шатеръ обращаютъ для нея въ громадную сцену, — гдѣ женщина, замученная своими обожателями-палачами, приниженная рабами ея любви, затоптанная въ грязь молителами ея ласкъ, впервые показала міру, сколько мощи, сколько чести, энергіи, смѣлости и мужества хранится еще въ ея заплеванномъ мерзавцами сердцѣ!..

Да, Мирская сознавала себя здѣсь счастливой, безконечно счастливой.

Утомленіе, дѣлавшее ее утромъ бездушнымъ автоматомъ-работникомъ, улеглось; выступило сознание, и оно-то вызвало на ея поблекшіе глаза такія святыя слезы.

— Господи! Что жъ письмо-то Величковскому!..

Она только сейчасъ вспомнила объ этомъ.

«Уже недѣлю какъ получено отъ него — нужно отвѣтить, непременно отвѣтить, тѣмъ болѣе, что это будетъ послѣднимъ... Разумѣется, послѣднимъ...»

Мирская порывисто встала и перешла къ столу:

Тоскливое, грустное чувство охватило ее, когда она перечитывала строки, набросанныя молодымъ офицеромъ на Шипкѣ...

«У насъ уже зима — согрѣйте меня своимъ ласковымъ словомъ... Въ ночную темень — хотѣлось бы вѣрять въ звѣздочку, что сіяетъ вдали. Когда все это кончится, неужели мы останемся чуждыми другъ другу?..»

— Чуждыми.. Зачѣмъ чуждыми?!..

И въ послѣдній разъ, подавляя въ душѣ больное воспоминаніе о прошломъ, воспоминаніе, къ которому примѣшивалось и чувство любви къ этому честному, смѣлому, такъ искренно преданному ей человѣку, Мирская совсѣмъ, совсѣмъ почувствовала себя и по отношенію къ нему сестрою, нѣжною, любящею сестрою — и только.

«Милый братъ мой!.. Ласковое слово мое — всегда слѣдуетъ за вами... Пусть звѣздочка, за которую такъ пристально слѣдите вы, не гаснетъ въ ночную темень... Чужими другъ другу мы не останемся... Зачѣмъ?.. Вы всегда будете мнѣ близки, какъ братъ... Я только теперь узнала счастье — настоящее, глубокое счастье — и никому не отдамъ его... Роль сестры пришлось по душѣ мнѣ — и я всегда останусь ею...»

— Чортъ знает!.. Тутъ ноги сломаешь... Слякоть... Да отзовитесь же кто-нибудь? — послышалось за окномъ землянки.

Мирская положила перо...

— Кто тутъ? — взывалъ оттуда неистовый голосъ. — Чья землянка?..

Мирская зажгла фонарь и вышла...

— Ахъ, это вы! — васъ-то и надо.

— Зачѣмъ, докторъ?

— Отдохнули вы?

— Нѣтъ еще.

— Такъ отдыхайте хорошенько до утра.

— А что?

— Фу ты погода!.. Я уже въ грязь два раза валился. Какъ свинья — весь загаженъ... Завтра утромъ, часовъ въ шесть, — ѣдемъ!

— Куда?

— Да Скобелеву не сидится. Завелъ опять драку съ турками на Зеленой Горѣ. Ну, къ нему въ Брестовецъ велѣно послать двухъ сестеръ изъ нашего госпиталя. Тамъ раненыхъ много... Вмѣстѣ поѣдемъ... Прощайте, сестра!.. Отдохните, вы измучились.

— А какъ же Наташа?.. Она въ тифъ.

— Мы къ ней помѣстимъ Загряжскую. Ей нельзя ѣхать, — едва на ногахъ держится. Пусть за больной подругой походить.

— Ладно!

— Аддіо! Теперь къ смотрителю нужно ползти!..

Опять кровь, опять жертвы — думалось Мирской, когда она вошла въ свою каморку — Кому нужны онѣ, кому?.. Одни мерзнуть на Шипкѣ, другіе здѣсь гибнуть подъ пулями, третьихъ — и этихъ несравненно больше — укладываетъ въ могилы тифъ... Зачѣмъ?..

Наскоро дописала письмо.

— Бѣдный!.. Пожалуй, расплатится! — шевельнулось въ ней даже злое чувство...

Отдохнуть бы — одно желаніе, а когда отдыхать? Утромъ, чуть свѣтъ, надо ѣхать... Цѣлый день работы опять... Устроено ли еще тамъ? Пожалуй, прїѣдешь и на первыхъ же порахъ принимайся за наскучившую уже суетню личнаго своего обихода. Находи себѣ уголь, постель, дрова... Мелочи!.. Но эти мелочи отнимаютъ цѣлые часы у необходимаго, крайне необходимаго отдыха...

Мирская легла спать, наконецъ... Подруга ея успокоилась — можно было потушить свѣчу...

Рядомъ за дверью слышались стоны больного мальчика и тихій, ласковый шопотъ матери... За окномъ свисталъ и бился вѣтеръ. Порою Мирской казалось, что эта землянка — могильный, глубоко вырытый въ землѣ склепъ. Лежатъ здѣсь заживо похороненные, а сверху это не метель злится и стонетъ, а близкіе люди сошлись, и плачутъ, и отпѣваютъ ее... Заснуть бы совсѣмъ, не просыпаться... Не знать этой усталости, этого страшнаго міра живыхъ, міра ненависти и злобы... Заснуть бы, а глаза не смыкаются, сонъ не идетъ. Мирская дошла до той степени утомленія, когда больные нервы все время вздрагиваютъ, какъ слабо натянутыя струны подъ вѣтромъ... Заснуть бы — а внутри все что-то шевелится, ухо чутко слушаетъ... Какъ безъ нея обойдется Харабовъ и другіе?.. Принаровилась она къ нимъ. Другая — еще когда приглядится, а она cadaго знаетъ... Привычки, болѣзненные прихоти, все... Завтра все они будутъ спрашивать — гдѣ Мирская?.. Пожалуй, подумаютъ, что сама ихъ оставила, сама бросила — надоѣло возиться... Пойти попрощаться — спать еще будутъ... Не подымать же ихъ раньше изъ-за этого!.. Молодой солдатъ тамъ есть... Въ голову раненъ — мучится... Никому, кромѣ нея, не позволяетъ дотронуться до своей раны... Разъ она опоздала — больная была... Плакалъ... Онъ и завтра плакать будетъ вѣрно — бѣдный!.. Душой, сердцемъ приросла къ этому душному шатру... А теперь опять Богъ знаетъ куда, Богъ знаетъ — къ кому... Новые люди. А какъ привыкать-то тяжело. Больные, пока не присмотрятся, пока не поймутъ, — капризничаютъ, жалуются... Это такъ понятно, такъ естественно. Съ этимъ, разумѣется, мириться надо...

— Мирская!..

— Что?.. — очнулась она. Сначала даже не поняла, кто можетъ звать ее въ этой темнотѣ, — что, Наташа?..

— Страшно мнѣ... Ты спать не хочешь?..

— Нѣтъ, не спится. Нервы расходились...

— Странное дѣло... У насъ нервы какъ-то диво сказываются; я это и на себѣ, да и на другихъ наблюдала. Тамъ въ шатрѣ, у больныхъ, ужъ, кажется, слѣдовало бы разойтись нервамъ — такъ нѣтъ, молчать, совсѣмъ молчать. Замрутъ — и точно нѣтъ ихъ. А здѣсь — какъ одна сама съ собою остаешься — и начнутъ, и начнутъ... Сна нѣтъ... Скажи, пожалуйста... Забылась я... Мнѣ все чудится... Вызывалъ тебя кто отсюда, или нѣтъ?

— Вызывалъ... Докторъ приходилъ.

— Зачѣмъ?

— Ъхать завтра...

Солома зашуршала. Мирская поняла, что больная сестра приподнялась на постели.

— Куда это ѡхать еще, зачѣмъ?

— Какъ зачѣмъ?... Скобелевъ опять съ турками сдѣшился... Гдѣ-то около Брестовца... Нейдется ему...

— Много раненыхъ?

— Да сотни три тамъ.

— Какъ же я одна здѣсь останусь?... Умирать пора — только васъ всѣхъ отвлекаю отъ дѣла. Приѣхала сама помогать раненымъ, а вмѣсто того у нихъ же...

— Ну, полно, Наташа! Сюда перевезутъ Загряжскую. Она милая, хорошая. Она станетъ заботиться о тебѣ лучше меня...

— Ну, не знаю... Развѣ ангелы Божьи могутъ лучше и терпѣливѣе... Можетъ быть, Мирская, мы и не увидимся... Сошлись, работали, болѣли вмѣстѣ... А теперь я здѣсь — ты туда.

— Какъ я больна была, мнѣ тоже все смерть чудилась.

— Приѣдешь — я уже лежать въ могилѣ буду... Зачѣмъ жила?... А скверно умирать теперь... Холодно, мокро... Гадко.

— Вернусь — встрѣчу тебя и живою, и здоровой...

— Дай Богъ!..

Опять молчаніе. Опять за окномъ стонетъ и плачетъ непогода...

Недолго удалось отдохнуть Мирской.

Только что заснула, усталая, — къ ней постучались.

— Готовы?..

— Нѣтъ еще.

— Пожалуйста, скорѣй! Сейчасъ начнетъ свѣтать — пора ѡхать... Нужно до вечера быть въ Брестовцѣ. Кстати, съ нами вашъ знакомый...

— Кто?

— Малыгинъ. Онъ будетъ во главѣ вашего санитарнаго отряда...  
Пожалуйста, сестра, поскорѣй...

— За тобой? — проснулась больная.

— Да...

— Ну, прощай!.. Приходи на мою могилу...

— Я уже лучше на твоей свадьбѣ буду...

Сборы были недолги — и на одинъ узелокъ не набралось вещей...

На дворѣ морозило... Близость зимы сказывалась въ замерзшихъ за ночь лужахъ...

Черныя тучи, посѣрѣвшія на востокъ, тѣми же тяжелыми массами ползли по небу.

### III.

## Верховцевъ на Зеленыхъ Горахъ.

Верховцевъ оставлялъ главную квартиру безъ сожалѣній. Даже нѣкоторое чувство нравственнаго облегченія ощущалось, когда грязныя землянки и мокрые шатры Боготы съ купами обезлиствѣвшихъ деревьевъ остались позади... Очень ужъ противна была ему показная суетня всевозможныхъ штабовъ, сосредоточенныхъ здѣсь. Надоѣла эта вѣчная гоньба за отличіями, эти до наивности циничныя или до цинизма наивныя жалобы безчисленныхъ матушкиныхъ сынковъ, признавшихъ во всей этой войнѣ только одну цѣль — карьеру. Звало опять на боевыя позиціи — въ голодъ и въ холодъ. Тамъ все-таки легче!..

Дорога тонула въ слякоти, по сторонамъ гнили кукурузныя поля... Сверху сыпалась та же гниль — мозгляя, скверная...

Изрѣдка, по вѣтру, доносилась густая, жирная вонь отъ падали; изъ-подъ грязи чернѣлось вспухнувшее брюхо коня... По всему пути попадались только казаки, стремглавъ послѣшавшіе на своихъ заморенныхъ коняхъ въ Боготу и изъ Боготы... Направо, верстъ за семь, громыхали пушки, безъ отголосковъ, безъ эха, проглатывавшагося туманомъ. Просто короткій звукъ артиллерійскаго залпа...

— Гдѣ это? — спросилъ Верховцевъ у нагнавшего его офицера, прислушиваясь къ этимъ уже давно знакомымъ ему звукамъ.

— На Радипевскихъ позиціяхъ забавляются.. Вы куда?

— Думаю въ шестнадцатую дивизію...



— Васъ не пустять. Навѣрнякъ не пустять...

— Почему?

— Развѣ вамъ не извѣстно, что генераль Тотлебенъ терпѣть не можетъ корреспондентовъ, разумѣется кромѣ германскихъ. Тѣмъ онъ благотворить. Его какъ назначили подѣ Плевну, онъ сейчасъ же сдѣлалъ распоряженіе — ни одного не допускать на позицію. Вѣдь онъ начальникъ обложенія теперь.

— У меня есть особое полномочіе.

— Ну, смотрите... А вы очень кстати ѣдете въ Брестовець.

— Почему?

— Порохомъ тамъ запахло. Должно быть, готовятся къ чему-нибудь... Я тоже въ главную квартиру ѣздилъ — набѣться до-сыга. Другой цѣли не было. У насъ въ Ловчѣ — голодаютъ. Все выѣли кругомъ. Кони колѣютъ отъ безкормицы... Ну, до свиданья.

И офицеръ поскакалъ впередъ...

Въ туманѣ видѣлись пустынные мокрыя поля... Пустынные мокрые холмы направо и налево... Вонъ на дорогѣ лежитъ что-то пестрое... Когда Верховцевъ подѣхалъ, съ этого пестраго грузно и недовольно поднялся воронъ. Всмотрѣлся: умершій на дорогѣ турокъ, вѣрно изъ партіи плѣнныхъ... Широко раскинулъ руки, красная феска сползла назадъ... Синяя куртка разстегнута на груди — видимо, какой-нибудь болгаринъ уже пошарилъ — не пошлетъ ли чего Богъ на разживу... Мимо — и опять пустынные мокрыя низины, безлюдные мокрые скаты холмовъ. Только съ каждымъ часомъ пути пушки громяютъ все громче и громче... Видимо, близки позиціи... Верховцеву стало невыносимо тоскливо... Голова кружилась отъ этого унылаго однообразія окрестностей, отъ этихъ съ скучною правильностью повторявшихся выстрѣловъ... Даже конь приунылъ. Медленнѣе пошелъ, голову опустилъ внизъ... Такъ прошло еще часа два... Посыпался мелкій, раздражающій нервы дождь.

— Куда? Какой такой человекъ?..

Верховцевъ опомнился. Поднялъ голову...

— Что такое?..

— Откуда... Кто такой?.. У насъ не пропускаютъ...

Изъ тумана вышла маленькая сѣрая фигура оловяннаго солдата — безъ ружья.

— Какая дивизія здѣсь? — спросилъ его Верховцевъ.

— Намъ съ проѣзжимъ человекомъ разговаривать не велѣно. Мы должны всякаго забирать... Ишь въ кое мѣсто ты врѣзался...

— А что?

— Точно и не знаешь! А вонъ — гляди-ко... Ишь махонькая, черная насыпь...

— Ну?

— Да вѣдь это Ловчинское саше въ Плевень идетъ... А тамъ, за насыпью за этою, турка сидитъ.

Точно въ подтвержденіе словъ солдата — далеко, далеко что-то зашелкало, и нѣсколько пулекъ прожужжало въ воздухъ мимо Верховцева.

— Ишь грѣхъ какой!.. Ну побѣзжай за мной!

— Куда за тобой?

— Да ужъ такъ, братъ; я тебя по начальству должонъ предоставить.

— Зачѣмъ? — удивился Верховцевъ.

— Слѣзай, слѣзай съ сѣдла-то!.. Хлобыснетъ — не опамятуешься. Енъ, братъ, въ верховыхъ страсть какъ жарить.

— Да мнѣ не сюда дорога вовсе.

— Сюда ли, не сюда ли, — а пойдемъ къ капитану. Тамъ, братъ, разберутъ. Можетъ, и помилуютъ — отпустить, а можетъ, — и накажутъ...

Солдатъ взялъ лошадь подъ уздцы.

Идти было недалеко.

Черезъ нѣсколько минутъ — впереди выросъ валъ небольшого лжемента.

— Ты что это, Пострюченко? — окликнулъ его офицеръ, совѣмъ съжившійся отъ мокроты въ своемъ кожаномъ пальто.

— Шпіона поймалъ, ваше благородіе!

— Какого это?

— Должно, аглицкаго!.. Ёдетъ и смотреть... И прямо на турку — по Ловчинскому саше...

— Почему же ты думаешь, что шпіонъ?

— Помилуйте, ваш-бродіе, съ облика видно... Въ цывильномъ платьѣ, а по-русски говорить чисто...

— Ну?

— Коли бы жидъ былъ, значить агентъ, а онъ не жидъ, чисто говорить; и зачѣмъ ему сюда? — шпіонъ и есть... Я ему и руки скрутить хотѣлъ, да онъ смирно... Приказалъ я ему идти — самъ пошелъ, своей волей... Охстой пошелъ, это точно.

Офицеръ расхохотался. Засмѣялся и Верховцевъ.

— Извините, пожалуйста! — заговорилъ первый. — Съ кѣмъ имѣю честь?..

Верховцевъ подаль свою карточку.

— Дуракъ ты, Пострюченко!..

— Виновать, ваш-бродіе!.. Потому какъ они ѣдутъ голову опустимши... Ну, и чисто по-русски...

— Это корреспондентъ...

— Точно такъ... Я тоже, какъ на рукавъ поглядѣлъ, знакъ этотъ увидѣлъ... Орелъ есть, ну, а только скоропаденты, ваш-бродіе, все больше по-нѣмецкому говорятъ и обликомъ въ вороную масть... Ну, а какъ онъ заговорилъ по-русски чисто, я такъ и подумалъ: аглицкій шпіонъ должно...

— Ну, пошелъ на свое мѣсто.

Солдатъ сдѣлалъ «кругомъ» и отправился... Скоро по траншеѣ смѣхъ пошелъ: «Пострюченко шпіона аглицкаго поймалъ!» слышалось вездѣ...

— Я не имѣю права пропустить на позицію, — заговорилъ офицеръ, — сдѣлано распоряженіе: корреспондентамъ — никуда...

— У меня есть особый пропускъ. — И Верховцевъ показалъ ему.

— А теперь, вотъ, милости просимъ; вы знаете, я самъ не понимаю всѣхъ этихъ стѣсненій... Помилуйте, мы рады, какъ дню ясному, корреспонденту... Точно праздникъ... Вы напишете — въ газетѣ явится — всѣ родные и знакомые, всѣ близкіе люди узнаютъ, гдѣ мы, что мы, въ какой обстановкѣ живемъ, что дѣлаемъ. И радости наши, и горе — все на-чистоту... Писать — всѣмъ вѣдь не отпишешь, да и письма наши тысячами пропадаютъ... А тутъ прочтутъ вашу корреспонденцію — все равно, что отъ насъ письмо получено... Только вамъ въ Брестовець этой дорогой не слѣдъ ѣздить. Если бъ мой солдатикъ за чистоту русскаго говора не счелъ васъ англичаниномъ — вы бы прямо на турецкую траншею наѣхали... Такъ что остроуміе Пострюченка спасло вамъ жизнь или по меньшей мѣрѣ коня. Пусть же, впрочемъ, онъ вамъ и дорогу покажетъ.

— Пострюченко!

Солдатъ моментально выросъ, какъ изъ-подъ земли.

— Вотъ сопровождай г. корреспондента въ Брестовець... Какъ отвезешь — ни минуты не оставайся, сейчасъ назадъ.

Пострюченко обрадовался чему-то.

— Понимаешь?

— Понимаю, ваш-бродь!

Верховцевъ отправился... Пострюченко за нимъ. Отстали отъ траншеи шаговъ на сто...

— Вотъ оно и вышло по-моему!..

— Что?..

— Аглицкій шпіонъ и есть... Какъ начальство разобрало — правда-то и оказалась... На донышкѣ.

— Это же какъ?

— Толкуй, братъ!.. Мы сами екатеринославскіе... У насъ народъ жженый...

Верховцевъ совсѣмъ уже расхохотался...

— Смѣйся, смѣйся... Я тоже не дуракъ. Зачѣмъ мнѣ велѣно проводить тебя?.. Затѣмъ, что одного пускать не слѣдъ. Вотъ я отведу тебя, дамъ по начальству въ Брестовець, а тамъ, братъ, можетъ, тебя и къ разстрѣлу... Съ вашимъ братомъ тоже не шутятъ.

— Неужели къ разстрѣлу?

— Да ужъ тамъ какъ кому... А можетъ и такъ, что вешютъ тебѣ двѣсти — и ступай на всѣ четыре стороны, вольный казакъ... У насъ, братъ, милостей много... Подъ какую руку попадешь. А то вотъ мы, въ Тырновѣ стоявши, баши-бузука повѣсили — и это бываетъ. Какъ, братъ, кому какое рѣшеніе выйдетъ, а можетъ, коли покаешься — и простятъ. Какъ знать, чего не знаешь?

Верховцевъ отъ души сталъ хохотать.

— Ну! ты, братъ, храберъ, вижу, а только отъ смерти нѣтъ — не отсмѣешься! Какъ васъ, злодѣевъ, не вѣшать-то!

— Ну, а если я убѣгу отъ тебя?

— Какъ это? — оторопѣлъ солдатъ.

— Да такъ; я верхомъ, а ты пѣший!.. Дамъ я коню нагайку — только ты меня и видѣлъ.

— Ну, ты, братъ... не шути... Ты, любезный, не того... Самъ знаешь, спакостилъ, къ отвѣту надо...

— Ружья у тебя нѣтъ, а у меня револьверъ... Вотъ онъ!

Солдатикъ совсѣмъ ошалѣлъ.

— Это точно... Давако-сь ливольверъ... Давако-сь его сюда?

— Нѣтъ, не дамъ...

— Будь другъ... Тебѣ же хуже... Теперъ, можетъ, помилуютъ, а тогда пиши пропало!

Солдатикъ подошелъ ближе, схватилъ коня подъ уздцы.

— Ну, на тебѣ револьверъ! — успокоилъ Пострюченку Верховцевъ.

— Вотъ, спасибо, что солдата пожалѣлъ. Также и изъ вашихъ есть добрые... Не всѣ вѣдъ злодѣи...

Верховцевъ захохоталъ еще пуще.

— А сколько тебѣ жалованья сходить? — заинтересовался солдатикъ немного спустя.

— Отъ кого?

— А отъ англичанки, отъ королевы вашей?

— Я получаю не отъ нея!

— Ну, отъ кого — тамъ все едино... Поди, генеральскій окладъ идетъ. Потому дѣло ваше тоже трудное, опасное дѣло...

— Пятьсотъ рублей въ мѣсяцъ...

— Ну!... Ахъ, ѣшь те муха!... Деньги!... Ежели не врешь!... По такимъ деньгамъ, у тебя и табакъ поди...

— А что, хочешь курить?

— Да я, во-какъ: мѣсяца два траву курю. Кукурузу мочимъ, а потомъ сушимъ и куримъ. Но только и дымъ отъ ее — горло ѣсть точно, а настоящей духовитости въ ѣмъ нѣтъ.

Верховцевъ далъ ему сигару.

— Ну, добрый ты человекъ... Добрый!... Жаль мнѣ тебя — всякій, братъ, свою службу исполняетъ, на то и война. Ты свою, а я свою... Обоимъ, братъ, не сладко... Тебя, Богъ дастъ, — къ разстрѣлу, а меня, можетъ, завтра пуля уложить. Всякому свое. Всѣмъ трудно.

— Ну, а что если бъ я далъ тебѣ сто рублей, отпустилъ бы ты меня?

— Во, еще что! . Ты свои слова оставь!... Ты меня не улецай, потому что про такія дѣла я докладать по начальству должонъ... Ты, братъ, помалкивай лучше... Здоровѣй будетъ.

Вдали зачернѣли землянки Брестовца. Верховцевъ торжественно въѣхалъ въ село, при чемъ Пострюченко велъ его коня подъ уздцы и въ видѣ трофея держалъ револьверъ передъ собою. Удивленію солдатика не было границъ, когда предполагаемаго аглицкаго шпіона начальство приняло крайне привѣтливо. Прощаясь съ Пострюченкой, Верховцевъ далъ ему денегъ... Солдатъ взялъ... Помялся, помялся...

— Ваше-скородіе?

— Что?

— А вы меня за глупыя рѣчи мои простите!... Потому нонѣ съ насъ тоже взыскиваютъ... Въ оба глядимъ!

— Ничего, ничего...

— Если милости вашей будетъ... Еще одну цыгарку... Намъ деньги что... Намъ цыгарка дороже денегъ.



Иосиф Голтсов.

Т-во „Просвѣщеніе“ въ Сиб.

**„Пострюченко велъ его коня подъ уздцы и въ видѣ трофея держалъ  
револьверъ передъ собою“.**

(Стр. 276.)



Верховцевъ далъ ему всю пачку. Пострюченко просіялъ совсѣмъ. Счастливейшимъ человѣкомъ въ мірѣ казался.

— Вотъ спасибо... Теперь на все товариство хватить... Вотъ, благодарю!

— Обѣдали вы? — спросили у Верховцева.

— Нѣтъ!

— Пойдемъ въ нашъ клубъ ..

— Какой это?

— Не слышали? У насъ здѣсь клубъ завелся. Свой... Часто на дворѣ пулями людей бьютъ, — ну, да гдѣ смерти нѣтъ?... Вездѣ она!..

На улицахъ Брестовца не видно было ни одного болгарина. Населеніе ушло, выгнанное еще турками; теперь здѣсь бродили только одни солдаты да казаки. Изгороди были сожжены на костры, кровли — тоже... Во дворахъ солдаты ходили опустя голову и стучая въ землю, прислушиваясь, не отдается ли гдѣ глухого звука надъ зарытыми запасами. Кое-гдѣ просто рыли — авось наткнешься. Впереди слышалась частая перестрѣлка... У края села шла траншея, откуда поддерживали постоянный огонь съ турками... Пули падали во дворы, въ хаты, въ кровли, били людей и въ лоцинѣ, перерѣзавшей село на два ската, и на дорогѣ, которая легла позади села по самому гребню...

Издали, изъ офицерскаго клуба, слышалась музыка...

— Должно быть, ужъ за столы садятся, — поспѣшимъ! Кетати и познакомьтесь тамъ со всѣми заодно...

---

#### IV.

### Въ офицерскомъ клубѣ.

---

— Видите ли, мы еще и веселиться находимъ время!..

Армейскіе музыканты гремѣли вовсю, стараясь недостатокъ искусства наверстать усердіемъ. Старшой махалъ руками и одушевлялъ исполнителей голосомъ. Когда команда его забирала не туда, куда слѣдуетъ, онъ начиналъ напѣвать мотивъ; на литавщика, который, зажмуривъ глаза, стучалъ вовсю, онъ оралъ, стараясь перекричать жалобныя, хотя и громкія стенанія мѣдныхъ трубъ, точно молившихъ о пощаду... Маленькій, юркій солдатикъ, когда около посвистывали пульки, выводилъ



на флейтъ такіа ноты, которыя, если вѣрить путешественникамъ, привели бы въ неистовый восторгъ китайскихъ меломановъ; громадная труба около, казалось, была похищена у одного изъ тѣхъ доблестныхъ воиновъ Іисуса Навина, заставившихъ своею музыкою пасть стѣны горделиваго Іерихона... Не успѣлъ Верховцевъ и сопровождавшіе его офицеры дойти до оркестра, какъ онъ стихъ на такой оглушающей нотѣ, что разомъ изъ болгарской землянки выскочила какая-то робкая собаченка и съ чувствомъ самой крайней обиды начала лаять на музыкантовъ...

— Что это у нихъ трубы какія?

— А что?..

— Перебиты...

— Что это съ твоимъ инструментомъ случилось? — обернулся офицеръ къ одному изъ полковыхъ Орфеевъ

Орфей равнодушно взглянулъ на трубу.

— Ранена въ дѣлѣ съ турками тридцатаго августа, ваш-бродь!.. Турка ее коннулъ...

— А какую вы это пьесу играли сейчасъ?

— Номеръ тридцатый-съ...

— Какъ?

— Номеръ тридцатый... Мы по номерамъ, по порядку, значтъ...

Обратились къ другимъ — оказался все тотъ же номеръ тридцатый... Спросили у старшого — тотъ также: номеръ тридцатый...

— А сейчасъ, ваше благородіе, номеръ тридцать первый пойдетъ, этотъ номеръ веселый... Самый легкій — подъ танецъ гождъ...

— Да гдѣ же капельмейстеръ вашъ?

— Они — въ охотникахъ.

— Что такое? — изумился Верховцевъ.

— Въ охотникахъ. Охотниковъ вчера вызывали — къ туркамъ, чтобы въ Крышино пойти — ну, онъ и пошелъ съ ними тоже.

— Оригинальный капельмейстеръ!..

— У этого Гофмана страсть — въ огонь лазить. Его уже и ранили разъ — неймется... Ну, теперь въ нашъ клубъ пожалуйте.

Болгарскій домъ состоялъ изъ двухъ комнатъ. Въ каждой стояло по одному длинному столу. Офицерство сидѣло уже за обѣдомъ, когда наши спутники вошли туда. Первые минуты неловкости скоро смѣнились полною безцеремонностью. Верховцевъ отрекомендовался. Полковникъ затащилъ его во вторую горенку, гдѣ сидѣли не помѣстившіеся въ первой...

— Ну, слава Богу . . . Мы вамъ рады! — встрѣчали Верховцева.

— Теперь хоть родные узнають, гдѣ мы, что мы дѣлаемъ . . . Оставайтесь у насъ . . . Общество чудное, товарищество тоже, начиная отъ генерала и кончая самымъ зеленымъ прапорщикомъ.

— Да я сюда надолго.

— Вотъ и чудесно! . . . У насъ и поваръ кетати отыскался отличный; такими обѣдами насъ кормить — первый сортъ!

— На всѣхъ позиціяхъ голодаютъ.

— Устроиться не умѣють, — оттого и голодаютъ. Посмотрите — мы сплотились, и чудесно. И дешево, и сердито.

— У насъ вотъ какъ — бросьте нашему Ефиму сапогъ — онъ вамъ изъ него бифштековъ надѣлаетъ! . .

— А вы слышали, какъ онъ генеральскаго быка забралъ?

— Ну? . . . Ну? . . . — заинтересовалось офицерство.

— У генерала провизіи не хватило — послалъ быка купить. Солдатъ придурковатый попался. Закололъ быка, привезъ, а самъ спрашиваетъ: гдѣ генеральская кухня? Нашъ Ефимъ ему навстрѣчу — мигомъ сообразилъ, въ чемъ дѣло. — Вези сюда! — оретъ, — я поваръ. — Салдатишка къ нему, свалилъ тушу — и радъ. Зато какія же онъ намъ щи сварилъ тогда, какимъ жаркимъ угостилъ — первый сортъ! . .

— А что наша Оленька подѣлываетъ? . . Не слышать ея сегодня, — отозвались въ концѣ стола.

— Оленька! Ольга Васильевна!

Молоденькій румяный офицерикъ покраснѣлъ какъ ракъ и попробовалъ сдѣлать строгое лицо.

— Что вы это, Оленька, сегодня столь мрачны?

— Во-первыхъ, я не Оленька, а подпоручикъ Орѣховъ.

— Дѣвушка-гусарь! . .

— А во-вторыхъ, я разъ навсегда просилъ васъ, господа, оставить эти глупыя шутки . . .

— Да вы не сердитесь, Оленька! . . . Мы васъ — любя. Посудите сами: въ военное время, на боевой позиціи — и вдругъ — дѣвица . . . Васъ въ институтѣ такъ краснѣть выучили? . .

— Это, наконецъ, чортъ знаетъ что такое! . . Полковникъ, я прошу васъ заступиться за меня . . . Прикажите . . .

— Господа, не трогайте Оленьку, Богъ съ ней . . . Дѣвица она скромная, васъ не обижаетъ . . . — вступился полковникъ. — Зачѣмъ вы ее задѣваете? . . . Это съ вашей стороны кажется и не любезно . . . Право, совсѣмъ вы не умѣете съ дамами обращаться . . .

Подпоручикъ готовъ былъ расплакаться.

— Нѣтъ, вы лучше расскажите, какъ вы своему денщику Шилера въ русскомъ переводѣ читали...

— Это еще что за новость?... Оленька!?

Но «Оленька», вооружась терпѣніемъ, сосредоточенно уставился въ жаркое — и ни слова.

— Видите — денщика Оленькѣ назначили самого подлаго... Точно нарочно... Понятно — тотъ, раскусивъ Оленьку, сталъ пьянствовать напропалую. Первымъ дѣломъ спустилъ все, что у него было, — а потомъ у дѣвицы нашей деньги началъ таскать... Оленька все это терпѣла недѣли двѣ, наконецъ рѣшилась исправить денщика. — Ты, Сергѣй, пьешь отъ скуки, потому что тебѣ дѣлать нечего... Такъ? — Точно такъ! — отвѣчалъ Сергѣй, а самъ звѣремъ смотритъ. Со вчерашняго дня голова трещитъ, стащилъ собаку у Ефремова, да за нее ничего ему не дали, назадъ принесъ... Ну, волкъ совершенный! — Точно такъ-съ... — Ну, такъ вотъ, — блаженствуетъ Оленька, — чтобы ты не скучалъ и не пьянствовалъ, мы съ тобой будемъ читать; чего не поймешь, я тебѣ объясню... — Сначала было Сергѣй сообразить не могъ. Думалъ, не выдерутъ ли его — потому онъ уже въ разрядѣ штрафованныхъ значился... Нѣтъ, — видѣтъ, беретъ его благородіе книжку. — Ну, слушай, Сергѣй, — я тебѣ буду читать «Валленштейна»... Былъ такой великій полководецъ... Примѣрно какъ нашъ... какъ нашъ... — Генералъ Пузановъ, ваш-бродь! — Нѣтъ... Ну, хоть какъ Гурко... Слушай же... — Читалъ онъ ему часъ, два — въ потъ ударило Сергѣя... Затосковалъ. На другой день — та же исторія. — Сергѣй съ лица спалъ. Ходитъ голову повѣся. На третій день — Сергѣя точно изъ петли вынули... Встрѣчаю его: — Что, говорю, такой сякой, каковъ у тебя баринъ нынче? — Конецъ, — говоритъ, — мой пришелъ, ваш-бродь! — А онъ, Сергѣй этотъ, прежде у меня денщикомъ былъ, да только я его сплавилъ. — Конецъ мой! Такого барина я еще не видывалъ... Жестокій, — говоритъ, — у меня, ваш-бродь, офицеръ понче... — Что же онъ дѣлаетъ съ тобой? — изумился я, зная кротость Ольги Васильевны... — Простите, — говоритъ, — ну, только хошь что, вы — а злодѣй онъ мнѣ выходитъ... Столько я съ нимъ муки принялъ... столько муки... Легше мнѣ — по сту розогъ каждый день... — Да что же онъ съ тобой дѣлаетъ?... — А какъ смеркнетъ, сейчасъ книжку — и давай мнѣ Бѣлоштана читать. Стоишь, стоишь — понять ничего не можешь, а онъ-то тебя моритъ, а онъ-то чудитъ, — и на разные голоса, и точно выпѣваетъ... Какъ хотѣте, ваш-бродь — нѣтъ моихъ

силъ больше... Хочу къ ротному пойти... Пускай ужъ деруть... Я къ Филиппову поручику лучше пойду: онъ хоша строгій, а книжкой морить не станетъ!... — И знаете — такъ его Ольга Васильевна выдѣчила отъ скуки «Валленштейномъ», что Сергѣй, наконецъ, не выдержалъ — обокралъ его да на два дня и исчезъ. Нашли ужъ гдѣ-то въ кабакѣ пьяно-распьяно, лицо опухло, глаза на выкатѣ какъ у рака...

— Къ разстрѣлу согласенъ! — ореть, — въ арестанскія роты сейчасъ, — а къ этому подпоручику — ни за что!.. — Такъ и не пошелъ къ Оленькѣ...

— Господа... — совсѣмъ уже мягкимъ, нѣжнымъ тономъ заговорилъ «Оленька», совершенно оправдывая тѣмъ свое названіе. — Господа... Скажите, что я вамъ сдѣлалъ?.. За что вы меня преслѣдуете такъ?..

Въ глазахъ юноши слышались слезы... Вотъ-вотъ разрыдается... Всѣ потушились — очевидно неловко стало.

— За что?... Развѣ я дурной товарищъ?... Можетъ кто-нибудь на меня пожаловаться?... Скажите, кто мною недоволенъ?

Сосѣди, какъ виноватые, еще ниже нагнули головы.

— Трусъ я?... Не исполнялъ когда-нибудь приказанія, отлынивалъ отъ дѣла?

То же молчаніе.

— За что же?... За что?...

— Голубчикъ, Орѣховъ!.. — заговорили разомъ со всѣхъ сторонъ: — Ну, прости, пожалуйста!.. Чего ты обижаться вздумалъ? Ну, миръ — поцѣлуемся!..

— Какъ тебѣ не стыдно... Нашелъ къ чему придаться!..

— Если бы тебя не любили, — такъ и не приставали бы къ тебѣ.

«Оленька» пожалъ руки всѣмъ. На симпатичномъ молодомъ лицѣ Орѣхова такъ и отражалось волненіе — видимо не совладалъ съ собой... Чуть не заплакалъ даже...

— Господа! — поднялъ бокалъ полковникъ, — позвольте предложить, господа, — за нашего самага молодого и самага лучшаго товарища — подпоручика Орѣхова!..

— Урра!..

Еще пуще покраснѣвъ, юноша сталъ чокаться со всѣми, уже совершенно счастливый и довольный.

— Я всегда васъ считалъ отличными людьми! Вы отличные... Хорошіе... — откланивался онъ направо и налево.

— Стоимъ, стоимъ мы передъ этой Плевной, гнѣмъ въ грязи, а когда конецъ этому будетъ — одинъ Аллахъ знаетъ, — завелъ кто-то.

— Одинъ Аллахъ, да и тотъ никому объ этомъ не скажетъ.

— Какой бы ужъ конецъ. Теперь нашихъ довольно — начали бы поумнѣе . . .

— И расквасили бы себѣ носъ, какъ тридцатаго августа.

— А что, господа . . . Кто здѣсь изъ уцѣлѣвшихъ во время третьей Плевны? Немного, я думаю . . .

— Да вонъ одинъ, два, три, четыре . . . А остальные всѣ новые. Прежнихъ офицеровъ давно уже нѣтъ . . . Выбиты . . . Соймоновъ весь день тридцатаго августа дрался — уцѣлѣлъ, а въ началѣ октября отъ глупой пустой пули погибъ. Ъхаль верхомъ — неизвѣстно кто выстрѣлилъ. Можетъ быть, болгары въ окрестностяхъ турецкія ружья пробовали — и убили . . . Двое изъ старыхъ нашихъ угличанъ отъ тифа легли . . . Все равно . . . Еще лучше на боевомъ полѣ — умирать . . .

— Да, многихъ уже нѣтъ, очень многихъ . . .

— На меня ничья смерть не произвела такого впечатлѣнія, какъ Барановскаго. Знаете, шелъ онъ на первый редутъ . . . Веселый такой, счастливый, улыбающійся . . . — Что съ тобой, — спрашиваю, — чему обрадовался? — Сегодня, — говоритъ, — утромъ отъ невѣсты письмо получилъ. Славное такое письмо . . . Бѣдная дѣвочка — какъ она изъ-за меня мучится! . . . Какъ только войнѣ конецъ — сейчасъ же я въ отпускъ и женюсь . . . Выйду въ отставку . . . Имѣньице у меня есть — будетъ чѣмъ перебиться . . . А если бы ты видѣлъ мою невѣсту! . . . Какая она милень . . . — не договорилъ, поскользнулся . . . За меня схватился — да не удержался . . . Тяжело рухнулъ внизъ . . . Нагнулся я — помочь ему встать — не встаетъ. Повернулъ его голову лицомъ вверхъ . . . Подняли его — глядимъ, во лбу рана — кровь изъ нея . . . Вотъ-те и поскользнулся!

— Наповаль?

— Да, наповаль! Мнѣ же пришлось присутствовать и при концѣ этой исторіи . . . Послѣ третьей Плевны отправили меня въ Систово — нужно было кое-что купить для полка . . . Вдругъ подходитъ ко мнѣ прехорошенькая блондинка . . . — Вы, — говоритъ, — шестнадцатой дивизіи? . . . — Да . . . — Что, у васъ много потерь? . . . — А сама спокойна совсѣмъ. — Много, говорю . . . — И убитые есть? — Да, и убитые . . . — Ну, а Барановскій здоровъ? — Смотрю на нее во всѣ глаза. — Какъ здоровъ? — отвѣчаю, — мы его дней восемь назадъ похоронили! . . . — Повѣрите ли — какъ подкошенная упала!

— Неужели невѣста?

— Она самая. Идя въ бой, онъ написалъ телеграмму: «Живъ и здоровъ». Отдалъ ее послать какому-то штабному, а тотъ сначала было забылъ, а дня черезъ три, когда бой кончился, вспомнилъ и послалъ. Невѣста получила телеграмму въ Одессѣ, обрадовалась, успокоилась за него и прикатила повидаться въ Систово...

Разговоръ на минуту оборвался. Со двора слышался одинъ изъ самыхъ громкихъ «номеровъ» удивительнаго оркестра...

— Вотъ орутъ-то!

— Пусть еще погромче!.. По крайней мѣрѣ, турки услышать, какъ мы время проводимъ!

Вдругъ одна изъ трубъ самыхъ звонкихъ какъ-то крякнула и оборвалась, и вслѣдъ за ней весь хоръ словно потухъ... Въ тишинѣ ясно послышалась отдаленная перестрѣлка...

— Что тамъ?

— Ваше высокоблагородіе! — вбѣжалъ въ клубъ старшой, — музыканта у насъ убило!

— Что такое? — вскочили всѣ.

— Да онъ уже давно стрѣляетъ... А тутъ какъ горохомъ посыпалъ!

Выбѣжали на дворъ. Посреди хора — оторопѣвшаго и смущеннаго — лежалъ молодой солдатикъ, еще недавно хваставшійся своею раненой трубою... Лицо у него поблѣднѣло, глаза безнадежно скользили по наклонявшимся къ нему лицамъ. Раненая труба была брошена...

— Что это... Власенковъ!.. Куда тебя?

Музыкантъ безразлично взглянулъ на спрашивающаго полкового командира и тотчасъ же перевелъ глаза на Верховцева.

— Ой... горить... — стоналъ онъ.

— Да куда же его ударило?

— Въ лѣвый бокъ... За рукавомъ не видно... — Старшой нагнулся, отвелъ руку раненаго — подъ нею дыра въ шинели, кровь оттуда хлещетъ сильною струей... Черная лужа внизу...

— Носялки... Живо!.. Старшой, бѣги за докторомъ!..

— Да что это, турки взбѣсились, что ли?

— Богъ знаетъ!..

Перестрѣлка разгоралась, приближаясь слѣва... Пули сыпались уже на излетѣ въ Брестовець... Вотъ грянули ближайшія турецкія траншеи... Наша сейчасъ же впереди у Брестовца — отвѣтила тоже.

— Знаете, что это, полковникъ?

— Ну!

— Генераль оттуда, слѣва, объѣзжаетъ позиціи...

— Предобѣденный моціонъ! — проворчалъ сквозь зубы полковникъ. — Господа, въ траншею!..

Офицерство побѣжало туда...

Наша траншея была сейчасъ же позади офицерскаго клуба... Шагахъ въ ста, не больше... Пули свистали вверху. Чмокались оземь, шурша пронизывали голыя вѣтви деревьевъ, такъ что срѣзанныя вѣтви падали внизъ...

— Скорѣй, господа!... Скорѣй...

— Здорово, ребята!.. — слышалось вдалекѣ.

— Урра!.. — гремѣла траншея...

Когда полковникъ съ офицеромъ добѣжали туда, генераль уже ускорилъ на правый флангъ

— Есть потеря?..

— Никакъ нѣтъ! — рапортовалъ офицеръ, оставшійся на позиціи.

— Ну, слава Богу... Что за подлецы! чего они стрѣляютъ?..

— Сначала по генералу, полковникъ, а потомъ разохотились — и по насъ давай.

— Ну-ко, попотчуйте ихъ залпомъ.

Раздалась команда — сѣрая кайма дыма точно объжала по всему гребню траншеи... Трескъ залпа всколыхнулъ застоявшійся воздухъ...

— Это онъ въ туманѣ вѣрно къ туркамъ близко взялъ — его и замѣтили! — соображалъ полковникъ.

— Прикажете еще залпъ?

— Нѣтъ, довольно! Что толку!.. И этотъ я напрасно... По воронамъ бьемъ.

Офицерство двинулось назадъ... Забрались опять въ клубъ — оканчивать прерванный обѣдъ.

— Компотъ простылъ! — недовольно встрѣтилъ ихъ поваръ Ефимъ. — Пожалуйте, ваше высокоблагородіе, какъ же такъ можно? только я компотъ подалъ — вы изъ-за стола... Этакъ хоть не готовъ!

— Ну, ладно, не болтай!

— А гдѣ же Оленька?.. Орѣховъ?..

— По своему обыкновенію, вѣрно въ траншеѣ осталась. Вотъ неймется!..

— Однако, господа, дѣйствительно пора перестать его травить... Шутка хороша — когда она никого не оскорбляетъ.

— Да вѣдь мы его очень любимъ. Мы не со-зла...

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ довольно!.. Храбрый, хорошій офицеръ — а вы его точно дѣвченку третируете.

— Будетъ, такъ будетъ!..

— Тоже вы анекдотъ этотъ съ денщикомъ... Ужъ вѣрно онъ ему не Шиллера читалъ.

— Что-то въ родѣ этого...

— Надъ чѣмъ же смѣяться? Признайтесь, въ этомъ случаѣ онъ былъ человѣчнѣе и лучше насъ.

— А Сергѣй-то вѣдь все-таки чуть съ горя не утопился...

— Въ водкѣ?..

— Ну, Сергѣй — дрянъ солдатъ... А посмотрите, какъ его другіе солдаты любятъ... Разъ даже въ огонь силой не пустили... Ладно, говорятъ, ваше благородіе, есть и безъ васъ кому.

— Ну, господа, теперь и по домамъ пора... Вечеромъ еще, пожалуй, придетъ въ голову генералу опять подвинуться впередъ ближе къ туркамъ — дѣло и будетъ... Нужно отдохнуть.

Офицерство вышло изъ дому... Стали прощаться... Верховцевъ тоже направился было къ себѣ...

— Это кого несутъ?.. Господа, стой!..

Вдали показались носилки... Четверо солдатъ бережно несли ихъ.

— Съ позицій?..

— Да кого это?.. Неужели нашего?..

— Нѣтъ, должно быть съ лѣваго фланга... Тамъ сегодня Владимирцы стоятъ.

— Кого несете?.. — крикнули издали солдатамъ.

— Подпоручика Орѣхова!..

— Господи!.. Что съ нимъ?

Сразу точно потемнѣли всѣ, бросились къ носилкамъ.

— Голубчикъ, что съ вами? Юноша вы милый! какъ это васъ?

Спокойное, спокойное молодое лицо... Только поблѣднѣло все и нижняя губа прикушена зубами, точно онъ боится простонать... Грудь накрыта солдатскою шинелью... Глаза смотрятъ печально, словно прощаются — только безъ волненія, безъ ужаса смерти...

— Куда это васъ?..

— Прощайте!..

— Ну, вотъ!.. вѣрно пустыки... За докторомъ сейчасъ... Живо доктора сюда!

— Не надо... Не поможетъ...



Поднял руку, сбросилъ накрывавшую его шинель... Въ грудь ударило... Едва замѣтно... По краямъ пробитаго платя чуть-чуть кровь запеклась... Точно вскипаетъ она въ ранкѣ.

— Прощайте... Добрые... Прощайте!.. Не увидите больше своей... Оленьки...

Попробовалъ было улыбнуться, и улыбка уже на губахъ сложилась — да вдругъ изъ глазъ слезы...

— Умираетъ ваша Оленька.. Не забывайте!.. Прощайте, товарищи... Прощайте... Полковникъ — дайте мнѣ вашу руку...

А перестрѣлка вдали уже совсѣмъ утихла... Изрѣдка только слышалось сухое пощелкиваніе Пибоди-мартынокъ...

Сумерки густились на востокъ... Точно оттуда ползла еще болѣе темная туча...

## V.

### Ночью на батарѣ.

Впереди въ туманѣ — разгорался бой<sup>1</sup>.

Ничего не было видно отсюда... Слышался только оглушительный трескъ залповъ, неистовсе «ура» и отвѣтные крики турокъ, замиравшіе вдали, точно тамъ въ крутые берега билось гнѣвное море, безсильно пытаясь сокрушить ихъ гранитныя твердыни... Ночь наступала быстро. Въ ея темнотѣ вспыхивали и мерцали какими-то загадочными свѣтлыми пятнами, точно таявшими въ туманѣ, шрапнели, взвивавшіяся изъ турецкихъ траншей и редутовъ... Изрѣдка сигнальная ракета оставляла свой золотистый слѣдъ во мглѣ, точно звѣзда падучая, стремившаяся только снизу вверх... Прислонясь къ брустверу батареи, нѣсколько артиллерійскихъ офицеровъ прислушивались къ звукамъ далекаго боя.

— Удается или нѣтъ?..

— Я думаю — возьмутъ...

— Потерь-то, потерь будетъ!.. Откровенно говоря, я не понимаю цѣли сегодняшняго боя... Ради чего генераль ухлопалъ нѣсколько сотъ

<sup>1</sup> Дѣла на Зеленыхъ Горахъ 28 октября и далѣе были описаны авторомъ въ 1-мъ томѣ „Года Войны“. Поэтому здѣсь онъ и не повторяетъ своего разсказа.

солдаты?.. Рѣшили выморить Османа — въ желѣзномъ кольцѣ обложенія, а сами — на приступъ... Къ чему?

— Азіатскіе успѣхи спать не даютъ.

— Хочется и здѣсь заставить поговорить о себѣ...

— Помилуйте — посмотрите, какая реляція будетъ!..

— Однако, можетъ быть у него и болѣе серезныя цѣли?

— Понять-то, разумѣется, не трудно — сократить линію обложенія. Здѣсь мы ужъ слишкомъ назадъ остались...

— Ишь опять разгорѣлось!..

Трескотня залповъ усилилась... Точно адъ открылся тамъ, въ самомъ центрѣ этого тумана и мрака... Въ общемъ гамѣ перестрѣлки громыхали порою турецкія орудія. Гранаты, шушукая, проносились въ высотѣ и рвались гдѣ-то далеко-далеко... Артиллеристы недолго говорили подъ шумъ этой бойни... Всѣ какъ-то замолчали въ одно и то же время... Всѣмъ почему-то сдѣлалось жутко.

— Ну, Ардальонъ Ивановичъ, мы что-то сегодня очень веселы, — замѣтилъ молодой артиллеристъ уже старому офицеру.

— Письмо получилъ... Да-съ, письмо... Женушка да дѣтишки насъ не забываютъ... Совсѣмъ не забываютъ — вотъ какъ, мы потому и радуемся... Гніешь здѣсь, гніешь — и вдругъ вѣсточка: всѣ-де живы и здоровы, деньги получили — слѣдовательно до слѣдующаго мѣсяца кусать что будетъ... Вотъ оно и пріятно...

— А у васъ дѣтишекъ-то много?

— Ахъ много!.. Неумѣренно много... у меня ихъ восемь... Да, девятая жена — вотъ мы какъ, не вамъ чета. Я въ ваши годы-то уже двухъ дѣтишекъ имѣлъ... Обязанность свою относительно отечества исполнилъ свято, на восемь человекъ приумножилъ его населеніе, да... Только вотъ насчетъ финансовъ у меня плохо. Орава большая, и дѣтишки славныя, ну, а финансовъ мало. И бѣгаютъ безъ сапогъ въ оборванныхъ картузикахъ мальчуганки... А дѣвченокъ я все же въ башмачки... Имъ нельзя — должны приучаться къ франговству.

Офицеръ улыбнулся...

— А только и трудно же... Ахъ, какъ трудно!.. — покачалъ головой старый семьянинъ, переходя совсѣмъ въ другой тонъ, — Жалованья — вы сами знаете — получаю я всего шестьсотъ рублей — и кормись самъ-десять... Живота себѣ не нагуляешь. Вы вонъ холостежь — пойдете въ трактиръ и сейчасъ себѣ поросенка — рюмку мадеры, что ли, а тутъ нѣтъ, шалишь!.. На однихъ супахъ да на чаяхъ сидимъ... Да и супы-то — норовишь больше хвостовъ купить; изъ

нихъ наваръ крѣпкій, ну и дешевы они... Вотъ такъ и живемъ... А зима придетъ — плачь на рѣкахъ вавилонскихъ: Сашенькѣ нужна шубка, Мишенькѣ — пальто теплое, Ванечкѣ въ гимназію ходить — сюртучекъ новый... Вотъ вѣдь и старъ я, а иной разъ ударишься передъ образомъ, да и замрешь. Господи, думаешь!.. За что? Другимъ изобиліе плодовъ земныхъ, а ты на бобахъ... Ну только я не ропщу... Вечеромъ, напримѣръ, вы въ трактиръ и на билліардѣ сейчасъ — шары катать, либо въ театръ, а у меня свой театръ дома. Восемь-то штукъ развозятся — шумъ, гамъ... Сидишь въ креслѣ, и любуешься на нихъ. Вырастутъ — все мнѣ легче будетъ, все легче... Изъ жалованья-то сынишки малую толику и удѣляютъ, ну, а дѣвченки — отрѣзанные ломти... Сами бы только пристроились... А, можетъ быть, къ тому времени и батареей командовать буду... Да...

Гдѣ-то опять близко грохнула пушка... Граната пронеслась впередъ...

— Ишь, колесомъ пошла!.. — замѣтилъ фейерверкеръ.

— Грудью летитъ — яро! — отозвался солдатъ около...

— И стонетъ же!..

— Стонетъ — потому чью-нибудь смерть несетъ — ну, и стонетъ...

— Скоро и намъ придется открыть огонь, Ардальонъ Ивановичъ?.. А?

— А это какъ командиръ... Прикажетъ — откроемъ... А не прикажетъ, и такъ помолчимъ...

— Что жъ, какія-нибудь новости въ письмѣ-то сообщаетъ вамъ жена?

— Нѣтъ... Мы въ своей скорлупѣ сидимъ, помилуйте!.. Со-всѣмъ въ своей скорлупѣ. Сами знаете, на шестьсотъ рублей жалованья не разлѣздишься... И газеты-то читаемъ черезъ недѣлю по выходѣ — у добрыхъ людей беремъ. — А только жена пишетъ: «Ардальоша, береги себя... Не лѣзь. Убьютъ — всѣмъ по міру. Что я могу съ во-семью дѣтьми?..» Дура!

— Почему же дура?

— То есть я не то, она не дура, она добрая... А только вотъ — вѣдь сами знаете, гдѣ же меня убьютъ? Я за этимъ брустверомъ, какъ у Христа за пазухой... А она беспокоится... Младшую-то Машеньку сама кормитъ еще... Волноваться станетъ, пожалуй, молоко и оты-метса... Ну тогда Машеньку на рожокъ — сами посудите. Что же это?.. Вѣдь это значитъ, въ самомъ корнѣ здоровье подорвать. Вѣдь вы

знаете, выкормки на рожкахъ какіе бываютъ: худые, блѣдныя, малокровныя... Я ей такъ и отпишу, что — дура. Какъ же можно артиллеристу убитымъ быть?... Глупая!..

— Отчего же? случалось.

— Рѣдкость!.. Это все равно, что выигрышь въ двѣсти тысячъ получить... Все равно... Я, знаете, о чемъ мечтаю. Скопить денежки да каждой изъ дочекъ по билету выигрышному... Ну, можетъ быть, Господь на мое счастье не много, а такъ тышенокъ сорокъ... Я о двухстахъ тысячахъ и не думаю... Не смѣю-съ... Ну, а сорокъ это какъ разъ... Дочекъ-то у меня пока шесть... По шести тысячъ каждой — шестью-шесть — тридцать шесть!.. А четыре — двумъ мальчикамъ. Какъ кончатъ, такъ экипироваться... Сюртучки, тамъ, фракки, что ли, жилеты... Часики!.. А, хорошо вѣдь?..

— Все-то вы только о семьѣ и думаете!..

— А о чемъ мнѣ думать-то?... Позвольте спросить... У меня вся жизнь — въ малышахъ этихъ... Вонъ генераль вчеря говоритъ: «Хорошій офицеръ долженъ забыть, что у него семья за Дунаемъ осталась... Ему хорошо забывать-то... А намъ какъ? У него, вонъ говорятъ, тысячь сто въ годъ доходу, да и убьютъ его ежели — никого, все же, не останется. Семьи нѣтъ, а и была бы — сейчасъ на казенный счетъ... Имъ хорошо... Ходи, какъ вѣтеръ въ полѣ... Козырекъ на-бекрень, руки въ боки, глаза въ небо — чортъ не братъ... Нѣтъ-съ... А у меня вонъ на этой рукѣ трое виситъ, да на этой трое, а за ноги по одному мальчику ухватилось, на шеѣ жена держится. Тутъ, братъ, вольнымъ алюромъ не побѣжишь, фертомъ не пройдешься... Къ землѣ клонитъ ноша-то... Къ землѣ. Эко диво. Дай-ко мнѣ сорокъ тысячъ — знать, что семья обезпечена — я бы еще и не такимъ дьяволомъ носился бы... Эко диво, лобъ-то подъ пулю... Лобъ-то подъ пулю — не великое искусство. Вышелъ — пали! Пали, чортъ тебя возьми!.. А ты вотъ на моемъ-то мѣстѣ забудь... Нѣтъ, братъ, не забудешь. Оно на словахъ куда какъ хорошо выходить!..

Туманъ становился все гуще и гуще... Его не въ силахъ были разогнать ни залпы ружейныхъ выстрѣловъ, ни громы орудій!.. Точно небо хотѣло опять заслониться отъ зрѣлища этой бойни, на тѣхъ же поляхъ, гдѣ два мѣсяца тому назадъ легли десятки жертвъ...

— Да чортъ возьми! Отзовитесь же кто-нибудь!.. — отчаянно послышалось издали...

-- Что это такое?... — заговорили на батареев.

Прислушались — молчаніе...

— Дьяволы! есть тутъ живая душа?..

— Кто тамъ? — крикнули съ батареи.

— Эге!..

— Сюда!..

— Что тутъ?..

— \*\* -я батарея...

— Ее-то и нужно!..

Черезъ нѣсколько секундъ изъ тумана выдѣлился силуэтъ всадника, медленно подвигавшагося въ туманѣ.

— Повѣрите, едва добрался до васъ... Плуталъ, плуталъ... Наткнулся налѣво, должно быть, на какую-то пустую траншею... Чортъ ее знаетъ: турецкая или наша; взялъ вправо — на Радищево попалъ... А мнѣ васъ-то и надо.

— Зачѣмъ?

— Гдѣ командиръ?

— А онъ полѣвѣе... Вонъ гдѣ огонекъ.

— Отъ генерала!..

— Ну?

— Приказано открыть огонь по Кришинскому редуту... Очень ужъ насъ донимаетъ онъ. Точно градомъ сыплеть, подлець!..

— Съ Радишевскихъ батарей тоже начали.

— Туда раньше былъ посланъ... Такъ вонъ туда, гдѣ огонекъ?

— Да!..

— Огонекъ въ туманѣ мерещился тусклымъ — точно на масляной бумагѣ — пятномъ.

Ординарецъ направился налѣво и спустя нѣсколько секундъ точно ушелъ въ туманъ, былъ имъ проглоченъ.

— Ну, вотъ и намъ дѣло нашлось! — обрадовался Ардальонъ Ивановичъ. — И наши пушечки заговорятъ сейчасъ...

— Странное дѣло! — замѣтилъ молодой офицеръ. — Дивлюсь я на васъ, Ардальонъ Ивановичъ.

— А что, что такое?

— Да какже: только что вы о семьѣ говорили, а теперь вдругъ пушкамъ обрадовались!..

— Ну?.. Пушки — тоже семья, другъ мой... Я съ восемнадцати лѣтъ при нихъ, при пушкахъ.

— Ну, а тамъ-то, у турокъ, развѣ мало такихъ же Ардальоновъ Ивановичей съ дѣтишками?..

— Есть, есть — какъ не быть? — и у нихъ есть... Что жъ —

служба... Присягаль, голубчикъ, присягаль. Хорошо, что прицѣль днемъ взяли: теперь какъ разъ по самому редуту валить будемъ... У меня, голубчикъ, чудесные наводчики... Помните, третьяго дня, гранатой-то — въ какую гущу попалъ... Поди, не мало она у нихъ на роду-то перегадила...

## VI.

## Верховцевъ возвращается.

Бой уже оканчивался...

Занятую позицію тщательно укрѣпляли... Владимирцы рыли траншею. Работа солдатъ шла успѣшно. Лопаты съ первною послѣдностью врывались въ землю, захватывали побольше; руки не чувствовали усталы, потому что цѣлые рои свинцовыхъ пуль носились въ воздухъ... Нѣсколько турецкихъ атакъ были отбиты одна за другой...

Верховцевъ могъ уже вернуться въ Брестовець.

— Какъ ни интересовалъ его бой — онъ не могъ забыть, что съ самаго утра ни онъ, ни его буцефаль не ѣли ничего. Голодь сказывался.

— Вы смотрите, не запутайтесь! — предупреждали его.

— А что?

— Туманъ — немудрено заѣхать къ туркамъ.

— Ну, вотъ — я буду держаться все прямо передъ собой.

— Да вѣдь какъ прямо! Мѣстность пересѣченная!

— Авось!..

— Ну, давай вамъ Богъ! — Вернетесь, привезите перекусить чего-нибудь...

Верховцевъ двинулся въ туманъ.

Шумъ лопатъ, говоръ солдатъ мало-по-малу пропадали позади... Скоро совсѣмъ ихъ не стало слышно... Въ туманѣ мерещилось только посвистываніе и жужжаніе пуль, носившихся въ высотѣ или пролетавшихъ наравнѣ съ головою Верховцева. Онъ сообразилъ, что ему лучше всего будетъ ориентироваться по направленію этихъ самыхъ вѣстниковъ смерти... Онѣ падаютъ позади траншеи, онѣ летятъ на русскія позиціи — въ данномъ случаѣ онѣ оказываютъ ему большую услугу, давая возможность не обиться съ пути... Положимъ, что каждая изъ нихъ

можетъ нагнать его и уложить среди этого тумана на мокрую землю; но инстинкты жизни пока еще не сказывались посреди этой только что пережитой имъ бойни. Казалось, что впечатлительность его была совсѣмъ задавлена... Онъ чувствовалъ только голодь — но о томъ, что вотъ-вотъ его могла сразить какая-нибудь шальная пуля, Верховцеву совсѣмъ и не думалось...

Пока еще путь былъ ничего... По скату перваго кряжа Зеленыхъ Горъ конь подвигался осторожно, обходя встрѣчавшіеся на дорогѣ трупы... Тутъ шла наша атака; Владимирцы растеряли здѣсь нѣсколько десятковъ солдатъ, раскинувшихся на мокрой землѣ, точно они утомились и имъ смертельно хотѣлось отдохнуть послѣ неимовѣрной усталости отъ движенія по сырýmъ понизьямъ и скользкимъ скатамъ.

Зачастую въ туманѣ слышались стоны... Конь пріостанавливался самъ, настораживался, переводилъ ушами и шелъ дальше... Раненые мучатся, исходятъ кровью, но подбирать ихъ пока никому. Тѣ, которые были поближе — уже снесены на перевязочные пункты. Эти легли въ лощинахъ, и ихъ отыскать можно будетъ только утромъ... Верховцевъ и самъ прислушивался, замѣчая, откуда несутся стоны. Изъ Брестовца можно будетъ направить сюда санитаровъ съ носилками...

Вонъ какой-то силуэтъ въ туманѣ...

Нѣтъ, опять пропалъ... Такъ, примерещилось, должно быть... Нѣсколько шаговъ — и опять онъ мелькнулъ, опредѣляется, растетъ... Виденъ весь теперь... Это солдатъ... Солдатъ и есть... Что онъ тутъ дѣлаетъ?..

— Ты что это? — останавливается Верховцевъ.

— А тебѣ какое дѣло?.. Поѣзжай своей дорогой!.. — солдатъ отвѣчаетъ нехотя, точно обрываетъ.

Солдатъ съ ружьемъ, какъ слѣдуетъ... На минуту Верховцеву показалось, что солдатъ просто бѣжитъ... Воспользовался суматохой, отдѣлился отъ своихъ и назадъ... «Подлый трусъ».

— И тебѣ не стыдно?.. Товарищи работаютъ тамъ...

— Ну?.. Чего стыдиться-то?..

— Да какъ же?.. Хорошъ! Ушелъ отъ своихъ.

— Уйдешь, какъ тебѣ плечо перебеютъ...

— Верховцевъ нагналъ его совсѣмъ... Лѣвое плечо у солдата было покрыто кровью...

— Ну, прости!.. Я не видалъ.

— Поѣзжай своей дорогой... Богъ проститъ.

— Садись ко мнѣ...

— Я и такъ, ладно... Дойду... Легкая рана-то.

— Садись, говорю... Крови-то сколько потеряешь, пока дойдешь.

— Кровь что... Иной ее нарочно пускаетъ... Куда тутъ двоимъ-то сѣсть?

— Помѣстимся, ничего... Садись въ сѣдло, а я тебя иззади подержу.

— Ну, коли вашему благородію жаль солдата, что жъ!.. Нашего брата мало жалѣютъ... Еще до боя-то мы и голубчики, и молодцы, и богатыри! А послѣ какъ ранять, такъ никто и плюнуть на тебя не хочетъ. Тоже и генераль. Пока бой — онъ около тебя ластится, ластится, а теперь — гляди-ко, сколько нашихъ лежатъ!.. Ишь стонуть — а кто подберетъ?

Верховцевъ посадилъ раненаго передъ собою... Лошадь, повидимому, очень недовольная, нѣсколько разъ неодобрительно тряхнула головою... Верховцевъ погладилъ ее нагайкой. Благородный буцефаль сообразилъ, что ничего не подѣлаешь, и тѣмъ же добрымъ шажкомъ двинулся дальше...

Пули тутъ уже не проносились вдаль... Онѣ, точно вздрагивая, съ тонкимъ стономъ шлепались о землю. Казалось, что массы жуковъ падали тутъ отъ усталости въ мокрую низину.

— Самое опасное мѣсто!.. — говорилъ солдатъ.

— А что?

— Да на излетѣ здѣсь... Ишь щелкаются... Точно чмокаются, ваше благородіе!

— Хорошо ли сидѣть тебѣ?

— Чудесно... Лучше не надо... Шель, шель, изморился...

— Какъ бы намъ съ дороги не сбиться?

— Зачѣмъ сбиваться? Все впередъ надо — куда-нибудь выѣдемъ!

Туманъ становился все гуще и гуще... Направо и налево мерещились какіе-то холмы — хотя ничего подобнаго не было въ дѣйствительности. Просто тамъ сгущалась мгла, казавшаяся крутымъ скатомъ. Порою какіе-то великаны точно поджидали на пути Верховцева и его товарища... Вблизи уже казалось, что они протягиваютъ свои голыя руки... Доѣзжая вплотъ, Верховцевъ различалъ обезлиствѣвшія деревья съ громадными вытянутыми ему навстрѣчу сучьями... Пули срѣзывали вѣтви, и онѣ шурша валились внизъ... Вотъ лошадь запнулась обо что-то... и споткнулась. Раненый чуть не вылетѣлъ изъ-подъ сѣдла... Опасливо, храпя, лошадь подалась назадъ.



— Ишь, дьяволь! — крикнулъ солдатъ. Плечо заломило, должно быть.

Верховцевъ различилъ внизу силуэтъ убитаго, лежавшаго на мокринѣ, раскинувъ руки...

Конь обошелъ его кругомъ...

Скоро и чмоканья пуль не стало слышно... Совсѣмъ тихо — тихо стало... Издали только раздавалось глухое громыханіе пушекъ. Вблизи ничего не было... Точно въ какое-то мертвое царство попали раненый и его спутникъ...

— Туда ли мы ѣдемъ?

— А шутъ его знаетъ!.. Должно туда — потому палять позади...

— Ну, это еще плохая примѣта... Какъ бы на другую позицію не выхвать?

— Какъ тутъ разберешь?... Словно въ тучѣ...

Вхали еще часъ... Совсѣмъ ничего не стало слышно... Перестали стрѣлять или ихъ занесло — куда воронъ костей не заносилъ... Мокрыя низины, мокрые скаты, порой голое дерево — и больше ничего... Ни одного признака, по которому можно было бы ориентироваться...

— Что за чортъ!.. Куда мы попали? ничего не поймешь!

— Вонъ впереди что-то!..

Дѣйствительно кайма какая-то мерещится... Черезъ нѣсколько шаговъ уперлись въ темный брустверь какой-то траншеи...

— Эй, ребята!.. Кто тутъ?..

Молчаніе.

— Наша траншея-то?...

— Должно быть такъ!

— Эй, кто тамъ?..

Ни слова въ отвѣтъ.

— Ну-ко, постой здѣсь... — Верховцевъ сошелъ съ коня и отдалъ поводья раненому. — Погоди-ко меня, я посмотрю...

Дошелъ до бруствера... Тихо... Пустынно...

— Ребята, есть тутъ кто?

Ни звука...

Вошелъ на брустверь. Заглянулъ внутрь — безлюдье... Длинный ровъ направо и налево пропадаетъ въ туманѣ... Во рву ни души... Сошелъ туда — не видать, чтобы хоть вчера или третьяго дня были здѣсь. Все пусто, ни золы, ни соломы... Что за диво!..

Верховцевъ вышелъ... Оглянулся на оставленнаго имъ спутника... Ничего не видать; и тотъ пропалъ. «Еще сюрпризъ! — подумалъ Верховцевъ. — Ну, ночка!..»

Прошелъ нѣсколько шаговъ — нѣтъ коня.

— Что за чертовщина!.. Эй!..

— Ого!.. — послышалось въ туманѣ вправо.

— Чуть я тебя не потерялъ совсѣмъ!..

— Не трудно... Тутъ растеряешься — ишь марь какая! Дальше бы зашли, — ну, и конецъ... Я ужъ и такъ голосъ подать хотѣлъ...

— Траншея-то пустая совсѣмъ.

— Вотъ-те и праздникъ!

— Ну, праздникъ-то не особенный... Пропадемъ этакъ-то...

Конь уже сталъ выбиваться изъ силъ. Чтобы облегчить ношу, Верховцевъ сошелъ, взялъ поводья и двинулся впередъ нѣшкомъ.

— Куда же идти-то?..

— А Богъ е знаетъ. Правѣй заберемъ.

— Взяли правѣе... Шли еще часъ... Послышались выстрѣлы.

Громче и громче... Нѣсколько пуль чмокнулись въ землю... Еще и еще!.. Вонъ одна прозвенѣла въ высотѣ.

— Этакъ не ладно... Этакъ мы, ваше благородіе, опять назадъ попали.

— Да!.. Опять назадъ.

— Ишь, засвистали, проклятыя!.. Посто-ко-сь?..

Вдали какой-то говоръ слышенъ...

— Никакъ наши?

— Наши и есть... Ну, слава Богу!.. Теперь да голоса... Эй, ребята!..

Ни слова... Говоръ замеръ совсѣмъ... Подѣхали ближе. Ровикъ; въ ровикѣ люди... Легли и къ землѣ прижались. Молчокъ...

— Братцы, что же вы голосу не подаете?.. Тутъ заплутаешься совсѣмъ...

— Да мы... такъ... Сами-то отдыхаемъ... — смущенно заговорили солдатики во рву.

— Это, ваше благородіе, должно, которые бѣжали, какъ бой начался, и схоронились въ ровъ-отъ. Имъ говорить-то и стыдно... Идти назадъ боятся, потому пули, а впередъ — еще страшнѣй; они и лежать.

— Какъ на Брестовець уѣхать, въ какую сторону?..

— Впередъ, все впередъ... Прямо! — оживленно заговорили солдатики во рву, радуясь возможности отдѣлаться отъ неожиданныхъ свидѣтелей...

Верховцевъ двинулся. Черезъ полчаса опять потеряли всё слѣды...

Опять пошли наугадъ... Вдругъ прямо передъ ними въ туманѣ точно раскрылось чье-то огненное око... Чья-то металлическая грудь ахнула такъ, что лошадь прынула въ сторону...

— Слава тебѣ, Господи!.. — перекрестился солдатъ, слушая улетающую впередъ гранату.

— Наша батарея!

— Наша и есть...

— Ардаліонъ Ивановичъ! — слышалось въ темнотѣ...

— Вы ждите, пока здѣсь выстрѣлятъ. А потомъ ваше...

— Ну, ладно... Это кого Господь несетъ?

Черезъ минуту Верховцевъ, сдавъ раненаго санитарамъ, самъ уже пріютился за брустверомъ батареи.

Лошадь едва дышала, понуривъ голову.

— Донюхалась до мокрой прогнившей соломы и давай ее жевать...

Кстати, кепка солдатская попалась. Пожевала, пожевала и выплюнула... И опять понурилась.

## VII.

### Выигрышъ въ 200.000 рублей.

— Артиллеристамъ, братцы, чудесное дѣло!.. — подшучивалъ благодушный Ардаліонъ Ивановичъ: — знай себѣ пали, брустверь ото всѣхъ бѣдъ спасетъ!

— Да это въ такихъ дѣлахъ, какъ сегодня, а тридцать первое августа помните?

— Ну, тоже много ли нашихъ легло? Самые пустяки; артиллеристу, я вамъ говорю, быть убитымъ, что въ лотерею двѣсти тысячъ выиграть! Семейному человѣку самая лучшая служба у насъ... Ты какъ берешь, ты какъ берешь?... Какой прицѣлъ?

И онъ подскочилъ къ новичку.

— Да я, ваше высокоблагородіе!..

— Да я, да я... Ты что по воронамъ палишь... Что тебѣ вороны сдѣлали? Ты турку бить долженъ, а не воронъ! Днемъ вымѣрять какъ слѣдуетъ, — ну, теперь и пользуйся...

Орудіе орало во все свое мѣдное горло, посылая гранату за гранатой къ Кришинскому редуту... Оттуда нѣкоторое время помалчивали или отвѣчали Зеленой Горѣ, какъ вдругъ одна шрапнелька пронеслась сюда и разорвалась позади.

— Ишь, это они насъ нащупываютъ?

— Ничего, пускай... не нащупаютъ...

Еще и еще... Какъ слѣпой палкой, такъ и кришинскія орудія гранатами стали нащупывать вправо и влѣво, впереди и позади батареи.

— Ну-ко, поддай-ко пару!.. Поддай!.. Должно быть, мы имъ солони прищлись, — ишь какъ пробуютъ! — восхищался Ардалионъ Ивановичъ: — поддай-ко, поддай-ко имъ еще... Второе!.. Вотъ такъ чудесно... Эхъ, кабы свѣтло было — посмотрѣть бы... Не доплюнешь, братъ! — грозился онъ воображаемому противнику въ Кришинѣ, — не доплюнешь!.. Плюй, сколько хочешь!..

Верховцевъ подошелъ къ нему. Оказались знакомы.

— А, и вы къ намъ! Гдѣ это вы были-побывали?

— Да вотъ, на Зеленой Горѣ!

— Ну, что — много?.. Много убито?

— Да есть таки...

— И офицеровъ много?

— И ихъ нѣсколько...

— Ахъ ты, Господи! — можетъ, между ними и семейные есть!.. Вотъ за этихъ-то обидно! Холостому что — бей холостого — ни слова не скажу. Ему все одно — что такъ-то болтаться... А семейнымъ-то... Вотъ у меня — Сашенька, Оленька, Машенька... Восемь-съ... Шестъ дѣвочекъ и два мальчика!.. Разумѣется, никто какъ Богъ! Ну, у насъ въ артиллеріи, все-таки, льготно... Все-таки чудесно! Насъ трудно убить!.. Артиллериста, братцы, не убьешь!.. А?.. Не убьешь?

— Зачѣмъ, ваше высокоблагородіе, артиллериста бить?.. Артиллеристъ свое дѣло исполняетъ!

— Ну, вотъ!..

— А жена, дура этакая — то есть она не дура, а такъ, добрая баба — пишетъ: не лѣзь!.. Береги насъ и себя... А куда мнѣ лѣзть? все равно, дальше бруствера не долѣзешь. Въ него упруешься... А онъ у насъ надежный... Надежный, ребята?

— Еще бы, вашъ-бродъ!.. Енъ у насъ матерой, ядреный!..

— Вотъ, вотъ!.. За нимъ, какъ за каменной стѣной!.. Будь спокоенъ!

— Вы часто получаете письма? — спросил Верховцев так — чтобъ сказать что-нибудь.

— Письма, помилуйте, я пишу каждый день — и разъ въ недѣлю женѣ посылаю ихъ — и она тоже... И знаете: очень интересныя. Вотъ, напримѣръ, въ последнемъ письмѣ сообщаетъ: старшая дочка у меня, Сонечка, тринадцати лѣтъ — и уже прекрасно играетъ на скрипкѣ... Я самъ играю — ну, и ее научилъ. Такъ вотъ у насъ въ городѣ былъ концертъ, и Сонечка-то эта въ бѣломъ платьицѣ, съ бѣлой розой на головѣ, играла на скрипкѣ, — ну, и въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ — того — похвалили... Говорятъ, подаютъ надежды... И я радъ... Помилуйте! — отецъ. Какъ мнѣ не радоваться?... Можетъ быть артистка будетъ... Ну, Ванечка въ гимназію ходитъ; одно жаль: по математикѣ плохъ!

И Ардалионъ Ивановичъ сокрушенно развелъ руками.

— По математикѣ плохъ! Изъ двухъ балловъ выбиться не можетъ... Для него эта алгебра...

— Ардалионъ Ивановичъ!

— Чего-съ?

— Позабыли командовать, что ли?

— Ахъ, да... Ну, что готово?... Хорошо... Сейчасъ, господинъ Верховцевъ... Которое? Третье!

Надъ ухомъ у Верховцева грохнуло, такъ что голова кругомъ пошла... Едва очнулся.

— До алгебры еще ничего. А до алгебры дошелъ и стоить!... Ужъ я не знаю, какъ и быть... А Сережка, тотъ у меня дѣловой... Маленькій этакій, круглый — весь въ меня... Фотографическая карточка, въ миниатюрѣ... Тотъ учится чудесно. Изъ него, поди, профессоръ выйдетъ. Я уже такъ не такъ, а въ университетскій городъ на службу переведусь... Образование, батенька, — первое дѣло... Безъ образованія нынче... Четвертое!... Славно!... Поддай имъ пару, поддай! Пускай-ко они восчувствуютъ!

Турецкія гранаты стали ложиться все ближе и ближе...

— Нащупываютъ, Ардалионъ Ивановичъ!

— Ничего... Пускай, дальше бруствера не доплюютъ... Пускай ихъ радуются...

Артиллерійскій поединокъ въ туманѣ все разгорался и разгорался. Кришинскій Редутъ уже оставилъ въ покоѣ Радишевскія позиціи и Зеленую Гору — и обратилъ всю свою злобу на эту батарею, откуда, очевидно, мѣтко добрасывали до него чугунные гостинцы...

— Здѣсь \*\*\*-я батарея? — слышалось гдѣ-то впереди.

— Здѣсь...

— Гдѣ командиръ? — изъ тумана выдѣлился ординарецъ на взмыленной лошади.

— Новое приказаніе?..

— Да, велѣно перестать стрѣлять. Наши уже совсѣмъ укрѣпились. Теперь не нужно давать имъ повода... Врылись мы въ землю отлично. До утра и отдохнуть можно. А тамъ что Богъ дастъ.

— Командиръ — вонъ, видите?

Ординарецъ отправился туда...

— Последнее, что ли? А... Какъ будто я еще и не знаю о приказаніи... Ну, ребятушки, последнее!.. Точнѣе прицѣль возьмите... Ну, готово?... Первое!..

И Ардаліонъ Ивановичъ добродушно потиралъ руки, точно онъ собирался сыграть послѣдній роверъ въ вистъ и затѣмъ почить до утра на лаврахъ.

— Довольно, довольно!.. Господа!.. Будеть!.. Получено приказаніе до утра пріостановиться... — обходилъ батарейный, оповѣщая всѣхъ.

— Полковникъ! Позвольте мнѣ до утра въ Брестовець.

— Письмо женѣ писать?... Ну, поѣзжайте, Ардаліонъ Ивановичъ!..

— Благодарю!.. Господинъ Верховцевъ, вы тоже хотѣли туда. Ничипоренко, коня!..

Ардаліонъ Ивановичъ взобрался на толстую и неуклюжую артиллерійскую лошадь и трусцой, вмѣстѣ съ Верховцевымъ и двумя офицерами еще, покатылъ въ деревню... Отсюда только полчаса пути... Тумана нечего было бояться. Мѣстность тутъ извѣстная, какъ свои пять пальцевъ.

— Скорѣй бы эта проклятая Шлевна сдавалась — и миръ! Надоѣла ужъ война: сидишь, сидишь здѣсь! — жаловался Ардаліонъ Ивановичъ.

— А вотъ погодите до лѣта...

— Пріѣду домой — не узнаютъ меня... Дѣти-то какъ подрастутъ. Только вотъ эта алгебра!.. Я вѣдь ужъ семь мѣсяцевъ какъ изъ дому. Оленька еще въ виду имѣлась, предполагалась, а пріѣду — она ужъ бѣгать будетъ на толстенькихъ ножкахъ. Поди испугается папку-то... Скажетъ: это чужой!.. А?..

Чудакомъ этотъ сталъ надоѣдать Верховцеву... Вдали показались огоньки села. Вотъ красное пятно, словно чей-то воспаленный взглядъ,

мигаетъ во тьмѣ... Должно быть, сторожевой казакъ востеръ развелъ и грѣтся надъ нимъ... Лошадки прибавили шагу... Вдругъ что-то вздрогнуло въ воздухѣ, врылось въ землю около, крикнуло отчаяннымъ голосомъ, разорвалось и съ протяжнымъ дрожащимъ воплемъ осколки понеслись впередъ. Нашихъ всадниковъ забросало землей, взрытой гранатою. Кони шарахнулись въ разные стороны.

— Вотъ неожиданность-то! — опомнился офицеръ, отряхиваясь.

— Слава Богу, что цѣлы!..

— А Ардаліонъ Ивановичъ гдѣ? — оглянулся Верховцевъ...

— Господи!.. Что это!?

Какая-то безобразная масса на землѣ.

— Соскочили съ коней, подошли... Конь, раненый осколкомъ гранаты, бьется, тщетно сясь приподняться на ноги... Кровь хлещетъ у него съ боку... Въ нѣсколькихъ шагахъ — выброшенъ изъ сѣдла Ардаліонъ Ивановичъ.

— Не разбились?... — подходятъ къ нему товарищи.

Ардаліонъ Ивановичъ молчитъ.

Подошли — видятъ, раскинулся... На глазахъ у молодого офицера слезы. Сняли шапки и крестятся...

— Вотъ и выигралъ старикъ нашъ двѣсти тысячъ! Господи, Господи! Что семья-то несчастная дѣлать будетъ?

Полголовы снесено гранатой... Лежитъ Ардаліонъ Ивановичъ и не видитъ ничего, потому что правая рука — на лицѣ, точно онъ заклонился хотѣлъ ею...

Не видитъ, ничего не видитъ. Ни Сашенекъ своихъ, ни Оленекъ... И не увидитъ больше.

## VIII.

### Ночью въ траншеѣ.

Глухой говоръ солдатъ мало-по-малу затихалъ.

Ночь — туманная и сырая — смѣнила сырой туманный день.

Точно намокшее подъ дождемъ черное сукно погребальнаго катафалка — беззвѣздное небо давило молчаливую какъ трупъ, землю... Сонныя вѣтви оголенныхъ осенней непогодой деревьевъ, вздрагивая отъ холода, протягивались во мракъ, будто просили пощады; засыпали на минуту и, вновь просыпаясь, трепетали отъ стужи...

Траншея засыпала...

Сонные огоньки робко, болѣзненно мигали въ печуркахъ, вырытыхъ солдатами... Словно чьи-то воспаленныя очи — красное пламя ихъ опускало свои сѣрыя вѣки, и изъ-подъ золы едва-едва замѣтный взглядъ мало-по-малу остывалъ въ холодномъ дыханіи влажной ночи...

Старикъ Малыгинъ — въ траншеѣ... Онъ вмѣстѣ съ Мирской пріѣхалъ въ Брестовець — и не усидѣлъ такъ. Когда окончилась работа — Малыгинъ добрался верхомъ до боевыхъ позицій и по запутанному зигзагу соединительныхъ ложементовъ дошелъ, усталый и измученный, до перваго кряжа Зеленой Горы. Конь остался внизу, на рукахъ у донца, который разумѣется отчаянно проклиналъ докторскую прихоть, общавшую ему скверную ночь среди этого холода и влажности... Малыгину не спалось. Какъ ни велика была жажда отдыха — глаза не смыкались, стужа пронимала насквозь, укрыться было нечѣмъ.

Изъ землянки генерала свѣтился огонекъ... Двое солдатъ рядомъ шопотомъ разговаривали между собою. Невольно сталъ вслушиваться Малыгинъ.

— Тоже, братъ, и его турки, должно, забили...

— Какъ не забить!.. Турки всегда съ полнымъ удовольствіемъ поперекъ горла тебя чикнуть...

— Это точно... Сколько теперь нашихъ полегло... Изъ-за его бунтовъ...

— Сказываютъ — изъ Россіи еще прутъ...

— Валомъ валить народъ... Нельзя!..

— Приказано...

— Оно бы ничего... да только харчъ плохъ!

— Харчъ, братъ, здѣсь слабкій, не разѣшься... Этотъ старикъ, про котораго ты рассказывалъ... Парфеновымъ прозывался?

— Во-во!

— Мы его тоже знавали...

— Хорошій былъ, добрый... Сказываютъ, въ Питерѣ свицаромъ служилъ — по своей охотѣ воевать пошелъ!

— Ишь ты... Безстрашный!..

— Егорьевскій кавалеръ... Въ Севастополѣ еще крестикъ-то получилъ... Больно ужъ храбрѣе былъ. Мы съ нимъ вмѣстѣ на третьемъ редутѣ... Дѣйствовали... Про Горталова слыхалъ?

— Ну еще!

— У него мы и были. Пошли мы съ редута — Парфенова вдарило... Я его подъ руку — веду. И вдругъ, братецъ ты мой, какъ меня звизданетъ въ бокъ!..



— А!..

— Свѣта не взвидѣлъ... Совсѣмъ изъ глазъ все ушло, такъ и не помню, гдѣ Парфенова оставилъ!

— Должно, тамъ онъ и легъ?

— Какъ не лечь — ляжешь!.. Поди, и пононѣ лежить тамъ, а?... Косточки однѣ!..

Курносый паренъ — это былъ онъ — уже выльчившійся, вернулся въ свой полкъ.

— Коли бы не сестра милосердная — дай ей Богъ — и мнѣ бы не оправиться... Какъ за сыномъ роднымъ ходила!

— Онѣ, эти сестры, добрыя... Къ нашему брату, солдату — ласковыя.

— Ну, а доктора съ вами, братцы, какъ? — спросилъ Малыгинъ.

— Что доктора!.. — не разсмотрѣлъ его курносый паренъ. — Есть и хорошіе, а есть и такіе, что поковыряетъ, поковыряетъ да и прочь пойдетъ! А сестра нѣтъ: сестра отъ тебя никуда... Съ ними только и отходилъ я... Докторъ больше къ офицеру приверженъ, а сестра милосердія — солдата жалѣетъ... Докторъ пришелъ къ тебѣ — перевязку сейчасъ прочь сорвалъ — и готово, потому ему некогда; а сестра давай ее отмачивать, нитку за ниткою, да все тебя голубчикомъ, да все тебя роднымъ называетъ!..

— А ты гдѣ лежалъ?

— Недалеко тутъ... Поручикъ Харабовъ съ нами былъ. Тоже его подъ Плевнемъ испортило, такъ онъ плакалъ, какъ съ сестрами прощался!

— Умеръ?...

— Нѣтъ, въ Рассею его обратили... На выздоровленіе, значить, домой... Пускай тамъ оправляется. Тоже и поручикъ этотъ — храбрѣй!.. Какъ съ отцомъ роднымъ — мы съ нимъ были... Тихій такой да привѣтливый — а въ дѣлѣ орелъ орломъ... Сказываютъ, въ полкъ не будетъ, письмо вишь пришло... Совсѣмъ его покалѣчило...

И опять молчаніе, и опять стынетъ ночь...

Заснули, наконецъ, и эти два солдата... Малыгинъ всталъ — ему не дежалось... Больные нервы старика не выносили этой ночи, этой сырой траншеи...

Въ сумракѣ можно было различить смутные сѣрые силуэты солдатъ, прислонившіеся къ валамъ, лежавшіе въ сыромъ рвѣ точно мѣшки... Имъ сладко спалось. Видимо — привыкли и къ слякоти, и къ холоду... Стужа сквозь рваныя шинели щипала ихъ — они просы-

пались, но тотчасъ же только потѣснѣе приваливались другъ къ другу... Теплѣе было такъ... Ровное дыханіе слышалось... Кое-гдѣ, на соломѣ — спало офицерство, сладко похрапывая — до перваго огня, до первыхъ ударовъ утомленныхъ тоже пушекъ, точно смежившихъ на время свои жадные зѣвы...

Надъ валами выдѣляются фигуры часовыхъ...

Они одни бодрствуютъ за всю траншею...

Тяжело, да дѣлать нечего... Иной, на мгновеніе поддавшись сну, опустить голову, но, тотчасъ же очнувшись, еще внимательнѣе всматривается впередъ — въ сумракъ, въ туманъ, во мглу — точно въ ней можно различить что-нибудь, кромѣ неопредѣленныхъ силуэтовъ деревьевъ, еще оставшихся между нашими и турецкими позиціями... Какими-то великанами казались въ темнотѣ эти деревья... Чудилось, что они протягиваютъ къ вамъ свои руки, окованныя цѣпями...

— Ну, что? — шопотомъ спросилъ у одного изъ часовыхъ Малыгинъ. — Надоѣло стоять?...

— Ничего... Не спится... Захотѣлъ бы спать, заснулъ бы!

— Это какъ?

— Да кто же мнѣ помѣшаетъ...

Малыгинъ всмотрѣлся.

— Виновать... Я васъ вѣдь принялъ за часового...

— Ничего, помилуйте...

— Съ кѣмъ имѣю честь?...

— Верховцевъ...

— А, батюшка... Мы васъ, значить, читаемъ... Такъ вотъ вы гдѣ... Радъ васъ повидать... А я докторъ Малыгинъ...

— И объ васъ слышалъ... Юноша-то, что недавно на Шипкѣ отличился...

— Сынъ... Горжусь, батюшка... Орелъ онъ у меня... Два Георгія уже... Богъ дастъ, можетъ быть, и третій золотой будетъ... А только нѣтъ... Лучше не надо... Знаете, сердце радуется — а и жутко тоже... Думаешь: какъ вдругъ вмѣсто Георгія-то — ухлопають?... Ихъ, сынишекъ, у меня двое... Этотъ былъ любимецъ матери... Убьютъ его — и старухи моей не станетъ... Пуще всего я боюсь этого... Не ровенъ часъ... Знаете — двадцать лѣтъ не молился, а тутъ молиться началъ!.. Господи — заступи и спаси!.. Пускай онъ дѣло свое исполняетъ, какъ слѣдуетъ русскому человѣку... Онъ своей волей пошелъ, я считалъ себя не въ правѣ мѣшать, ну, а все-таки сохрани его Матерь Божія!.. Кандидатъ университета!..

Скоро и эполеты надѣнетъ. Энтузіастъ онъ у меня. Теперь только онъ охладѣлъ. Бхаль сюда, знаете, какъ на святое дѣло, а тутъ говорить, что все оно загаженнымъ ему представляется...

— Это какъ?

— Да такъ — нечистыми руками захватано... Юношу-то моего — это точно водой холодной... Остыть не остылъ, впрочемъ, а только въ послѣднихъ письмахъ у него горькая нотка звучить...

— Да это часто здѣсь случается теперь... Слыхали вы объ офицерѣ, который въ Зимницѣ покончилъ съ собой?

— Грустно... Большое дѣло!.. Нельзя и обойтись безъ большихъ жертвъ, безъ разочарованій.

— Что значить жизнь одного!..

«Что значить жизнь одного? — думалось Верховцеву: — одного въ этой страшной эпопее, гдѣ торжествующая смерть широкимъ разливомъ, ломая плотины и смывая берега, захватываетъ и топить въ своихъ безжалостныхъ волнахъ цѣлыя племена, цѣлыя народы, цѣлыя царства!»

Товарищи самоубійцы поставили надъ нимъ убогій крестъ... Далеко на чужой сторонѣ лежитъ на побережьи дунайскомъ этотъ страдалецъ... Съ печальнымъ ропотомъ набѣгаютъ голубыя волны на отмельные берега, — точно хотятъ съ своею вѣчной жалобой дорваться до одинокой могилы... Точно несутъ онѣ вѣсти съ далекой любимой родины... По ночамъ еще шумнѣе прибой волнъ, — словно онѣ хотятъ смыть этотъ крестъ, смыть эту скорбную надпись, разбить деревянный гробъ и унести съ собою мертвеца далеко, далеко... Точно чьи-то блѣдныя лица изъ волнъ поднимаются бѣлые паруса и, взглянувъ на одинокую могилу, — тонуть опять въ этомъ колеблющемся просторѣ...

— Какъ тихо тамъ!.. — задумался Малыгинъ, прислушиваясь къ тишинѣ ночи.

— Гдѣ тамъ?

— У турокъ... Также затомились и спать... Я думаю, и они не понимаютъ, ради чего имъ умирать приходится. Какъ и наши кирилки.

— Это что же такое?

— Да я кирилками солдатиковъ называю... Спать тамъ теперь — пока какому-нибудь шальному часовому не вздумается выстрѣлить, — а тамъ и пошла писать... Если ихъ спросить, за что они гибнуть, вѣрно отвѣтятъ, что такъ угодно, во-первыхъ, Аллаху, во-вторыхъ, судьбѣ, въ-третьихъ, султану въ Стамбулѣ... Хотя Ал-

лахъ, разумѣется, не принималъ во всемъ этомъ никакого участія... Не такъ ли?..

— Ну, эти, пожалуй, знаютъ... Мы къ нимъ пришли — они защищаются...

— Будьте увѣрены, что тѣ же наши кирилки... Случалось ли вамъ видѣть ихъ у насъ въ госпиталяхъ?

— Нѣтъ!

— Предобродушнѣйшій народъ... И съ нашими сживаются чудесно... Я разъ прохожу по палатѣ и вижу слѣдующую картину. Одному турку только что отхватили обѣ руки, залили въ гипсъ какъ слѣдуетъ, лежитъ. Бѣсть самъ не можетъ. Принесли супъ... Смотритъ онъ на него — и только; какъ вдругъ рядомъ раненый нашъ солдатикъ приподымается и давай его кормить съ ложечки. Какъ нянька ребенка... «Ну, бритый чортъ!» поощряетъ его... Накормилъ, хлопнулъ его легонько мокрой ложкой по носу и успокоился...

— Вы давно ли пріѣхали сюда, докторъ?

— Да третьяго дня...

— Съ госпиталемъ?

— Нѣтъ, только двухъ сестеръ привезъ... Тутъ у васъ народу мало — обернуться не съ кѣмъ... Санитаровъ не хватаетъ. Мои сестры совсѣмъ съ ногъ сбились...

— Недаромъ солдаты такъ благоговѣютъ передъ ними!

— Еще бы... Святыя!..

— Зналъ я одну въ Питерѣ, тоже собиралась сюда... И начала было готовиться... Да едва ли — гдѣ ей!

— Вы не говорите! большинство-то не отъ нужды... Изъ богатыхъ семей сколько — выхоленныхъ да избалованныхъ...

— Нѣтъ, та моя была... артистка, съ талантомъ, съ огнемъ, красивая...

— Я знаю одну такую между сестрами... У меня она теперь...

— Не та... Та едва ли поѣхала... Такъ я думаю, блажь была — а потомъ вѣрно на сцену опять потянуло... Къ блеску, къ рукоплесканіямъ, къ восторгамъ толпы...

— Какъ звали вашу знакомую?

— Мирской...

— Анной Александровной?..

— Да, вы почему знаете ее?..

— Помилуйте: дочка-то моя!.. Я ее такъ называю — своей дочкой... дочка-то моя — со мной здѣсь...

— Какъ, Мирская здѣсь?..

И Верховцевъ схватилъ доктора за руку.

— Тутъ у меня...

— И ее сейчасъ можно видѣть?..

— Ну, нѣтъ... Сейчасъ она спитъ — истомилась, а завтра вы ее встрѣтите на работѣ — милости просимъ къ намъ на перевязочный пунктъ!

— Докторъ — какъ вы меня обрадовали, какъ вы меня обрадовали!.. Знаете, точно солнцемъ освѣтило... Въ эту темень!.. И теплѣе стало!

— Да вы не влюблены ли?

— Нѣтъ, помилуйте, что за чепуха!.. Какая тутъ любовь, — просто такъ. Очень ужъ человекъ душевный... Такъ я къ вамъ завтра.

— И чудесно! А теперь я оставляю васъ... Посмотрѣлъ — будетъ... Съ утра за работу, а у васъ вѣдь не заснешь здѣсь... Поѣду къ себѣ въ землянку... Прощайте, Верховцевъ!..

Малыгинъ соскочилъ съ банкета...

Нога ушла въ грязь, въ которой неподвижно лежали спящіе солдаты...

Приходилось переступать черезъ эти сѣрыя фигуры; часто не считавъ, Малыгинъ попадалъ ногой на нихъ, но тѣ только повертывались и снова засыпали... По траншеѣ ему пришлось идти довольно долго... Идти чуть не ощупью... Наткнулся было на орудіе, вдвинутое сюда, чуть не упалъ на фейерверкера, спавшаго подъ нимъ.

— Кого чертъ носить?! — проводилъ его тотъ.

Холодная мѣдъ пушки была покрыта влагой. Туманъ осаждался на нее крупными каплями... Казалось, что это мѣдъ точитъ слезы по тѣмъ, кого вчера уложила она на холодную землю... Въ сторонѣ около орудій было снесено нѣсколько труповъ, убитыхъ къ вечеру и еще не снесенныхъ внизъ. Во мракѣ видны были только одни неподвижные силуэты...

Соединительная траншея шла отсюда налѣво...

Ночью — теперь она была пуста... По крайней мѣрѣ живыхъ въ ней не было. Малыгинъ спотыкался только о мертвыхъ, тоже еще не спущенныхъ въ лощину. Видимо санитары засвѣтло успѣли ихъ донести только сюда и здѣсь оставили до разсвѣта... Трупы лежали въ шинеляхъ, казалось, что они спали тамъ, вытянувшись съ удовольствіемъ на бѣлой холстинѣ носилокъ, пользуясь минутою досуга

и удобства, сравнительно съ живыми товарищами, которые должны были ежиться въ грязи...

Соединительная траншея шла зигзагомъ... Малыгинъ поворачивалъ то вправо, то влѣво, наталкиваясь на глыбы сырой земли, оступался... Прошелъ такъ съ версту — вдали блеснули огоньки...

— Что тутъ такое, братцы?.. — не узналъ онъ мѣста.

— А тутъ вторая траншея... Резервы здѣсь, ваш-бродь! — слышалось ему...

Отъ резервовъ внизъ пришлось идти цѣлиной...

Сырой скать подь ногами. Тонуть онъ въ жидкой слякоти, путаются въ кустахъ... Наконецъ, гдѣ-то въ сторонѣ, слышалось ржаніе коней... Малыгинъ приостановился.

— Архиповъ? — крикнулъ онъ своему донцу.

— Издѣсь!..

— Давай коня! Что, заждался?

— Да... Кони — затомились... Давно бы имъ корму дать пора.

Тяжело взобравшись на смиреннѣйшаго изъ буцефаловъ, Малыгинъ поѣхалъ въ Брестовець, который спалъ уже, весь окутанный туманомъ, точно ушедшій сплошь въ какую-то тяжелую, непроницаемую тучу...

## IX.

### Въ госпиталь.

Крайне сумрачный ѣхалъ Верховцевъ назадъ. Ёхалъ опуствя голову, почти не замѣчая, какъ и куда идетъ лошадь... Рука, державшая поводья, ослабѣла. Конь едва ступалъ. Вспоминалось все пережитое; все, еще вчера казавшееся былью, а теперь, какъ старая сказка, отошедшее въ сумерки, слившееся съ цѣлымъ роємъ обманувшихъ надеждъ и неоправдавшихся упованій... Яркій ореолъ, окружавшій далекій призракъ войны, далеко поблекъ, когда онъ подошелъ къ нему поближе... Поблекъ совсѣмъ, и отвратительныя видѣнія настоящаго сулили одни тревоги и разочарованія...

Утромъ выпалъ первый снѣгъ... Выпалъ и стаялъ. Остался только кое-гдѣ рѣдкими клочками на черной слякоти... Грязными клочками... Онъ только разжидилъ эту слякоть, не сковалъ ее, не сдѣлалъ путей болѣе твердыми... Кое-гдѣ на деревьяхъ бѣлымъ пухомъ

висѣли снѣговые комья, поздреватые, рыхлые, точно это не былъ снѣгъ, ноябрьскій крѣпкій снѣгъ, точно это туманъ сгустался въ какой-то дряблый студень... На кровляхъ землянокъ — тоже бѣлѣлъ онъ; но его насквозь просочила грязноватая влага... У уцѣлѣвшихъ плетней — тоже словно гнили эти первые подарки близкой зимы... Не нашей холодной, красивой, могучей зимы, а слабой и жалкой, южной зимы, которая въ теченіе трехъ мѣсяцевъ каждый день все будто собирается умирать, но никакъ умереть не можетъ. Чахлая, блеклая, влачить она свою большую жизнь среди тумана и сумрака; серебряный шлейфъ ея ослабительнаго платья — весь въ грязи и слякоти, яркія очи слѣпнуть въ вѣчной мглѣ... А если и разгонитъ эту мглу благодатное полу-денное солнце — оно смертью дышитъ на чахоточную зиму далекаго юга...

Верховцевъ еще издали различилъ Мирскую.

Онъ нѣсколько приостановился.

Очень ужъ поразительна была переменѣна, происшедшая съ ней... Знакомыя черты — да не то выраженіе, совсѣмъ не то... Не тѣ глаза... Какіе-то поблекшіе, точно осеннее небо въ тучахъ; сумерки, переходящія въ ночь... Нѣтъ яркихъ заревыхъ лучей... Вся не та. Будто только похожа на видѣнную имъ послѣдній разъ въ Петербургъ... Влѣдная копія... Глаза тогда были полны блеска и жизни — теперь въ нихъ одно утомленіе; со щекъ сбѣжалъ румянецъ; точно завали и сузились губы; даже коса стала какая-то жидкая... Совсѣмъ не та...

Долго всматривался онъ — не вѣря, чтобъ нѣсколько мѣсяцевъ могли такъ переменить ее...

Ишь рука какая!.. Онъ помнить эту руку... Изящную съ тонкими, нѣсколько длинными пальцами... Выхоленную... А теперь... Да, исхудала бѣдная, вѣрно тоже недаромъ далось. Изломало всю... Совсѣмъ она стала подстать и этому гнилому ноябрю, и этимъ гнилымъ санитарамъ, что насквозь прозеленѣвшіе возились около, и этой гнилой больничной землянкѣ... Совсѣмъ подстать...

— Анна Александровна?..

Отвела глаза отъ больного, надъ которымъ возится старикъ Малыгинъ.

— Не узнаете?..

— Какъ не узнать!.. Верховцевъ... Я рада васъ видѣть... Вотъ гдѣ встрѣтились.

— Гора съ горой не сходятся...

— Да!..

И голосъ какой-то утомленный, точно надтреснутый... Видимо что-то разбилось внутри... Безнадежное что-то слышится. Такъ звучать голоса людей, знающихъ, что смерть уже близка къ нимъ, и покорно ожидающихъ ея властнаго призыва...

— Рада васъ видѣть, очень рада... Что вы такъ жалостно смотрите?

— Такъ я... Обстановка...

— Полноте... Я перемѣнилась сильно, дѣйствительно... Я сама знаю...

Женскій инстинктъ сказался... Пытливо въ глаза ему заглянула.

— Правда вѣдь, а?..

— Не очень... Погодите до весны — оживете и расцвѣтете...

— Новое вырастетъ, а поблекшее — опадеть... Ему не расцвѣсти... Да я и не жалѣю... О чемъ жалѣть!

А у самой грустная нотка слышится, больная... Точно что-то вздохнуло внутри.

Я не жалѣю прошлаго, Богъ съ нимъ. Что было хорошаго?.. А теперь, вотъ видите, хоть маленькое дѣло да настоящее.

— Значитъ вы по-своему довольны, счастливы?..

— То есть знаете... Была бы довольна, коли бъ люди не были такъ... подлы, — нѣтъ, не то... Распущены, небрежны, если хотите... Вотъ, напримѣръ...

Заволновалась. Румянецъ набѣжалъ на лицо. Волной къ самымъ вискамъ хлынулъ, чтобъ эти черты показались еще истомленнѣе, когда онъ отхлынетъ.

— Вотъ, напримѣръ, — марли нужно — нѣтъ... Сегодня хинина не хватило. Руки сложишь... Требовали, требовали, — а они вмѣсто хинина намъ магнезій послали... Эти хлыщи, набѣжавшіе сюда изъ Питера, просто изъ рукъ вонъ какъ плохи... Понабрали ихъ изъ jeunesse dorée, — видѣли бы вы, какой кавардакъ у нихъ. Толку не добьешься...

— Да и я ихъ встрѣчалъ — хвостъ наотлетъ, глаза выпучены, языкъ высунуть, на лицѣ усталъ, ноги во всѣ стороны, точно онъ ни вѣсть что дѣлалъ, а вѣдь и толку никакого отъ его работы, разсовался во всѣ стороны и разболтался...

— Вотъ и возись... Если бы не это, если бы средства были — сеосно... Наши мрутъ... Какъ мухи осенью.

— Сестры?..



— Да... Знаете, я все это не такъ рисовала себѣ... Совсѣмъ не такъ... Ожидала совсѣмъ другого. Но я не каюсь, видѣть Богъ — я здѣсь счастлива... Какъ-то въ свободную минуту попались мнѣ газеты... Развернула одну — прямо на «Театръ и музыку» наткнулась. Какой-то рецензентъ оповѣщаетъ публику о событіи — приѣхала-де наша знаменитая Глѣбова и думаетъ осчастливить своей игрой какой-то клубъ... И потомъ фраза за фразой и все къ вящему поясненію, какое-де это имѣетъ громадное значеніе и какая должна быть прекрасная дама эта Глѣбова... Я даже расхохоталась. Вотъ — думаю — изъ чего событія дѣлаются!.. Около Плевны была. Вдали слышатся пушечные выстрѣлы, ружейный огонь то гаснетъ, то снова вспыхиваетъ. Въ шатрѣ у меня раненные стонутъ... Одинъ умирающій вслухъ молится... А тутъ событіе — какая-то Глѣбова осчастливила какой-то клубъ... И я жила вѣдь когда-то такую жизнью. Какіе мелкіе интересы, какая низменная, жалкая жизнь! Явится раздутая бездарность — къ ея услугамъ какая-нибудь газетная мошка — и событіе налицо... Да, знаете, только здѣсь я поняла, какъ пуста у насъ дома жизнь русской женщины. Я не этого только случай... Слишкомъ смѣло было бы Глѣбову обобщать... Нѣтъ, вы возьмите все... Матери, на примѣръ: нельзя же имъ совсѣмъ ужъ въ дѣтей да въ хозяйство уйти... Живая душа и другого дѣла просить. А какое дѣло-то? Бѣлье мужу чинить, книжки хорошія читать, отъ которыхъ одно — безплодныя порыванія — куда неизвѣстно. Я прежде бывало, какъ совалась во всѣ стороны, къ каждому, кто поразумнѣе покажется, пристаю... «Что дѣлать? скажите. Дѣла хочу, а какое дѣло есть — не знаю!» Разумный человѣкъ уставится лбомъ, поворочаетъ, поворочаетъ мозгами да и ляпнетъ: «Читайте, Анна Александровна, есть много хорошихъ книжекъ» — и сейчасъ каталогъ!.. Жаждавшіе дѣла ушли служить — телеграфы тамъ, медицина — но это все ради хлѣба, это все не то. Тутъ только я нашла, что намъ надо. Съ живымъ человѣкомъ возишься и видишь, что каждая минута не пропадаетъ безслѣдно, что всюду, куда ты вступишь, съ тобой вмѣстѣ вселяется и благодать Божія...

— Но это все временное... Война кончится...

— Постойте, я еще не все... Знаете, рѣдко приходится у насъ высказываться, такъ ужъ каждымъ случаемъ пользуешься. Вотъ, на примѣръ, приходитъ мнѣ въ голову не разъ: почему намъ, женщинамъ, не отдадутъ больницы совсѣмъ?... Вѣдь нужно сказать правду, спорить вы не будете — мы честиѣ васъ. У насъ не было бы злоупотребленій,

у насъ не больница бы существовала для врачей, экономовъ тамъ, что ли, а эти всё для больныхъ. И вся прислуга бы женская... Еще — сумасшедшіе дома... Тутъ, мнѣ случалось, бывали солдатики помѣшанные. Съ мужчинами — ладу у нихъ нѣтъ, подойдешь къ нему, да поласковѣе — смотришь, и успокоился... Пусть бы намъ отдали сумасшедшіе дома. Тюрьмы... Ей Богу, мое убѣжденіе, что никакіе ваши криминалисты не сдѣлаютъ того съ преступникомъ, что сдѣлали бы мы... И мало ли еще такихъ... Вы меня понимаете?..

— Какже... Какже... Только у насъ это еще мечта!

— Что жъ дѣлать? Когда-нибудь и не мечтою будетъ, возмутся люди за умъ... Посмотрите, какая разница въ тѣхъ госпиталяхъ, гдѣ есть женщины, и тамъ, гдѣ ихъ нѣтъ, или очень мало! Вездѣ и во всемъ...

— Ну, вотъ и я... Здравствуйте, коллега!

И Малыгинъ пожалъ руку Верховцеву.

— Я, знаете, всёхъ, кто статскій мундиръ носитъ, коллегами зову...

— Вчера — обернулся онъ къ Мирской — въ траншеѣ познакомились. За часового въ темнотѣ я его принялъ... А онъ, изволите видѣть, замечтался...

— Ты это что?..

Малыгинъ обернулся съ удивленіемъ на солдата, который влѣзъ въ землянку въ полной формѣ, съ ружьемъ вольно на плечѣ.

— Тебѣ что?

— Съ позицій, ваш-бродь.

— Зачѣмъ?.. Ты, любезный, не сюда попалъ... Здѣсь больные.

— Такъ точно...

— Ну?..

— Точно что, больные... И я тоже, ваш-бродь...

— Что и ты тоже?..

— Тоже, значитъ...

— Боленъ, что ли?

Курносый парень улыбнулся.

— Зачѣмъ боленъ, ваш-бродь?.. Здоровъ совсѣмъ; дай Богъ докторамъ — вылѣчили.

— Такъ зачѣмъ же ты приплелся сюда?

— Махонькая ранка... Я бѣ не пошелъ, да фитьфебель говорить: «Ступай, дуракъ!» А то я что жъ, я завсегда радъ стараться...

— Куда же ты раненъ?

— Господи! — наклонилась Мирская: — какъ же ты шелъ?

— А такъ и шелъ, сестрица... Что мнѣ дѣлается... Оно точно что въ ступу мнѣ вдарило, а только я больше на пятку.

Правая нога у курносаго парня была внизу вся залита кровью, сочившейся сквозь сапогъ...

Малыгинъ только теперь замѣтилъ рану...

— Ну, братъ, коли съ позиціи сюда шесть верстъ прошелъ — значить, пустяки!

— И я говорю — пустяки, да фитьфебель...

— Сними сапогъ...

— Пробовалъ... Не могу!

— Почему?

— Раскровянило тамъ, должно быть... Точно каша въ сапогъ...

Малыгинъ заботливо взглянулся... Сапогъ пришлось разрѣзать...

— Вотъ люди-то! — вскрикнулъ онъ. — Какъ же это ты шелъ... У тебя кость въ ступнѣ перебита пулей...

— Не извольте беспокоиться, ваш-бродь, потому какъ я совсѣмъ вниманія не беру... Перевяжите, сдѣлайте Божецкую милость, да я и пойду...

— Куда пойдешь-то?

— А назадъ на позицію.

— Ну, это, братъ, оставить надо... Мы сейчасъ тебя уложимъ...

— Никакъ это невозможно, ваш-бродь! Коли такихъ, какъ я, класть — шпиталей не хватитъ!

— Ладно, братъ, не толкуй много... Тутъ безъ резекціи не обойдешься... Кости тебѣ нужно будетъ разбитыя вынуть.

— Костяжки-то отчего не вынуть, ваш-бродь, коли онѣ ни къ чему... — философствовалъ курносый парень: — Коли вынуть, такъ вынуть... Мы согласны!..

— Объясни ты мнѣ, Христа ради, какъ же ты шелъ сюда?

— А такъ... Ружье вольно — шагомъ маршъ!

— Я не о томъ! Больно вѣдь было?

— Я на пятку больше... Потому пятка у меня здоровая, пуля ее не тронула...

— Чего жъ ты такой веселый былъ, когда сюда вошелъ?

— А сестрицу повидаль... Обрадовался... Выходила-то меня сестрица!

Мирская всмотрѣлась...

— Да это ты, Семень?!

— Онъ самый какъ есть, сестрица... Вотъ олять... Только это пустяки дѣло!

— Ну, не совсѣмъ... Едва оправился... И олять его мучить придется... — обратился Малыгинъ къ Верховцеву.

— Вы это, ваш-бродь, не сумлѣвайтесь... Плюнуть стоитъ — потому кость сама выйдетъ. Чего ей сидѣть, коли ее расшибли... А я. помилуйте, — я съ полнымъ удовольствіемъ... Потому какъ ни какъ, а теперьчи безъ Егоріевского креста не обойдемся...

— А нога-то?

— Нога заживетъ... Что ей... Нога у меня, ваш-бродь, здоровая... Вы скоропаленты будете?.. — ни съ того, ни съ сего обратился больной къ Верховцеву.

— Да! — улыбнулся тотъ. Мирская засмѣялась тоже.

— То-то, я по облику... Не будетъ ли вашей милости...

— Курить вѣрно?

— Нѣтъ, какъ же можно, помилуйте, я бы не смѣлъ... А мнѣ письмо домой къ родителямъ написать... Все, дескать, благополучно, живъ, здоровъ...

— А рана-то?

— Какая это рана, ваш-бродь! Такъ, прокламація одна... Живъ и здоровъ; скоро, какъ замиренье будетъ — вернемся и съ Егорьевскимъ крестомъ...

— Хорошо, я напишу...

Должно быть защипало... Судорога пробѣжала по лицу курносаго парня.

— Что?..

— Оказываетъ...

— Что оказываетъ?.. Рана-то тебя оказываетъ?..

— Ничего, пуцай ее... Терпѣть можно...

— А ты не терпи... Стони, коли больно... Хуже сдерживаться...

— Солдату — да стонать, это, ваш-бродь, — бабѣ... А солдату зазорно... Мы эти раны видали, какія онѣ есть... Я такъ полагаю, ваш-бродь, — мнѣ перевязаться, да перебудься — и назадъ!

— Я тебѣ говорю, что кости надо вынуть...

— Которая, ваш-бродь, разбитая, такъ она и сама на позиціи выльзетъ. Чего ей сидѣть-то?.. Что ей мѣсто-то просиживать даромъ... Ишь, олять себя сказываетъ... Льзетъ должно...

— Когда же это тебя?..

— А сегодня утромъ... .

— Развѣ опять что было?

— Никакъ нѣтъ... Отъ своей глупости... Наши сказывали, что тутъ недалечко передъ нашей траншеей такой корень скусный растеть, что твоя картошка... Я и вылезъ... Ну, а турки извѣстно — что имъ — давай въ меня стрѣлять! Стрѣляли, стрѣляли, а я здорово этой картошки набралъ и уже назадъ ворочался — да этакъ въ сторону — гляжу — кепка наша лежитъ... Должно, третьяго дня, какъ на вылазку наши шли, кто потерялъ... А у меня, ваш-бродь, кепка совсѣмъ разодраши была... А тутъ во — гляжу — лежитъ... Во — бери ее, совсѣмъ новая. Пошелъ, взялъ, — только на себя надѣлъ и старую не успѣлъ бросить, — какъ меня вдарить палкой по ногъ... Спервоначалу ничего и не расчухалъ — а какъ кровь потекла — понялъ... Такимъ манеромъ, ваш-бродь... А все-таки кепка у меня теперь во — новая! И картошку эту ихнюю я принесъ... Ъли ее... Корень хорошій... Только противъ нашей картошки слаще будетъ...

Нѣсколько дней уже Мирская чувствовала себя скверно. Голова была страшно тяжела. Она съ усиліемъ подымала ее по утрамъ съ подушки, цѣлый день съ трудомъ носила ее, точно налитую свинцомъ. Зачастую, не окончивъ работы, она останавливалась посреди перевязки, стараясь дать себѣ отчетъ — что она такое дѣлаетъ, гдѣ она?.. Кто это говорить кругомъ, кто зоветъ ее?.. Потомъ, употребляя дорого стоявшія ей усилія, она опять возвращалась къ сознанию, опять принуждала себя продолжать работу, хотя руки у нея ходили ходуномъ, хоть Малыгинъ гналъ ее въ постель изъ этого отравленнаго тифомъ госпиталя...

Она сама чувствовала необходимость — улечься, отдохнуть... Она знала, что съ нею неладно, что ей плохо придется потомъ, если она сейчасъ же не уйдетъ куда-нибудь отсюда. Но она не могла сдѣлать этого. На весь госпиталь было только двѣ ихъ. Только двѣ! Оставь его она — другая не справится съ сотнями больныхъ и раненыхъ, обращавшихъ къ ней свои воспаленные взгляды, отъ Мирской ожидавшей ласки, привѣта и спасенія.

Да, нужно было работать во что бы то ни стало — нужно!.. Будь что будетъ, а отойти отъ дѣла нельзя. Никакъ нельзя.

И она работала, не складывая рукъ, она старалась не терять ни

одной минуты на бесплодный отдыхъ. Она точно чувствовала, что скоро уйдетъ отсюда. Скоро, очень скоро! Ея не будетъ здѣсь — нужно напоследокъ кончить все...

— Послушайте, Анна Александровна, голубушка! — умоляя ея Малыгинь.

— Опять?

— Да что опять? Вѣдь уходите себя!..

— Авось устою... Главное пересилить.

— Пересиливать болѣзнь хорошо въ здоровой обстановкѣ... А здѣсь куда вамъ бороться.

— Да вѣдь кому же дѣло-то дѣлать?

— Некому — это точно. А только пожалѣйте и себя.

— Что тутъ жалѣть!.. Тысячи мрутъ, докторъ... Чѣмъ я лучше, по-вашему?

Сегодня утромъ зато поневолѣ исполнила совѣтъ доктора.

Открыла глаза... Хотѣла поднять голову... Нѣтъ! Точно кто-то ее приковалъ къ подушкѣ... Или отяжелѣла, такъ что силы не хватаетъ... Въ окно глядитъ Мирская... Скупой, сырой день... Свѣтъ точно мерещится, — а въ самомъ дѣлѣ нѣтъ его... Мгла какая-то... Въ землянкѣ темень... Въ углу что-то шевелится... Ползетъ что-то... Какія-то липкія, холодныя руки въ воздухѣ... Скользятъ надъ ея лицомъ. Что это?

Собралась съ силами...

Соображать стала... Нѣтъ, это чудится ей... Все какъ и вчера. Вонъ глиняный кувшинъ съ водою... Нераспечатанное письмо отъ Величковскаго на столѣ... Взяла его — руку-то протянуть могла еще — строки конверта мѣшаются передъ глазами... Сама смотритъ, читаетъ: «Ея высокоблагородію Аннѣ Александровнѣ Мирской»... И въ то же самое время думаетъ — кому это?.. Кто такая Мирская?.. И зачѣмъ это письмо тутъ, у нея? Кто это принесъ и положилъ его здѣсь?.. Нужно ли распечатать или не надо?.. Уронила... И сейчасъ же изъ головы вонъ, точно никогда никакого письма не видала...

— И зачѣмъ это такъ топятъ ея комнату?.. Вотъ-то постарались. Голова горитъ, ноги точно въ огнѣ... Дрова больнымъ нужны... Можно ли такъ тратить ихъ?..

Вошелъ санитаръ какой-то...

— Сестрица?..

— Что?.. — всматривается. — Кто это?.. Откуда?.. — усиливается понять...

— Докторъ васъ просятъ...

— Докторъ?.. Зачѣмъ докторъ... Миѣ докторъ не нуженъ.

— Въ шпиталь требуютъ, потому перевязку дѣлать нужно.

Поняла, наконецъ...

— Сейчасъ, скажи... Какъ это я заспалась?.. Сейчасъ одѣнусь и приду...

Санитаръ ушелъ...

Приподнялась и опять упала на подушку. Голова кругомъ пошла... Всѣ углы комнатки изъ-подъ глазъ уходятъ. Сѣрый четырехугольникъ окна вертится то направо, то налево... Что же это?.. Стѣны землянки раздвигаются, совсѣмъ раздвигаются.... Кто это кровать ея приподнимаетъ... Выше и выше... А что если вдругъ оборвется, — оборвется и внизъ... Господи, какъ страшно!.. Огнемъ палить... Голову давить... Одѣяло сбросила... Крикнула... Еще крикнула... Крикнула всюю...

— Кто-нибудь... Ради Бога!.. Господи, Господи!

Никого нѣтъ... Вѣтеръ сегодня, должно быть... Слышно, какъ онъ стонетъ и бьется вокругъ ея землянки. Не онъ ли это кружить ее?.. Не онъ ли врывается сюда?.. Еще минуту назадъ огнемъ палило, — а теперь холодно... Боже, какъ холодно! Точно льдомъ ее обложили... Руки совсѣмъ окостенѣли и ослабли... Спрятать ихъ некуда... Одѣяло было гдѣ-то... А теперь нѣтъ его... Хотя бы кто-нибудь вошелъ... Да неужели нѣтъ никого здѣсь... Никого!..

Опять тепло... Слава Богу... Она въ землянкѣ — все это ей чудилось, должно быть... Вонъ Евангеліе на столѣ... Вонъ черные отъ копоти ивовые прутья въ крышѣ вздрагиваютъ, должно быть, ползетъ тамъ что-нибудь... Хорошо стало. Экъ она ослабѣла. Теперь и встать можно... Или лучше отлежаться?.. Да еще нѣсколько минутъ, а то, пожалуй, тамъ въ госпиталь случится то же самое... Не хорошо будетъ...

— Анна Александровна?

Подняла одѣяло, накрылась... Кто это зоветъ ее? Подруга, должно быть. Она и есть.

— Заспались вы сегодня? А...

— Да... Устала вѣрно очень. Сейчасъ буду въ госпиталь... Послушайте... Сестра!..

— Что вамъ?.. Подать что-нибудь надо?..

— Нѣтъ... Вы не смѣйтесь только... Посмотрите, пожалуйста, на кровлю.

— Ну!

— Ничего?

— То есть, что же ничего? — и подруга подозрительно посмотрѣла на Мирскую...

— Нѣтъ, это я такъ... Пошутила...

Подруга какъ-то странно глядитъ на Анну Александровну. Прикладываетъ руку ко лбу ея... Что это, неужели слезы на глазахъ?... Да. Мирская ясно видитъ это. Что съ нею?... Чего та плачетъ?...

— Что съ вами?

— Ничего... Я ничего... — успокаиваетъ та... — Я сейчасъ вернусь къ вамъ, Анна Александровна!

Какъ ничего?... Мирская ясно видѣла, что сестра плакала... Это у нихъ у всѣхъ нервы. Ни съ того, ни съ сего слезы. И она когда-то тоже въ госпиталяхъ — совладать не могла — плакала. А эта должно быть слабѣе ея... Такъ, вѣрно, что-нибудь!

А относительно крыши она вовсе не шутила...

Вотъ, вотъ опять... Положительно опускается... Что это?... Кто навалился на крышу?... Вотъ прутья — черные, закопченные, что перешлели балки, — ниже и ниже... И балки тоже... Да вѣдь ее раздавить могутъ... Сейчасъ раздавать... Это вѣдь не кажется... Это сейчасъ, сейчасъ... Да спасите же, спасите!... Люди, кто тамъ?!

Бѣжать надо... Бѣжать... Скорѣй отсюда... Прочь... На воздухъ, на волю... Туда, въ этотъ скупо мерцающій день.

Спустила ногу на полъ, а за голову держитъ кто-то, не пускаетъ отъ подушки...

— Пустите, ради Бога, пустите!

Кровля все ниже и ниже...

Навалилась... Черная балка и ивовые прутья надъ самыми глазами... Надъ самымъ лицомъ. Лба коснулись... Господи!... На грудь — какая страшная тяжесть. Вся крыша съ землей... Заживе схоронить... Сдѣлала послѣднія усилія — руками уперлась въ балку и держать... Не поддается балка... Гдѣ ей, руки уступаютъ... Въ локтяхъ боль... Гнутся... Земля сыплется ей въ глаза, въ ротъ, въ носъ. Давитъ ее, давитъ... Въ тѣло вѣдается... Спасите, спасите!... Ради Бога... За что?... Что я вамъ сдѣлала? — работала, какъ могла... Себя на работѣ убила!... Спасите!...

Голоса чьи-то... Люди близко — слава Богу!

— Анна Александровна... Голубушка! слышите вы меня?... Какъ приятно стало, легко... Что-то холодное на головѣ...



Словно впросонкахъ соображаетъ, что компрессъ на лобъ ей приложили... Глаза закрыла даже... Хорошо — лѣнь ей открыть ихъ... Совсѣмъ лѣнь... Такъ бы и заснула опять...

— Анна Александровна?

— Кто-то ее за руку взялъ... Пульсъ слушаетъ. Все понимаетъ она, только глазъ открыть не можетъ. Наконецъ, сдѣлала усилие — открыла... Старикъ Малыгинъ надъ нею — стоитъ... Очнулась совсѣмъ.

— Что это... Зачѣмъ?

— Болить у васъ голова?..

— Нѣтъ, мнѣ хорошо теперь... Со сна, должно быть, чудилось...

Устала...

Чего онъ такъ печально глядитъ на нее?... Чего?... У старика слезы даже... Хочетъ сказать что-то — не можетъ...

— Вы ужъ сегодня весь день оставайтесь въ постели.

— Нельзя... Раненые...

— Намъ еще сестеръ прислали... — солгалъ Малыгинъ. — Дни два вы отдыхать можете...

— Какихъ сестеръ, откуда? — обрадовалась Мирская. — Не напихъ?

— Нѣтъ!.. Изъ другихъ общинъ совсѣмъ. Все вамъ незнакомыя.

— Жаль... А я думала отъ своихъ получить кое-какія письма.

— Вы ослабѣли совсѣмъ... Я вамъ принесу тутъ кое-что — проглотите малость и опять молодцомъ будете! — совсѣмъ уже оправдился Малыгинъ.

— Что это вы шатаетесь такъ, докторъ?

— Какъ шатаюсь?

— То вверхъ, то внизъ... Точно растете и снова...

— Это вамъ такъ кажется, Мирская!

— Вотъ опять...

И дѣйствительно, докторъ выдѣлываетъ какія-то совсѣмъ уже не подходящія шутки... И лицо его раздвигается, раздвигается... Всю стѣну заняло... Большое какое... Ужасное стало... Страшно ей... Глаза у него кровью налились... Злые, злые... Слава Богу... Опять стало умяться... Меньше и меньше... Съ кулачокъ совсѣмъ... Сжалось. Маленькое, маленькое и какъ клубокъ покатилося изъ землянки... Ушелъ куда-то... И кровля куда-то уходитъ. Высоко, высоко... Вверхъ, въ самый верхъ... и нѣтъ ея уже. Нѣтъ этой кровли съ ея черными прутьями и черными балками... Небо надъ

нею... Все въ тучахъ небо... Ползуть эти тучи, какъ змѣи... Ползуть. Свиваются и развиваются... Сѣрые, мрачныя, холодныя... Дождемъ ее кропить. Тихимъ, однообразнымъ, мелкимъ дождемъ... Плачетъ небо... Какъ докторъ тогда плакалъ... По комъ это?... Плачуть — когда ей весело... Когда ей смѣяться хочется. Вотъ странные-то!.. И небо и люди!..

Верховцевъ шелъ въ землянку къ Мирской, стараясь не попасть въ лужи, которыя всюду образовались отъ отенели, стоявшей утромъ. Вчера — погода общала настоящей зимней день. Сегодня снѣгъ стоялъ — только разжидилъ и прибавилъ грязи.

— Здравствуйте, докторъ! — кричитъ Верховцевъ издали Малыгину, удивляясь, что занесло старика къ Мирской.

Малыгинъ какой-то странный... Совсѣмъ странный.

— Что съ вами, докторъ?

У старика на лицѣ слезы... Вотъ-вотъ разрыдается...

— Не съ сыномъ ли что случилось?

— Съ дочерью, Верховцевъ, съ дочерью!

— Рѣшительно не понимаю!

Поднялъ Малыгинъ кулакъ въ воздухъ и грозитъ сѣрому въ тучахъ небу.

— Лучшихъ людей берешь... Лучшихъ людей берешь... Мало тебѣ святыхъ на небѣ!..

И вдругъ, опустивъ руки на плечи Верховцеву, Малыгинъ зарыдалъ, какъ ребенокъ.

— Съ Мирской что-нибудь случилось? — вздрогнулъ Верховцевъ.

— Тифъ!.. Пятнистый тифъ!..

Верховцевъ отвелъ Малыгина въ сторону, а самъ бросился въ землянку.

Когда онъ вошелъ къ Мирской, та его уже не узнала. Тупо взглянула ему въ лицо и какою-то особенно поспѣшною скороговоркой спросила: «Во сколько часовъ репетиція?»...

— Что такое?

— Во сколько часовъ репетиція?... Изъ-за этого Трохина навѣрное ждать всѣмъ придется... Ролей не знаетъ, всѣхъ путаетъ и опаздываетъ... Я, впрочемъ, сегодня сама буду по суфлеру!.. — неожиданно закончила она, погружаясь въ какое-то оцѣпенѣнне.

Верховцевъ замѣтилъ письмо на полу. Поднялъ.

— Не хотите ли прочесть?

— Нѣтъ, зачѣмъ? все равно не успѣю... До спектакля полчаса... Когда тутъ перечитывать роль.

— Это письмо отъ Величковскаго.

— Отнесите ко мнѣ въ уборную — тамъ прочту...

— Вотъ что, Верховцевъ? — послышался позади голосъ Малыгина. Только въ немъ уже не было слабости и слезъ не видно было на лицѣ... Энергія звучала въ его словахъ.

— Вотъ что, Верховцевъ, мы должны спасти ее... Мы ее отнимемъ у смерти... Мы побѣдимъ самую смерть... Есть правда на небѣ... Не можетъ быть этого, слышите? — не должно быть... Помогите мнѣ — вы!..

— Скажите, какъ?... Я весь вашъ!

— Ну, такъ вотъ... Не уходите! Сейчасъ я пришлю льду. Исполняйте и днемъ и ночью мои предписанія... Предупреждаю — вы свалитесь можете сами... Но ее мы спасемъ... Слышите, спасемъ!

— Спасемъ, докторъ.

И они горячо пожали руки другъ другу.

Оба наклонились къ Аннѣ Александровнѣ, оба заговорили съ нею вмѣстѣ, но она — какъ ни вглядывалась въ нихъ, уже не узнавала ни своего старика, ни Верховцева...

## X.

### Зубковъ отъ кавалеріи.

Погода все гнила попрежнему.

Настоящей зимы не было... Выпадалъ снѣгъ и таялъ... Въ черномъ мракѣ землянокъ гнили десятки тысячъ народу вокругъ Плевны, составляя то самое желѣзное кольцо, въ которомъ задыхался Османъ-паша. Право, нельзя было сказать, кому хуже — задыхающимся или желѣзному кольцу. Тифъ и здѣсь, и тамъ производилъ свои ужасавшія всѣхъ опустошенія...

Подрядчикъ Зубковъ, завернувшись въ теплую шубу, тихо подвигался рысцей по отвратительной дорогѣ въ Порадимъ.

Позади ѣхалъ фаэтонъ, изъ котораго онъ только что вылѣзъ. Нельзя было. Колеса вязли по ступицу; на каждомъ шагу экипажъ останавливался... Зубкову это надоѣло... За нимъ тащился на уны-

ломъ турецкомъ конькѣ проводникъ. Смотрѣлъ, смотрѣлъ на него Зубковъ и сообразилъ.

— Эй ты, молдаванъ! — обернулся къ нему «домнуле», какъ называлъ Зубкова румынъ.

— Повтиць?..

— Да ужъ тамъ какъ хочешъ, а съ чужого коня посередь грязи долой! Румынъ, ничего не понимая, сталъ улыбаться.

— Чего ты ротъ-то кривишь?.. Сойди-ко съ сѣдла, сойди!..

— Повтиць?.. Ну шти...

— Врешъ, братъ! Не проведешъ. Гайда сюда... Ну? — показлъ онъ на свой фазтонъ.

Румынъ подѣхалъ.

— Слѣзай!..

Онъ потянулъ всадника за рукавъ, тотъ понялъ и спустился въ грязь.

— Не любишь! А деньги любишь? Недаромъ, братъ, я тебѣ плачу. Мастера грабить! Садись-ко вотъ въ каруццу... Ну!

Тому, видимо, надоѣло болтаться въ сѣдлѣ... Съ удовольствіемъ перебрался въ каруццу. Зубковъ кое-какъ всползъ въ сѣдло; на первыхъ порахъ, когда лошадь было рванулась впередъ, онъ схватился за ея шею и обнялъ какъ друга, ожидая, что вотъ-вотъ шлепнется въ грязь... Къ счастью, удержался. Конь сталъ тотчасъ подъ нимъ выдѣлывать разныя штуки, то вправо забиралъ, то влѣво, то вдругъ, храпя, останавливался, то впередъ кидался точно со-слѣпу... Зубковъ положительно недоумѣвалъ, что сей сонъ обозначаетъ. Румынъ, замѣчая эволюціи коня, только посмѣивался. Разсмѣялся и казакъ, проѣзжавшій мимо... На первыхъ порахъ станишникъ было не сообразилъ, что за чудо-юдо ѣдетъ столь печально на конѣ... «Ишь ноги разставилъ, что ворота!» потѣшался Гаврилычъ... «А локтями-то, локтями работаетъ!..»

— Ты полегче!.. — посовѣтывалъ онъ Зубкову.

— Что полегче?..

— Руками-то... Ну, что за краса? Въ сѣдло сѣлъ, а что мельница размахался... Ноги въ стремя... Что ты стремя-то спускаешь... Ишь оно у тебя коня-то по брюху бьетъ... Нешто это хорошо?

— Да я радъ... Только чего она дергаетъ?

— Лошадь-то? Какъ ей не дергать, коли ты повода — то вправо, то влѣво, то подтянешь, то опустишь...

— А ты покажи, какъ надо?

— Сразу не выучишься, брать!.. Кто будешь? Изъ маркитановъ?

— Нѣтъ... Я купецъ!

— Все одно. Что купецъ, что маркитанъ, что агентъ... На войнѣ, братъ, — одна честь! Тутъ пуза-то не выставишь... Не повеличаешься... Довольно величались въ Рассетъ... А ту узду держи во-какъ... Видишь?

— Вижу...

— Во-во!.. Первый сортъ... Я, братъ, изъ тебя настоящаго казака сдѣлаю... Ишь ты, какъ водовозъ сидишь! Чего сторбился... Ты свою гордость наблюдай!.. Чортъ тебѣ не братъ — когда ты на конѣ. Вотъ такъ сядь!.. Лихо чтобъ. Кругомъ — все твое!.. Не мѣшокъ, слава Богу... По-нашему — мы на стремянахъ стоимъ, а ты такъ держись, чтобъ у тебя стремя только играло. Носокъ его должонъ чувствовать... Понялъ? во-какъ... И локти подбери... Не махай!.. Тутъ, братъ, никто тебя за маханье это самое денегъ не дастъ...

Зубковъ попробоваль было сѣсть такъ, какъ хотѣлось казаку — да еще смѣшнѣе вышло, такъ что станишникъ луще расхохотался.

— Ужъ и молодець ты, погляжу я... Одно слово — пузырь!..

— Ну, ты, братъ, полегче!

— Чего тутъ?... Ишь, въ сѣдлѣ маешься... Садись-ко въ фурманку и сопи... Куда тебѣ на коня!

— Въ фурманкѣ, братъ, тутъ потонешь!

— А съ коня — вотъ-вотъ въ грязь сморгнешь... Тутъ, братъ, живо... Ты ужъ шагомъ...

— Да какъ шагомъ, коли она во...

Конь въ это время дернулъ и, закусивъ удила, бросился было впередъ.

— Ого!.. Казакъ совсѣмъ.

Зубковъ опять оставилъ узду и схватился за шею коня.

— Покрѣпче прижмись... Охъ ты, горе казакъ, водолазъ — песь такой есть — на конѣ сидишь...

Сжалился, поймалъ коня подъ уздцы.

— Вотъ что, ёнъ потому и дергаетъ, что ты поводомъ его дразишь... А ты пусти и сиди, какъ медъ кисни, онъ тебя шагомъ довезетъ...

Зубковъ попробоваль исполнить совѣтъ. Оказалось — чудесно. Коняка шла себѣ, поматывая головой, и не обнаруживала рѣшительно никакого желанія измѣнить свой аллюръ на болѣе ходкій...

«Чудесно!» думалъ про себя Зубковъ... «Лучше не надо! Вотъ оно каково, и мы верхомъ — что твой енараль... А чудесно бы теперь, коли бы наши увидѣли. Совсѣмъ какъ бы воинъ... Только что платье цивильное».

Зубковъ только что побывалъ на позиціяхъ у Гурки, свезъ туда сапогъ да полушубковъ и продалъ себѣ не въ убытокъ. По-христіански. Всего на все 10% накинулъ на свое... Поставщикамъ товара не сбылъ, хоть тѣ и предлагали ему лучшую цѣну... Очень ужъ хотѣлось посмотрѣть на боевыя позиціи... Къ Скобелеву сунулся — тутъ его свозили на Зеленую Гору, гдѣ какъ разъ въ это время занялась перестрѣлка. Зубковъ все молился Богу, закрывъ глаза, и думалъ про себя: «Вотъ онъ адъ-то гдѣ... Господи!.. Вотъ онъ самый-то адъ и есть!..» Опамятовался только въ Боготѣ, да и тамъ все вздрагивалъ, какъ доносились до него отголоски пушечныхъ выстрѣловъ. Тутъ, давъ передохнуть конямъ, онъ двинулся въ Порадимъ.

«Шабашъ теперь... Какъ доѣду до Журки этой — въ чугунку и домой... Довольно видалъ всякаго. И пули летали, слава Богу... Теперь, какъ доѣду, пресвятому Аванасію колоколь въ лучшемъ видѣ... Звони!..»

— Куда это вы? — нагналъ его верхомъ какой-то генераль, сопровождаемый адъютантомъ.

Невольно остановился; очень ужъ оригиналенъ былъ этотъ всадникъ.

— Я?... — очнулся Зубковъ.

— Да, откуда и куда?..

— Да домой таперича, ваше превосходительство...

— Да вы кто?

— Да мы будемъ купцы. Первую гильдію плотимъ...

— А бранять васъ какъ?

— А ругаютъ меня Зубковымъ...

— Ну, вотъ и чудесно... Что же это васъ сюда занесло? А?

— Сапоги привезъ... Антиресно тоже было... Какъ тутъ наши...

— Ну, что жъ понравилось, а?

— Нѣтъ, что хорошаго... Одно убійство смертное!

— На то и война.

— Это точно...

— Поди, до подрядамъ нюхали... Не перепадеть ли чего... А?... Нюхали? Также пососать хочется?

— Зачѣмъ же-съ? Помилуйте! — обидѣлся Зубковъ. — Теперчи эти подряды совсѣмъ нечистое дѣло... Тутъ не намъ... Гдѣ ужъ тутъ нашему брату? неспособно...

Сзади послышался топотъ.

— Это кого даетъ Богъ?... — оглянулся генераль.

Попробоваль было и Зубковъ перевернуться въ сѣдлѣ, но тотчасъ же потерялъ стремяна и долженъ былъ опять въ порывѣ дружбы схватиться за шею коня.

— Такъ и есть, Верховцевъ скачетъ... Куда это онъ?

Приостановился.

— Чей это фаэтонъ? — еще издали кричить Верховцевъ.

— Корреспондентъ, здравствуйте!

— А, генераль... Чей это фаэтонъ?

— Это насчетъ фурманки? — Мое-съ! — оправился Зубковъ.

— Она у васъ пустая?

— Подо мной...

— Просьба къ вамъ... Тутъ позади везутъ больныхъ солдатъ, которые въ тифѣ; съ ними и сестра милосердія одна. Уступите вашъ фаэтонъ... Она умретъ въ телѣгѣ.

— Оно такъ, да знаете... Я-то какъ... — сталъ было отдѣлываться Зубковъ.

— Какая сестра? — вмѣшался генераль.

— Мирская.

— Батюшки, наша!.. Изъ нашего города! — и Зубковъ остановилъ коня. — Ахтеркой у насъ была... Она и есть самая... Голубчики, что съ ей?

— Въ тифѣ... Ради Бога, позвольте въ фаэтонъ переложить!

— Съ полнымъ удовольствіемъ! Помилуйте!.. Мы это завсегда. Своей да не снисхождать!.. Гдѣ она?

— А вотъ, сейчасъ...

— Вы что жъ это? — приостановился и генераль — при чемъ же? санитаромъ стали?

— Нельзя же было бросить... Знакомая...

— Куда жъ вы ее?

Довезу въ Бухарестъ — тамъ положу въ Бранкованъ. Здѣсь вѣдь ей не оправиться!

— Куда... Здѣсь и здоровыедохнуть...

— А перевозка-то, перевозка... Измучился я сегодня. До Боготы довели кое-какъ, а ужъ отъ Боготы въ арбахъ простыхъ. Слы-

шите? скрипять... Слышите? Вотъ все время точно меня самого перекачивало и бросало.

Скрипъ дѣйствительно доносился издали.

Точно всё эти увязавшія въ грязи колеса, ломавшіяся на пути телѣги жаловались болгарской зимѣ на жестокую выпавшую на ихъ долю дорогу... Точно имъ было нивѣсть какъ больно перемалываться съ кочки на кочку, съ камня на камень, попадать въ глубокія колени и выбираться изъ нихъ. Точно имъ была противна вся эта грязь, засасывавшая ихъ отовсюду... Или они страдали и мучились за тѣхъ, кто лежалъ теперь на нихъ подъ черными брезентами? Ловили ихъ стоны и съ своимъ скрипомъ разносили на весь этотъ безпріютный, негостепримный, сѣрый просторъ мокрыхъ полей и луговъ, казавшихся еще печальнѣе подъ плачущимъ, вѣчно плачущимъ сѣрымъ небомъ...

Въ одной изъ телѣгъ лежала и Мирская.

Ее было хотѣли положить вмѣстѣ съ другою сестрою — да Верховцеву, къ счастью, удалось настоять, чтобы каждой изъ нихъ дали отдѣльную телѣгу... Въ больничномъ мірѣ на его вмѣшательство посмотрѣли неблагосклонно, но онъ рѣшился впередъ на все... Ему хотѣлось во что бы то ни стало спасти ее... а тамъ будь что будетъ, все равно.

Въ Боготѣ Мирскую кое-какъ устроили въ телѣгѣ.

На скверномъ пути ее било изъ стороны въ сторону; арба то падала на одинъ бокъ, то на другой. То всползала на колдобины, то рушилась въ ухабы; все это, разумѣется, отражалось на больной. При томъ обозъ шель такъ медленно, что Верховцевъ терялъ терпѣніе; ему казалось, что никогда не удастся добраться до мало-мальски сносной дороги, до мало-мальски порядочной обстановки, гдѣ бы Мирской было лучше. По такимъ путямъ и въ арбѣ вмѣстѣ съ другими больными Мирскую не удалось бы доставить въ Бухарестъ и въ мѣсяцъ.

Понятно, какъ онъ обрадовался фазтону Зубкова.

Въ немъ она сегодня уже будетъ въ Систовѣ, слѣдовательно, завтра ее удастся перевести въ Журжево, а, можетъ быть, и въ Бранкованъ.

Если такъ — она почти спасена.

— Ахъ ты, голубушка! — умилялся Зубковъ, когда Мирскую перекладывали къ нему въ фазтонъ. — Потерпѣла за всѣхъ православныхъ...

— Фазтонъ мы вамъ завтра же въ Порадимъ вышлемъ.

— Ладно!.. А только ей холодно здѣсь будетъ, а?

— Да ужъ что дѣлать?!

— А у меня, кроме шубы, тулунчикъ есть.

— Спасибо, родной!



— Чего тутъ? Помилуйте, я всей душой! Онъ для насъ, мы для нихъ!

Мирская почти ничего не понимала. Зачѣмъ остановили ея телѣгу? зачѣмъ ее вынули оттуда?.. На рукахъ перенесли въ фазтонъ, уложили тамъ... Удобнѣе... Шире... Мягче... Смотритъ она съ удивленіемъ на сѣрое плачущее небо, на печальныя сочувственныя лица людей, наклоняющихся къ ней. Смотритъ и рѣшительно ничего не понимаетъ. Верховцева видитъ чаще. Въ рѣдкія минуты сознанія зоветъ его, благодарить... Но потомъ на мозгъ точно наплываетъ что-то, совсѣмъ неподходящее... Грезятся другія лица... Тонуть... Вихремъ кружатся. Гдѣ тутъ очнуться? гдѣ тутъ понять что-нибудь? Въ тучѣ какой-то несетя она сама. Въ темной тучѣ.

Ни искры свѣта кругомъ...

Верховцевъ ухаживалъ за нею, какъ внимательная нянька.

Онъ ѣхалъ рядомъ, заботливо прислушиваясь къ бреду больной, то и дѣло просившей пить. Ему казалось, что промедлить нѣсколько минутъ значило бы убить ее. Онъ то торопилъ кучера на хорошихъ промежуткахъ дороги, то останавливалъ его на дурныхъ. Наконецъ, онъ самъ помѣстился въ фазтонъ рядомъ съ больной...

Зубковъ попрежнему гарцовалъ около.

— По какой части? — допытывался онъ у Верховцева.

— Я пишу... въ газеты.

— А... Хорошее дѣло!.. Поди, какіе капиталы забираете. а?

— Ну, на этотъ счетъ у насъ плохо!

— Во! По такому дѣлу-то?

— Не хватаетъ!

— Нѣмцы, которые здѣсь, тоже по этой части?

— Да.

— Что жъ они превозмогають?.. Ужли торговая часть выгоднѣе? Ваша-то не въ примѣръ чище... По торговой части надо по уши въ грязь влѣзть и барахтаться. Вотъ она, торговая часть-то, какова! Съ ей, будемъ такъ говорить, душу не спасешь. Развѣ насчетъ пожертвованіевъ наверстываешь, а то плохо... Это прежде колоколами-то откупались... а теперь — звони, не очень-то!

За Порадимомъ стало полегче.

Дорога была лучше, въ грязи не вязли колеса. Кони легкой рысцой двигались впередъ. Верховцевъ начиналъ уже вѣрить въ то, что ему удастся спасти, вывезти отсюда во-время Мирскую...

## XI.

## Счастливыи день.

Старикъ Малыгинъ считалъ бы себя совсѣмъ осиротѣвшимъ послѣ отъѣзда Мирской, если бы добрые друзья въ главной квартирѣ не доставили ему неожиданной радости...

Сына его перевели въ 16-ю дивизію.

Такимъ образомъ, они могли если не жить вмѣстѣ, то быть близко одинъ отъ другого, постоянно видѣться.

Съ вершинъ св. Николая уже доносились зловѣщіе слухи. Начались морозы, пока еще нечувствительные въ долинахъ. На горахъ гибли люди сотнями. Въ Габрово то и дѣло привозили отмороженныхъ. Малыгинъ провелъ много бессонныхъ ночей, думая о сынѣ, вокругъ котораго въ это самое время кружились балканскія метели... При каждомъ порывѣ безопаснаго внизу вѣтра старику грезилось, что вьюга уже засыпаетъ его окоченѣвшаго Александра сугробами снѣга: въ тихія ночи, когда робкія звѣзды наконецъ рѣшались взглянуть на то, что дѣлается на этой аренѣ страданій, залитой слезами и кровью, докторъ соображалъ, что среди такой тишины морозъ еще крѣпнеть, стужа становится ужаснѣе...

«Хоть бы меня... Я старъ — никому не нуженъ... Ужъ если требуется жертва — возьми меня!...» Всмотривался онъ въ такія минуты въ холодное ночное небо... Но оно молчало ему въ отвѣтъ, мигая равнодушными, свѣтлыми, одинаковыми для всѣхъ очами...

Въ одну изъ такихъ минутъ ему принесли письмо Верховцева.

Съ сильно бьющимся сердцемъ онъ разорвалъ конвертъ. Не рѣшался даже прочесть сразу... Онъ помнилъ, въ какомъ состояніи увезли отсюда Мирскую. Зналъ, насколько она близка къ смерти... Малѣйшія неудобства дороги могли отразиться на ней...

«Уважаемый докторъ...»

Онъ быстро пробѣгалъ по строкамъ, пропуская нѣкоторыя... И, только взглянувъ мелькомъ на конецъ письма, облегченно вздохнулъ.

— Ну, слава Богу... слава Богу!.. Авось ей лучше будетъ... Теперь и прочесть можно.

«Уважаемый докторъ! Пишу вамъ изъ Букарешта... Вчера мы пріѣхали сюда и только сегодня вечеромъ удалось пріютить сестру въ Бранкованъ. Въ русскіе госпитала не приняли. Сунулся было я къ од-

ному изъ нашихъ врачей, писавшему столько краснорѣчивыхъ корреспонденцій о самомъ себѣ въ сербскую войну, и былъ принятъ имъ, какъ самый назойливый проситель. Еще издали на меня размахался руками: «Мѣсть нѣтъ для сестры... Нѣтъ мѣсть!» Всего хуже было въ Зимницѣ: тамъ мы блуждали отъ одного лазарета къ другому — и вездѣ отказъ. Тоже не было бумаги... Наконецъ я уложилъ сестру въ балаганчикъ еврея-трактирщика въ уголокъ. Ночь провела Мирская подъ оранье пьняныхъ, до утра игравшихъ въ тринку и мушку...

«Дорогу Анна Александровна вынесла хорошо. До Порадима было ѣхать скверно. Тряска на арбѣ могла и здороваго сдѣлать больнымъ, но около этого села мы встрѣтили нѣкоего Зубкова, купца, знающаго Мирскую. Тотъ ей уступилъ свой фаэтонъ, въ которомъ мы и добрались до Систова... Теперь можно думать, что болѣзнь нашей милой и дорогой сестры уступить усиліямъ румынскихъ врачей. Сидѣлки изъ мѣстныхъ не оставляютъ желать ничего лучшаго... Кстати, въ одну изъ минутъ сознанія больная обратилась ко мнѣ: — «Когда будете писать къ старику Малыгину, прибавьте, что мое сердце полно благодарности къ нему... Онъ былъ нѣжнѣе отца, заботливѣе матери...» На глазахъ у больной я замѣтилъ въ это время слезы... По адресу, разумеется, вашему!.. Она желаетъ вамъ счастья и здоровья и молится, чтобы Богъ сохранилъ вашего сына!..»

«Милая, добрая» — обрадовался старикъ, бережно пряча письмо въ столъ.

Въ этотъ день казалось, что и погода смилостивилась надъ Болгаріей...

Снѣгъ уже окрѣпъ. Морозъ съ утра былъ довольно чувствителенъ для рваныхъ шинелей и холщевыхъ штановъ, въ которые поневолѣ облекались солдаты. Къ полудню послѣднія тучи сбѣжали съ неба, и яркое солнце впервые послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ тумана и сѣренькихъ дней облило землю своимъ живительнымъ свѣтомъ... Видно было далеко. Когда Малыгинъ взомель на пригорокъ, черными черточками на бѣломъ снѣгу вырисовывались передъ нимъ траншеи, темными глыбами горбились бруствера редутовъ... Бѣлые клубы пушечныхъ выстрѣловъ казались облачками, спускавшимися на нихъ сверху. Глухой ударъ орудій и сухое пощелкиваніе ружей какъ-то особенно веселы были въ этотъ день...

«Еще недѣлку такую — полгоспиталю выздоровѣть!»

— А, докторъ! Можно васъ поздравить? — молодой офицеръ, только что вышедшій изъ землянки около, улыбался ему.

— Что такое?

— Да сегодня въ штабѣ говорили — сынъ къ вамъ.

— Какже, какже... — заторопился Малыгинъ. — Скоро будетъ... Завтра или послѣ завтра.

— Жаль только, что у него солдатскій Георгій есть.

— Отчего?..

— Да развѣ вы не знаете нашего генерала?

— Ну?

— У него жадность на георгиевскихъ кавалеровъ. Въ первомъ же дѣлѣ пошлетъ его впередъ — примѣръ показывать остальнымъ.

— Авось... Господь помилуетъ!

— Да... Страсть у человѣка бальзамировать!..

— Это еще что за терминъ?

— Нашъ... Это кого на смерть посылаетъ онъ, — такъ мы и говоримъ, что такого хотятъ «набальзамировать»... Ну, зато, если отличится — въ офицеры!

— Вотъ тоже честь какая! Онъ у меня кандидатомъ университета! Это будетъ повыше.

— Что такъ?

— Черезъ мѣсяць и безъ того офицеромъ, по правиламъ...

«Чего добраго, набальзамируютъ! Бѣда эти военные энтузіасты. Что имъ за дѣло до чужой жизни?... Вѣдь вотъ вчера одинъ генералъ хвастался, что у него 30-го августа пять тысячъ легло. И съ какимъ еще восторгомъ говорилъ, точно онъ эти пять тысячъ осчастливилъ... Хорошъ взглядъ! А Бутоновъ про вчерашнее дѣло... Какой это, говоритъ, успѣхъ, коли у насъ всего 20 человѣкъ ранено... Два бы нуля ему прибавить, тогда и былъ бы успѣхъ... Своя логика особая! Молодецкое дѣло! Я бы отъ всѣхъ этихъ молодецкихъ дѣлъ съ удовольствіемъ отказался и за себя и за другихъ! Въ самомъ дѣлѣ, какъ онъ Сашку-то набальзамируетъ... Сашка — человѣкъ самолюбивый... Позади самъ не останется... Тамъ на Шипкѣ-то его знаютъ, а тутъ онъ самъ себя захочетъ показать. Недаромъ-де два Георгія болтаются!»

— Ну, что у васъ все благополучно? — наткнулся онъ на фельдшера.

— Все-съ... Солдатику этотъ, что въ ногу раненъ, на выписку просится.

— Курносый?

— Онъ самый...

— Подождетъ еще...

— Ужъ очень тоскуеть по своей ротѣ.

— Нога еще у него не скоро заживеть.

— Такъ точно...

— Ты что, въ роту просишься? — остановился онъ надъ больнымъ.

— Сдѣлайте Божецкую милость.

— Нельзя... глупый ты человѣкъ! Въдь у тебя еще осколки кости должны выйти.

— Ужъ имъ лѣзть, такъ все единственно, что здѣсь, что въ ротѣ.

— И вынуть кое-что придется.

— И такъ заживеть. Ишь, она какая у меня!

И курносый паренъ ткнулъ себя для большой убѣдительности пальцемъ въ ногу.

— Полегче, полегче, братъ!

— И нисколечко не больно.

— Лежи, лежи... Развѣ тебѣ здѣсь худо?

— Чего лучше!.. Харчъ хорошій!

— Ну, и лежи!..

— А какъ, ваше высокоблагородіе, осмѣлюсь я вопрошать... — замылся курносый паренъ.

— Ну?

— Которая здѣсь сестрица была... милосердая?

— Мирская?

— Такъ точно... Сказываютъ, она будто больна.

— Какже... Ее отправили.

Лицо солдата омрачилось.

— Дай ей, Господи!.. Словно мать родная... Голубка чистая!

— Ей тамъ лучше... Теперь выздоровѣтъ...

— Н-ну!.. Вотъ радость намъ!.. Слава тебѣ, Господи! Ну, вашъ-бродъ, такъ вы меня этимъ...

— Выздоровѣтъ... Тамъ за ней ухоть.

— Слышишь ты, сестра Анна-то на выздоровку пошла! — сообщилъ солдатъ ближайшему, тотъ перебросилъ товарищу. И пошла счастливая вѣсть гулять по лазарету.

Спуста минуту всѣ больные широко крестились съ счастливыми лицами!.. Очевидно, свои собственные страданія и недуги забыли.

— А что? — обратился къ Малыгину ближайшій унтеръ-офицеръ съ отнятой уже рукой. — А что, ежели мы ото всѣхъ письмо ей пошлемъ?

— Хорошее дѣло будетъ... — схватился Малыгинъ. — Умно, братецъ, умно!

— Вотъ сестрица Наталья намъ напишетъ... Ото всего, значить, товариства!..

— А я пошлю!.. Молодецъ, Сергѣевъ!.. Экъ придумалъ!

— Я ужъ давно мекалъ такъ, да не сказывалъ... Думалъ, не ладно будетъ.

— Вотъ къ завтраму все и приготовьте... Завтра почта пойдетъ и пошлемъ.

Уже совершенно просіявшій возвращался Малыгинъ домой.

— Хорошо, коли бы такъ и кончилось... Счастливо... Довольно было жертвъ...

## ХІІ.

### Свиданіе.

Сегодня зеленогорскія позиціи даже красивы.

Небо смилвалось.

Настали, наконецъ, ясные зимніе дни. Снѣгъ кое-какъ держится: только на дорогахъ все та же слякоть, такъ же уходятъ въ нее ноги людей, копыта коней, колеса арбъ. Завидуешь ворону, лѣниво опустившемуся на телеграфный столбъ... Разжирѣла жадная птица. По горло сыта... Что ей до грязи внизу? Сегодня и солнцемъ ее пригрѣло. Свернулась — клювъ подъ крыло и сладко ей дремлетъ въ ожиданіи, когда люди доставятъ ей опять свѣжинку. Сладко, хорошо дремлетъ...

На Зеленыхъ Горахъ давно уже стало совсѣмъ спокойно.

Позади траншеи — громадный редутъ... Комендантомъ его назначили Гренквиста. Старый генералъ зорко слѣдитъ оттуда за турками. Съ утра до ночи обходить онъ дежурныя части. То онъ окажется на правомъ флангѣ, посмотритъ на часовыхъ, полюбуется на сѣрый валъ турецкой траншеи впереди; глядишь — нѣсколько минутъ спустя голосъ его раздастся на лѣвомъ: «Сторожите, ребята, сторожите!.. Стойте внимательнѣе!.. Турки чуть что затѣютъ — сейчасъ же знать дай!..». Ночью опять обходить онъ боевую позицію. «Когда только спитъ? — дивятся солдаты. — Угомону нѣтъ на него. Что нѣтухъ, только разоспишься — онъ уже тутъ какъ тутъ... Кудахтаеть!»

Сегодня Гренквистъ обрадовался теплой погодѣ.

Кое-гдѣ на позиціяхъ начали уже пощелкивать... Подниметь голову надъ брустверомъ солдатикъ — смотришь, и свиснетъ пуля около. Наши не отвѣчали, хоть сѣрыя фигуры турецкихъ аскеровъ налѣво рѣзко вырисовывались надъ сѣрыми валами.

— Не стрѣляйте, ребята, помалкивайте... Нечего даромъ патроны тратить — понадобятся! — останавливаетъ своихъ Гренквистъ.

Солдатикъ, было уже напѣливавшійся, выпрямился съ такимъ видомъ, точно ему никогда не приходило въ голову заниматься подобными глупостями.

Шель, шель генераль и остановился.

Передъ нимъ за угломъ траверса, не замѣчая его, бравый фельдфебель муштровалъ молодого солдата.

— Ты что это голову на бокъ держишь?... А?... Думаешь, такъ онъ въ тебя и попадетъ. Нѣтъ, братъ, — Богъ захочетъ, такъ и сухаремъ подавишься; ишь тоже прихилился. Крендель! Ну-ко, стань, какъ слѣдуетъ... Смирно!..

Солдатикъ вытянулся. Иззади начали пощелкивать.

— Такъ... Вотъ настоящая выправка!.. Теперь похожъ на война... Вотъ такъ... Молодецъ!.. Постой, постой, другъ! Ты это руку лѣвую какъ же держишь, а? Мизерный палець супротивъ канта, а прочіе остаются въ своемъ званіи!.. Ну, вотъ слава Богу!.. Я, братъ, тебя подтяну!..

— Брось его, Иванъ Филиппычъ, онъ у меня солдатъ хорошій... Я его ужъ учу, — вступился старикъ унтеръ, — ты его посмотри-ко при мнѣ.

— Что жъ при тебѣ!?. И безъ тебя долгонъ въ себѣ духъ чувствовать... За матерью, за отцомъ и свинья идетъ молодцомъ, да еще какъ идетъ — кверху носъ деретъ! Ну, становись теперь на часы!

Гренквистъ, улыбаясь, прошелъ мимо этой группы, когда ему вдаль показался Малыгинъ.

— А, докторъ... Вы зачѣмъ сюда пожаловали?... Сегодня у насъ тишина, спокойствіе, все равно что дома.

— Да мой сынъ долженъ былъ придти сюда...

— Откуда это?

— Сегодня съ Шипки... Ихъ прямо на позицію привели.

— Эй... Орловъ?

Фельдфебель, рекомендовавшій только что мизерный палець держать супротивъ канта, выросъ передъ Гренквистомъ.

— Пришли сегодня солдаты къ тебѣ изъ другихъ полковъ?

— Точно такъ, ваше-ство!

— Есть между ними унтеръ-офицеръ изъ вольноопредѣляющихся Малыгинъ?

— Сейчасъ узнаю.

— Съ двумя Георгіевскими крестами! — вспомнилъ отецъ.

— Есть, ваше высокоблагородіе, прикажете кликнуть?

Малыгинъ отъ нетерпѣнія пошелъ за фельдфебелемъ.

Сынъ его не былъ въ редутѣ. Видимо, только что пришелъ и за-спулъ на сыроватой землѣ. Сумку подъ голову. Весь сѣрый, какъ и почва, на которой лежитъ. Издали точно мѣшокъ на землю брошенъ.

— Саша!.. Милый!..

Молодой Малыгинъ вскочилъ было, да увидѣлъ Гренквиста и вытянулся, приложившись къ козырьку... Отца со сна и не разглядѣлъ.

— Вольно, вольно... Молодой человекъ... Радъ познакомиться. — Гренквистъ подалъ ему руку. — Съ вашимъ отцомъ мы давно друзья... Большіе друзья!

Только теперь онъ замѣтилъ старика... Отецъ и сынъ горячо обнялись.

— Ну, что у васъ на Шипкѣ? — спросилъ Гренквистъ.

— Мерзнемъ, ваше-ство!

— Сильные развѣ морозы были?

— До тридцати градусовъ доходятъ. А полушубковъ нѣтъ. Сотнями люди падаютъ.

— А у насъ тепло... Больше девяти-десяти градусовъ еще не было. Ну, да вѣдь вы на горахъ — орлами. Вотъ что, докторъ. Не хотите ли вы сына на цѣлый день взять... Онъ и ночевать у васъ можетъ.

— Вотъ спасибо...

Обстановка редута, по которому проходили докторъ съ сыномъ, казалась совершенно мирной.

Солдатики лежали во всѣхъ направленіяхъ, попыхивая въ трубочки... Кто, скрючившись въ три погибели и прикурнувъ въ уголокъ къ траверсу, спалъ себѣ, посвистывая во всю носовую завертку, кто рассказывалъ боевые эпизоды внимательному кружку новенькихъ солдатъ, только что прибывшихъ «на пополненіе». Бравый унтеръ, весь распаренный и покраснѣвшій какъ свекла, пилъ чай, доливая, неизвѣстно въ который разъ, свой стаканъ изъ совершенно черного котелка, словно тихо всхлипывавшего на красныхъ угольяхъ. На одномъ изъ банкетовъ



солдаты чинили себѣ шаровары, наставляя на нихъ красную заплатку изъ турецкой фески; другой Немродъ, раздѣвшись догола, ожесточенно занимался истребленіемъ вредныхъ животныхъ.

— Ты бы въ баню! — совѣтовали ему.

— Да что, братцы, какая тутъ баня!.. Не успѣешь выйтить — опять, глядишь, кусаютъ.

— Злы, подлыя!

— Такъ злы, такъ злы! Настоящіе какъ бы бузуки!..

— Не у однихъ у насъ. У офицеровъ тоже есть.

— Что говорить — звѣрь военный!.. Не обойгись безъ его.

— Енъ, братъ, вездѣ теперь...

— Вездѣ, что и говорить!

— Ну, то-то жь!..

Примѣстясь къ глыбѣ земли, двое унтеровъ читали откуда-то добытое ими сказаніе о птицѣ Рокъ, вода обмусленными пальцами по строчкамъ, и для вящшаго пониманія повторяли каждое слово по нѣскольку разъ. Тутъ же недалеко два офицера бесѣдовали о томъ, какъ бы теперь хорошо раздобыть гдѣ-нибудь коньяку и картъ... Наконецъ, скоро редутъ остался позади и только на свѣту видны были торчащіе наружу штыки положенныхъ на брустверы ружей да жадная часть орудія, смотрѣвшаго впередъ, по направленію къ турецкимъ позиціямъ.

— Молодецъ Сашка, молодецъ! — похлопывалъ сына по плечу старикъ Малыгинъ. — Совсѣмъ ты у меня молодецъ!.. Радъ я...

— Ну, что тамъ, отецъ; какъ и всѣ.

— Нѣтъ, ты не говори: какъ и всѣ... Вонъ у тебя два крестика-то болтаются, не то что одинъ... Горжусь... И къ матери отпущу.

— Да все хорошо, только нервы шалить стали.

— Отчего это?

— Какъ тебѣ сказать, отецъ? Издали, изъ Москвы, все это иначе рисовалось. Свѣтло было, тѣней не подозрѣвалъ, а здѣсь присмотрѣлся — ужасъ беретъ. Развѣ великое дѣло дѣлаютъ подъ свистъ нагаекъ, подъ хохотъ пьяной интендантской сволочи, подъ лстивое подличанье еврейскихъ картушей... Посмотрите на солдата. На Шипкѣ я навидался, слава Богу! Голодень, холодень. Некому о немъ позаботиться, никто для него пальцемъ не шевельнетъ. До того, отецъ, что по ночамъ кошмаръ давить сталъ. Думаешь, пока въ головѣ все не помутится.

— Запакостили дѣло-то... Точно... Да вѣдь и безъ этого нельзя. Не ангелы дѣло дѣлаютъ, а люди!

— Можетъ быть... Меня и безъ того идеализмомъ корятъ.

— Ничего... Оставайся идеалистомъ. Скоро придетъ время, когда идеалисты нужны будутъ. Всѣмъ нужны. Послѣ всякой войны самосознаніе народное растетъ. Оглядываются на себя... Къ расчету!..

— Пора бы!.. Довольно самоослѣпленія. Довольно прятаться. Ну, а что Мирская?

— Плохо, Саша... Сегодня опять отъ Верховцева письмо пришло... Плохо.

— Неужели?..

— Не дай Богъ! Мнѣ что тебя, что ее потерять все равно. Можетъ быть, молодая натура возьметъ свое. Выдержитъ. Заморила она себя на работѣ. Совсѣмъ заморила. Въ царствѣ тифа цѣлыхъ шесть мѣсяцевъ провела, воздухомъ чистымъ не дышала. Мученичество какое-то — во всемъ себѣ отказывала. Даже непонятно, откуда у нихъ силы такія берутся. Нашего брата давно бы сломило, а онѣ держатся стойко, работаютъ. Энтузіастки.

Дома Малыгинъ показалъ сыну послѣднее письмо Верховцева. Отъ нѣсколькихъ строкъ, впопыхахъ набросанныхъ корреспондентомъ, вѣяло безнадежностью, отчаяніемъ...

— Плохо, Саша, плохо!..

«Не знаю, что и писать вамъ, дорогой докторъ; тяжело братья за перо — точно тяжелый сонъ переживаю я, видя, какъ гаснетъ передъ моими глазами милое, великодушное существо, всю жизнь свою не знавшее счастья и покоя... Гаснетъ замѣтно, день за днемъ, часъ за часомъ, минуту за минутой. Врачи не потеряли надежды... Она окружена всѣмъ необходимымъ; за нею присматриваютъ румынскія сестры, и — нужно отдать имъ справедливость — лучшаго ухода я бы и пожелать не могъ. Но всякій разъ, глядя на ея блѣдное лицо, на эти безкровныя губы, на эти потухшіе, совсѣмъ потухшіе глаза, мнѣ кажется, что передо мною уже трупъ, только какимъ-то чудомъ дышащій, сознающій... Проклятіе навертывается на языкъ... Гаснетъ послѣдняя вѣра. Неужели же ея смерть нужна?... Что-то такое жестокое, подлое, бессмысленное во всемъ этомъ. Ни искры ума въ предопредѣленіи, ни искры добра въ холодныхъ рѣшеніяхъ судьбы... Когда къ ней возвращается энергія, она хочетъ жить, говорить, что не жила еще, во все не жила; но это ненадолго. Опять тупая покорность, опять равнодушіе къ смерти и жизни... Что-то говоритъ мнѣ, дорогой докторъ, что мы ея лишимся. Я съ ужасомъ думаю о томъ, что меня встрѣтитъ,

отправляясь каждое утро въ бранкованскій госпиталь. Вчера я по ея просьбѣ писалъ Величковскому на Шипку... Ей бы хотѣлось еще разъ увидѣть его... Простите, докторъ, не могу писать больше, слезы душили...

Слезы душили и молодого человѣка, когда онъ перечитывалъ это полное скорби письмо...

Слезы душили и старика-доктора, который обернулся въ сторону, чтобы сынъ не увидѣлъ ихъ.

— Ахъ, какую я помню ее! Полною жизни, вѣры въ будущее... Блестящей, красивой...

— Тутъ ужъ она была совсѣмъ не такой... Еле, еле переживала день за днемъ. Доламывала себя.

### ХІІІ.

## На Шипкѣ.

Величковскій медленно вѣзжалъ на первыя вершины нашихъ шипкинскихъ позицій.

Здѣсь снѣгу было много. Между деревьями, на скатахъ балканскаго нагорія его наваливало вдоволь. Путь держался настоящей декабрьскій. Сапоги солдатъ, колеса орудій, копыта лошадей протоптали хорошую дорогу на гору св. Николая и только на крутизнахъ, откуда вѣтромъ свѣяло снѣга, обледенѣлая поверхность почвы дѣлала опасными взѣзды... Солдаты входили здѣсь, опираясь на штыки; казаки для такихъ именно путей перековали своихъ коней на острые шипы; Величковскій сходилъ тутъ съ сѣдла и съ трудомъ подвигался впередъ, ведя подъ уздцы униравшуюся лошадь...

Онъ оставилъ уже позади такъ называемые брянскіе домики, гдѣ стоялъ полкъ этого имени; свѣтлая лента свѣже засыпаннаго снѣгомъ пути отсюда взбѣгала на еще болѣе крутую вершину съ черными насыпями Подтягинской батареи.

Тутъ приходилось оставить коня...

Дальше началось опасное пространство, открытое для турецкаго огня настолько, что непріятель изъ своихъ орлиныхъ гнѣздъ пускалъ сюда гранаты и по отдѣльнымъ всадникамъ... Это подлое мѣсто унесло много жизней. Сюда били не изъ однихъ орудій; справа и слѣва изъ преда-

тельскихъ траншей, которыми турки обложили наши позиціи, зачастую открывался ружейный огонь, при чемъ пѣшеходы, пробѣгавшіе по этому пространству, похожи были на разстрѣливаемыхъ людей или на дичь. Охотники, расположившіеся по сторонамъ, встрѣчали ее наперебой мѣткими выстрѣлами: кому-де удастся уложить краснаго звѣря... Узенькая полоска эта была открыта туркамъ вдоль и поперекъ. Гранаты ложились по ней, взрывая снѣгъ... Здѣсь избѣгали ходить отъ зари до зари. Роты солдатъ двигались тогда, когда уже темнѣло и отъ глазъ непріятеля скрывалась эта «Райская долина». «Райской» ее прозвали въ шутку, потому что всякій, проходившій по ней днемъ, рисковалъ, въ случаѣ праведной жизни, переселиться въ рай...

Впрочемъ, турки и ночью ухитрились дѣлать это мѣсто не особенно безопаснымъ для передвигавшихся здѣсь транспортовъ, кухонь, войскъ... За-свѣтло они брали прицѣлъ, направляли сюда жадныя пасти своихъ орудій, а ночью открывали огонь — да такой, что и въ глухой тьмѣ, среди тумановъ и метелей, люди падали здѣсь, поражаемые на-смерть невидимымъ непріателемъ. Были здѣсь какъ-то выстроены землянки, но ихъ бросили...

Величковскій, проходя по этой «райской» дорогѣ (скорѣе чѣмъ долинѣ), уже не обращалъ вниманія на печальное посвистываніе словно о чемъ-то тоскующихъ пуль... Онѣ пересѣкали воздухъ надъ нимъ и около. Ему было не до того... У молодого офицера своя тоска на сердцѣ шевелилась, словно змѣя подкожная... Уже нѣсколько дней, какъ онъ не могъ очнуться отъ извѣстія, полученнаго имъ черезъ Верховцева...

«Мирской плохо, Мирская опасна... Нельзя поручиться за завтрашній день!..»

Нельзя поручиться... Щемило въ груди... Нельзя поручиться, а онъ здѣсь и ему нельзя двинуться отсюда... Совсѣмъ нельзя... Какъ тутъ уѣдешь?... Начались зимнія томленія, скажутъ — бросаешь товарищей, скажутъ — трусь... Мало ли что придетъ людямъ въ голову. Чужая душа потемки, почему же *ею* должна быть ясна сослуживцамъ?... Мирская опасна... Поди, мечется тамъ... Одна, оставленная, брошенная... Одна — и ему нельзя шагу сдѣлать къ ней... Въ бессонныя ночи, когда, очнувшись отъ забытья, она зоветъ дорогихъ и милыхъ ей... кто отзовется на этотъ кличъ?... Вся въ жару быстро подступающаго пароксизма, можетъ быть, она шепчетъ и его имя... А онъ далекъ, онъ безсиленъ помочь ей... Онъ долженъ гнить здѣсь — среди этой балканской зимы, на этихъ горныхъ, давно и ему и всѣмъ

другимъ опостыльѣвшихъ позиціяхъ... Ахъ, какъ больно, какая тоска душить!.. Голову кружить, стѣсняетъ грудь, точно ему мало воздуха... А если... А если... Въдъ все возможно, даже дурное скорѣе, чѣмъ хорошее... Все, все!.. А если она умретъ... Одинокая, брошенная... Сколько бы хотѣла передать она, завѣщать... Развѣ мало можетъ явиться такихъ желаній, которыя необходимо слышать кому-нибудь... А тутъ-то какъ нарочно никого... Она одна — рядомъ съ торжествующимъ недугомъ... Этотъ смрадный, черный тифъ, этотъ дикій великанъ съ гноящимися, безжизненными глазами, положилъ ей на голову свою холодную, влажную руку... И некому отвести ее... И некому крикнуть: «Не бойся, я здѣсь!.. Я слышу тебя...»

Она отвергла любовь для жизни... А теперь — передъ послѣднимъ дыханіемъ своимъ — она не отнимаетъ ее... Какое горькое чувство быть любимымъ умирающей... Все счастье тутъ... Еще нѣсколько часовъ и его, этого счастья, не будетъ, а ты безсиленъ остановить. Кричи, пожалуй, а оно все-таки уйдетъ... Уходя, тоже съ тоской станеть простирать къ тебѣ свои блѣдныя, похудѣвшія руки, станеть неотступно жадно вглядываться на тебя своими потускнѣлыми глазами...

«Счастье, счастье, гдѣ ты?... Куда уходишь... Вернись!..»

«Господи! Да что же это я?... Самъ, кажется, съ ума сошелъ. Съ какой же радости отпѣваю ее?... Можетъ быть, все еще сойдетъ отлично... Оправится... Въдъ она такъ молода... Верховцевъ ничего не пишетъ — кризиса еще не было. Можетъ быть, переломъ болѣзни къ лучшему окажется... Къ лучшему, разумѣется... И тогда, смягченная болѣзною, усталая, она забудетъ свои эгоистическія мечты, гордыя мечты о вѣчномъ одиночествѣ... Захочется ей самой быть любимой...»

И вдругъ огнемъ пробѣгало по мозгу:

«Нельзя поручиться за завтрашній день!..»

«Значить, переломъ уже былъ; значить, все пошло къ худшему... Завтрашній день... Письмо написано семь дней тому назадъ... Семь завтрашнихъ дней уже прошло... Семь!.. Семь такихъ, за которые нельзя поручиться... Что могло случиться въ это время?..»

«Разумѣется, ничего. Иначе Верховцевъ телеграфировалъ бы ему...»

«А сколько писемъ и телеграммъ пропадаетъ... Кто-нибудь зашвырнетъ письмо, хотя въ немъ, можетъ быть, счастье или ужасъ... Жизнь или смерть... Письмо такое, за каждую строку котораго собственною кровью заплатить и то недорого... И телеграмма тоже...»

можетъ быть, и теперь валяется она гдѣ-нибудь, затоптанная чьими-нибудь сапогами въ грязь, разорванная . . .»

— О, чортъ васъ возьми! — вслухъ погрозился онъ кому-то вдаль.

— Кого вы это? . . .

— Что? . . .

— Кого вы это? — недоумѣло глядитъ ему въ глаза встрѣтившійся по пути офицеръ.

— Что: кого? Ахъ, Семинтовскій, это вы? . . .

— Къ чорту вы это кого посылаете?

— Нѣтъ, это я такъ . . . Холодно.

— Да! . . . Мрутъ, мрутъ солдатики, батюшка . . . Зима не шутить . . .

— Эге! . . . Да я это, кажется, до подольскихъ позицій дошелъ.

— Какже . . . Ишь, за валомъ . . . заслонились Подольцы . . . У нихъ и траверсы . . . И все устроено . . . Только землянки надъ землей. А это куда какъ не хорошо. Зябнуть . . .

Направо, по землѣ, точно были разбросаны кровли . . . Поставлены бревна угломъ — плоскость къ плоскости, обложили ихъ дерномъ, коли есть, или снѣгомъ, и вся недолга. Жилье готово . . . На болѣе удобное и рассчитывать нечего.

Рѣзкій, оглушающій ударъ слѣва . . . Ахнуло! . . .

— Ишь, скороспѣлка<sup>1</sup> наша . . . Потѣшается! . . . — замѣтилъ офицеръ.

Вздрагивающіе въ воздухѣ вздохи гранаты понеслись отъ насъ къ турецкимъ позиціямъ.

— Что, оглушило васъ, Величковскій?

— Нѣтъ . . . Привычка . . .

— Тутъ одинъ «заграничный принецъ», какъ называли его солдаты, прѣзжалъ . . . Какъ ахнуло орудіе, онъ это на корточки съль и давай щупать голову, цѣла ли . . . Не ожидалъ совсѣмъ.

— Да вы куда это собрались, Величковскій?

— На Стальную . . . По начальству нужно . . .

— Не завидую.

— А что?

<sup>1</sup> Скороспѣлка — двухорудійная батарея. Назвали ее такъ потому, что она была выстроена въ одну ночь. На ней были поставлены девятифунтовые орудія.

— Турки сегодня здорово озлились... Сказываютъ, мы имъ на Девятиглазой орудіе подшибли.

— Стрѣляютъ?

— Съ утра громятъ... Человѣка три попортило...

Видь отсюда былъ удивительно красивъ...

Впереди тонула въ синевѣ неба бѣлая, засыпанная снѣгомъ вершина св. Николая... Только черныя скалы орлиного гнѣзда на ней мрачно подымали свои иззубренные обелиски, да темныя черточки батарей и траншей мерещились по склонамъ. словно сторожъ тихихъ долинъ сѣверной Болгаріи, стоялъ здѣсь св. Николай... Зоркій, неуспынный сторожъ, не разъ обливавшійся кровью, съ утра до ночи окуриваемый пороховымъ дымомъ, вздрагивающій отъ рева орудій, направленныхъ на него и съ юга, и съ востока, и съ запада... Вѣрный часовой, удержавшій въ августѣ страшный напоръ сулеймановскихъ полчищъ, не разъ метавшій громы и молніи въ счастливую нѣкогда котловину Казанлыка... Вокругъ собрались и въ такомъ же мрачномъ величій стали враги... Еще выше его, еще круче, еще грознѣе... На ихъ гребняхъ насыпаны валы, на вершинахъ рѣдко молчаливыхъ — твердыни редутовъ... Вонъ направо Лысая и Куруджа съ ихъ обледѣлыми скатами, съ ненасытными пушками, которыя вѣчно направляютъ свои разгоряченныя жерла на позиціи св. Николая... Налѣво еще недоступнѣе, еще отвѣснѣе Девятиглазая, съ зубцами прорѣзаннаго амбразурами бруствера на самомъ верху, словно великанъ, увѣнчанный какою-то фантастическою черною короной... А тамъ, дальше, гора за горой, вершина за вершиной — и всѣ онѣ жадно глядятъ на св. Николая; всѣ онѣ точно стерегутъ, не заснетъ ли на минуту, не обезсилѣетъ ли этотъ вѣрный стражъ, чтобы броситься на него и раздавить въ своихъ стихійныхъ, чудовищныхъ объятіяхъ...

Дорога свернула направо...

Налѣво крутой откосъ... Тропинка узкая, скользкая... Снѣгъ свѣянъ вѣтромъ — ледъ подъ ногами...

— Величковскій, здѣсь поосторожнѣе, совѣтую...

— А что?

— Вчера одинъ солдатикъ поскользнулся.

— Ну?..

— Что ну! Лежитъ тамъ внизу — въ снѣгахъ... Раздавленный или разбитый... Сюда ему не подняться — отвѣсы. Возьмешь лѣвѣе — прямо къ туркамъ въ лапы...

— Ничего! Я привыкъ.

— Теперь снѣгу навалило и дорога обледенѣла. Прежде и орудія возили...

«Да, а, все-таки, сегодня, быть можетъ, она томится въ агоніи...  
Послѣднія минуты переживаетъ!...»

Откуда-то, точно со стороны, налетало на Величковскаго...

— Все-таки!.. — ни съ того, ни съ сего обернулся онъ къ своему спутнику.

— Что все-таки?..

— Нѣтъ... Извините... Это я такъ...

«Мучится... Огнемъ палить — мою бѣдную... Разметалась — вся въ жару. Глаза воспалены, точно жизнь дѣлаетъ послѣднія усилія остаться въ этомъ усталомъ, обезсиленномъ тѣлѣ... Зоветь... Воды просить — и некому подать ей воду...»

Мысль рисовала ему знакомыя картины больничной жизни...

Стоны другихъ недужныхъ, тяжелый, смрадный воздухъ госпиталя... Холодъ... Смерть легче этой жизни. Смерть является освобожденіемъ... Только ее за что, ее? Она ли не убивала себя за другихъ? Всю принесла себя въ жертву. Ничего себѣ не оставила. Какъ жалкая, тусклая лампада, жизнь еще теплилась едва-едва въ ея груди. Фитиль моргаль, хотѣлъ не разъ потухнуть, да горѣлъ какимъ-то чудомъ... Теперь догорѣлъ совсѣмъ... Только въ нагарѣ огонекъ еще на секунду держится... Чадить... Черная струйка дыму надъ нимъ завилась... Исчезла и она... Совсѣмъ потухъ фитиль. И слѣда нѣтъ отъ мигающей минуты назадъ лампадки... Мракъ кругомъ, мракъ... Безъ разсвѣта... Непроглядный...

«Ахъ, какъ тяжело!.. Гдѣ же правда? Куда же она ушла? кому и зачѣмъ нужны такія великія жертвы?»

И вдругъ другая картина...

Лѣто, знойное лѣто...

Солнечный свѣтъ облилъ несчастный островокъ Дуная. Щедро облилъ,—желтый песокъ, словно золотой, глаза рѣжетъ своимъ блескомъ... Дунай искрится, точно мелкіе осколки солнца попадали въ него и плывутъ и дрожатъ въ каждой струйкѣ... Въ яркомъ свѣтѣ тонкая линия моста почти пропала. Только скрипятъ тѣлги на немъ, да ухо ловитъ громкіе крики погонцевъ... И опять солнце... И опять зной... Много, много жары и свѣта! Такъ много, что, кажется, одно воспоминаніе о нихъ можетъ растопить всѣ эти снѣга и льды шипкинскихъ великановъ...

Бревенчатый срубъ.



Въ окно муха бьется... Назойливо жужжитъ, жалуется... Хочется и ей изъ душевой комнаты туда, къ этому свѣту и зною.

И яркія, яркія очи... Вспыхнувшее счастливое лицо... Улыбка алыхъ губъ... Жизнь въ каждомъ нервѣ, жизнь въ каждомъ атомѣ... Ахъ, какъ хорошо было, какъ хорошо!..

И опять эта муха бьется... Бьется въ стекло окна... И опять этотъ Дунай мелькаетъ въ солнечномъ блескѣ...

Нѣтъ, вѣрить не хочется, страшно вѣрить!

Неужели и та теплая рука безсильно лежитъ теперь на неподвижной груди... Неужели изъ тѣхъ глазъ смотритъ сама смерть, неужели въ этихъ здоровыхъ, алыхъ губахъ шевелится подлый могильный червякъ?... Ужасъ, ужасъ!.. И эта земля, насыпанная надъ нею — ужасъ... И впереди — впереди на всю жизнь одинъ холодный, все скрывающій ужасъ...

Только въ прошломъ счастье... Зачѣмъ ушло оно? Сверкнуло искрой... Общало разгорѣться, потухло — совсѣмъ и навсегда...

— Не можетъ быть, не можетъ быть!.. Она будетъ жива!

И Величковскій почему-то вдругъ ни съ того, ни съ сего сталъ вѣрить, что Мирскую спасутъ... Иначе вѣдь и быть не можетъ.

Какъ приливъ и отливъ, приходятъ надежда и отчаяніе. Всякій, у кого было крупное горе въ жизни, испытывалъ это... Кажется, все кругомъ рушится, почва уходитъ изъ-подъ ногъ, раскрывается бездонная пропасть; нѣтъ, все-таки вѣрится, что гибели можно избѣжать; все-таки думается, что слѣдующій моментъ принесетъ съ собою спасеніе.

Величковскій надѣлъ полушубокъ.

Стужа стояла страшная... Трудно было дышать на воздухѣ. Солдаты въ землянкахъ жались поближе къ огню, чуть не жарились въ немъ. И въ то время какъ лицу и рукамъ было невыносимо жарко, затылокъ и спина ныли отъ холода. Часовые и аванпостные казались истинными мучениками. Закутывались во все, что ни попадалось подъ руки. Люди были похожи на какіе-то узлы. На сапоги наворачивали мѣшки изъ-подъ сухарей. Сверху, мѣхомъ наружу, ногу еще разъ обволакивали шкурами отъ битого скота. На слоновыхъ ногахъ помещались тоже будто туловища носороговъ. Поверхъ шинели — турецкія пальто, какія достались еще въ августъ съ убитого непріятеля. Иной разъ опушенная мѣхомъ болгарская куртка. А совсѣмъ сверху, точно ротонда, щеголяло полотнище турецкой палатки. Все, что только можно было надѣть на себя, — надѣвалось, все, кромѣ полушубковъ,

которые еще благополучно лежали въ интендантскихъ складахъ Петербурга, Москвы и Кіева.

Къ вечеру стало заволакивать туманомъ, который словно туча всползалъ снизу вверхъ, изъ ущелій и пропастей, жадно стремясь захватить самыя гордыя вершины балканскихъ великановъ...

— Скверно!.. — пропустилъ сквозь зубы Величковскій.

— Да, ваше-скородіе, теперъ нехорошо будетъ, — замѣтилъ солдатъ, слѣдовавшій за нимъ.

— Пока до Волынской горки дойдешь — бѣда...

— Главное дѣло — склизко. Въ туманѣ-то еще мокрѣй ледь-то...

— А по пути снѣгу мало!

— Все больше настъ-съ... Снѣгъ-то вѣтромъ снесло.

Тропинка поззла все кверху.

Туманъ становился все гуще и гуще. Въ пятидесяти шагахъ трудно было разобрать что-нибудь. Мерещились темныя силуэты, оказывавшіеся или землянками, или батареями... Навстрѣчу порою выдѣлялось изъ мглы какое-то сѣрое пятно, оно росло и опредѣлялось...

— Кого Богъ несетъ? — слышалось оттуда.

— Офицеръ!..

Пятно сторонилось и при ближайшемъ ознакомленіи оказывалось солдатомъ.

— Эхъ, водки бы теперъ расчудесное дѣло!.. — слышалось гдѣ-то направо, но кто это вздыхалъ о ней — не было видно.

— Да, теперъ водка... — началъ и не докончилъ солдатъ, сопровождавшій Величковскаго.

— А что?

— Согрѣлся бы, ваше-скородіе! Ужъ очень погода жестокая! Бѣда съ ей!.. Сколько сегодня народушку померзнетъ на Волынской горкѣ...

— Ну, еще каркай тамъ!..

— Виновать!..

И опять молчаніе; только хрустѣніе окрѣпшаго снѣга подъ ногами, глухой шумъ ледяныхъ глыбъ, срывающихся въ ущелья сверху, да далекія отзвучія артиллерійской канонады...

Землянки остались позади. Тутъ ужъ цѣлина шла вплоть до Волынской горки... Кое-гдѣ изъ-подъ снѣга подымались сосны и ели, къ самой землѣ сгибая свои вѣтви подъ тяжестью зимнихъ уборовъ... На открытомъ пространствѣ уныло посвистывалъ вѣтеръ, изрѣдка подымая бѣлую струйку тамъ, гдѣ снѣгъ еще не окрѣпъ... Туманъ казался еще гуще... Точно все хмурилось кругомъ и закрывало глаза...

Вѣтеръ порой пробѣгалъ по вѣтвямъ дуба... И шумно катились съ нихъ бѣлые комья снѣга и сучья вздрагивали, точно имъ было холодно, очень холодно среди этого тумана, въ молчаливомъ царствѣ суровой горной зимы... Въ одномъ мѣстѣ подъ снѣгомъ журчало... Тамъ притаился, словно отъ холода спрятался, горный ручей и только невидимый булькалъ и ропталъ на отсутствіе тепла и свѣта, на эту долгую, долгую стужу...

Чѣмъ ближе къ Волинской горѣ, тѣмъ путь становился ужаснѣе.

Обледенѣлые скаты... Казалось, никакая сила человѣческая не могла удержать на нихъ... Нѣсколько шаговъ — и назадъ... Счастье еще, если можно уцѣпиться за какой-нибудь выступъ, а то потянетъ прямо внизъ въ сѣрое марево пропасти, затянутой туманомъ...

— Тутъ нельзя идти! — остановился, наконецъ, Величковскій.

— Тутъ шагъ впередъ не сдѣлаешь. Нѣтъ ли другой дороги?..

— Есть... Кружная. Коло турокъ, ваше-скородіе.

— Такъ веди тамъ.

— Опасно.

— Все равно и здѣсь расшибешь лобъ!

Пошли другимъ путемъ, огибавшимъ гору слѣва.

— Тутъ надѣсь наши на врага наткнулись!..

Турки, впрочемъ, скоро сами себя выдали. Почудилось ли имъ что, или такъ надобно молча сидѣть въ траншеѣ, только они вдругъ дали нѣсколько выстрѣловъ впередъ. Безъ цѣли. Только показать — мы-де здѣсь, никуда не ушли и готовы. Вѣрнѣе всего, что ихъ въ туманѣ трусость одолѣла — авось-де русскіе не наткнутся, если пострѣлять, а то, чего добраго, воспользуются туманомъ, и тогда все пропало... Какая ужъ защита въ туманѣ? Уноси ноги въ редутъ, что поднялся позади...

Разсѣянные выстрѣлы было прекратились... Замерли, да ни съ того, ни съ сего кто-то на русскихъ позиціяхъ отвѣтилъ имъ... Примерещилось ли часовому, или подъ влияніемъ тѣхъ же побужденій выстрѣлилъ... Близко-близко направо раздался сухой трескъ и шальная пуля высоко въ воздухъ затушила свою тоскливую потку...

Турки точно ждали отвѣтнаго выстрѣла.

Нагѣво будто что-то треснуло... Задномъ обдали... Нѣсколько десятковъ пулекъ пропѣли въ воздухъ и зачмокались въ бѣлую стѣну пологого ската...

— Теперь начнутъ...

Одна пуля у самыхъ ногъ Величковскаго злобно впиалась въ землю...

Перестрѣлка разгоралась все сильнѣе и сильнѣе. Пока она была надъ головами, но немного спустя, нѣсколько пулекъ просвистало около, при томъ же и путь пошелъ въ гору, откуда тоже сыпались непрошенныя гостинцы.

— Ваше-скородіе! Я пойду впередъ, крикну нашимъ, чтобы не стрѣляли.

— Ну, ладно.

Солдаты исчезъ въ туманѣ.

Спустя нѣсколько минутъ съ нашей стороны дѣйствительно выстрѣлы точно оборвались.

Величковскій двинулся.

Не успѣлъ Величковскій войти въ нашу траншею, какъ что-то стукнуло ему по плечу. Больно стукнуло... Не обратилъ было вниманія, да жечь стало... Посмотрѣлъ — кровь сочится.

— Слава Богу! — обрадовался онъ. — Теперь отпрошусь въ Бухарестъ... Ее встрѣчу...

— Счастливая, счастливая рана!

— Вы ранены? — подбѣжали къ нему.

— Такъ, пустяки!.. — улыбался онъ.

— Носилки! — крикнулъ кто-то.

— Пожалуйста, оставьте меня въ покоѣ... Я и самъ дойду...

И дѣйствительно, было пошелъ, да голову закружило...

Точно земля изъ-подъ ногъ ушла. Упалъ на нее — совсѣмъ не больно, а силы точно отняло совсѣмъ... Неужели ключицу?... Нѣтъ, пощупалъ — цѣла... Такъ, вѣрно, оцарапало...

Оправился, всталъ...

— Слава Богу, счастливая рана!

И онъ уже видѣлъ склонившееся надъ нимъ блѣдное личико Мирской.

#### XIV.

### Начало конца.

Дни тянулись за днями.

Убийственная зимняя стоянка на одномъ мѣстѣ доводила до одури. Перестрѣливаться отъ скуки съ турками, придумывать разныя вылазки изъ траншей, летать въ главную квартиру и обратно, чтобы осчастли-

вить маркитанта нѣсколькими залежавшимися въ карманѣ золотыми — уже никому не казалось привлекательнымъ. «Османъ — не дуракъ... Что ему?.. Онъ насъ изморомъ дойметъ», — говорили кругомъ люди, потерявшіе вѣру въ паденіе Плевны... «И чего смотреть, право? — разсуждали болѣе рѣшительные. — Теперь бы прямо штурмомъ. Не срамъ ли? — съ Карсомъ покончили, самое бы время и намъ выгнать турокъ.»

И, дѣйствительно, штурмы уже задумывались.

Все кругомъ гнило въ сырыхъ землянкахъ. Несмотря на ноябрь, настоящей зимы еще не было. По ночамъ изрѣдка случались морозцы, но съ первыми лучами солнца земля оттаивала, испаряя смрадъ въ безъ того переполненный заразою воздухъ. Завидовали даже шипкинцамъ, у которыхъ ежедневно по нѣсколько человѣкъ отмораживалось до смерти... Завидовали, разумѣется, на словахъ. Предложи перемѣниться — никто бы не сунулся.

— Что съ тобою? — приставалъ старикъ Малыгинъ къ сыну, нѣсколько дней уже казавшемуся какимъ-то страннымъ.

— Такъ, отецъ, ничего!

— Мрачный ты какой-то... Ходишь, все внизъ смотришь, говоришь вслухъ. Ночью у тебя бредъ...

— Голова немного не въ порядкѣ...

— Нервы, что ли, расходились?

— Развѣ въ мои годы нервы полагаются?... Такъ, отецъ, извѣрился во многомъ, въ чемъ прежде не допускалъ никакихъ сомнѣній... Мутить...

— А ты не мутись... Близко къ дѣлу стоишь, отъ того и волнуешься. Издали опять бы выступило цѣлое, детали бы и исчезли...

— Не то... Люди какіе?... Солдатъ голодень, холодень... Солдатъ мученикъ и при томъ не понимающій за что... Мученичество хорошо, велико, благодатно, когда оно сознательно, а тутъ... Вѣдь и бараны, отецъ, подъ ножъ идутъ, хотя никто не ставитъ имъ въ заслугу этой жертвы...

— Ну, ты, Сашка, зарантовался.

— Въ чемъ это, отецъ?

— Какъ же не знаютъ, разумѣется, знаютъ... и какъ еще знаютъ! Я съ больными говорилъ не разъ... Прекрасно понимаютъ!

— Не то, совѣмъ не то понимаютъ. Развѣ они за чужую свободу несутъ свои головы? Вѣдь первое время по переходѣ Дуная они болгарь-то молдаванами считали... А теперь развѣ не говорятъ, что

братушка, что турокъ — одинъ человекъ, только вѣры у нихъ разныя. Я присмотрѣлся, отецъ, — страшно стало!.. Какая это ужасная сила — невѣжество! Ужасная, потому что она всему служить готова, кто бы и какую машину ни поставилъ, въ любой начнетъ колеса вертѣть... И сколько у насъ этого невѣжества!.. Вѣдь солдаты-то изъ разныхъ концовъ Россіи. Кто съ сѣвера, кто съ юга. И всѣ на одинъ образецъ... Значить, вездѣ одно и то же... Когда мы разберемся съ этимъ?

— Богъ дастъ послѣ войны...

— Ахъ, отецъ, не то!.. Что это все за: «Богъ дастъ?» — Этакъ ужасно легко на всемъ себя успокоить! Богъ дастъ, да Богъ дастъ!.. А до тѣхъ поръ жди... Послѣ войны! Ты видишь, отецъ, какъ повелась война-то, послѣ войны мы лицомъ къ лицу съ этимъ стихійнымъ невѣжествомъ опять безсильны окажемся. Доброй воли мало, отецъ. Хорошія намѣренія всегда только ширмами были и только ширмами. Нужно будетъ ближайшимъ дѣломъ заняться — залѣчить раны, нанесенныя войною... Гдѣ люди?.. Откуда людей взять?

— Не выйти ли намъ? А? Какъ полагаешь? Ты и безъ того совсѣмъ засидѣлся, мхомъ прорастешь чего добраго, а?

— Куда выйти?

— На Зеленую Гору для развлечения. Раненыхъ у меня не осталось — дѣла никакого.

— Ночь скоро.

— Ну, вставай, вставай!.. Нечего.

Юноша всталъ. Когда они вышли на дворъ, стояли сумерки.

— Кто это?

На нихъ наткнулся какой-то полковникъ.

— А, Алексѣй Николаичъ!..

— Не до васъ, докторъ... Опустите руку! — обернулся встрѣченный къ юношѣ. — Дѣло важное... Очень важное!

— Что такое?

— Секретъ... Завтра предстоятъ событія.

— Великія?

— Не насмѣшничайте... Завтра рѣшится судьба войны.

— Не штурмомъ ли?

— Ничего не знаю... Да если бы и зналъ, не сказалъ бы ни слова... Верховцева видѣли?

— Развѣ онъ здѣсь? — заволновался Малыгинъ.

— Корреспондентъ! почуялъ кровь — пріѣхалъ... Они вѣдь какъ

коршуны слетаются. Макъ-Гаханъ сейчасъ у меня былъ... Нюхъ у нихъ особый какой-то! Дивишься только...

— Гдѣ его найти, Верховцева?

— Ищите, батюшка, вѣтра въ полѣ... Я ему такое словечко шепнулъ, что онъ сію же минуту на гренадерскія позиціи отправился.

— Это еще зачѣмъ?

— Завтра, завтра, докторъ, много узнаете... А вы, юноша, отправляйтесь поскорѣй въ полкъ, если не хотите прозѣвать...

— Мнѣ еще день отпуска остался, ваше высокоблагородіе!

— Да вѣдь полкъ-то вашъ черезъ два часа выступаетъ.

— Куда?

— Узнаете тамъ... Впрочемъ, не торопитесь. Опъ черезъ Брестовець пройдетъ — тогда и примкнете... У васъ вѣдь два Георгія?..

— Точно такъ-съ!

— Ну, завтра, пожалуй, и третій заслужите!.. О Мирской — никакихъ извѣстій?

— Ничего нѣтъ. Я самъ жду Верховцева...

— Завтра его встрѣтите... Завтра...

— Гдѣ?..

— Можетъ быть, въ Плевнѣ...

— Значить?.. — И докторъ схватилъ полковника за руку.

— Ничего не значить, отстаньте, докторъ, я пошутить!..

— Такъ-таки ничего и не скажете?

— Ни словечка!

Сумерки густѣли... Нѣсколько звѣздъ вспыхнули въ ночныхъ небесахъ... Гдѣ-то въ сторонѣ слышалась пѣсня...

— Пойдемъ-ка на пѣсню.

— Да это нашъ поетъ... Курносый... Радъ, что на выздоровленіе пошелъ... На костылѣ пока; ну, да ненадолго...

Пѣсня оборвалась. Въ темнотѣ видать, какъ трубочка вспыхиваетъ тамъ.

— Ахъ ты, Плевень, Плевень! — слышится голосъ.

— Да ужъ, братъ... Расчесали. Здорово намъ этотъ самый Плевень пакостилъ.

— Сказываютъ наши, онъ заклятой... На него зарокъ такой положенъ.

— Плевень-то?.. Кто его заклялъ?

— Агличанка закляла на годъ... Чтобъ, значить, стоять ему,

Плевеню, нерушимо... Хошь ты штурмой, хошь пушкой... Ничего ты съ имъ не возьмешь!

— Она заклянетъ... Она это можетъ, ей что? пустое самое дѣло... Она этому дѣлу главная причина.

— Только и на зарокъ этотъ тоже, братъ, можно наплевать...

— Наплюешься...

— Если теперчи архирей и какое прочее духовенство при всемъ паратъ молебень округъ его... Не устоитъ.

— Супротивъ архирея зарокъ не устоитъ...

— Это точно... Такъ вотъ, сказываютъ наши въ Питеръ за архиреемъ послали... Съ мощей архирей прѣдетъ... Станутъ сейчасъ округъ Плевеня въ трубы трубить, молебны служить, а потомъ штурмой ее, турку эту и выгонять. Тутъ ей и конецъ прѣдетъ.

— Давно бы... До агличанки бы дотянуться.

— Нельзя... На все свой прѣдѣлъ... Она, братъ, посереть моря-окіана... За крѣпкими затворами...

— Слышалъ, отецъ?... — обернулся Малыгинъ.

— Слышалъ.

— Ну?... Не правъ я? Вотъ тебѣ и боевой солдатъ... А тутъ и зарокъ, и агличанка, и архирей съ трубнымъ звукомъ.

— Никто и не сомнѣвался въ этомъ...

Странная тишина стояла уже нѣсколько дней подъ Плевной.

Ни одного выстрѣла не было слышно съ турецкихъ позицій. Можно было подумать, что тамъ все вымерло... Наши, сверхъ обыкновенія, пробовали задирать турокъ, да ничего не добились. На выстрѣлы турки не отвѣчали вовсе. «Это неспроста» — рѣшали всѣ. Глубокую тишину нарушалъ только отдаленный скрипъ какихъ-то безчисленныхъ обозовъ, доносившійся по ночамъ изъ осажденнаго города... Не ушли ли турки? — соображали кругомъ. Но нѣтъ, и сегодня, напримѣръ, какъ и вчера, многочисленные костры горѣли и въ ихъ траншеяхъ и въ редутахъ. Еще болѣе многочисленные костры были разложены за аванпостами.

Когда Малыгинъ съ сыномъ возвращались назадъ, была уже глубокая ночь.

Навстрѣчу имъ шелъ какой-то полкъ.

— Не наши ли? — спросилъ юноша... — Наши и есть! Ну, прощай, отецъ!...



Крѣпко поцѣловались. Сынъ бросился въ землянку за ружьемъ.

— Полковникъ! — остановилъ его старикъ.

— А, докторъ... Наше вамъ! Здравствуйте!

— Куда?

— Секретъ!

— Да ну васъ съ секретами... Все равно, вѣдь сейчасъ же сынъ мой пойдетъ съ вами.

— Ну, такъ ужъ и быть... Знаете Кришинскій редутъ?

— Еще бы!

— Ну, такъ вотъ туда-то мы и пробираемся!

— Что жъ это?... Штурмъ? — голосъ старика дрогнулъ. — Голубчикъ, Саша... ужъ не предчувствовалъ ли онъ что недоброе? Недаромъ мраченъ былъ...

— Не знаю... На всякій случай по шестидесяти патроновъ на человѣка взято... Я готовъ, хоть и на штурмъ. Такое ужъ наше дѣло.

— Опять кровь!.. Опять жертвы!..

И старикъ бросился скорѣй къ своей землянкѣ, чтобы еще разъ обнять сына...

Глухой топотъ солдатъ по улицамъ Брестовца одинъ только наполнял торжественное молчаніе ночи. При самомъ выходѣ изъ села послышался стукъ копыта и нѣсколько всадниковъ нагнали полкъ.

— Здорово, ребята!..

— Здравія желаемъ, ваше-ство! — услышали солдаты генерала.

— Ну, ребята — молодцами... Что бы ни случилось... Слышите?... Полковникъ — осторожность!.. Сначала команду охотниковъ — выслѣдить... Быть готовыми по первому приказанію идти на штурмъ... Я самъ васъ поведу, если понадобится, ребята!

## XV.

### Въ Кришинскомъ редутѣ.

Зловѣщею казалась тишина этой ночи на 28 ноября.

Полкъ шелъ въ высшей степени осторожно. Разсыпанные впереди дѣши подвигались, чуть не затаивъ дыханіе... Ни слова не было слышно въ рядахъ. Изрѣдка только звякалъ штыкъ о другой, да звенѣлъ

котелокъ у солдата... Глухой шорохъ шаговъ скрадывался рыхлымъ снѣгомъ... Слова команды отдавались шопотомъ и шопотомъ перебрасывались дальше. Поминутно останавливаясь, посылали впередъ два-три звена... Тѣ зорко высматривали мѣстность и возвращались назадъ, гедя за собой остальныхъ. За полверсты уже нельзя было бы слышать движенія этихъ массъ. Окрестность казалась столь же пустынной, какъ и вчера, когда между нашими и турецкими аванпостами не было никого... Ни одна живая душа наканунѣ не осмѣлилась бы двинуться въ этотъ роковой промежутокъ.

Впереди шли охотники... Этихъ было человекъ тридцать. Велъ ихъ Малыгинъ.

Еще разъ у самага Брестовца генераль подъѣхалъ къ отряду.

— Еще разъ попрощаться съ вами, братцы!.. До скорого свиданія... Полковникъ, охотники выбраны?

— Нѣтъ еще, ваше превосходительство.

— Между такими молодцами и выбирать нечего... Съ праваго фланга отсчитайте тридцать человекъ... Кто у васъ изъ надежныхъ унтеръ-офицеровъ?.. А, Малыгинъ, радъ видѣть!.. Ну-ко, георгиевскій кавалеръ, примите команду... Вотъ что, Малыгинъ, на васъ теперь вся отвѣтственность... Идите такъ, чтобы правая нога не слышала лѣвой... Дойдете до цѣпи — приостановитесь, пока полкъ подтянется... Если турки сняли аванпосты — по моимъ свѣдѣнїямъ, это легко можетъ случиться, — пошлите людей дать знать объ этомъ въ полкъ, а сами впередъ. Высмотрите, зачѣмъ у нихъ костры разложены... Если у костровъ народу мало, постарайтесь переколотъ, только безъ тревоги — бросились, перебили эту сволочь и дальше. «Ура» отнюдь не кричать. Если народу много — дождетесь своихъ... До траншеи дойдете — то же... А тамъ, полковникъ, вы знаете что дѣлать!.. Ну, такъ, молодцы, съ Богомъ!.. Малыгинъ, смотрите же, заслужите золотого Георгія... Безъ него назадъ и глазъ не показывайте...

«Эту сволочь»... Почему же сволочь?.. Вѣдь эта сволочь въ правѣ и о насъ говорить то же, — шевелилось въ головѣ Малыгина, когда онъ двигался впередъ по мокрымъ скатамъ и точно насквозь прогнившимъ лоцинамъ.

Онъ взглянулъ на своихъ солдатъ, насколько темнота позволяла различать ихъ. Заурядныя, оловячныя фигурки двигались не слѣна и во всей своей наружности не представляли ничего особеннаго. Трудно было бы со стороны угадать въ нихъ людей, которыхъ вели на смерть, на вѣрную смерть... Тѣ же простыя утомленные лица, тѣ же кепки на

затылокъ, то же стараніе идти въ ногу, хотя здѣсь этого никто не требовалъ, и никто за этимъ не наблюдалъ. Одинъ было трубочку засвѣтилъ, да на него цыкнули товарищи, и онъ съ видимымъ сожалѣніемъ запряталъ въ карманъ свою носогрѣйку...

— Ахъ ты, доля собачья!.. И курнуть не дадутъ.

— Ладно, курнешь потомъ.

— Когда потомъ? Знамо дѣло, на что идемъ... Подъ разстрѣль.

— Ну, ужъ!..

— А что жъ, турка на тебя смотрѣть станетъ, какіе на тебѣ узоры такіе написаны! У ево, братъ, скоро.

Разговоръ шелъ шопотомъ, точно крался сторонкой. Шорохъ шаговъ совсѣмъ заглушалъ его.

— Нельзя — служба...

— Знамо, нельзя... На то солдатъ... А только и солдату курнуть передъ концомъ куда какъ лестно... А опослѣ — рады стараться...

— Это что говорить!

— То-то же и оно...

Охотники были впереди всѣхъ... Малыгину показалось, не слишкомъ ли онъ далеко отошелъ отъ стрѣлковой цѣли... Онъ приостановилъ своихъ... Съ полчаса дождались и разслышали глухой шорохъ полка только тогда, когда онъ былъ въ двухстахъ шагахъ... Двинулись опять...

Лощины шли направо и налево... Черныя, предательскія... Мѣстность была, какъ говорятъ военные, пересѣченная. Холмы за холмами... Налѣво оставалось Кришино... Дойдя до него, Малыгину пришло въ голову, не скрывается ли въ этомъ селѣ какой-нибудь засады... Онъ осторожно пошелъ туда... Одинъ пошелъ — что же рисковать жизнью другихъ?... Жутко было... Въ сторонѣ замиралъ медленный шагъ его солдатъ — они должны были сейчасъ приостановиться, впереди была ничѣмъ не возмущаемая мрачная тишина... Именно мрачная. Она точно грозилась ему. Онъ прислушивался къ ней и съ каждымъ шагомъ ему все дѣлалось какъ-то холоднѣе и холоднѣе... Шорохъ какой-то впереди... Малыгинъ приостановился, замеръ... Весь въ слухъ ушелъ... Глазами ничего не разглядишь — темень внизу... Да, тамъ дѣйствительно шуршитъ что-то... Придвинулся еще и вздохнулъ свободнѣе... Оказалось, что подъ снѣговымъ налетомъ вода журчитъ — горный ручей прососался и ропщетъ на холодныя оковы зимы, что заслонили его отъ робкихъ звѣздъ, отъ яснаго солнца; ропщетъ,

пыжится, пѣнится, но, безсильный сбросить съ себя снѣговой насть, скатывается внизъ, въ сырую щель лощины... Шумъ ручья позволилъ Малыгину идти смѣлѣй. Его шаговъ не различать теперь... Вонъ, впереди какое-то темное облако... Садъ должно быть... Такъ и есть. Кришино начинается здѣсь... Съ голыхъ вѣтвей, точно вздрагивающихъ отъ ужаса лицомъ къ лицу съ злобщей тишиной этой притаившейся ночи, падаютъ хлопья снѣга... На шею Малыгину, на лицо... Влажными каплями сбѣгаютъ за воротникъ... Но не до того... Вонъ первые обгорѣлые дома... Жертвы нашихъ гранатъ... Ловко стрѣляли тогда артиллеристы... Въ темнотѣ и то замѣтно это черное пожараще...

— Чу, что это?... Шевельнулось что-то... Около шевельнулось... У самыхъ ногъ...

Холоднымъ потомъ обдало. Нѣтъ, опять все спокойно...

Малыгинъ нагнулся, нога за головню попала и скользнула, разбросивъ кругомъ еще нѣсколько такихъ же головней...

Пошелъ впередъ по улицѣ... Пустынные дома... Совсѣмъ пустынные землянки... Лаесть въ сторонѣ собака. Не почувала ли его? Нѣтъ... Лай перешелъ въ ворчаніе, видно, песъ успокаивается... Дѣйствительно — смолкъ... Свернулся, должно быть... Вонъ огонекъ впереди... Или мерещится? нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, огонекъ... Мигаетъ, будто сонный глазъ... Закроетъ вѣки, потомъ ихъ опять взброситъ вверхъ, удивленно оглянетъ все кругомъ и снова спитъ... На огонекъ пошелъ... Вѣрно, турки тамъ... Постъ у нихъ. Нѣсколько часовыхъ забралось въ землянку. Чего тутъ мокнуть на снѣгу?... Должно быть, не ждутъ ничего... Вотъ окно уже близко. Огонекъ заморгалъ оттуда нѣсколько быстрѣе. Глазъ совсѣмъ открылся. Видимое дѣло, въ печь новаго хвороста подбросили. Онъ и вспыхнулъ, облизывая горячими языками краснаго пламени глиняныя стѣнки камина...

Малыгинъ уже у окна... Припалъ къ нему, зорко, пристально смотреть... Странное дѣло — ни одного аскера. Сидитъ передъ огнемъ какая-то баба и раскачивается во всѣ стороны. Черная голова на красномъ фонѣ. Рядомъ поперекъ пола лежитъ кто-то, спитъ вѣрно... Что это, плачь слышенъ?... Нѣтъ... Точно поетъ она. Прислушался и понялъ... Причитаетъ, должно быть... Вѣрно, турки убили у нея кого-нибудь... А кто это спитъ тутъ? Не турокъ ли?... «Была не была — войду...»

«Какую я глупость дѣлаю» — соображаетъ онъ, ступая по мокрымъ ступенькамъ внизъ въ землянку... А самъ чувствуетъ, что не сбѣ-

латъ этой глупости не можетъ, ноги какъ-то сами собою двигаются...

«Какую я глупость дѣлаю!...» — чуть не вслухъ сказалъ онъ, взявшись за дверь.

Оставалось только толкнуть ее... Сердце замерло, замерло... «Господи!...» Толкнулъ...

Баба, сидѣвшая у огня, оглянулась. Увидѣла солдата — вскочила... Стала у печки... Дрожить...

Малыгинъ съ недоумѣніемъ смотритъ на нее... Здравствуй! Руку ей протягиваетъ.

— Добре дошелъ! — робко, робко заговорила она. — Руссь?..

— Руссь, руссь...

Болгарка что-то злобно и громко заговорила... Схватила его за руку, подтащила къ лежавшему на полу человѣку.

Только теперь Малыгинъ замѣтилъ, что это былъ болгаринъ. Лежалъ онъ какъ-то странно, навзничъ, безъ подушки, затылкомъ прямо въ плотно убитую глину пола; глаза сжаты, губы стиснуты. На лбу синякъ...

Чего ей нужно? Заболтала еще злобнѣе и еще громче...

— Тише ты! — пригрозилъ онъ ей. Она только отвела голову, точно онъ хотѣлъ ее ударить. — Чего орешь?

Сорвала она свитку, покрывавшую болгарина... Малыгина отшатнуло... Вся грудь въ крови...

— Турци?.. То турци?..

— Не... Не, не турци — братушки руссы...

Не можетъ быть!.. Прислушивается къ ея быстрому, быстрому говору... Понялъ, наконецъ. Изъ нашихъ брестовецкихъ батарей попала граната въ Кришино и положила наповаль несчастнаго братушку... Болгарка хватаетъ Малыгина за шинель... Тормозитъ, грозится... И снова плачетъ, плачетъ.

Успокоилась... Съѣла къ огню опять... Причитываетъ, всхлипывая.

Сталъ спрашивать ее Малыгинъ. Не отвѣчаетъ, видимо тошно ей глядѣть на него. За плечо взялъ — оглянулась...

— Турки гдѣ?

— Няма.

— Чего няма, я тебя спрашиваю, гдѣ турки?

— Юване, Юване!

— Чего кричишь?.. — останавливаетъ ее Малыгинъ.

— Иоване... Иоване!..

На зовъ въ другой совсѣмъ темной горницѣ той же землянки что-то зашуршало... Малыгинъ схватился за револьверъ... Тяжелые шаги слышны...

— Добре дошедь!.. — привѣтствуетъ его рослый болгаринъ. Крестится... Видимо, тоже струсилъ и хочетъ показать русскому аскеру, что онъ христіанинъ.

— Добре дошедь, братушко!

Лѣзетъ къ нему съ заскорузлой лапой.

— Гдѣ турки?.. — спѣшно спрашиваетъ Малыгинъ.

— Няма турцей.

— Куда же они дѣлись?

— Сички сбѣгали.

— Какъ сбѣгали? куда сбѣгали?

Болгаринъ принялся пояснять. Малыгинъ, наконецъ, понялъ, что еще утромъ здѣсь были турки, но пришелъ чаушъ, собралъ ихъ всѣхъ и увелъ за собой. Турки ушли отсюда, ничего не тронувъ и никого не обидѣвъ. Куда ушли, онъ не знаетъ. Только всю ночь вчера и сегодня цѣлый день слышалось въ Плевнѣ какое-то движеніе. Очевидно, турки что-нибудь замыслили... Изъ Кришина они не унесли даже и муки, которая у нихъ тутъ была сложена.

— Не въ табію (редутъ) ли свою они ушли?

— Не знаю, не знаю. Можетъ и въ табію, только очень, очень спѣшно.

— Значить, ихъ въ селѣ нѣтъ никого?

— Ни одного человѣка. Большой тутъ лежалъ, они и его унесли съ собой. Стадо тутъ же паслось — угнали въ Плевну.

— Иди-ко за мной... Дорогу намъ покажешь.

Болгаринъ покорно нахлобучилъ баранью шапку и пошелъ. Въ двѣряхъ Малыгинъ оглянулся. Передъ пламенемъ камина все такъ же сидѣла женщина и печально выпѣвала что-то.

— Сына у нея русскіе убили! — пояснилъ проводникъ-болгаринъ.

— Много ли въ селѣ болгаръ осталось?

— Нѣтъ... Малко... Малко... Какъ руссы стрѣлять начали, такъ всѣ болгары и ушли, что имъ тутъ дѣлать?

Проходя по пустымъ улицамъ окутаннаго ночью теменью села, Малыгинъ все еще не могъ успокоиться. Очевидно, болгары здѣсь не расположены къ намъ. Мы ихъ били съ своихъ батарей, мы ихъ обездолили совсѣмъ. Что ихъ удержать скрыть готовую засаду?.. Съ револь-

веромъ въ рукѣ, готовый на все, онъ, тѣмъ не менѣе, не могъ подавить какое-то трусливое, подленькое чувство, заставлявшее его опасно вглядываться въ каждую хату, слѣпо чертившую своими пустыми окнами. въ каждую боковую улочку... «Пять пуль имъ, шестая себѣ» — соображалъ онъ возможность нечаяннаго нападенія.

Онъ успокоился только тогда, когда Кришино осталось позади.

Теперь онъ быстро шелъ впередъ. Отвага и бодрость росли по мѣрѣ удаленія отъ этого села. Теперь онъ ключемъ били въ его жилахъ. Что пужды — быть можетъ, смерть усторожитъ его спустя полчаса — все равно, теперь на эти нѣсколько минутъ онъ совсѣмъ безопасенъ. На поворотѣ въ лощину, откуда слышались шаги подступавшихъ справа солдатъ, Малыгинъ оглянулся.

— Эй, братушко! Гдѣ ты?

Отвѣта не было. Позади стояла все та же мертвая тишина.

— Куда онъ запропастился? Неужели ушелъ? Эй, болгарь!

То же молчаніе ночи. Та же тьма, въ которой сливались въ одно марево и деревья, прислонившіяся къ скатамъ, и самые холмы.

— Такъ и есть, ушелъ свинья! — озлился Малыгинъ, — впро-чемъ, безъ него обойдемся.

— Что тутъ? кто тутъ? — крикнулъ Малыгинъ, почувствовавъ, что чья-то рука сдавила его за горло.

— Батюшки, нашъ!

— Нашъ и есть.

— Что вы, братцы? Какъ вамъ не стыдно?

— А почему узнать тебя въ темени экой. Слышимъ, кто-то шибко идетъ, ну, и подстерегли.

— Какого полка?

— Да вашего же, ребята! Не узнали. Ходилъ въ Кришино узнать, нѣтъ ли чего.

Спустя полчаса Малыгинъ догналъ охотниковъ, дожидавшихся его въ полуверстѣ отъ мѣста, гдѣ утромъ еще стояли турецкіе аванпосты.

Тихо-тихо двигался туда небольшой отрядъ охотниковъ.

Нѣсколько позади линіи аванпостовъ уже гасли костры... Видимо дрова сгорѣли, красные угли подергивались золою... Точно одно-глазья чудища разбросались цѣлью и изъ-подъ низко опущенныхъ вѣкъ зорко сторожатъ приближеніе русскихъ. По пути ничего не попало... Последнія робко мигавшія звѣзды затянуло сѣроватыми облачками... Легкій туманъ клубился въ лощинахъ... Не сжатая кукуруза стояла кое-гдѣ щетиной надъ рыхлымъ снѣгомъ.

— Сейчасъ они насъ почувуютъ... Сейчасъ ихніе часовые пуцать почнутъ.

— Залпой? — слышался опасливый голосъ солдата.

— Ну, вотъ, сразу да залпой! Сначала въ разброску, а послѣ по командѣ и залпа будетъ, — успокаивалъ его товарищъ.

— Не обойдется.

— Все единственно, что они бы къ намъ.

— Тише, братцы, тише... — шопотомъ предостерегаль ихъ Малыгинъ, проходя вдоль цѣпи.

Солдаты и сами стихли... Едва, едва двигаются, подобрались. Дышать стараются такъ, чтобы товарищъ рядомъ не услышалъ. Гдѣ-то звякнула манерка, рядомъ шедшій солдатъ машинально далъ виновному въ шею — тотъ молча поправился, будто такъ и слѣдуетъ... Малыгинъ чувствовалъ, какъ опять возбужденно забилося у него сердце... Вотъ-вотъ, сейчасъ... Только изъ лоцины выберутся, тутъ и есть цѣпь ихняя...

Вверхъ изъ лоцины идутъ уже нехотя. Точно что-то тяжелое къ ногамъ пристало, едва оторвешь ихъ отъ снѣга... Только глаза зорко смотрять въ темень наверху, да ухо чутко слушаетъ, чутко до боли... По пока на гребнѣ не видать ничего, одна тьма. Ухо не можетъ уловить никакого звука... Ни слова оттуда, ни стука ружья, ни шаговъ чело-вѣка не слышно. До половины взобрались... Приостановились...

— Стой, ребята... Я впередъ пойду! — чуть не каждому шепчетъ на ухо Малыгинъ.

И самъ онъ, и всякій, кто слышитъ его, чувствуютъ нервную дрожь въ его голосѣ. На опасное дѣло идти — судьбу свою чуетъ.

Охотники остановились точно вкопанные, гдѣ кого застало приказаніе... Остановились и слушаютъ. Такъ и тянетъ прилечь — враси въ землю. Слушаютъ. Вотъ-вотъ сверкнетъ наверху огонекъ и раздастся первый осторожный выстрѣлъ что-то неладное почувствовавшего турка. Вотъ-вотъ рядомъ по гребню побѣгутъ такіе же огоньки... И пойдетъ кутерьма. Господи! Кому первому?.. — думаетъ про себя каждый изъ охотниковъ и загода крестится.

Малыгинъ уже не идетъ, а совсѣмъ крадется наверхъ. Ногу за ногой. Поставить впередъ, навалится на нее и переводитъ другую. Совершенно неслышенъ самому его шагъ сталъ... Сердце бьется гораздо громче, чѣмъ ноги вступаютъ въ рыхлый снѣгъ. Въ голову кровь стучитъ слышнѣе... Изъ-подъ сапога комъ снѣгу сползъ... Шуршитъ внизъ. Малыгинъ остановился и замеръ... «Однако, какъ нервы рас-



ходились» — проносится въ его головѣ, помимо его воли, точно это кто-нибудь другой думаетъ, а не онъ. «Совсѣмъ размякъ — бабой сталъ... Что со мною? Что-то старый профессоръ мой дѣлаетъ?» — ни съ того, ни съ сего влетѣло въ память... И вдругъ такъ и обрисовался порыжѣлый фракъ и висящая на ниточкѣ пуговица профессора. А тамъ опять мысль: «Сейчасъ — наткнусь... Сю минуту замѣтятъ...» И еще громче сердце... И еще тише шагъ.

Чу... Ужъ гребень... Темная кайма его направо... Что же это — никого нѣтъ?... Костры близко. Кое-гдѣ свѣтятся еще... На отсвѣтѣ ихъ — ничей силуэтъ не чернѣетъ... Сталъ неподвижно, прислушивается: ничье дыханіе не нарушаетъ безмолвія ночи... Снизу донося какою-то загадочный звукъ... Тамъ наши... А вверху все словно на кладбищѣ... Шорохъ... Угли въ кострѣ провалились внутрь... Нигдѣ никого... Пошелъ вправо, шаговъ двѣсти сдѣлалъ, пальцо тоже никого...

Гораздо уже увѣреннѣе сползъ внизъ... Послалъ сказать въ стрѣлковую дѣль, что кругомъ ни одного турецкаго солдата не замѣтно.

— Къ чему же костры? — Шель, шель опять... Запнулся на что-то... Поднялъ — солдатская сумка, только не наша. Брошена вѣрно. Вотъ еще тряпка какая-то на снѣгу... Жестяной ящикъ отъ пуль... Куда же турки дѣвались?... Не отступили ли въ траншеи?..

До костровъ добрались — никого, дѣйствительно, нѣтъ... Тишина и тутъ полная.

Осталось только одно предостереженіе — вполнѣ вѣроятное: турки оставили аванпосты, турки ушли въ Кришинскій редутъ!

— Ёнь, братъ, неспроста...

— Ну.

— Ёнь это залучить насъ подальше думаетъ... А какъ залучить, тутъ ёнь и вдарить. Также не безъ хитрости. Экую позицію да безъ бою сдать.

— Съ чего только ёнь костры пораскладалъ?

Около костровъ было наслѣжено. Видимое дѣло, еще недавно здѣсь толпились люди.

Не успѣли отойти подальше, какъ иззади прискакалъ ординарецъ.

— Гдѣ охотники? — кричалъ онъ во-всю.

— Здѣсь! — все-таки шопотомъ отвѣчали тѣ.

— Идите прямо на редутъ. Генералъ приказалъ. Никуда не сворачивая, идите. Если кого-нибудь встрѣтите тамъ — переколите... За вами сейчасъ весь полкъ... Кто здѣсь командуетъ?

— Я.

— А, Малыгинъ, здравствуйте! Наши на Зеленыхъ Горахъ заняли безъ выстрѣла турецкія траншеи.

— Что это значить?

— Радишевскія позиціи тоже пусты.

— Да чѣмъ же вы это объясните?

— Тѣмъ, что они все силы свои стягиваютъ на рѣку Видь.

— Вона!

— И завтра чуть свѣтъ попытаются прорваться черезъ гренадерскія позиціи... Досада, право! Этакое вѣдь счастье людямъ, вся слава завтрашняго дня достанется на долю гренадерамъ!

— И все потери.

— Что потери? на то и война.

— Однако!..

— Мало развѣ у насъ было потерь?

«Дорого достается такая слава», — думалось Малыгину, когда онъ двинулся впередъ. Солдаты тоже пошли шибко-шибко. Все предосторожности были пока позабыты. Штыки лязгали о штыки, манерки звелѣли, солдаты громко заговорили и стали пересмѣливаться. Кое-гдѣ зашвѣтились трубочки. Стали попыхивать.

— Хорошее дѣло!.. Завтра нашей шаснадцатой дивизіи отдохъ.

— Да... Пущай таперь другіе. Мы ужъ довольно старались!

— Слава те, Господи, а то какъ пекло какое найдется, сичасъ нашихъ туда.

«Эти вотъ не завидуютъ славу завтрашняго дня, — думалось Малыгину. — А они правы. Растеряли довольно товарищей на прежнихъ славахъ. Слава одного 30-го августа стояла дивизіи 9,000 человекъ, да слава Зеленыхъ Горъ — въ тысячу влетѣла. Пора и отдохнуть отъ славы. Пускай другіе срываютъ лавры!»

И опять уже нѣсколько дней томившее большое чувство закралось ему въ душу. Тоска безпредметная...

«Однако, что же это у меня? Еще неизвѣстно, есть ли что впереди, а солдаты всею уже и губы распустили».

— Братцы, что же это? Развѣ такъ можно? Ну, а какъ онъ васъ залпомъ встрѣтитъ?

Мигомъ подтянуло. Штыки ровнѣе, трубки погашены.

— На Зеленыхъ Горахъ бають безъ боя.

— То на Зеленыхъ. А тутъ онъ, можетъ, только замануть желаетъ.

Вотъ впереди зубчатый валъ траншеи. Мелькнулъ и опять спря-  
тался въ темноту.

Молчаніе тамъ. Если бы кто былъ, давно бы услышали нашихъ.  
Ближе подошли — то же молчаніе... Одному изъ солдатиковъ на-  
доѣло.

— Семь-ко я, братцы, къ ему!..

— Куда ты, Офросимовъ?

— Съ разбѣгу — къ бритому чорту!

— Да ёнъ тебя.

— Я, братцы, его мухамедскаго буйлу самъ по башкѣ.

И Офросимовъ бросился бѣгомъ въ траншею.

Вскинулся на валъ — прыгнувъ туда и самъ заробѣлъ на пер-  
выхъ порахъ... Хоть бы одинъ аскеръ его тамъ встрѣтилъ. Нѣтъ,  
та же тишина мертвая... Траншея пуста... Зловѣще пуста...  
Такъ пуста, что даже страшно стало...

Выскочилъ прочь Офросимовъ.

— Ну, что?

— Неладное дѣло, никого не засталъ...

— Что жъ ёнъ задумалъ?

— Это не къ добру... Пусто скрозь... Только хурда-мурда  
разбросана, а то ничего... Ни единого пса...

Солдаты вошли въ траншею и стали дожидаться стрѣлковую цѣпь...

Глухой топотъ издали... Въ темнотѣ ночи выдѣлилась сначала  
довольно смутно стрѣлковая цѣпь. Точно кайма какая-то шла сюда.  
Потомъ эта кайма разбилась на отдѣльные пятна, изъ отдѣльныхъ пя-  
тенъ опредѣлились люди... Подошли... Приклады ружей глухо стук-  
нули оземь у самаго бруствера траншеи.

— Садись, ребята!.. Отдохни. Нужно будетъ еще къ редуту пе-  
ребѣжать, такъ чтобы съ свѣжими силами...

Шорохъ садящихся солдатъ, нѣсколько огоньковъ отъ носогрѣекъ.  
Легкій говорокъ, притаивающійся, въ которомъ осторожность и страхъ  
до того перемѣшались, что ихъ не отличишь другъ отъ друга, и снова  
шорохъ позади... Новая цѣпь подошла... Опять звякнули при-  
клады.

— Ну, что, ребята, все слава те Господи!? — спрашиваютъ изъ  
новой цѣпи.

— Лучше не надо. Чисто...

— Бритые черти, сбѣгали...

— Сички сбѣгали! — шутили солдаты по-болгарски.

— Хоть бы намъ малко кого оставили, а? Штыками бы пощупать!

— Что такъ тебѣ захотѣлось?

— Да мой штычекъ давно турка не чуялъ, голодный совсѣмъ... Такой у него апекитъ...

— Не накликай, не накликай!.. Сами попадемъ, гляди. Одинъ-то у насъ также все до турокъ дорваться хотѣлъ.

— Ну?

— Первымъ подъ пулю попалъ. Лежить теперъ. И похоронить некому было.

Солдатикъ, хваставшійся аппетитомъ своего штыка, смутился.

— По правдѣ, по истинной ежели, турка грѣхъ охаеть!

— Чего его хаеть — солдатъ хоррошій!

— Исправный воинъ, что говорить!.. Тоже не по своей волѣ пошелъ, поди, изъ ихнихъ и жанатые есть?

— Какъ не быть.

— То-то же... Самые, значить, мученики. Потому не о себѣ, а объ дѣтяхъ забота... А ты турка своему штыку хочешь... Дуракъ и есть — турокъ-то, поди, не менѣй твоего чувствуетъ...

— Я такъ, дяденька, проста.

— За эту-то простоту какъ бы тебя слѣдовало! У Бога, братъ, все на счету. Будь спокоенъ. Онъ тебя накажетъ!

— За что? На то и война, чтобы колотъ!

— Дуракъ и есть; да рази съ легкимъ сердцемъ колотъ можно?

— А то какъ? На уру и коли!

— Старый солдатъ идетъ въ бой, что на молитву. Господи, думаетъ, прости мнѣ грѣшному... Не самъ я иду, а по приказу... Тебѣ же, Господи живой, присягу приносилъ вѣрой и правдой!.. Не начти на мя зла сего, иже содѣяхъ и содѣю!.. А потомъ, пожалуй, и ура — и коли! Вотъ какъ настоящій солдатъ должонъ, а нежели ты говоришь съ легкимъ сердцемъ!

— Это по-вашему, по-старовѣрскому, такъ.

— Богъ, братъ, у всѣхъ одинъ, что у насъ, что у васъ. А Богъ одинъ и вѣра одна... Только платье разное. По-твоему Богъ для воронья войну выдумалъ, чтобы вороньё да псовъ кормить... Дерево! Война — испытаніе за грѣхи на ны посылаемое. Сюда, братъ, не съ легкимъ, а съ чистымъ сердцемъ надо идти... Ишь ты, точно на радость какую объявился!

Скоро подтянулся полкъ...

Какой-то толстый штабъ-офицеръ весь въ поту суетился въ траншеѣ.

— Послать Малыгина къ полковнику! — выходилъ онъ изъ себя.

— Да, ваше-скородіе, они ужь пошли давно.

— А, пошелъ... Такъ бы и говорилъ... Что идоломъ стоишь?

Службу забылъ — руки гдѣ?

Солдатику вытянулся...

— Ну, то-то... Ты мнѣ скажи, кто ты такой — верблюды или солдатъ?

— И ругатель же этотъ маіоръ, а пожаловаться грѣхъ... За что только вельбудомъ облаялъ?

— У этого маіора — какъ наскочишь. Это еще вельбудъ что?.. А какъ онъ меня вчера: приуштамши я былъ маленько, иду — не въ себѣ... «Ты, говоритъ, чего, масло чухонское, ползешь... Забылъ, какой дивизин, крендель выборской?..» И смѣхъ и обида...

— Вотъ что, Малыгинъ, — приказывалъ полковникъ, — собирайте охотниковъ — и маршъ сейчасъ же въ редутъ... Только смотрите, чтобы все обошлось тихо, смирно, благородно. Какъ монахи... Слышите. Наскочили, засѣли и колите, если у *нихъ* тамъ народу мало; коли много — пошлите намъ дать знать... Понимаете: съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкой!..

— Все ли у васъ народъ надежный? — вмѣшался какой-то офицеръ.

— Не знаю, ваше благородіе, генераль съ краю отсчиталъ... Думаю, ничего — шли хорошо...

— Такъ вы ужь смотрите, — тихо, смирно, благородно... Огня безъ толку не открывать... Слышите — порядокъ!..

— Изъ моей роты всѣ у васъ, я ихъ знаю, такъ Офросимова-то солдатишку пошлите назадъ... Онъ солдатишка храбрый, да ужь очень «ура» кричатъ любить. Чуть что — зажмурится, «ура» и на рожонъ. Какъ бы не испортилъ... Вы его ужь сюда назадъ. Все вѣрнѣе.

— Онъ ужь и у меня въ траншею съ разбѣгу...

— Ну, вотъ, видите, какой солдатишка поганый!.. А вы бы его за храбрость да въ зубы!..

— Поручикъ!.. — строго окликнулъ его полковой командиръ. Тотъ вытянулся.

— Развѣ можно вслухъ... Его, подлеца, и не такъ лущить слѣдуетъ, чтобы другихъ не подводилъ... А только говорить объ этомъ зачѣмъ?..

Малыгинъ сдѣлать налѣво кругомъ и отправился.

— Офросимовъ, ступай-ка въ роту.

— Зачѣмъ?

— Ротный тебя зоветъ... И безъ тебя обойдемся, видно...

— Нѣтъ, ужъ это помилуйте...

— Ладно, ладно — иди!.. Велѣно, говорятъ тебѣ... Ну, ре-

бятя, пойдѣмъ-ка опять... Стройся!.. Смирно!.. Ружья вольно!..

Шагомъ маршъ!.. Только потише.

— Турки-то тамъ?

— Богъ знаетъ...

— Неизвѣстно, что будетъ... А отъ своей судьбы, братъ, не уйдѣшь...

— Что жъ это такъ много насъ стало?

— Да это которые изъ цѣпи къ намъ пристали, по своей охотѣ...

Извѣстно всякому лестно.

До Кришинскаго редута оставалось полверсты. Чѣмъ ближе подходили къ нему, тѣмъ онъ выросталъ все грознѣе и грознѣе. Нѣсколько разъ приостанавливались солдаты и шли опять... Ничего не было слышно оттуда... Въ мрачномъ молчаніи своемъ эта громаднѣйшая изъ всѣхъ твердынь плевненскихъ казалась притаилась, чтобы вѣрнѣе подстеречь свои жертвы. Толстые валы редута издали казались живыми... Точно чудовище какое-то залегло тамъ, злобно сгорбивъ свой хребетъ и далеко впередъ протянувъ свои могучія лапы... Спитъ оно или только замолкло?... По всему пути были разбросаны жестяные ящики изъ-подъ пуль, какія-то тряпки... А скоро попались и другіе ящики, которыхъ никакъ уже не ожидали встрѣтить солдаты.

Безмолвные свидѣтели!.. Это были они, съ 30-го августа лежавшіе все на однихъ и тѣхъ же мѣстахъ, глядя черными впадинами череповъ въ небеса и словно вопія къ нимъ о мести, о справедливости.

Первый наткнулся на нихъ Малыгинъ.

Что-то точно подвернулось ему подъ ноги. Поскользнулся, споткнулся и попалъ рукой на что-то круглое... Какъ ни темна была эта ночь, но онъ различилъ множество такихъ же безмолвныхъ свидѣтелей, разбросанныхъ кругомъ по этому скату... На этотъ разъ ему, впрочемъ, некогда было останавливаться. Тѣмъ не менѣе, онъ долго еще потиралъ руку... Ему казалось, что на ней до сихъ поръ сырѣетъ гниль разлагающагося трупа. Куда онъ ни смотрѣлъ, куда онъ ни заносилъ ногу, вездѣ были *они*... Въ разныхъ направленіяхъ, искривленные, согнутые въ три-пятикратныя, съ заброшенными кверху ру-

бами, съ руками, указующими куда-то... Словно тѣ, кому они молили отомстить, находились именно по этому направленію...

Ночью смутные силуэты мертвыхъ были еще ужаснѣе, чѣмъ днемъ. Точно они ползкомъ подкрадывались, словно хотѣли кинуться на кого-то.

Пора впрочемъ было оставить ихъ въ покоѣ.

Когда Малыгинъ поднялъ голову — надъ нимъ точно неожиданно выросла громада Кришинскаго редута. Словно не онъ подошелъ, а она разомъ надвинулась на него... Змѣи, ползущія по травѣ, дѣлають больше шуму, чѣмъ эта команда охотниковъ... Она кралась осторожно, шагъ за шагомъ... Изъ-за чернаго ночью вала свѣтилось что-то. Вѣрно тамъ костеръ пылаеть, а у костра люди. Костеръ, должно быть, разложенъ недавно, потому что отсвѣтъ очень великъ... Странно только, что шуму не слышать. Какъ это еще до сихъ поръ не пришлось наткнуться на секреты турецкіе. Неужели они ихъ не выслали? Забыли вѣрно отъ безопасности. А можетъ быть хитрость, западня... Засада...

Приостановились... Зашли къ редуту съ другой стороны — то же самое, тишина, глубокая тишина, наступающая послѣ злодѣйства, тяжелая, словно туманъ, ложащаяся на сердце, тучей заволакивающая мозгъ... Съ этой стороны Плевна мелькнула... Сколько огней тамъ!.. Оттуда слышенъ шумъ. Точно тысячи арбъ двигаются по громаднымъ булыжникамъ ухабистыхъ мостовыхъ... Точно тысячи голосовъ вторять этому шуму... А здѣсь, внутри редута, — молчаніе...

— Что бы это значило?..

На валахъ не видать силуэтовъ часовыхъ... Неужели они не выставлены?..

Нѣтъ, этого не можетъ быть...

Просвѣтъ широкой амбразуры. Малыгинъ подкрался сюда... Мѣдннй зѣвъ орудія выставился. Точно хищная птица вытянула свою длинную шею. Вотъ-вотъ, такъ и кажется, повернетъ ее направо, налѣво и клюнетъ... Въ просвѣтѣ видны лафетъ, колеса... При орудіи никого... Сбоку часть редута видна... Сильный свѣтъ отъ костра... Траверсъ мѣшаетъ проклятый, черною стѣной загородилъ... Сильный свѣтъ костра — неужели всѣ спятъ. Ни одного звука оттуда... Малыгинъ скользнулъ въ амбразуру... Ни живъ, ни мертвъ... Что называется душа въ пятки ушла... Ноги сами безъ него ходять... Проскользнулъ и чутко-чутко слушаетъ. Прислонился къ орудію... Къ холодному металлу приложилъ свою пылающую голову... Никого, рѣшительно никого... Взялся рукой за колеса и притянулся къ нимъ,

точно самъ не могъ бы пройти... Теперь и за траверсъ видно — уголокъ редута... Пустой совсѣмъ уголокъ. Рѣшительно непонятно!.. Ступилъ ногой дальше, Господи!.. Прямо въ жестяной ящикъ отъ пуль попалъ... Ящикъ загремѣлъ... Въ молчаніи ночи шумъ этотъ сильнѣе выдѣлился... Сейчасъ кинутся... Присѣлъ на землю — и глаза закрылъ... А сердце такъ и стучить, такъ и стучить... Вотъ-вотъ... Что же это — никого?... Рѣшительно никого... «Какъ не стыдно такъ трусить!» Всталъ... Увѣреннѣе уже идетъ... Вышелъ совсѣмъ за траверсъ. Вотъ онъ, весь редутъ передъ нимъ. Казематированныя землянки... Черныя зѣвы ихъ прямо къ костру вышли... Пусто и въ нихъ; заглянулъ въ одну — хламъ какой-то навороченъ. Зола, потухшіе угли у самаго входа... Что это тамъ шевелится внутри... Стоить кто-то... Да, стоитъ... Неподвижно... «Кто тутъ?..» — шепчетъ Малыгинъ. «Кто тутъ?» и сейчасъ же соображаетъ, что шопотъ его такъ тихъ, что и самому ему едва-едва слышенъ. Взялъ себя въ руки. «Кто тутъ?» Силуэтъ все-таки неподвиженъ... Выбѣжалъ Малыгинъ, выхватилъ изъ костра головню — опять въ землянку. Какъ скоро пришелъ страхъ, такъ же скоро онъ и смѣхомъ смѣнился. Да какъ же не смѣяться? хорошо, что еще никто не видѣлъ... Силуэтъ оказался балясиной, поддерживавшей блиндированную кровлю землянки... Зашелъ въ другія — пустыя, совсѣмъ пустыя.

Нужно своихъ оповѣстить! Взбѣжалъ на валъ и во все горло: — Братцы! Скорѣй сюда!.. Никого нѣтъ... Редутъ пустой совсѣмъ...

— Ура!.. — вспыхнуло внизу... Изъ разныхъ мѣстъ, куда заползли охотники... Ура!.. Жидкое какое-то ура вышло. Особенно сравнительно съ грознымъ молчаніемъ этого чудовищнаго редута... Впрочемъ ура — сразу оборвалось... «А если турки недалеко... Чортъ ихъ знаетъ! Можетъ быть, мину подложили... Фугасы тамъ, что ли? На воздухъ летать не особенно сладко...»

Охотники тихо входятъ въ редутъ... Разбѣгаются по всѣмъ сторонамъ...

— Ишь ты, только одну орудію и оставилъ!

— Велика больно, дылда-то... А вотъ съ эстаго мѣста сvezь...

Ишь, свѣжая колея...

— Да ёнъ, братцы, и съ дылды-то замокъ снялъ.

— А вотъ утромъ пошукаемся; гдѣ-нибудь, должно, близко, бросилъ его — замокъ-отъ. Не унесетъ... Все, братцы, наше будетъ...



— Ну, это какъ Богъ дастъ.

— Извѣстно, безъ Его куды, даромъ те и чирей не вскочить, не токма что.

— Братцы!.. — слышалось въ сторонѣ совсѣмъ.

И какимъ голосомъ крикнулъ! Всѣхъ точно въ сторону отбросило... Сбились въ кучу, какъ бараны.

— Братцы! — голосъ вздрагиваетъ отъ ужаса... — Турки здѣсь...

— Смирно!.. Слушать команду! — Малыгинъ совсѣмъ овладѣлъ собою.

Солдаты построились... Ждутъ... Напугавшій всѣхъ подбѣгаетъ тоже, на-бѣгу осматривая замокъ у ружья.

— Что тамъ? — спрашиваетъ его Малыгинъ.

— Разговоръ турецкій?..

— Ничего не видно.

— Темень, глазъ выколешь. Безпремѣнно подвохъ...

— Ну, ужъ теперь поздно рассуждать. Живыми не дадимся. Сейчасъ наши подойдутъ... Намъ, братцы, только бы минутъ десять поддѣжаться. Стрѣлковая цѣпь живо выручить...

— Продѣржимся, отчего не продержаться?

Сбились... Стоять и смотреть на роковую землянку... Свѣтъ отъ костра падаетъ туда... Совсѣмъ черный зѣвъ... Нѣтъ, не совсѣмъ... Что это?

— Не смѣть стрѣлять безъ команды! — предупредилъ Малыгинъ.

Что это сгорбленное едва-едва ползетъ оттуда? Красная феска... какъ разъ подъ пламенемъ костра.

Одинъ изъ солдатиковъ приложился было.

— Я застрѣлю тебя, мерзавецъ! Сказано, безъ команды не смѣть!..

Аскеръ... Турецкій солдатъ и есть... Только сгорбленный весь, жалкій... Что это такое?

Красная феска все ближе и ближе... Подошелъ къ костру — на колѣни становится, руки протягиваетъ.

— Аманъ, Аманъ!

— Это онъ прощенья просить, — живо заговорили солдаты. — Чего же ты напугалъ всѣхъ... дурья твоя башка? — посыпались укоры на солдата, взбудоражившаго всѣхъ. — Теперь тебя бы по затылку за это?

— Я тутъ не при чемъ, братцы, — слышу — по-турецки говорить.

И онъ живо подбѣжалъ къ турку:

— Низамъ, а, низамъ?..

— Низамъ, низамъ... — закивалъ головой турокъ.

— А не баши-бузукъ?

— Юкъ баши-бузукъ... Баши-бузукъ — тьфу! — энергично объяснилъ пойманный.

— Ну, коли низамъ, значить, солдатъ — товарищъ.

Солдатъ вытащилъ трубку, набилъ ее, выхватилъ уголекъ изъ костра, затянулся, пустилъ струю дыму по вѣтру, потомъ вложилъ трубку въ зубы турку... Другіе тоже тутъ, похлопываютъ его по плечу — радуются, какъ дѣти... Сразу первый пріятель сталь...

— А еще есть турка здѣсь?

— Има тука турци?.. — перевелъ одинъ по-болгарски.

Турокъ показаль на одну землянку, потомъ положилъ щеку на ладонь, изображая спящаго.

Взяли головню, сунулись туда, видать — развалился громадный молодчинище низамъ и спить. Толкнули, — не встаетъ, еще разъ — съ тѣмъ же успѣхомъ... Что за причина?

— Да онъ мертвый, ребята!

— И есть!..

— Ахъ, ты, бѣдный, бѣдный...

— Чего бѣдный? живъ бы былъ, онъ бы тебѣ задалъ...

Около валяется феска. Солдатикъ повеселѣй захватилъ ее и нацѣпилъ на голову — шутка понравилась; другой стащилъ феску съ живого турка, а свою кепку надѣлъ на него. Хохотъ пошелъ. Турокъ тоже развеселился... Заболталъ что-то по-своему, грѣя руки надъ огнемъ, а потомъ поднялъ куртку и показаль рану въ боку...

— Мы, братъ, тебя живо вылѣчимъ... У насъ во какъ хорошо.

— А что у насъ-то хорошаго?

— Что?..

— Да, что?..

— Какъ что? — растерялся солдатъ. — У насъ все хорошо...

— Да что же все?

— Все какъ есть... Хоть бы каша теперъ! — обрадовался солдатъ.

— Да ты ее когда ѣлъ, кашу-то?

— Въ Рассеѣ ѣлъ.

— Эхъ ты, мутовка!

Подошелъ полкъ. Солдаты весело стали соскакивать въ редутъ. Окружили турка, давай его разспрашивать.

— Ты его не больно... Енъ, братъ, раненый...

Турка оставили въ покоѣ. Подошло начальство...

— Переводчика! Гдѣ переводчикъ? Куда этотъ братушка всегда исчезаетъ?

Явился переводчикъ, обиженный.

— Я, ваше благородіе, всегда при васъ. Помилуйте!

Начался допросъ...

А изъ Плевны доносился грохотъ обозовъ, крики погонщиковъ, топотъ тысячи ногъ... за Видомъ все еще было тихо... Далеко, далеко, на самомъ горизонтѣ, сверкали костры на позиціяхъ у гренадеровъ...

— Ну, Малыгинъ, спасибо... Тихо, смирно, благородно сдѣлали дѣло... Молодцомъ... Вульфертъ, разставьте часовыхъ и велите солдатамъ отдыхать. Завтра еще понадобятся, можетъ быть...

Сѣрыя фигуры привалились гдѣ попало... Разошлись по землянкамъ... Скоро въ редутѣ стало совсѣмъ тихо. Только плѣнный турокъ грѣлся у костра, да бормоталъ про себя что-то...

Ночь стояла мрачная и беззвѣздная... Тучи заполнили все небо... Снизу казалось, что онѣ именно надъ редутомъ скопляются зловѣщія и могучія... Малыгину не спалось... Нервы шалили опять, грезилось нивѣсть что... голова кружилась. Вышелъ изъ землянки — холодно... Взобрался на брустверь... Прислушался. Вдали — далеко, далеко, должно быть, надъ Видомъ, точно волны вспѣннаго моря въ берега бьются. Слышенъ говоръ, доносится движеніе десятковъ тысячъ людей... Направо, въ Плевнѣ, потухли послѣдніе огни. Бѣлесоватымъ пятномъ рисуется она въ своей котловинѣ... Ничего не различишь.

Часа два прошло... Свѣтать стало... Тучи исчезаютъ съ неба, точно дорогу солнцу даютъ... Первый румяный отсвѣтъ скользнулъ по гребнямъ холмовъ... Начиналось 28-е ноября...

— Къ ружью!..

Отъ потрясающаго артиллерійскаго залпа проснулось и повскакало все... Сотни орудій сразу бросили свой вызовъ гренадерской дивизіи...

Наступилъ послѣдній актъ кровавой плевенской трагедіи.

Полчища Османа — раскинулись впереди, чтобы прорвать охватившее ихъ озовсюду желѣзное кольцо.

— Господи, спаси и помоги! — крестились солдаты, снимая шапки.

Раненый турокъ тоже стоялъ на молитвѣ.

## XVI.

## Сонъ Мирской.

Тускло свѣтитъ больничная лампа, такъ тускло, что углы комнаты, гдѣ лежитъ Мирская, совсѣмъ ушли куда-то... Темень густится тамъ...

Сидѣлка въ креслѣ заснула...

Сверчку и тому надоѣло пѣть свою однообразную пѣсню. Совсѣмъ замолкъ... Тишина... Мертвая тишина... Дыханія больной вовсе не слышно...

Только Мирская не спитъ.

Широко раскрыла глаза и смотритъ, пристально смотреть, такъ пристально, такъ неподвижно, что, вѣрно, этотъ напряженный взглядъ не видитъ ни окна, завѣшаннаго зеленою шторой, ни стула около, ни сидѣлки въ креслѣ, хоть именно на бѣломъ чепчикѣ сидѣлки и сосредоточивается тусклый свѣтъ лампы. Изрѣдка выступы этого безобразнаго чепчика вздрагиваютъ, какъ крылья сонной птицы...

Мирская здѣсь живетъ своею особою жизнью... Все, что окружаетъ ее кровать, не существуетъ для больной... Сестру милосердія она видитъ и слышитъ, но не узнаетъ ея лица, не понимаетъ ея словъ. Въ Верховцева, когда тотъ приходилъ навѣстить ее, — вглядывалась, стараясь узнать что-то знакомое въ его чертахъ и не узнавала, совсѣмъ не узнавала. То будто мелькнетъ болѣе определенное воспоминаніе и спрячется опять, и какія-то новыя тѣни набѣгаютъ на ея мозгъ, точно по немъ несутся тучи за тучами, заслоняя солнце и кидая свои темныя силуэты на единственныя еще ясныя ей понятія... Туча и на память нашла, заслонила ее совсѣмъ... Легко стало, совсѣмъ легко — ничего не больно, ни о чемъ не думается ей... Только вотъ какъ-то пусто совсѣмъ, будто и никогда ничего не было.

Сегодня только Мирская забеспокоилась...

Смотритъ она и слушаетъ, и хотя тутъ ничего не увидишь и ничего не услышишь, но она и видитъ и слышитъ...

Звуки настраиваемыхъ скрипокъ... Визгливые, точно струнамъ больно, и онѣ во все свое тоненькое горло жалуются на безошадный смычекъ, терзающій ихъ... Глухая нота контробаса, и ему скверно тоже. Простудился, охрипъ и кашляетъ, разбѣнное позвякиваніе литавръ, словно со сна взятая нотка віолончели... Приятная, хорошая нотка, будто налетѣвшій Богъ вѣсть откуда обрывокъ чудной когда-то

и гдѣ-то слышанной мелодіи... Силится больная по этому обрывку воссоздать ее, но вспоминаетъ только то чувство скорби, какое навѣвала она... И кто пѣлъ ее, не помнить, и почему именно дѣйствовала она такъ, не знаетъ... Глухая тревога барабана, словно предупреждающаго всѣхъ: смотрите, берегитесь!.. А чего беречься — глухой барабанъ не знаетъ и самъ...

Эти разсѣянные, отрывочные звуки настраиваемаго оркестра слышались ей и сегодня утромъ.

Силилась она догадаться, гдѣ этотъ оркестръ, зачѣмъ онъ, и не могла... Опять стала слушать, не понимая, что ему, этому оркестру, нужно здѣсь...

Верховцевъ приходилъ къ ней, наклонялся къ самому лицу Мирской.

— Анна Александровна!.. Прощайте, ѣду...

Посмотрѣла она на него, точно это не лицо, а такъ тѣнь отъ лампы...

— Узнаете вы меня? Подъ Плевну ѣду. Прощайте.

Еще бы не узнать!.. Вѣдь это онъ самый и есть — антрепренеръ... Какъ же ей не знать его, смѣшной человѣкъ? Надоѣлъ, право!.. И чего пристаётъ онъ? Развѣ она когда-нибудь опаздывала на спектакль. И сегодня не опоздаетъ. Только вотъ отдохнетъ немного... Устала послѣ репетиціи. Такъ устала, что голову не подыметъ отъ подушки.

— Вы знаете... Скоро Величковскій сюда пріѣдетъ.

Чего жужжить надъ ней эта муха?... Безтолково, надоѣдливо жужжить... Точно она хочетъ въ ухо ей влѣзть, въ мозгъ забраться и тамъ, въ самомъ черепѣ, ея продолжать свое болѣзненно дѣйствующее на Мирскую жужжаніе... Слава Богу!.. Отлетѣла, кажется; теперь легко...

— Я пріѣду черезъ недѣлю! — обернулся Верховцевъ къ сидѣлкѣ по-французски.

Румынка оправила свой чепчикъ и только присѣла ему въ отвѣтъ.

— Пожалуйста, позаботьтесь о ней.

— Это моя обязанность. Вечеромъ меня смѣнитъ другая.

— Что докторъ говорилъ сегодня?

— Головой покачалъ только.

«Неужели близокъ конецъ... За что? Кому нужна эта жертва?» — думалъ Верховцевъ, пересѣкая шумныя улицы Бухареста... Онъ еще три дня назадъ телеграфировалъ раненому Величковскому, чтобы тотъ спѣшилъ, если хочетъ застать ее въ живыхъ...

Навѣщали ее и другіе; русскіе, которые знали ее, тоже волновались — оставалась спокойной только она одна.

Зубковъ какъ-то пришелъ.

— Матушка, страстотерпица, молитвенница ты наша!.. Господь тебя храни!..

Перекрестилъ ее — она только удивленно повела на него глазами... Потомъ заметалась — горячечный пароксизмъ подошелъ...

Зато сегодня она совсѣмъ покойна...

Хорошо бы ей было, если бы не эти визгливыя жалобы скрипокъ... если бы не эта осторожная тревога барабана... Онѣ однѣ мѣшаютъ ей, онѣ однѣ тревожатъ ее... Да, впрочемъ, пора ей, давно пора. Оркестръ собрался, поди Трохиня и Мышкина ругаются: «Мирская-де заставляетъ ждать себя. Какая аристократка!..» А отчего же и не опоздать, вѣдь она во второмъ актѣ занята? Да и не опоздала вѣдь... Только какъ это странно, только что у себя въ постели была и вдругъ...

Куда дѣвались стѣны этой комнатки?.. Раздвинулись... И лампа, что бросала тусклый свѣтъ на бѣлыя вздрагивающія крылья спящей птицы... И темень, густившаяся по угламъ незамѣтно.

Сцена залита свѣтомъ... Заплеванный и загаженный коверъ, что издали кажется такимъ роскошнымъ, уже разостланъ. Занавѣсъ слегка колышется оттого, что Мышкина въ коротенькомъ платицѣ и розовыхъ чулочкахъ такъ и припала къ отверстию въ занавѣси... Взглянуть развѣ и ей? Мирская тоже подходитъ къ занавѣси... Господи — театръ сегодня совсѣмъ полонъ. Цѣлое море головъ — только всѣ онѣ почему-то волнуются, будто волны подъ вѣтромъ... И молодые, и старые... То нахлынуть къ занавѣси, бьются около, то уходить прочь отливомъ... Шумъ оттуда слышенъ. Сотни ногъ взбѣгаютъ на галерею... Изъ ложъ сверкаютъ наряды дамъ... Сялится Мирская припомнить, что даютъ сегодня, и не можетъ... Мучится — что же играть она должна? какъ нарочно изъ памяти вонъ. Все именно, все помнить, а это точно вырѣзано прочь... Поймала режиссера. Растрепанный какой, и всегда отъ него водкой разить... Тотъ тоже какъ-то странно взглянулъ на нее и прочь идетъ... Трохина развѣ спросить, да нѣтъ, отъ того, кромѣ пошлости, никогда ничего не дождешься... Пойти лучше къ себѣ въ уборную...

Кулисы тоже слегка колышутся. Вѣрно открыта дверь въ коридоръ... Какія старья, грязныя кулисы, совсѣмъ грязныя... Издали еще ничего, а вблизи скверно... Вонъ стѣна дома прорвана, дыра въ

ней. Будто ядромъ ударило и брешь пробило... Починить бы надо... Чадять лампы, неистово чадять. Плотники вверху передвигаютъ какую-то раму. Вѣрно небо устраиваютъ. Слышится ругань чья-то: «Черти этакіе, куда же вы луну подѣвали? Анаемы!..» «Да смотрите, чтобы громъ былъ во-время... Принесли ли отъ Арефьева новый громъ или нѣтъ?... Съ вами, дьяволами, всегда въ бѣду попадешь!..» Люди бѣгутъ точно со-слѣпа, сбиваютъ ее съ ногъ... Она прислонилась къ стѣнѣ, чтобы пропустить плотника, — съ «громомъ» идетъ — желѣзный листъ въ рукахъ погромыхиваетъ отъ шаговъ его... Дѣйствительно, точно гдѣ-то далеко-далеко гремитъ гроза... Только отголоски доходятъ, слабые, едва-едва уловимые... Вѣрно отъ того и бѣлыя крылья сонной птицы на взморѣ вздрагиваютъ... Что это, волны бьются въ гранитный берегъ, или публика шумитъ за занавѣсью?.. Глухіе прибой какіе-то; какъ опять все стало мѣшаться въ памяти... Не сообразишь, гдѣ ты сегодня, на берегу грознаго моря или въ театрѣ... Больна немного, нервы шалить... Нужно скорѣе въ уборную уйти...

Въ уборной хорошо стало... покойно. Кресло глубокое, мягкое. Сѣла, полузакрываетъ глаза...

— Саша, какъ бы убавить свѣту?

Дѣвушка подошла, взяла лампу, унесла на другой столъ. Тускло блестятъ мѣдные браслеты, бронзовые цѣпи, стекла подѣльныхъ камней. Пудра разсыпана на столѣ. Ящикъ съ красками открытъ. Неужели сегодня опять придется накладывать на себя румяна. Какъ надоѣла эта гриммировка. Все искусственное, подѣльное. Сегодня она, впрочемъ, не такъ волнуется... Притерпѣлась ко всему... На столѣ — газета. Отчеркнуто краснымъ карандашемъ...

— Саша, кто принесъ?

— Господинъ Ивановъ былъ...

— Какъ все надоѣло!.. И похвала ихъ, и ругань.

Взяла было газету... Прочла первыя строки.

«Вчерашній день былъ полнымъ торжествомъ нашей геніальной Мирской!..»

Бросила... И хвалить-то какъ грубо... Самой извѣстно... Вѣдь не Глѣбова же я въ самомъ дѣлѣ, чтобы всякую лесть за чистую монету принимать...

— Анна Александровна, не пора ли одѣваться вамъ?

— Нѣтъ, Саша... Я во второмъ актѣ занята.

Свѣтъ въ сторонѣ. Въ темномъ зеркалѣ ея лицо кажется какимъ-то особенно блѣднымъ сегодня... Въ тѣни — глаза точно впали, глу-

боко ввали и горять оттуда неестественнымъ блескомъ. Непокорная прядь волосъ выбилась и ложится на лобъ...

— Что же я сегодня играю?...

Напрасно усиливается вспомнить... «Саша, принеси афишку!» Заскрипѣла дверь изъ уборной...

Въ полуотворенную дверь слышатся звуки оркестра... Что это?... Вальсъ?.. Да... Какой грустный, невеселый. Неужели можно танцовать подъ такую музыку?.. Плакать бы только и впору. Точно чье-то сердце бьется, мучительно бьется, и кровавые слезы точатъ въ каждомъ звукѣ... И что за дикость?.. Сейчасъ же послѣ этого скорбнаго, томительно скорбнаго вальса — глупѣйшая оперетка съ канканомъ, съ размазаннымъ Трохинымъ, съ безцеремонной Мышкиной... Мышкиной, которая столько же стѣсняется приличіями на сценѣ, сколько и у себя въ спальнѣ!..

Саша принесла афишу... «Маргарита Готье»!.. Вспомнила, наконецъ... Повѣсть больного, разбитаго женскаго сердца... Грѣшница, умирающая потому, что захотѣла стать честной женщиной... Отчего же это такъ трудно? Отчего честная женщина не умираетъ, сдѣлавшись грѣшницей?.. Оркестръ замолкъ... Вѣрно занавѣсь поднята. Тихо все стало, такъ тихо, что за стѣной голоса слышны.

Слава Богу, кончилось все... Готово... Мѣдные браслеты застегнуты, фальшивые брилліанты горять въ волосахъ. Двѣ-три черточки только около глазъ прибавить... Да мушки положить.

— Въ лучшемъ видѣ!.. — встрѣтилъ ее антрепренеръ у выхода изъ уборной... — Первый сортъ!..

Черныя кулисы, затхлый воздухъ погреба или кладовой... Скрипъ рамъ вверху... Ропотъ морскихъ волнъ за занавѣсомъ... Опять какая-то, только теперь уже веселая музыка... «Первый актъ... Одинъ за другимъ сошли какъ слѣдуетъ... Публика хлопала, райскіе жители съ верховъ, не стѣсняясь, выкрикивали всевозможныя замѣчанія... Никто не понималъ, что она плакала настоящими слезами... Да и не все равно ли? Вѣдь не для нихъ, только что рукоплескавшихъ непристойностямъ Трохина... Нѣтъ, не для нихъ... Близки ей страданія больного сердца... Очень близки... Отъ того и плачется...

Только все-таки попрежнему страшно все это...

Сцена за сценой, а тамъ вдругъ бурное море... Бѣлое, вздрагивающее на берегу крыло сонной птицы... и тусклый свѣтъ какой-то... Откуда онъ?.. Не изъ окна ли рыбакова ложится на этотъ песчаный берегъ, гдѣ притаилась чайка?.. Нѣтъ, это такъ, — нервы шалять...



Вонь другое море волнуется — море людей, еще болѣе ненасытное и жадное, чѣмъ то... Жертвы надобно ему... Кровь!.. Для чего?..

Тучи ползуть откуда-то... Одна за другой... Небо заволокли все... Ниже и ниже опускаются грозовыя... Сѣрыми ключьями за землю цѣпляются, точно надобно имъ странствовать по неоглядному простору, точно хочется отдохнуть... Но земля не держитъ ихъ, а вѣтеръ гонитъ дальше и дальше. Гонитъ — равнодушный къ ихъ страданіямъ, къ ихъ усталости... Одна за другой ползутъ тучи... Надъ моремъ надвинулись, все оно потемнѣло. Еще грознѣе бьются бѣлые валы въ черныя твердыни берега. Еще неотступнѣе кидаются въ гранитную стѣну... Тучи за тучами, волны за волнами... Ни одного просвѣта въ небѣ... Углая лодка бьется съ непогодой... Бѣлый парусъ мерещится... Смѣлѣй, пловецъ! Крѣпче держи шкотъ... Не бойся грозы, не бойся моря!.. Не все ли равно — смерть вездѣ, лучше пасть въ борьбѣ съ нею, чѣмъ — покорно отдаваясь въ ея руки... Смѣлѣй, пловецъ! крѣпокъ твой парусъ — руки еще крѣпче...

Громче и громче ропотъ моря... Куда-то сплываетъ оно — сплываютъ и тучи... Опять эта яркая звѣзда... Тысячи рукъ хлопаютъ ей, тысячи голосовъ зовутъ ее...

— Мирская, что же вы?... Давай занавѣсь!..

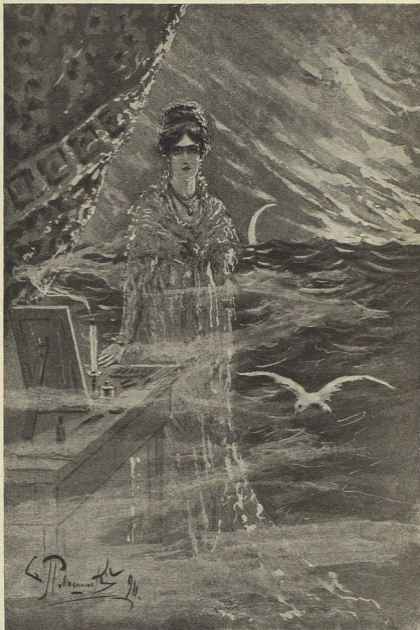
И еще неистовѣе волны моря, еще громче голоса бури... Вотъ они грозные несутся ей навстрѣчу... Мѣшаются въ одно морево... Огненное, жадное, ненасытное, злобное... Смерть, смерть, гдѣ ты? что заждалась, желанная?..

Шумно падаетъ занавѣсь сверху... Чадь отъ лампъ совсѣмъ ужъ нестерпимъ. Въ нагрѣтомъ воздухѣ все какъ будто вздрагиваетъ... Кто это плачетъ тамъ?... Надъ чѣмъ?... Она, что ли, въ своей уборной?... Развѣ лодку разбило?... Развѣ волны ее захлестываютъ, праздную дешевую побѣду свою посреди этого дикаго простора?..

Опять занавѣсь... Опять нужно идти... Расплата за любовь... Она должна умереть. Миръ счастья только во снѣ улыбается человѣку. Счастье — это греза... Нѣтъ его въ дѣйствительности, какъ нѣтъ свѣтлыхъ ангеловъ... Еще они слетаются къ изголовью задумчиваго ребенка — первый лучъ свѣта гонитъ ихъ прочь... Все это является закрытымъ глазамъ — открытые ихъ не видятъ... Люди подлы, ахъ, какъ подлы! Чѣмъ виновата была Беатриче... Чѣмъ была преступна Гретхенъ?

— Мирская! Мирская!..

Блѣдная, худая, умирающая...



Боевая Голцова.

Т-во „Просвѣщеніе“ въ Спб.

## Сонъ Мирской.

(Стр. 374.)



Жизнь едва держится... Гаснетъ и снова вспыхиваетъ... Не стало масла въ лампѣ — фитиль падить только и курится... Одинъ порывъ слабого вѣтра, ребенокъ дунеть — и жизни нѣтъ...

Опять слезы, искреннія, большыя слезы.

Къ чему же этотъ хохоть? Кругомъ всё смѣются... Смѣются зрители въ партерѣ, хохочутъ въ ложахъ, заливаются вверху, въ райкѣ... Надъ кѣмъ это? Она одна на сценѣ... Одна, совсѣмъ одна... И чѣмъ больше она рыдаетъ, тѣмъ громче смѣется это море. Чѣмъ глубже ея тоска, тѣмъ сильнѣе возбуждаетъ она веселость въ немъ... Господи, какой это адскій хохоть... Пощадите!.. Пощадите!.. Чѣмъ смѣшны ея слезы, чѣмъ такъ могла позабавить васъ смертная мука?... Последній вздохъ... Смерть надъ ней уже склонилась... Она глядитъ въ лицо ей!.. Прямо глядитъ... Слово участія!.. Одинъ только звукъ счастливый, радостный... Такъ и щемитъ сердце. Умирать не хочется. Жизнь кличетъ издали... Уйди же, уйди, костлявая!.. И опять этотъ смѣхъ...

Смерть растеть и растеть... Смѣхъ охватываетъ все... Хо-хоть за кулисами, хохоть позади ея... Точно волны въ бурю, что хотять до самаго неба добросить бѣлые гребни своей пѣны...

— Спасите! Спасите!

Бѣлыя крылья сонной птицы зашевелились...

— Надъ чѣмъ? что смѣшно вамъ?... Спасите!

Сестра милосердія наклонилась надъ Мирской. Огня прибавила къ лампѣ.

Бредитъ и мечется больная... Разгорѣлась вся... Одѣяло сброшено внизъ... Ноги корчатся... На губахъ вскипаетъ пѣна, точно кровь въ свѣжей ранѣ... Вытянула руки, словно хочетъ отъ себя отбросить сидѣлку... Глаза широко раскрыты, такъ и обдають зноемъ...

— Голова моя! Голова моя!..

Море кругомъ... Уже нѣтъ береговъ... Ушли они куда-то, за тучами поднялись, съ тучами унеслись по вѣтру... Теперь только одни валы несутся, выгибая свои зеленые хребты и разметывая по сторонамъ бѣлыя гривы. Безъ конца несутся тысячами, десятками тысячъ... Несутся и ревуть злобныя, неукротимыя... Еще быстрѣе вверху, по тому же направленію, мчатся черныя тучи... Черныя, тяжелыя... Мысли не подняться къ нимъ — давятъ внизъ безжалостныя... Голубая молнія разрѣзываетъ эту темень, падаетъ въ кипучія волны и фосфорическимъ блескомъ разбѣгается по ихъ бѣлымъ гребнямъ... Весло выбито изъ рукъ, парусъ въ ключахъ... Лохмотья его треплются по

вѣтру... И мачта стонетъ какъ больная... Позади растеть и растеть громадный валъ...

— Тону!.. Спасите!..

Глубоко погрузилась она, на самое дно... Тихо тамъ... Недвижные трупы лежать; занесло ихъ пескомъ до половины... Широко раскрыты ихъ мертвыя очи... Вотъ обломки кораблей... Громадный кузовъ... Водоросли заплелись по его снастямъ... Чудовищныя амфибіи скользятъ около... Глядятъ на нее своими громадными, холодными очами... Какія-то сквозныя очертанія вверху... Точно кто-то скользитъ между бурей и тихимъ дномъ... Стоны слышатся сверху... Крикъ битвы... Звонъ мечей... Капли крови падаютъ внизъ, не растворяясь въ водѣ... Падаютъ прямо на дно, на утопленниковъ... И оживаютъ мертвые и селятся выползти изъ-подъ сугробовъ песку, но только потрясаютъ руками и стонутъ безсильные... А буря все громче и громче, битва ужаснѣе и ужаснѣе...

— Мирскую! Мирскую! Мирскую!

Занавѣсъ съ тихимъ шелестомъ взвивается... Тысячи глазъ, громъ рукоплесканій...

— Мирскую! Мирскую! Мирскую!

Замерло... Послѣдній крикъ застылъ въ чадномъ воздухѣ... Въ залѣ уже потушены огни... За кулисами темно, совсѣмъ темно... Одна только лампа мигаетъ. Забыли завернуть фитиль... Робко мигаетъ... Шаги замираютъ далеко, далеко. Никого уже кругомъ... Какъ страшно!.. Какъ жутко одной!.. Мыши скребутся гдѣ-то... Что-то упало сверху... Зашелестила кулиса... Лампа погасла... Тьма...

Пьеса доиграна!..

Что же дѣлаетъ здѣсь Мирская? отчего не уходитъ?

Пора, давно пора... Вонъ наружныя двери съ громкимъ скрипомъ закрылись. Щелкнулъ замокъ... Еще разъ...

Пора, давно пора...

— Иду!.. Иду! — громко отвѣчаетъ Мирская кому-то.

— Иду, иду! — разносится по пустому театру.

Какая-то темная туча заползла въ театръ... Подхватила Мирскую... Уносить...

— Иду!.. Иду!..

Далеко уже она... Совсѣмъ далеко... Никто ея не увидитъ здѣсь...

Ушла!.. Только какую-то ветошь бросила внизъ.

Дотрагивается сидѣлка до этой ветоши — ничто въ ней не шевелится... Съ испугомъ схватываетъ за руку... Холодная рука безсильно падаетъ... Крикнула...

Сбѣжались люди... Тормошатъ ветошь. Чего имъ нужно? Мирская ушла, доиграла пьесу...

## XVII.

### Воскресшіе мертвецы.

Туманъ медленно ползетъ со дна лощинъ все выше и выше... Совсѣмъ заполонилъ скаты холмовъ, затопилъ съ мечетями и минаретами Плевну, цѣлымъ моремъ волнуется надъ нею... И все цѣпляется за вѣтви деревьевъ, за скалы надъ Тученицей и Видомъ, точно ему досадно, нестерпимо досадно, что между его сѣрымъ, клубящимся маревомъ и такимъ же сѣрымъ безбрежнымъ океаномъ тучъ, уже обложившихъ небо, еще осталось нѣчто свободное, не окутанное, не захваченное имъ... Словно одинокіе острова плаваютъ надъ этою мглою вершины Опанца, Радицева и гребни Зеленыхъ Горъ съ вѣнчающими ихъ редутами... Борабли, затерянные среди мрачнаго океана, клочки земли, отдѣляющіе отъ хаоса!.. Можно было подумать, что еще только третій день мірозданія, и земля пустынными и мертвыми вершинами медлительно отдѣляется отъ воды, клубящей вверхъ свои тяжелыя испаренія...

На сѣрыхъ вершинахъ едва-едва выдѣляются сѣрые редуты... Ни звука кругомъ... Говоръ жизни внизу гложетъ въ туманъ... Вверхъ сюда не доносится ничего... Рѣшительно ничего... Изрѣдка только свистъ вѣтра, едва-едва выбравшагося изъ лощинъ сквозь туманъ, словно чья-то жалоба, грустная, покорная жалоба проносится по редутамъ, не нарушая тишины... Напротивъ, онъ дѣлаетъ ее еще глубже, еще мертвѣе... Такъ отъ слабаго луча свѣта на мрачномъ фонѣ картины еще ужаснѣе кажется черная тюрьма... Такъ слабый мигающій огонекъ среди пустынной степи дѣлаетъ еще тяжелѣе осеннюю безлунную ночь...

Туманъ не добрался пока до редутовъ. Онъ остался у подножія ихъ и только грозно волнуется пока... Точно ему хочется показать этимъ гордымъ валамъ, что онъ не смиряется передъ ихъ грузными массами, что онъ еще возьметъ свое, что онъ собираетъ со дна лощинъ, изъ уще-

лій, изъ долинъ всё свои силы для новой попытки... Молча смотрятъ пустынные редуты внизъ... Словно насупились они... Словно опустили вѣки и собираются погрузиться въ мрачный, тревожный сонъ, волнуемый воспоминаніями объ ужасахъ, еще недавно совершившихся во-кругъ... Въ смутныхъ сумеркахъ надъ ними какъ будто скользятъ блѣдныя призраки... Скользятъ въ легкомъ вѣтрѣ, стонуть въ его жалобномъ свистѣ... И еще мрачнѣе дѣлаются редуты, еще досадливѣе клубится туманъ, стремясь захватить своимъ однообразнымъ маревомъ и послѣдніе отблески свѣта, и первыя тѣни ночи, зловѣщія, дикія тѣни...

Одинокимъ часовымъ, сѣрыя фигуры которыхъ не отдѣляются отъ сѣрыхъ валовъ, одинокимъ часовымъ, разставленнымъ по редутамъ, кажется, что они несутся куда-то въ пространство надъ бездною, точно предостерегающе ихъ бездною... Если когда-нибудь одиночество печально, такъ именно теперь... Человѣкъ въ редутъ... До утра... Смѣны не будетъ — до смѣны ли тутъ?... До утра лицомъ къ лицу съ ночью, полною призраковъ, съ туманомъ, выдѣляющимъ какія-то загадочныя тѣни; съ редутомъ, надъ которымъ возбужденному слуху чудятся странные, не имѣющіе мѣста въ дѣйствительности, звуки... Лицомъ къ лицу съ своими воспоминаніями; лицомъ къ лицу съ жестокостью, звѣрствомъ, убійствомъ, съ десятками, тысячами убійствъ... Къ довершенію ужаса, и жертвы убійства тутъ же... Тутъ они, безмолвно вопіющіе къ небу свидѣтели позорныхъ преступленій; тутъ они, изъ тумана простирающіе вверхъ свои оглоданныя и одеревянѣвшія руки... Туманъ, точно желая еще болѣе напугать редуты, порою, какъ волны моря, отхлынувъ назадъ, открываетъ своихъ мертвецовъ, четыре мѣсяца пролежавшихъ на скатахъ и подступахъ къ брустверамъ... Отхлынетъ, покажетъ ихъ, исковерканныхъ, разбросанныхъ грудями, и, словно наслаждаясь чѣмъ-то ужасомъ, ревниво прячетъ ихъ до новой угрозы кому-то...

Молодой Малыгинъ одиноко стоитъ на Зеленогородскомъ редутъ...

Ему приказали постеречь тутъ... Караулъ остальной расположился далеко внизу... Онъ не виденъ Малыгину, который никому не довѣрилъ этого поста хотя на первую половину ночи... Малыгину уже наскучило обходить по валамъ. Онъ познакомился съ каждымъ закоулкомъ редута... Большимъ нервамъ вездѣ что-то чудилось сначала... Нужно было воочию убѣдиться, что никого нѣтъ кругомъ. По скатамъ валовъ слышался шорохъ, точно подъ чѣми-то осторожными, крадущимися шагами осыпалась земля... Онъ зорко осматрѣлъ бруствера и только тогда успокоился... Въ глубокой тишинѣ ночи вдругъ

звучалъ какой-то странный, странный шопоть... Оглядывался Малыгинъ, и ему казалось, что шопоть этотъ выносится наружу изъ черныхъ зѣвовъ землянокъ... Прислушивался, и возбужденное ухо уже отличало голоса въ этомъ неопредѣленномъ шопотѣ, но такіе тихіе, тихіе, что можно было думать, будто это разговариваютъ между собою тѣни... Малыгинъ хотя и не былъ суевѣренъ, но зрѣлица послѣднихъ боенъ разбили его нервы. Холодѣя отъ чувства, близкаго къ испугу, ощущая, какъ подъ волосами его пробѣгаютъ какія-то искры холода, онъ самъ какъ тѣнь подкрадывался къ этимъ землянкамъ, высѣкалъ огонь, входилъ туда — и, разумѣется, въ нихъ ничего не оказывалось... Онъ останавливался, прислушивался, и, казалось, только что ощущавшіеся имъ звуки голосовъ уходили въ землю, глубоко уходили и словно изъ могилъ говорили ему что-то оттуда... Въ туманѣ внизу чудились ему порою размахи чьихъ-то крыльевъ... Иной разъ вверху будто пронеслось что-то, вѣя ему въ лицо холодомъ...

Наконецъ ему надоѣло ходить по реду. Очевидно, никого нѣтъ... И не можетъ быть никого... Кто-нибудь изъ плѣнныхъ спрятался если, давно бы на него наткнулся Малыгинъ... Давно бы, разумѣется... Но тутъ никого живого — онъ одинъ... Хорошо бы позвать изъ караула внизу двухъ-трехъ солдатъ... Да какъ сдѣлать? — сочтутъ за трусость... Нѣтъ, ужъ лучше часа три выдержать одному...

А нервы шалить... Нервы никуда не годятся... Онъ самъ убѣдился въ этомъ... Чудится ему Богъ знаетъ что... Боленъ онъ — совсѣмъ боленъ... Теперь бы на мѣсяць домой — оправиться... Не видѣть этого ужаса, такъ рассчитано и хладнокровно творящагося вокругъ, не слышать о немъ, уйти въ свою добрую, спокойную семью... А потомъ, пожалуй опять... если призовутъ, разумѣется. Самъ онъ теперь далекъ отъ боевыхъ увлеченій... Издали онъ, можетъ быть, и понялъ бы величіе этихъ боенъ, созналъ бы пользу ихъ и смыслъ; вблизи, лицомъ къ лицу, они его давятъ, гнетутъ деталями, кровавыми эпизодами... Голова у него кругомъ идетъ... Рука наноситъ удары, тогда какъ сердце сжимается отъ тоски и боли... А нельзя... Сколько разъ ему приходило въ голову, въ разгаръ боя, вмѣсто того чтобы вести другихъ за собою, вмѣсто того чтобы одушевлять ихъ, разожжить себѣ самому голову выстрѣломъ, и всегда при этомъ только мысль о бѣдной, далекой старухѣ, съ такимъ трепетомъ ожидающей вѣстей о немъ, удерживала его... Въ этой эпопеѣ убійства глаза такъ привыкли къ зрѣлищу смерти, а мысль къ необходимости ея, что чув-



ство самосохраненія смолкало, и ничего, казалось, не было легче, какъ покончить съ собою въ одну изъ минутъ унынія и тоски... Изрѣдка ему казалось, что онъ сходитъ съ ума... Ночью какіе-то облитые кровью люди мерещились ему; чьи-то руки блѣдныя, грозящія выдѣлялись изъ тьмы и разсыпались въ ней же; изъ глубокаго безмолвія рождались дикіе вопли, звучавшіе совсѣмъ неожиданно, улавливаемые какъ-то не ухомъ, а мозгомъ... Въ сумеркахъ, когда онъ шелъ одинъ по дорогѣ, изъ-за деревьевъ ему кивали блѣдныя лица... Вдогонку за нимъ какъ будто бѣжали кто-то — оглядывался — никого не было, и только сучья тамъ шевелились, точно призракъ скользнулъ вверхъ отъ его испуганнаго взгляда... Часто, когда онъ спалъ, кто-то громко, пронзительно громко выкрикивалъ его имя, звалъ его... Вскочивъ, онъ чувствовалъ по холодному поту и дрожи, по трепету воздуха въ землянкѣ, по слѣду звука, еще остановившемуся здѣсь, какъ остается слѣдъ отъ свѣтлаго луча въ зажмуренномъ глазѣ, и еще по какимъ-то неуловимымъ признакамъ, что здѣсь кто-то былъ сейчасъ... Приподымаясь во тьмѣ, онъ видѣлъ, что снаружи кто-то смотритъ къ нему изъ черной тьмы ночи въ черную тьму его землянки... Вздрагивавшими руками онъ отыскивалъ спички, зажигалъ свѣчу и долго послѣ того лежалъ съ широко открытыми глазами, испытывая тишину ночи... Но тишина, словно оскорбленная яркимъ свѣтомъ, уже ничего не хотѣла говорить ему, и Малыгинъ подъ утро успокоивался, если только можно назвать успокоеніемъ тяжелый, полный таинственныхъ призраковъ и гнетущихъ ощущеній, сонъ... Часто, впрочемъ, онъ безъ сна лежалъ до самаго утра, открывъ глаза и ничего не видя передъ собою... Сотни мыслей проносились тогда въ его головѣ, но какихъ — онъ и самъ не зналъ... Только когда кто-нибудь былъ около, рядомъ, Малыгинъ успокоивался и спалъ здоровымъ, чуждымъ видѣній сномъ... Всего ужаснѣе было сознаніе, что эти призраки, эти тѣни пережитыхъ имъ ощущеній не только теперь, въ этой обстановкѣ, но и потомъ будутъ преслѣдовать его большую голову, его измученное сердце... Впрочемъ, если бы домой... Къ старухѣ-матери, въ старый московскій садъ... Подъ мерцаніемъ лампадки, подъ хриплымъ бой старинныхъ часовъ, подъ недовольное ворчаніе «эскулана» (такъ звали ихъ двороваго пса) за окномъ, — хорошо спится въ стѣнахъ, каждая черточка на которыхъ знакома ему съ самаго дѣтства...

Онъ облокотился теперь на брустверь и задумался... О чемъ — онъ и самъ бы не сказалъ, если бы спросить... Голоса знакомые вспоминались, знакомыя лица... Вонъ мать, братъ. На минуту ему

хорошо стало, совѣмъ хорошо... Мирская улыбается прежнюю счастливою своею улыбкой... Что-то съ нею теперь?... Бѣдная, бѣдная и она измучила себя, совѣмъ измучила!... Не умерла ли.... Ничего не пишутъ... Когда-то они соберутся опять всѣ вмѣстѣ, счастливые, полные новыхъ впечатлѣній, забывъ все темное, что осталось позади...

Неизвѣстно, къ чему бы перешла мысль Малыгина, если бы вдругъ...

Онъ далеко отбросилъ ружье... Ужась сковаль его... Хочетъ крикнуть — нѣтъ силъ... Хочетъ руки протянуть передъ собою, какъ бы защищаясь, руки не повинуются ему... Точно окаменѣлъ весь... Бѣжать — ноги приросли къ землѣ и ни съ мѣста...

Снаружи по откосу бруствера ползеть на него... Да, ползеть... Онъ видитъ эмо округлившимися отъ испуга глазами... Черепъ съ темными ключьями еще оставшейся на немъ кожи... Оскаленные зубы... Черныя впадины глазъ... Руки — кости одиѣ — цѣпко захватились за землю, такъ цѣпко, что, видимо, не оторвешь ихъ силой... Остальное прячется въ туманъ.... Но вотъ усиліе, и оно подымается кверху... Всползаетъ, къ нему всползаетъ... Еще мгновеніе... Перекинется цѣпкой костлявой рукой за гребень бруствера... На секунду повиснетъ на ней... Протянетъ другую костлявую руку...

Густой туманъ, отхлынувшій было на минуту, чтобы показать своего мертвеца, опять ревниво накинулся на него и запряталъ въ свое однообразное марево... Заклубился... Точно мертвецъ борется тамъ съ туманомъ, точно мертвецъ хочетъ всползти на брустверь, къ этому замѣченному имъ живому...

— Что это! — вздохнулъ Малыгинъ, оправляясь. — Что это со мною?... Помѣшанъ я, что ли!?. Вѣдь ихъ тутъ много!.. — вслухъ уже крикнулъ онъ.

— Много!.. — точно отозвалось въ землянкѣ. — Много! — крикнуло что-то вверху. — Много! — застонало въ туманѣ.

— Насъ много!.. Насъ много!.. — пронеслось уже въ головѣ Малыгина... — Насъ много, лежащихъ здѣсь!..

Голоса мало-по-малу смолкали; Малыгинъ приходилъ въ себя... Въ головѣ стоялъ какой-то звонъ; сердце съ болью билось...

Когда онъ очнулся совѣмъ, оказалось, что онъ не стоитъ у бруствера, а сидитъ, прижавшись къ нему, пригнувъ колѣна къ лицу и охвативъ ихъ совершенно похолодѣвшими руками. Какъ это онъ сползъ — самъ не помнитъ. Ружье его оказалось въ сторонѣ; кени отброшено тоже... Волоса мокры, налипли на лобъ...

Онъ всталъ... Вотъ этотъ проклятый валъ, за которымъ волнуется цѣлое море тумана... Ужъ къ самому брустверу подступило оно... Нужно заставить себя выглянуть... Что за позорный, подлый страх!.. Ему ли вѣрить снамъ и предрасудкамъ!.. Развѣ мысль можетъ допустить движеніе въ сгнившемъ и высушенномъ вѣтромъ трупѣ... Разумѣется, чепуха... Чепуха — хоть волосы шевелятся, хоть холодъ сверху бѣжитъ по всему тѣлу, точно каплями падая за спину... Вонъ они, эти воскресающіе мертвецы, — ихъ много, дѣйствительно много. Нужно принудить себя смотреть на нихъ. Разбросались какъ... Видно, тутъ у самага вала были перебиты они... Не успѣли даже и отбѣжать, сердечные: обрывки сукна кое-какъ треплются... Изъ-подъ сукна кости торчатъ... Кости, обтянувшіяся темною, какъ старый пергаментъ, высохшею кожею... Что могутъ сдѣлать они?.. Несчастныя жертвы *преступленія*, названнаго *ошибкой*... Что могутъ сдѣлать они, бессильно гніющіе на роковыхъ поляхъ? Сколько разъ здѣсь ихъ сѣкло дождемъ, обдувало вѣтромъ... Но и въ вѣтеръ и въ дождь они неотступно, пристально смотрѣли своими черными впадинами въ это равнодушное небо... Чего они искали тамъ?.. Не защиты ли, не милосердія ли, они — не дождавшіеся ни того, ни другого при жизни... Не ждали ли они ангеловъ-мстителей!.. Не въ чаяніи ли ихъ прихода были устремлены въ небеса мертвые взгляды... Нѣтъ, давно погашены огненные мечи и молніи уже не отыскиваютъ на землѣ преступную душу... Сколько разъ ихъ засыпало снѣгомъ, точно небу надбѣдали эти пристальные взгляды и оно само хотѣло схоронить непогребенныхъ... Но свѣтъ таялъ, а изъ-подъ него еще чернѣе, еще ужаснѣе выдѣлялись они... Часто снѣгъ засыпалъ ихъ не совсѣмъ, и только одинъ взглядъ голаго черепа чуть-чуть мерещился изъ-подъ него... Не отъ нихъ ли небо спряталось за тучи, не отъ нихъ ли, искавшихъ за его лазурью свѣтлаго, обѣтованнаго рая?..

Малыгина уже не ужась, а чувство невыразимой жалости охватило, когда изъ-подъ сѣрой мари отхлынувшаго тумана онъ различилъ много такихъ же остатковъ когда-то живыхъ, веселыхъ солдатъ... Брошены какъ падалъ, забыты какъ позоръ... Вотъ вся ихъ судьба... Вотъ этотъ, должно быть, мелкорослый былъ... Грудка костей только... Черепъ и теперь оскалился, будто смѣется... Поди, при жизни не разъ потѣшалъ товарищей... Настоящая армейская кирилка... Безъ громкихъ фразъ повели ее на смерть — пошла... Поставили подъ пули — стала... Стали бить пули — легла... Легла и лежитъ, и никому до нея, до этой армейской кирилки, никакого дѣла нѣтъ... Тамъ гдѣ-



Бойная Голгова.

Т-во „Прогресс“ въ Сиб.

„Воскресающие мертвецы“.

(Стр. 382.)



нибудь далеко, далеко въ глуши Бѣлорусской, голодаеть семья мякинниковъ. Выхватили изъ нея парня, бросили сюда... И не знаетъ она, зачѣмъ его взяли, гдѣ и какъ онъ сложилъ свою голову и за какое дѣло улегся... О, православное терпѣніе!.. Не сила въ тебѣ, а немощь, не добродѣтель ты, а гнусная язва, отнимающая чувство у сердца, мысль у мозга... Точишь ты однѣ слезы, чуждъ тебѣ порывъ души свободной, не вольно ты, подъяремное... Ты сдвигаешь горы, направленные чуждою рукою, но отъ этихъ горъ и крупицы не перепадетъ тебѣ, голодному... Развѣ что только ноши надкинуть... Носи ее на здоровье!..

Ночь все стыла и стыла... Тучи опускались ниже, точно имъ надоѣдало странствовать по холодному небу, и онѣ искали, гдѣ бы отогрѣться и отдохнуть на этой темной, непріютной землѣ... Тучи опускались все ниже и ниже, нигдѣ не разсѣиваясь, не давая просвѣта, сквозь который на эту непріютную землю могъ бы проскользнуть блѣдный, едва-едва замѣтный лучъ ночной звѣзды... Туманъ снизу, тучи сверху, казалось, хотѣли соединиться вмѣстѣ, какъ давнымъ давно разлученные друзья, увидѣвшіе издали одинъ другого... Они протягивали порою руки другъ другу. Косматые обрывки сѣрыхъ тучъ тянулись внизъ; сумеречные клубы тумана всплывали вверхъ, но, не достигнувъ завѣтной цѣли, медленно, словно вздрагивая отъ холода, возвращались назадъ, сливаясь съ своими, медленно волнующимися, массаами... Гдѣ-то внизу въ туманѣ послышался отчаянный вопль... Очевидно, кричалъ живой человѣкъ... Отчаянный, проникавшій въ душу... Что тамъ совершалось въ эту минуту? Исходившему кровью раненому пришлось не по силамъ и онъ звалъ къ себѣ на помощь, или подъ ножъ бѣжавшаго плѣннаго попалъ случайно болгаринъ?.. Туманъ ревниво берегъ свои сокровища и ничѣму глазу не открывалъ позора и преступленій, совершавшихся теперь на днѣ, на самомъ глубокомъ днѣ его...

Малыгинъ не долго оставался спокоенъ..

Опять ему послышался какой-то шорохъ. Онъ было не обратилъ вниманія, но шорохъ становился все громче и громче... Въ этомъ шорохѣ уже можно было отличить, какъ тысячи рукъ царапаютъ холодную, промерзшую землю, какъ чьи-то легкія тѣла шуршатъ по ней, не идуть, а именно ползуть, шуршатъ по ней... Шуршатъ, не дыша... Если бы они дышали, чуткій слухъ уловилъ бы ихъ дыханія... Малыгинъ хотѣлъ было побороть свой ужасъ... Но въ голову точно проникъ сквозь какія-то невидимыя отверстія сѣрый туманъ и заполонилъ ее такъ, что мысль не работала... Глаза видѣли, ухо слышало, а мысль не работала совсѣмъ. Шорохъ, царапаніе и шуршаніе сливаются съ ка-

кими-то странными звуками, точно кости стучаются однѣ о другія... Слышится изъ землянокъ внутри редута, слышится вверхъ къ валамъ спаружи... Малыгинъ уже не хочетъ защищаться... Онъ старается занять какъ можно менѣе мѣста... Вытанулся весь. Авось его не коснутся эти внезапно осуществившіяся грезы больного воображенія... Авось онѣ минуютъ его...

И вверху что-то слышится, едва уловимое... Тысячи одеждъ колеблются тамъ, тысячи какихъ-то сквозныхъ очертаній уносятся туда же, куда уносятся и тучи... На сѣверъ, на далекій еще болѣе холодный сѣверъ... И вверху, и внизу... Всюду движеніе... Среди пустынного безлюдья проснулась какая-то не здѣшняя жизнь... Точно на кладбищѣ сдвинулись съ мѣста камни, и изъ-подъ земли скользнули вверхъ старыя, давно покрывшіеся тиной и плѣсенью трупы...

Ползутъ, ползутъ, со всѣхъ сторонъ ползутъ...

Малыгинъ уже не сознаетъ ничего, кромѣ этого вдругъ проснувшася вокругъ міра мертвецовъ и видѣній... Если бы онъ и хотѣлъ крикнуть — не могъ бы... Не могъ бы потому, что ротъ окостенѣлъ, окостенѣлъ и оскалился, какъ и у *малъ*... А крикнуть нужно бы... Крикъ уничтожилъ бы очарованіе... Крикъ убилъ бы въ его слухѣ всѣ остальные звуки... Да и воздуху въ груди не хватить для крика, совсѣмъ не хватить... Дышитъ ли онъ еще?..

Изъ тумана ползутъ... Видимо ихъ невидимо... Онъ внизу стоитъ — подъ валомъ. Лицомъ къ нему. Не видитъ, что позади — впереди пока еще одинъ гребень вала... Шорохъ растетъ... Туманъ, должно быть, выпустилъ ихъ... Новыя и новыя полчища не идутъ, а ползутъ, именно ползутъ... Доберутся до него... Схватятся за его ноги, стануть цѣпляться по нимъ, поднимутся... Будутъ холодными костлявыми пальцами держаться за его плечи... И занесутъ головы лицомъ къ лицу съ нимъ, взглянутъ прямо въ глаза ему своими незрими глазами!.. Ужасъ, ужасъ, ужасъ!..

Гребень вала еще свободенъ... Можетъ быть, они остановятся тамъ... Можетъ быть, они не всползутъ на него... Малыгинъ весь во взглядъ перешелъ... Вся жизнь въ глазахъ... Тѣ, что иззади, не страшны... Тѣхъ нѣтъ... Хоть онъ ихъ и слышитъ — ихъ нѣтъ, тамъ вѣдь ничего не было — самъ онъ видѣлъ... Снаружи — есть... Снаружи онъ самъ видѣлъ... полуистлѣвшихъ, высушившихся... Кайма зубчатого бруствера... Что это?.. Шевелится надъ нимъ... Какія-то темныя очертанія... Выше и выше... Черепа... Закидываются костлявыя руки за гребень внизъ... Закидываются, и

пальцы ихъ глубоко уходятъ въ землю, протягивая за собою остальные костяки... По всему гребню теперь... Со всѣхъ сторонъ... Точно волны моря перекидываются... Въ самомъ шорохѣ что-то торжествующее слышно — безмолвный хохотъ какой-то... Ихъ тысячи, десятки тысячъ... Отовсюду... Одни черезъ другихъ... Сѣрою массой — какъ туманъ... Именно клубятся... Пальцы однихъ цѣпляются за глазныя впадины у другихъ... Схватываются за челюсти третьихъ... Туманъ или мертвецъ?... Вѣрно и то и другое... Громче и громче... Такъ вѣтеръ шумитъ по лѣсу... Такъ далекія волны бьются въ берега...

Силы бы для крика, только бы крикнуть — разъ крикнуть...

Нѣтъ!.. Горло что-то перехватываетъ, холодъ снизу вверхъ какъ-то всплываетъ... Холодные пальцы уже по лицу ему скользятъ...

Туманъ вездѣ теперь... Кругомъ туманъ...

Уже совсѣмъ онъ заполонилъ редуты... Клубится вверхъ надъ ними... Сѣрыя тучи соединяются наконецъ съ туманомъ... Ничего не разглядишь ни вверху, ни внизу... Все потонуло въ немъ...

Караулъ внизу... Солдатики за костромъ... Но въ густой мглѣ огонь точно не смѣетъ разгорѣться. Шипятъ и курятся сучья. Дымитъ костеръ, еще сгущая сумракъ вокругъ... Трескаются корни деревьевъ, сыплются красныя искры...

— Братцы, что это?... — вскочили одни.

— Никакъ сверху?..

— Сверху и есть... Господи, спаси!

Дикій, нечеловѣческій крикъ... Еще... Еще... Еще... Тишина опять... Топотъ какой-то сверху...

— Съ нами крестная сила!..

Топотъ ближе и ближе...

— Смотри, ребята!..

Сѣрая фигура какая-то проскользнула мимо... Въ туманѣ проскользнула куда-то внизъ... Караулъ такъ и не разобралъ, почудилось ли ему, или дѣйствительно что-то пробѣжало сверху...

Точно бѣшеный вихрь носится по мертвому городу.

Сегодня Плевны не узнать... Восторженные крики вспыхнули на вершинахъ, окружающихъ ее, какъ накануне вспыхивало въ немъ злобѣщее пламя пушечныхъ выстрѣловъ... Восторженные крики перебросились за Опанецъ на сѣверъ, лавинами скатились внизъ въ лощины,



на минуту замерли было передъ городомъ, заваленнымъ трупами, и еще громче, еще беззавѣтнѣе устремились впередъ по его молчаливымъ улицамъ... Въ какомъ-то сумасшедшемъ порывѣ подхватили ихъ болгары, рота шла — остановилась и тоже оретъ ура во-всю, бросая шапки вверхъ и не замѣчая, что тутъ же въ слякоти полузанесенные грязью удивленно смотрятъ на торжество неподвижными глазами безмолвные мертвецы... Вдрагиваютъ отъ этого стихійнаго крика умирающіе, уже пятый день томящіяся за запертými дверями и забитыми ставнями турецкихъ больницъ... А вихрь еще неукротимѣе, еще бѣшенѣе несетъ уже впередъ и впередъ, увлекая все и всѣхъ за Видь на Софійскую долину, чтобы тамъ могучимъ пожаромъ разгорѣться въ отдохнувшихъ уже полкахъ гренадерскихъ дивизій. У моста черезъ Видь — горы засыпаны плѣнными. Голодные, они второй день дрожатъ здѣсь отъ холоду... Горе побѣжденнымъ... Нѣтъ имъ пощады! Они только сторонятся, пропуская мимо всю эту стихійную бурю восторговъ и криковъ, этотъ торжествующій пригѣвъ боевой пѣсни, празднующей окончаніе невзгодъ, заключеніе неудачъ и ошибокъ, страданій и пораженій... Огнныѣ впереди — свѣтло!.. Ждутъ побѣды; въ туманной дали, въ сумеркахъ близкаго завтрашняго дня уже грезятся цѣлыя арміи, складывающія оружіе... Мечта близится и принимаетъ осязаемыя формы... Передъ энтузіастами изъ синихъ водъ поэтического Босфора уже выплываютъ колоссальныя мечети, дворцы и стѣны Византіи, на смиренно лежащихъ внизу обломкахъ мусульманскаго царства уже растутъ молодые, свободные народы... Одинъ другому они подаютъ дружески еще вчера окованныя руки... Ослѣпительное солнце — гонитъ холодную тьму ночи... Изъ черныхъ лоцинъ — въ слѣпомъ ужасѣ бѣгутъ прочь склизкія, влажныя чудовища, зловѣщіе призраки распускаются въ тепломъ воздухѣ; на напоенныхъ кровью нивахъ волнуются по вѣтру богатая жатвы, сытое воронѣ отлетѣло далеко-далеко!.. Отлетѣло и не вернется.

Такъ ли?.. Не миражъ ли это чудное солнце свободы, дается ли она, великая, цѣною крови, занимается ли ея теплый день въ дикихъ крикахъ убійства?.. Что нужды! Сегодня вѣрится, сегодня любитъ, сегодня свѣтлый праздникъ для всѣхъ, кто вчера еще ходилъ съ опущенною головою, кто еще наканунѣ не вѣрилъ, что когда-нибудь придетъ это счастливое, безоблачное *сегодня*...

Въ одномъ изъ домовъ Плевны съ горькимъ тоскливымъ чувствомъ прислушивается къ крикамъ народнаго торжества слабый, измученный старикъ... Эти крики глубоко оскорбляютъ его... Могли бы, кажется,

пощадить, такъ нѣтъ же — звучать надъ самымъ ухомъ, въ вихрь свой захватываютъ его мысли. Изъ-за нихъ онъ едва можетъ слышать шопотъ больного сына, едва разбирается съ цѣлымъ роємъ мрачныхъ вопросовъ, поднимающихся въ его головѣ... Старикъ Малыгинъ подошелъ было къ окну. Внизу по улицѣ бѣжала пестрая толпа — радостная, эгоистическая въ своемъ сознаниіи счастья... Старикъ Малыгинъ на одно мгновеніе пропустилъ мимо всѣ эти возбужденныя, потныя лица, сверкающіе глаза, поднятыя вверхъ и жестикулирующія руки, и когда улица опять опустѣла и замолкла, посреди грязи на ней оказался лежащимъ тотъ же трупъ, что онъ видѣлъ вчера и третьяго дня... «Хоть бы убрали скорѣй!» мелькнуло въ головѣ у старика, хотя ему казалось рѣшительно все равно, будетъ ли этотъ безмолвный свидѣтель гнить здѣсь подъ окномъ, или бросать его въ сырую и такую же грязную яму общаго кладбища...

Въ углу, на кровати, только что успокоился сынъ Малыгина.

У него была горячка. Старикъ зналъ, что молодой организмъ вынесетъ ее, не боялся безумія — сынъ еще вчера приходилъ въ себя, но все-таки кругомъ чудились могилы и могилы, одиѣ могилы!

Гдѣ они, еще вчера здоровые и веселые, бодрые и вѣрившіе — гдѣ?!

Старикъ сѣлъ у изголовья сына... Наклонилъ голову... Низко наклонилъ, точно виноватый передъ кѣмъ-то...

Вонъ изъ таинственныхъ сумерекъ выдѣляется страдальческій образъ Мирской... Блѣдная, похудѣвшая, заморенная... Скользить куда-то вверхъ и снова вздрагиваетъ передъ глазами... Могилы, могилы!.. Точно онъ на кладбищѣ... Покосились кресты, всюду насыпи... Сѣрые холмики... Свободнаго мѣста нѣтъ — въ промежуткахъ вырыты новыя ямы и точно раскрытыя пасти ждуть и не смыкаются...

— Отецъ!..

Малыгинъ очнулся. Заботливо положилъ руку на голову сыну...

— Отецъ...

— Что тебѣ?

— Ты еще не писалъ матери?..

— Нѣтъ...

— Напиши ей послѣ. Когда я оправлюсь... Теперь сообщи, что здоровъ — скоро буду назадъ къ ней... Вѣдь скоро, отецъ?..

— Да... я тебя повезу въ Москву...

— Ахъ, какъ кричатъ они!.. Некуда дѣваться отъ этихъ криковъ. Голова болитъ отъ ихъ криковъ.

Дѣйствительно некуда было дѣваться...

Періодъ неудачъ, періодъ ошибокъ, преступленій — кончился вчера.

Что будетъ завтра?.. Вѣрилось лучшему, повторенія прошлаго казались невозможны... Правда, вчерашніе преступники сегодня являлись героями, точно это торжество ихъ дѣло... Толпа въ слѣпомъ увлеченіи своемъ — уже забывала ихъ... Не прощала, а именно забывала... Какъ ребенокъ, она тѣшилась новой игрушкой и на свои разбитыя надежды, на лучшихъ людей, брошенныхъ подъ острые шипы торжественной колесницы войны, смотрѣла тоже какъ на разбитыя игрушки... Что ей за дѣло до нихъ — сегодня есть новыя, еще болѣе блестящія... Куски фольги блестятъ, бубенчики звенятъ, пестрота красокъ рябитъ глаза — охота ли думать о вылинявшемъ мусорѣ, о жалкихъ обломкахъ!.. Эй! поскорѣй выметите этотъ дрянной соръ, въ помойную яму его... Прочь, совсѣмъ прочь...

Второй періодъ войны окончился!.. Начинался третій...

КОНЕЦЪ.

